

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2001

10

2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**ДО КОНЦА 2001-ГО И В 2002 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);
МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Алэн Безансон (актуальные заметки);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ЕВА ДАТНОВА. Война дворцам (четыре года);
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Новый цикл российских иллюзий (из дневниковых записей 1985 — 1986 годов);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ. Без Бога (записки доктора, 1926 — 1929);
БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

(См. на обороте)

АННА МАТВЕЕВА. **Восьмая Марта** (повесть);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. **Чума** (роман);
ВЛ. НОВИКОВ. **Высоцкий** (главы из книги);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина**;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Новые рассказы**;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Горизонт событий** (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Очаровательное захолустье** (повесть);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Призрак среди руин** (повествование в рас-
сказах);

МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное по-
вестование);

РОМАН СЕНЧИН. **Нубук** (повесть);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман); **Рандеву в конце мил-
лениума** (эссе);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов. Очерки изгнания**;

ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);

ИЛЬЯ ТЮРИН. **Из наследия**;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Онкология как модель**;

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ. **Фифиа** (стихи);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Ангел мертвого озера** (роман);

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. **Новый язык «нелинейной архи-
тектуры»**;

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМО-
ЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ
ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА,
АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ
ШАРГУНОВА; стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, ВЛАДИМИРА КОРНИЛО-
ВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕК-
САНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯН-
СКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ЕЛЕНУ УШАКОВОЙ; статьи,
очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА,
АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ
РЕМИЗОВОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2002 года — 300 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулочек, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулочек, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулочек, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10 (918)

Октябрь, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР МАКАНИН — Однодневная война, рассказ	7
ЗОЯ ВЕЛИХОВА — Во влажном огне, стихи	21
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Любовь к отеческим гробам, роман. Окончание	24
ВЛАДИМИР КОРОБОВ — Прямая улика, стихи	81
ОЛЕГ БОРУШКО — По щучьему веленью, рассказ	84
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Обрыв дыхания, стихи	94
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Хмель памяти, рассказы	98
ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР — Через тридцать семь лет... Стихи	109

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Panta ghei. Заметки о связи времен	114
ЕВГЕНИЙ РАШКОВСКИЙ — Историк Михаил Гершензон	128

ПОЛЕМИКА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — Абнегистская революция: волевой выбор или перст судьбы?	139
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Облюбование Москвы	148
«ЗОВИ ЗНАКОМЫЙ ОБЛИК МОЙ...» Публикация и предисловие Елены Тахо-Годи	169

ОПЫТЫ

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — После праздника. Заметки на полях журнала «Искусство кино»	171
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

МИР ИСКУССТВА

Борьба за стиль

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Форма и структура в искусстве звука и слова	181
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Майя Кучерская. Погружение в пустоту	189
Валерий Черешня. Своим путем...	192
Светлана Иванова. Летописцу авангарда	194
Михаил Одесский. Поэтика террора и текст Сталина	196
Михаил Эдельштейн. Песнь методологической невинности	202
Александр Соколянский. Человеческое, слишком человеческое	207

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	209
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	216

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	222
Периодика (составитель Андрей Василевский)	225
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА КУШНЕРА
С 65-ЛЕТИЕМ!**

**«НОВЫЙ МИР» В «РУССКОМ ЖУРНАЛЕ»
<http://magazines.russ.ru>**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

ОДНОДНЕВНАЯ ВОЙНА

Рассказ

Едва ли молодая женщина объявится хотя бы еще раз вплоть до финала — ей как-то нет места, не востребована, и потому она легко появляется в начале и сразу, здесь и сейчас. Петербургская таксистка, она и точно молода, улыбочива, энергична, но ей довелось работать как раз в эту ночь. (Хотя, вообще говоря, женщин-таксисток в ночь щадят. Их подменяют.) А с первым же пассажиром пришлось изрядно поплутать по темным и полутемным улицам. Мужчина был один, мрачен и без чемодана, без какой бы ни было вещевой сумки. Но все обошлось. Высадив угрюмца, она катит по пустынной улице. Вокруг никого. Окраина Петербурга.

Она притормозила, заметив фонарь и какие-то три симпатичные елочки, смело растущие рядом с проезжей частью дороги. Это у самого тротуара. И никто не видит. Заглушив мотор и не забыв (опаска!) взять ключи, молодая женщина быстро выходит из машины. И к елочкам.

Улица спит. Только в доме, что напротив, горит одно окно. Там к стеклу прилип старик. И бесцельно смотрит в никуда.

Он и не спал, когда его вдруг разбудили. Его выдернули из той сладкой стариковской дремы, когда в полусне кажется, что вот-вот и уже возвращаются былые силы. Как ждешь!.. Последние эти силы по-ночному невнятные, ускользающие, твои и не твои. И никак не знаешь — не продолжение ли это дремы? Не обманка ли на минуту-две, чтобы подразнить?..

А разбудил его поздний телефонный звонок. Конечно, не следовало в ночное время брать трубку, но дернулся с постели, заторопился рукой и уже взял, и теперь слушаешь в очередной (в сто первый) раз, как хамский неспешный голос говорит:

— А-а. Это ты... Уже СКОРО.

Хохотнув, бросили трубку.

Старик сколько-то еще помедлил, подержал трубку, дослушивая сыплющиеся оттуда хамские гудки, и в свой черед положил трубку на базу. Так теперь говорили — «положить на базу». Раньше, в его время, употребляли некрасивый глагол «повесить».

Можно было снова лечь в постель и, если получится, впасть в живительную дрему. И можно было, укладываясь на правый бок, подумать о своей мягкой постели и о себе самом шутиливо, в третьем лице: старичка, мол, тоже после разговора положили на базу.

Но прежде, пользуясь таким ясным (на недолго) ночным своим сознанием, он подошел к окну. Нынче луна! И приостренным взглядом смотрел на полутемную пустую улицу... Увидел такси. Машина вдруг остановилась, вышла водитель-женщина и шмыгнула в три елочки, что поблизости. Справила там скоренько нужду. Старик не увидел да и не угадал. Он только увидел, как, счастливая, она снова появилась возле своей машины и,

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской обл. Окончил МГУ. Живет в Москве. Постоянный автор журнала «Новый мир»

Из книги «Высокая-высокая луна».

подняв глаза, смотрела. Смотрела весело на дом, что напротив. Конечно, на окна — и на него.

Взгляд ее длился секунду-другую, но старик успел обрадоваться. А она помахала ему рукой. Нас, мол, сейчас двое бодрствующих, ты да я, в этой сонной петербургской ночи. Возможно, своей отмашкой она еще извинялась за елочку и за нужду — бывает! что поделать! Ее ладошка так и сверкнула в свете то ли луны, то ли фонаря.

Петербург мерз уже осенью. Свет, как и тепло, строжайше сэкономили, но возле дома, где старик, всегда горел этот единственный на улице ночной фонарь.

Таксистка уехала, а старик остался за своим окном, радый какому-никакому контакту. Он пребывал здесь что день, что ночь один и взаперти, он был под домашним арестом. Дело в том, что старик был экс-президент.

Когда, минутой позже, сзади ему в ногу уткнулось нечто теплое, он ничуть не испугался: знал, что это сунулась за лаской крепкая морда его сотоварища — его пса. Пес, и никто другой. Не отрываясь пока что от окна, старик рукой потрепал пса по морде, а тот ему ответно коротко и радостно взвыл:

— Уу-ууу.

Эхом (комнатным) в отклик вернулось еще одно «уу-ууу...». Словно бы издалека подвыл нам еще один некий пес — похоже, подумал старик, на заокеанское эхо. Уж очень издалека.

Внизу, на входе в подъезд этого дома, стояли стол, стул, телефон и заодно крепкий мужской душок охраны — там расположился вахтер: если что, он свистнет! А сбоку с открытой, конечно (с распахнутой настезь), дверью комнатка отдыха, где спали еще трое-четверо крепких и, конечно, вооруженных ребят, — молодых и быстрых. Эти свежо прихрапывали. Экс-президент не был с точки зрения охраны хоть как-то опасен. Будь даже свободен, никуда бы не делся. Старик уже не был достаточно подвижен, чтобы слинять.

В сущности, его охранял этот единственный вахтер, тоже старый хер и тоже уже одинокий. Он был мучим легкой бессонницей, и сам напрашивался сидеть здесь ночь напролет: пусть ребята поспят!

Была же песня времен его давней юности (песня его дедов), где высокими до небес голосами выводили так:

пу-уусть солдаты немного поспят...

Они и спали. А вахтер подумывал о том о сем и как бы невзначай об экс-президенте — каково, мол, ему, сторожимому старику, сейчас? При этом ночное его сопереживание никак не обобщалось. Во всех странах так!.. Всеобщее преследование влиятельных стариков (принцип да и двигатель нынешней общественной жизни) казалось старику-вахтеру логичным. Так им, властным, и надо. Всё путем! Чужая беда не обязательно в радость, но беда этих, властных, не зря же почему-то греет нам наши скромные жизни и души. Именно. Мы не экс-президенты, а просто старики. О нас не пишут газеты. Нам преолично в нашей малости. (Если что нас и преследует, то только собственные старческие запахи. Да насмешки, пожалуй, наших шустрых внуков, считающих, что мы уже воняем...) А этот сторожимый старик получил по заслугам. В конце концов, разве не живой человек — и разве, забравшийся наверх и такой всем известный, не насобирал он по жизни разных грешков?..

На столь сурово-справедливой, но отнюдь не участливой и не развернувшейся к самому себе (пока что), мысли вахтер впал в вялотекущую ночную нирвану. Не сон — но покой.

Покой старика-вахтера, как покой и сон многих вахтеров, привычно держался всего-то на двух крепких китах: пока он здесь сторож, ему есть хлеб и тепло, дом отапливается — это во-первых! И еще одно успокоительное, какое он принимал ежедневно. Какое он каждый вечер нет-нет и пил (черпая) из телевидения... Это касалось мира. Даже после Однодневного всеобщего помешательства у нас, у русских, осталось еще кое-что. Осталось сколько-то, ну, так, *на всяк случай*, знаменитых ракет СС-очко.

Модернизированная кассетная СС-21, в просторечии *СС-очко*, и впрямь кого хочешь могла успокоить. Ее хорошо знали. Едва взлетев в сторону предполагаемого врага, ракета как бы играючи делилась на десять. Был и баллистический сюрприз: вместе с «горячей десяткой» боевых, из того же самораскрывающегося гнезда вылетали на волю еще ровно сорок ничем не начиненных и легких ракет-болванок. Пустые ракеты так и звали «пустышками». Именно из-за «пустышек», поскольку в полете от самонаводящихся боевых никак не отличимы, число ракет (которые перехватывать!) возрастало до пятидесяти: 10+40.

С пещерных дней мы побаивались удара свыше: грома и молнии, затем Божьей кары, а теперь еще и ракеты! С пещерных дней всюду, где ни выступ, суём и крепим маленькие свои штыри-громоотводы. Молитва — чудный щит, из крепких, но не одной же молитвой живы нынешние. И потому (не только в связи с СС-очко, но, кажется, с нее началось) возник глобальный и всем известный блестящий проект: повесить над Землей тысячу спутников, которые уследят и упредят любые размножающиеся в воздухе ракеты... Общий проект — для всеобщего спокойствия. Это ли не главное? Это ли не громоотвод для нашей разросшейся пещеры? Это ли

не цель желанная?.. —

цитировала великого поэта одна из газет в те дни. И заканчивался пещерный пассаж тем, что чувство причастности к миру, вернее *к деланию мира*, охватило наконец все навоевавшиеся народы без исключения.

Развешивалась в небе долго лишь первая сотня спутников, затем вторая, третья... уже динамичная пятая, седьмая — впечатляюще! (Даже зрелищно. Мы все с хорошим воображением.) Было похоже на грандиозные новогодние приготовления, когда, перебирая ветку за веткой, подвешивают на елку золотистые лампы-шары. Еще и по углам комнаты — и на сам потолок! — и даже (вот баловство!) на комнатные растения. Последние шарики развешивают там и тут, где попало, после чего разом включают свет — а теперь смотрите!.. Лазерный свет спутников, сотня за сотней, включался (смотрите!..), чтобы контролировать случайный взлет своих ли, чужих ли — чьих бы то ни было самонаводящихся ракет. Старики-вахтеры всего мира могли спокойно себе подремывать. И хорошо. И пусть их!.. А что еще есть у стариков (когда свое по жизни отработали), кроме ночных дежурств, болезней и назойливой мысли о безопасности отечества?

Развешивалась последняя, десятая сотня спутников, когда в России, уже, казалось, устоявшейся и привычно европейской, вдруг конфликт. Религиозные трения, констатировали газеты, тем и вечны, что их искры поддувает ветерком истории. Всегда сыщется горстка неостывшего пепла.

В пестрой России это могли быть татары, башкиры, чеченцы, черкесы... Так что было случайностью, что именно татары... что федеральные чиновники, занимаясь нужными, но мелкими хозяйственными делами, умудрились крепко задеть (газеты так и писали: *оскорбить*) религиозные чувства татар, а не кого-то, скажем, других. Но так получилось. Колесики Истории в таких случаях «на чуть» поворачиваются сами. А первыми лас-

точками стали волнения молодежи в столице Татарстана, когда казанские студенты, повязав зеленые исламские повязки, собирались там и тут на сходки, сидели на трамвайных, на троллейбусных путях и вдруг среди бела дня перекрыли железную дорогу поезду Казань — Москва. Студентов так и звали «зеленые ласточки».

Университетские начальники (еще «на чуть») распорядились не лучшим образом, призвав и пустив в ход милицию. *Когда неверующие агрессивны, верующие, слава Аллаху, воинственны.* Это подтвердили тысячные толпы на площади и страсти ночного пожара (на другой день) в самой старой, в старинной мечети города. Пожар наверняка был случаен, но История в особенности любит случай. И так непоправимо совпало, что российский президент отсутствовал: вылетел в эти дни на зарубежный саммит. Группка же его заместителей, руководя из Москвы и явно растерявшись, ввела наспех в Казань армейские части. Вползли танки... Все стало узнаваемым. Узнаваемое — стало родным... Стрельба по крышам, по открытым окнам. Залпы... Студенты сжигали танки и самосжигались. Снимки газет и кровавые картинки ТВ облетели мир. Мир качнулся... зашатался...

Шел XXI век, но и ему, XXI, как и всем предыдущим, недоставало положительного опыта. Знали — *как не надо...* Запад — через решение ООН — требовал от России незамедлительно: танки из Казани вывести. Вместо них войдут международные армейские части. Международные войска (это обещалось) будут нейтральны в делящемся национально-религиозном конфликте. Знакомо подключился Гаагский трибунал. Русские в западе еще более знакомо посоветовали не вмешиваться в их внутренние дела. Колесики Истории этого, собственно, и ждали. Колесики затаились. (Им бы только еще «на чуть» повернуться!) Добрая воля и стойкость (или нестойкость) этой воли в нас — две независимые, увы, друг от друга вещи.

Запад колебался — вправе или не вправе он теперь наказывать русских, заставив их выполнить резолюцию ООН — решение как-никак мирового сообщества! Запад мог, скажем, нанести ровно один удар ракетами, если сделать это с умом и строго прицельно — разрушая экономику, но шадя население. Как писала после английская «Гардиан», столкнулись два опыта. У России в опыте Чечня (аналог Татарстана), а у Запада имелся замечательный (и тоже победный!) югославский опыт — Запад знал как и что. Следовало сверхточными ударами обескровить экономику противостоящей страны, лишая ее нефте- и газопроводов, заводов, мостов, электростанций, шахт и проч. Следовало наказывать, не объявляя войны. Страна перетерпит — к власти придет оппозиция.

Тем вернее, что энергетика России «растянута» в земных пределах и слишком похожа на летние и легкие тянущиеся паутинки. Как примета, летние паутинки обещают хорошую погоду. После первых же точных ударов по газопроводам и нефтяным коммуникациям Россия (в преддверии зимы) окажется энергетически разрушенной и стоящей на коленях, а переминаясь на коленях, ни человек, ни государство говорить «нет» долго не сможет.

Система «тысячи спутников» к этим дням была уже развернута.

Была, разумеется, проанализирована и ответная атака дьявольских СС-21. Ракеты-перехватчики наготове. В самом лучшем случае со стороны русских взлетят неуничтоженными лишь ПОЛТОРЫ РАКЕТЫ. Но половинками ракеты прицельно не летают (значит, ОДНА).

Взлетит боевая одна — все остальные ракеты будут перехвачены и перебиты, притом что взрывное сотрясение воздуха в момент перехвата будет столь мощным, что единственная эта летящая боевая ракета также неминуемо собьется с курса. Ракета-дурачок! Она будет болтаться в воздухе. Шутиха! Свободный полет едва ли мог принести ее в Европу или в Азию,

скорее всего в необозримый Тихий океан. Кстати, она могла шлепнуться и на собственную непроглядную таежно-сибирскую территорию. Чего же лучше? Чего же еще?..

Страшные ошибки всегда очень просты и человечны.

Кто мог подумать, что российских полковников (их национальную лень) так раздражало после каждого очередного испытания СС-21 собирать по полям и лесам свои «пустые» ракеты. С ума сойти! Эти здоровенные металлические болванки, покореженные и помятые, не могли быть заново использованы. (Громадные уродины годились только в переплавку.) И вот с какого-то момента вояки (скрытно от родного министерства) в три раза сократили количество взлетающих «пустышек». После испытаний они, само собой, подправляли свою лень (свой человеческий фактор) арифметикой — все итоговые числа испытаний просто умножались на «три».

Разведка многократно доносила, что русские умножают отчетные цифры на фиксированное число «три», однако на Западе понималось (фактор на фактор) только так, что русские раздувают успех своих стрельб. Просто-напросто хотят выглядеть посильнее и пострашнее, чем они есть. Что, в общем, свойственно всякому индивиду и всякой стране, если они опасаются нацеленного первого удара.

Удар НАТО и ответный удар русских были, в сущности, одновременны, различаясь лишь одним мигом. Война началась — и война уже прошла. Как написала французская «Монд», доля секунды меж взлетом нападавших ракет и ракет ответных была столь мала, что, если бы не ход событий, нельзя было бы даже сказать, кто ударил первым.

Журналист позволил себе популярное сравнение: противостояние ракет (до атаки) напомнило ему встречу на скате крыши двух агрессивных котов, когда те одновременно становятся в великолепную позу «чертом», горбом выгибая спину. Шерсть в таком ответственном случае котяра ставит дыбом, чтобы кот-противник принял этот взбесившийся волосяной покров за сверхмощные мышцы. И чтобы, глядишь, испугался.

Ракеты, готовые к взлету, пояснял далее журналист, как раз и вздыбились над Землей как пугающий распрямившийся волосяной покров. Но у людей (небо — их крыша) умножение на «три», как бы мифическое, оказалось реальностью.

Не были сбиты и долетели не *полторы ракеты* (что справедливо значило бы ОДНА, половинками ракеты не летают), а *четыре с половиной* (что значило ТРИ).

На этом ракетная перестрелка тотчас прекратилась. День войны кончился — и уже к вечеру война получилась однодневной.

Что такое огромная «растянутая» Россия с ее долгой-долгой зимой, оставшаяся разом без энергоресурсов, трудно даже представить. Случившееся не было, быть может, катастрофой, но не было и жизнью. Россию отбросило «от нефти, газа и угля — к дровам», из третьего тысячелетия — в первое.

А ракеты, вот удивительно, еще оставались.

Не хотел воевать дальше и Запад. Громко крича и стеная, вышли из НАТО французы. Лидеру не прощают. Европа не переставала пенять американцам, хотя ответный удар принес Америке вред куда больший.

Одна из неперехваченных русских ракет, как и предполагалось, случайным (болтающимся) образом угодила в Тихий океан. Всплеснула где-то там водную гладь.

Вторая — кривым манером залетела в Европу, а именно в нейтральную Швейцарию, по счастью, в самые Альпы, снеся там всего-то пяток чистеньких деревушек. Супермощная, она лишила жизни всего лишь неполную тысячу жителей и еще около тысячи красивых заезжих лыжников.

И лишь третья (последняя из «счастливо» проскочивших) достигла Америки, разом уничтожив почти половину города Чикаго. Два миллиона людей. Ракета как замороженная летела по-над самой американской береговой линией, по какой-то неведомой причине только тут разделяясь и разбрасывая свои взрывающиеся куски куда придется, но в сторону моря. А один из этих самонаводящихся кусков вдруг свернул на Чикаго.

Эту третью ракету, отличая от других, назвали «сумасшедшей», хотя, по логике ракет, более всех сумасшедшей была первая, слегка всплеснувшая Тихий.

Таков ущерб. (*Данные по информации Франс Пресс.*) Плюс, конечно, оставшаяся без газа и нефти, замерзающая Россия.

Потрясенные чикагской бедой американцы винили своего лидера — своего президента. Запустив процедуру импичмента, честные налогоплательщики всех возрастов повторяли на страницах газет и на телеэкранах:

— Как он мог!.. Как он мог!

От руководства страной его вскоре же отстранили. Теперь он был экс-президент.

Мало того — торопились отдать под суд. Штат за штатом собирали по всей Америке необходимое (так было решено) число подписей. Судить! судить!.. Война в один день длиной не могла изменить людей — изменить давно сложившуюся их общность. А, как утверждают злюки философы, главным рычагом сложившейся демократии (рычаг рычага) являлось и является преследование говорливых стариков в конце их пути.

Что там ни говори, это единственная (на земле) замена Божьего Суда — на ему равный.

Судили Пиночета, судили Хонеккера, судили Ким Да-Да и Ким Нет-Нет, старичок за старичком, кого только не загоняли в угол! Без сантиментов (с холодком высокой строгости) телеэкран засвидетельствовал всему миру их жалкие лица. Всё это ради нас. Тиражировать повсюду раздвоенность (смотрите же! смотрите!) очередного судимого старика — не в этом ли наше скромное гражданское торжество? и не в этом ли, если уж всерьез, она, наша ежедневная (ежевечерняя) духовная пища?.. И почему это — не молитва? Кроткая боязливая наша молитва о будущем (за самих себя) — молитва на ночь глядя перед голубящейся свечечкой телеэкрана. Мы просто люди, а ТВ — наша скромная церковь. Мы входим на коленках в телеэкран и молимся.

Судили даже бывшего канцлера Коля! Немец-номер-один, толстяк, как славно он надувал щеки! — его случаем не засудили, но все-таки потрепали неплохо. Пожалуй, что поспешили. Чуть-чуть с ним поторопились — и потому упустили. Главное в деле осуждения (и это нельзя забывать) — дожидаться стариковской беспомощности. Зачем терзать пузана? Кому интересны его надутые щеки?.. А вот терпеливо дожидаться его слабости, дряхлости — показать его немощность — и (ага, жалкий!) тотчас судить! Момент истины это момент дряхлости. Иначе самая из истин истина — не в справедливость. (И, признаемся, не в кайф.)

Важно уяснить до конца. Ведь именно больной *его* взгляд всем нам нужен. Нужна слюнявая текучка рта... Адвокаты... Родственники... Бомжи с плакатами — это-то все и есть процедура, она нас, припавших к экрану, завораживает — ритуал. *Его*, когда-то властного, везут (под вопли толпы) в каталке! Хотя бы раз, в выходной день (к вечеру) нам это необходимо — вздохнуть и душу отвести, понаблюдав...

В Варшаве городской сумасшедший бегал по улице с обновленным монологом. (Узнав, что собрались судить Ярузельского.) «Панове! Это липа!.. Мы преследуем раз от раза ненастоящих. А приглядитесь к ним, панове — сразу же видно! Человеки липовые — диктаторы ненастоящие. Ни то ни се. *Настоящих-то мы любили...*»

Конечно, некоторые умники считают, что преследование стариков в конце их пути — это лишь отыгрыш, мелочной реванш толпы, у которой маловато, увы, оказалось радостей в жизни. Но тем самым (невольно, а то и вольно) умники защищают этих гадких властных стариков. Умники никогда не признавали величие и красоту *процедуры*, что с них взять! Им подавай кантовскую этику долга и звезд. А где она? В жопе она. Нет ее.

Но мы-то научились подойти к справедливости с другого конца — с земного. Мы знаем, что надо знать. Она (истина) проста. Вот она. Кто бы нами ни правил, он безусловно скот. *И наконец-то он получил по заслугам.*

Замерзающие там и тут (в России) люди тоже отстранили своего лидера от президентства. Пора было и его брать за бока. Но Россия в Однодневной войне, хотя и с разницей в секунду, оказалась защищающейся стороной. Так что проще и всем понятнее было продолжить преследование экс-президента Р (российского, эр, так для отличия его звали в газетах) за танки и за пролитую в Казани кровь. Тут уж было не отвертеться.

Экс-президент А (американский), старея, стал совсем одинок, если не считать любимой собаки.

Жена умерла, а дети давно разъехались кто куда по дорогам Америки. Дети (уже взрослые) хочешь не хочешь отчуждились: кому понравится, когда родного отца, что ни день, полощут в газетах. Но особенно доставало проклятое ТВ, где в ожидании судилища неостановимо лгали, а уж как злословили!

Зато собака экс-президента А газет не читала и голубую жижу ТВ не нюхала. Собаку звали Иван. Так уж было принято — крупных сильных собак звать популярными именами из чужих и отчасти противостоящих стран. Считалось, что Иван самое популярное имя в России.

Экс-президент А (американский) едва прикоснулся к принесенному ему завтраку. Также и с газетами: проглядев свежие заголовки, читать и не подумал. Зато он с удовольствием опустился на пол, боролся там с сильной собакой, чесал ей за ухом. Они валялись на толстом ковре, и стареющий экс-президент говорил с легкой горечью:

— Нас двое, Иван. Ты да я — больше никого.

Но в его голосе слышалось и сколько-то счастья. Собака стала уже родным существом. Она все понимала.

Если не считать долгой (и похожей на счастье) игры с собакой, экс-президент А с утра был занят делом, для него неприятным: он должен был на час-другой озаботиться своим будущим. Этого так не хотелось! (Не хотелось и самого будущего. Черт бы с ним!..)

Но вот пришли его люди, остатки его бывлой команды, вся битая королевская рать. Вместе с экс-президентом (кофе, мороженое и немного виски) эти люди повели долгую и, прямо сказать, трудную беседу о том, как притормозить нависший Суд. Трудная беседа была ежедневной. Отменить судилище конечно же невозможно, как невозможно, скажем, отменить саму демократию. Ну, а притормозить?.. Оттянуть процедуру-процесс, застопорить, сделать ее вялой и невыносимо долгой (и пусть даже невыносимо мучительной) — это стояло на повестке дня; именно это сейчас казалось для всех них жизненной необходимостью — и шансом.

Команда профессиональна и невелика, но и она, дабы быть деятельной, нуждалась в изрядной финансовой подпитке. Деньги, собранные в течение жизни экс-президентом А, уходили теперь в их верные руки, в их карманы и — рассредоточиваясь — в те «ямки», которые они этими руками рыли на пути наезжающего Суда.

Кончающиеся деньги напоминали тающее во рту мороженое. Деньги напоминали кофе на самом дне чашки. Покончив с беседой (с мороженым, с кофе и с виски), верные люди к середине дня разошлись.

У изголовья экс-президента остался лежать электронный компьютер-калькулятор с розовым экраном, изображавшим как кривую его жизни, так и кривую его денег. Обе кривые были по времени спрогнозированы. Обе кривые ежесекундно падали вниз, кто скорее. Такой же калькулятор для удобства (чтобы не искать) валялся на его столе. И на ковре, рядом с собакой, валялся еще один.

— Что же ты хочешь! Кончатся деньги — начнется Суд. Но произойдет ли это, Иван, в мои семьдесят... или в семьдесят пять? — задавал вопросы экс-президент, улегшись опять на ковре и выдергивая из него, как из огромной ромашки, седые ворсинки.

На что Иван лишь чутко повел носом в сторону окон (в сторону отверстий непостижимого компьютерно-калькуляторного мира).

На другой стороне земного шара экс-президент Р (российский) тоже к этим дням стал стар и одинок. Жена, по состоянию здоровья, должна была жить в Крыму, где сам воздух наполнен йодистыми испарениями и (важно!) где не так мерзнешь. Взрослые два их сына уехали, выбрав себе где-то на Урале маленький российский город, завели там каждый свою семью и тоже старались жить так, чтобы унаследованная фамилия как можно меньше напоминала об их отце.

Иногда сыновья виделись в субботу-воскресенье; встречаясь, шумно выпивали и шумно (но не слишком) сетовали меж собой на неблагодарных соотечественников:

— Они (люди) забыли все хорошее, что отец им сделал.

Или так:

— Они (люди) припомнили каждый букет цветов, который когда-то сами ему поднесли.

Но что сетовать на людей и что рвать сыновнее сердце, если из века в век они (люди) не умели думать без причинно-следственной увязки событий. Если они (люди) в простоте своей ставили теперь в вину экс-президенту все, как есть, беды России, но прежде всего — утраченные линии электропередач, нефть и газ.

Суд Гаагский — хер голландский!.. Их (людей, соотечественников) тешило и забавляло, даже интриговало, что над бывшим их президентом навис этот Гаагский трибунал, как бы игрушечный, однако все более и более цепкий — и все настойчивее обвинявший его во введенных когда-то в Казань танках. Величие самодвижущейся процедуры! Прошло уже полтора десятка лет, сменились еще два российских президента, но Гаагский трибунал, год за годом в трудах, собирал и нарабатывал новые подтверждения той старой вины. Дело обернулось жестко и всерьез. Пришли наконец (обычной почтой) и первые вызовы экс-президента Р на допрос.

Россия чего-то смутно ждала и пока что не выдавала его в Гаагу, однако на всякий случай экс-президент был теперь под домашним арестом и уже не мог выезжать за пределы Петербурга. Ожидалось (официально), когда в трудолюбивой Гааге соберут все неопровержимые факты. Но еще больше (и все это знали) ожидалось, когда экс-президент станет дряхлым.

У экс-президента Р не было больших денег, тающих теперь, как мороженое или как выставленное дармовое виски. Однако и у него была кой-какая команда. Несколько приверженцев считали его великим человеком, старавшимся вернуть нации ее величие. Эти горячие его приверженцы были малочисленны — и, конечно, бедны. Но что наше, то наше — они могли часами звонить экс-президенту, скажем, после завтрака, и приободрять его.

А завтракал российский экс-президент в полном одиночестве, если не считать пса Джека. Как водится в России, псу давали распространенное американское или немецкое имя. Противостояние жило безликим фантомом. Американское имя или немецкое — зависело от исторического момента.

Завтрак экс-президенту приносили прямо к его столу, поскольку сам выйти из дома в магазин или в булочную он права не имел. Он пил чай с молоком, а из утренней еды были две легкие булочки, сыр и колбаса. Бывший спортсмен, экс-президент поутру ограничивал себя в мясе. Съедал булочку и сыр, а колбасу кусочек за кусочком скармливал Джеку.

Как и многие стареющие мужчины, он запросто болтал со своим псом: — Много ли радости, Джек, бороться с излишним холестерином?!

Джек не ответил, но в прыжке поймал и сглотнул последний кусочек колбаски.

— А меня уже и безделье не угнетает, Джек!

Подачки не было, и пес, не загрузивший едой пасть, мог поддержать общение. Он радостно взвыл:

— Уу-уу!

Экс-президент протянул к его голове руку и чесал, чесал Джеку за ухом.

Экс-президент Р ожидал Гаагского трибунала, а экс-президент А (американский) — Высшего суда своей собственной страны. Оба посылно сопротивлялись. И не считали себя виновными. И оба, из газет и ТВ, знали, конечно, разные подробности друг о друге.

Их стариковские будни оживлял своеобразный род любопытства: кто из них двоих попадет и поплатится раньше — кто первый угодит судьям в пасть?.. Как-никак их имена были навечно связаны Историей, ее Однодневной войной, вина была как бы общей, но каждому предъявлен отдельный счет — так кто виноватее?.. Вопрос, конечно, пустой и разве что спортивный: ни тот, ни другой не надеялись себя обелить. По обе стороны океана великая процедура пустила по их следам неспешные и откормленные яростью своры — но кого уже завтра достанет гон, кого прихватят с *лаем-с визгом* зубами за тощую стариковскую ляжку?..

Если первым попадет под суд российский экс-президент — сможет ли американский экс почувствовать себя сколько-то оправданным? (Нет, конечно. Увы. Недолгое заблуждение.) И в точности то же, если наоборот... А все же не хотелось, чтобы тебя осудили первым. Так что косвенным образом экс-президенты вновь соперничали. Оба думали об этом с улыбкой. Оба отлично понимали, какая это ерунда... и какая мелочь! Но человеческая жизнь (жизнь старика тем заметнее) как раз и складывается не из важного — из мелочей.

Оба ждали... Каждый вдруг вспомнил о здоровье. Важно было не одряхлеть и продержаться как можно дольше.

Гаагский трибунал добыл наконец столь необходимые ему сведения о том, что в дни волнений в Казани тогдашний российский президент, участвовавший в зарубежном саммите, трижды звонил в Москву. Нашлись (за деньги) некие спецслужбы, текстуально не записавшие, но честно зафиксировавшие сами факты телефонных разговоров — день, час, даже поминутно! Российский президент говорил... А о чем в те дни он мог говорить с Кремлем, если не о Казани?.. А что еще он мог предложить своим властным помощникам, если следом за теми негласными переговорами они ввели танки?

И как по команде ведущие газеты мира вновь запестрели (заалели) фотографиями Казани — с оранжевыми подсолнухами пылающих на улице танков. И с красными бутонами самосжигающихся студентов...

На что, удар на удар, экс-президент Р (правильнее сказать, фотограф его команды) ответил незамедлительно. Не столь, может быть, яркими, но тоже достаточно «боевыми» фотоснимками.

Приверженцы российского экс-президента, те самые трое или четверо, уже загодя присмотрели ему обычную однокомнатную квартиру в том же

петербургском доме. (В охраняемом подъезде дома, увы, им не удалось. Но рядом.) Небогатые, они в складчину сняли эту квартирку на срок, с тем чтобы российский экс занимался там любимым в молодые годы спортом — восточной борьбой. Там и обустроили своего рода крохотный спортзал с татами — раз в неделю, по вторникам. Верные люди старались этим его взбодрить, напоминая о былых днях. Один из верных согласился быть «куклой», вялым спарринг-партнером, которого экс-президент, стоя на татами, швырял бы через бедро. Бросок (это все знали) когда-то у экса получался неплохо, но теперь верному человеку приходилось по большей части самому нырять головой вперед. Выбрав минуту (подинамичнее!), он сам вдруг сигал рыбкой через бедро ослабевшего борца. Верный человек рисковал каждый вторник сломать себе шею.

После тренинга экс был так слаб, что его увозили из зала на инвалидной коляске. Уход с татами (увоз) совершался с предосторожностями и с постоянной оглядкой, дабы не выследила ненасытная пресса. Тренинг заканчивался, когда на улице густо смеркалось. Перевозя на коляске (самой обычной) из подъезда в подъезд, экс-президента одевали, а лучше сказать, закутывали в серый, неброский плащ с большим нависающим на его лицо капюшоном.

Газеты только и ждали, чтобы в картинках запечатлеть уже дряхлого, но еще живого — миллионы людей должны сами увидеть, насколько их жизнь (жизнь миллионов) сильнее всякого, кто был над ними.

Катят в Суд на инвалидной коляске!.. это всегда вызывало и будет вызывать у зрителей ТВ волшебное чувство удовлетворения. Пусть его катят. Пусть так и едет, боясь уписаться. Отлично, если у него к тому же тик!.. Трясется еще и вставной глаз от страха. Неплохо! А вот и слюнка, родная, свисает изо рта прямо на плед, в который старик закутан охраной (из жалости)... А уже с пледа — серебристой ниточкой на пол.

Зато верные люди, трое или четверо, распространяли те самые фотографии, где стареющий экс-президент, стоя в боевой позе, запросто швырял через татами нехилого мужика. Впечатляло. Мужик, с остекленевшими зрачками, летел куда-то в далекий угол. Газеты картинку брали, но неохотно. Читателей такие фотографии только раздражали — жизнь коротка, сколько же можно листать газеты и ждать справедливости, откладывая вновь и вновь!

Гаагский суд после растиражированных двух-трех таких фото притормаживал процессуальный разбег. Судьи разводили руками. Конечно, российский экс никуда не денется — Время и Демократию никому не остановить, не умолить. Однако следовало все же выждать, пока этот чумовой перестанет разбрасывать по углам своих спаррингов. Надо же так! Подпись под одной из победных фотографий российского экс-президента, как бы запросто зазывая дурачка читателя на татами, вопрошала:

— Кто следующий?

В затыжном биологическом поединке со временем (и в заочном поединке с российским эксом) американский экс тоже использовал фотокартинки в газетах, но еще эффективнее — на ТВ. Техасские его друзья (тоже уже малочисленные, последние) устроили так, что экс-президент, надвинув на лоб ковбойскую шляпу, вихрем промчался на лошади по самой пыльной из местных дорог. Это было в полумиле от всех любопытных. Сам по себе усидеть на движущейся лошадке он уже не мог. Но из парашютных тросов был сделан на заказ надежный корсет-поддержка — от седла и до самой подмышки седока с левой стороны, а снимали скачку, разумеется, справа — видеокамерой и на фото.

Экс-президент проскакал по времени около десяти минут, из которых две выглядел вполне сносно. После чего, правда, он сразу отключился. Он

не рухнул только потому, что был намертво привязан. Его осторожно сняли, несли на руках до машины — и дома тоже весь день сдували с него пылинки. Весь этот день, день следующий и еще полдня сверх он был в отключке, друзей не узнавал и сидел в кресле с открытым ртом.

Однако две минуты его лихой техасской скачки обошли телевизионные экраны всего мира.

Этого было достаточно, чтобы притормозить Суд, приостановив, в частности, подсчет голосов в штатах, соседствующих с Чикаго, штат Иллинойс. Адвокат экс-президента, выступив публично (сразу после кадров на мчащейся вспененной лошади), сумел использовать тот факт, что голоса «за» и «против» отсортировывались специальной электронно-счетной машиной. Адвокат настаивал на пересчете голосов вручную. Это честнее. Это более человечно. Когда речь *о нашем парне*, который скачет, откинувшись в седле и небрежной рукой удерживая поводья...

А ведь в некоторых из этих штатов сгорали от нетерпения его засудить.

Но и ручной пересчет адвокат нацеливался затем оспорить, заявляя отводы, одному-другому-третьему из бригады счетчиков... Адвокат (на этот раз обратный ход!) выявит ненадежный человеческий фактор. Он подчеркнет пристрастность пересчитывающих вручную. Сомнительный счетчик? — да вот он! Чья мать или отец (чья невеста!) погибли сразу же при взрыве той «сумасшедшей» ракеты — мог ли этот человек, этот подсчитывающий, беспристрастно раскладывать по тарелкам «за» и «против»?..

Войну к этому времени уже называли «однодневным недоразумением», «случайностью», «исторической запятой» и тому подобным. Урок — это то, что надо по-быстрому забыть. А из Чикаго, из соседних штатов люди все еще бежали на восток или на запад Америки, лишь бы подальше от взрывных выбросов стронция и обогащенного урана.

Мир им сочувствовал. Американцев звали к себе счастливо отделавшиеся европейцы, шведы, немцы, испанцы. Звали к себе замерзающие русские. Их тотальный холод (даже в районах Сибири) был предпочтительнее скоротечного белокровия. Те, кто по той или иной причине не мог позвать чикагцев к себе домой, сочувствовали добрым словом — присылали им множество теплых писем и телеграмм, с тем чтобы люди в беде не пали духом. Больше всего сочувственных писем прислали из Хиросимы.

И совсем другие письма (потешные, издевательские, из каждого штата) получал их экс-президент. Все американцы помнили этот веселый адрес: *техасцу, не умеющему умножать на «три»*. Даже школьники знали его дурацкий промах.

Не фигу было и связываться с русскими, если у тебя с арифметикой совсем плохо.

Что в далекой Европе, что в Африке дети в школах, едва усвоив, как умножать на «два», и переходя к умножению на «три», начинали хихикать. Зная наперед, что сейчас учитель закрепит урок свежайшим историческим примером.

Его, президента, завесившего полнеба чуткими сторожащими спутниками, сочли авантюристом! Его, не спавшего ночь за ночью в то тревожное время, считали беспечным — и повинным в гибели... Или им невдомек, что его решения и его воля — это их решения и это их (и ничья иная!) воля. Они (люди, соотечественники) не хотели даже минуты подумывать, развернув столь простую мысль в сторону правды — в свою сторону! Зато хотели судить. Они хотели судить без промедления и тотчас, едва он станет жалким слюнявым стариком. Ату его! Они уже загодя пьянели от преследования — от резвого, после отмашки, гона! Пожизненное заключение экс-президента уже сейчас считалось недостаточным. Кто-то подчисли-

тывал, что ему дадут 215 лет тюрьмы, кто-то обещал, что он получит 332... Они смаковали эти цифры, им было мало... Маловато им было.

Иногда ему звонили (среди ночи) и запросто кричали в трубку о неминуемом судилище:

— Уже скоро!

Иногда его вроде как просили дать справку:

— Эй, приятель. Это ты?.. Скажи-ка, а где сейчас пол-Чикаго?

Речь шла, понятно, о той половине многомиллионного города, что погибла в Однодневной войне. Она погибла мгновенно, за две или три секунды.

Вопрос «где?» был чистой риторикой. Хотя некоторые религиозные люди все еще вкладывали в вопрос тот смысл, что чудовищным разрушением Чикаго была задана Богу немислимая (для нас) и срочная работа. Каждая отдельная душа — это же для Него так ответственно! Это же в рай... или в ад... Мы-то разберем завалы-обвалы бетонных стен, горы земли и битого кирпича, но справится ли Он, разбирая столь гигантские нравственные завалы погибших вперемешку (и в одно мгновение) миллионов?..

С тех (недавних) пор как философы, а с ними и другие умные мужи догадались, что Время ввели сами люди и что Время — это лишь придуманное очень практичное удобство (чтобы уметь сравнивать) — с тех самых пор Время это просто время. Тик-так. Тик-так. Потому-то всякая трудная мысль так успешно подменяется теперь набором правил и прав — отлаженностью и пошаговой неумолимостью Процедуры. Какой смысл человечеству ждать, чтобы рассудило (или осудило) Время — нет и нет, пусть уж рассудит (осудит) просто время, просто день... туда-сюда месяц... пусть даже год или пять. Тик-так. Своего дождемся...

Так рассуждал, огорчаясь, старик-вахтер, — тот самый, сидевший на входе в подъезд петербургского дома, где стерегли российского экс-президента. Бывший питерский инженер (когда-тошний, давным-давно), вахтер на своей нынешней ночной работе зевал, скучал, но ведь не мерз!.. и, стравливая бессонницу, думал *от нечего делать* о Времени... о сторожимом экс-президенте... о том, как загоняют стариков (наконец-то его мысль развернулась!).

Почему, рассуждал он в тишине ночи, почему эта травля так припахивает мне духовной мертвечиной?.. Да, да, хороший наивный вопрос (когда в России вымерзают целые кварталы домов!). Именно сейчас этот вопрос... Именно сейчас. Малоодаренные, кичащиеся, глумливые и бессердечные, чему они, сутяги нынешние, так суетно рады? И почему я, старик, не ценя, не любя их — принимаю их всерьез? Почему, доверчивый, так охотно забегая вперед в общее с ними будущее?..

Он сплюнул в угол. Старики ворчливы и редко довольны настоящим.

— Кто следующий? — те же вопрошающие слова под газетной фотографией были на этот раз намекающе ядовиты.

Из Санкт-Петербурга, веером расходясь, вновь полетели по всему свету газеты, а в них — снимки, изображавшие российского экс-президента. Но экс уже не был в боевом кимоно на татами. Его фигуру не подпоясывал знаковый черный пояс. И он никого не бросал с легкостью через бедро. На этот раз российский экс-президент сидел в инвалидной коляске — отключившийся, с характерно затуманенными глазами и полуоткрытым ртом. А кто-то из верных людей нервно и с натугой толкал коляску вперед, поспешая скрыться в подъезде.

Кто-то из этих верных не уследил: когда в очередной вторник из маленького спортзала-квартиры экс-президента (и экс-борца), как обычно, увозили домой, капюшон его вдруг откинулся — дряхленький старичок

стал на виду весь как есть. Возможно, капюшон просто сбросило ветерком. Но, возможно, кто-то из окружения поддался на деньги и «случайно» отвел капюшон рукой. Кого-то купили. Не зря же в кустах возле дома возник фоторепортер. И у самого подъезда еще двое шустрых со вспышками. Сработали чьи-то лишние деньги. (Как сработали они в параллель и в американском случае. Едва только сдают старика, появляются и рядом фигурируют деньги. Снег зимой.)

Фото ослабевшего российского старичка было повсюду встречено вздохами облегчения, а то и воплями заждавшейся радости. Люди в кафе вскакивали с мест и трясли над головой пачкой газет: наконец-то! Не ушел от нас!.. видите, каков он! пора!.. Гаагский трибунал тотчас назначил дату судебного процесса. Российские власти, как это с ними бывает, всё чего-то смущались. И пока что не решались выдать своего увядшего экса вот так напрямую. Но уже говорили, что у властей есть тихий сговор с кем-то из прибалтов. Те (все еще *натовцы*) готовы выкрасть экса и полностью взять его экстрадицию на свою прохладную совесть. От Петербурга, скажем, до Таллина — это просто рядом. А от Таллина до Гааги хорошим самолетом... ууу-ух! не успеет и кофейку себе спросить!

Все калькуляторы — на столе, на ковре и тот, что у изголовья — показывали американскому экс-президенту, что его честные деньги, отложенные на борьбу со Временем (с надвигающимся Судом) уже на исходе. Деньги кончались. Теперь не составляло труда заплатить кому-то из его окружения больше, чем платил он сам. Кого-то купили. Поначалу подозрение в подкупе пало на старого выпивоху Гарри (один из старинных приятелей), — этот Гарри в обиде застрелился. А тот, другой, кто сдал экс-президента фоторепортерам, уже не медля сбежал в другой штат (и писал там оправдывающие себя мемуары).

Но дела было не поправить. В тот черный вторник (день в день с российским коллегой) при попытке прокатиться верхом американский экс-президент упал — одряхлевший ковбой в первую же минуту свалился с лошади. И точно так же за кустом (рядом!) оказался пройдоха фотограф.

Жалкое, потерянное лицо упавшего американца газетчики находили схожим с отключившимся, жалким лицом российского экс-президента. Позже это совпадение дня (этот черный для обоих вторник) журналисты также называли *Однодневной войной*, — которую оба старика вдруг проиграли.

Американские газеты, больше, чем какие-либо, растиражировали лицо, лишнее жизни. Лицо старика с помутневшим взглядом и раскрытым ртом. В шаге от щиплющей траву тихой лошадки он ронял детские слюнки, а его подымали с земли... а его вели под руки... а его везли в коляске (похожей на российскую) поскорее в дом и в постель.

Теперь и в прежде нейтральных штатах уверенно проголосовали за скорейший над ним суд. Верховный Судья-председатель назначил всеми ожидаемую дату.

Она течет, ночь как ночь, когда американский экс-президент, *положив на базу телефонную трубку с хамским голосом*, решил не огорчаться — и попробовал даже улыбнуться. Почему нет?.. Такая высокая луна! Он подошел (как и его заокеанский визави) к окну и видит легко застывший ночной пейзаж. Эта минута жизни не из плохих. Хорошая минута! Не так уж часто подкидывают с неба мгновения, когда к старикам возвращается их ясный разум и немного сил. Обычно ночью.

На улице — на противоположной стороне — остановилась (он видит) дешевой марки машина, из нее выскочила девица. Это шагах в пятидесяти, даже побольше, но острый стариковский глаз видит все ясно. Оглядевшись и решив, что никого нет, девица забегает за какой-то щит на дороге

и, присев в кустах, исчезает из вида. Вероятно, писает. Девчонке приспичило — бывает!..

Счастливая, она возвращается к машине, и (подняла глаза) прямо на линии ее взгляда желтеет светящееся окно — а там (ага!..) силуэт всматривающегося мужчины. Ночь. Улица спит. На всякий случай девчонка приветливо махнула рукой. Ладонь ее при отмашке сверкнула — ура! ура!

Экс-президент видит (в лунном белом свете), что она молода. Видит, что ее фигура зазывно очерчена. Через завалы старости ему вспоминается нечто, и он произносит самому себе шепотом:

— Трахнуть бы ее сейчас.

Желания сблизиться он ничуть не испытывает, но так научил когда-то его психоаналитик: при виде молодой женщины надо тотчас произнести слова о желании... и как бы на это желание облизнуться! Это молодит мужчину. Это дает силы для борьбы за жизнь. Самому психоаналитику правило не помогло. Он уже умер. Психоаналитику, возможно, просто не повезло, — подумал экс-президент. Или он нечасто видел молодых женщин?..

Старик экс-президент из дружелюбия махнул молодой женщине рукой в ответ. Ее машина тронулась, и за секунду-две темный корпус исчез за срезом окна. Ее нет. Никого больше. Ее нет... Зато есть собака. Экс-президент чувствует, как, стоя чуть сзади и жмясь к его подрагивающей ноге, пес хочет общения.

Не отрываясь от окна, старик заводит левую руку и гладит пса по башке.

— Уу-ууу... Уу-ууу, — взвыл млеющий от ласки товарищ.

Эхо подыграло. И словно бы с другого конца огромного океана (с другого края ночи) донесся радостный вой еще одного пса:

— Уу-ууу.



ЗОЯ ВЕЛИХОВА



ВО ВЛАЖНОМ ОГНЕ

* *
*

Твоего голоса,
Сохранившегося на ленте автоответчика,
Осталось всего лишь на два дня.
Еще только два дня
Будет хранить его бесчувственная машина,
Как и весь мир,
Запрограммированная на разрушение.

Жестокий закон,
Подчиняющий себе без исключения все.
И твой голос на узкой ленте,
Тоже послушный ему,
Исчезнет уже через два дня,
Сотрется,
Оставив дни мои без себя.
Еще только два дня —
И твоего голоса не будет со мной,
И я ничего с этим не смогу поделать.

Песок, текущий сквозь пальцы,
Пропажа, неотвратимость.
Но мне-то как быть...
Как же я останусь тогда без твоего голоса...

* *
*

Было бы жалко проехать
Мимо меня в машине,
Что ты вчера и сделал
В вечерней сырой Вирджинии.

Я, может быть, у небес
Полжизни тот миг просила.
И боковое стекло
Твое лицо отразило.

Тебя привели дела
Сюда из дальнего штата,
И здесь нас с тобой свела
Случайная автострада.

Я даже не удивилась
Той встрече, в срок не поспевшей.
Конечно, это был ты,
Седой и в дым постаревший.

Но медлящий светофор,
Проворно и незаметно
Тебя, как заправский вор,
Украл у меня бесследно.

Быть и не могло иначе.
Былые опять накладки.
Обычный пробой в сюжете.
Со случая взятки гладки.

Диск бесконечной пластинки,
Где нет конца и начала,
Все продолжал вертеться,
И вновь игла заедала.

Но здесь под серпом двурогим
В вечерней размытой саже
Ты хмурым и одиноким
Мне нравился больше даже.

К такому я и привыкла —
Возник и мгновенно скрылся.
Я даже не огорчилась,
Что ты вдали растворился.

Хоть нравиться мне сильнее
Уже и нельзя, казалось.
И я, проезжая дальше,
Над тем слегка рассмеялась.

Флейты Пелопоннеса

О, эти спасительные разговоры о погоде,
Когда жара захлестнула наши отдельные континенты...
Я вдруг позвонила сквозь материки и страны,
И голос растерянный твой у виска вплотную...

Да я и без этого знала, что нет пространства,
Давно поняла, что и времени тоже нету.
Лишь фразы, легко сквозь эфир залетевшие в трубку,
Почти ни о чем и от главного ускользая.

Но ты аналитик и жестко мне так ответишь:
— Пространство и Время? Что в них ты, болтушка, смыслишь?
— Да, смыслю, — скажу, — и побольше, чем вся твоя братья,
Погрызшая в опытах лабораторий пыльных.

— Когда улетел ты на свой материк обратно,
Оставив одних меня и пустой Джорджтаун,
То время споткнулось, мгновенно остановившись,
И вспять повернуло, пространства громаду руша.

Во влажном огне отдельные полушарья,
И дни на моем — с твоими не совпадают.
Но Силы над всем единое повеленье
В расчет не берет Науки твоей законы.

Но ты мне ответишь: — Глупости все и бредни,
Чем чушь городить, опять занялась бы делом.
Ходи на работу, стихи сочиняй, покупкой
Себя развлекай в сверкающем шумном Молле.

Резонный совет и, я бы сказала, мудрый.
Я серьги заметила как-то в витринах «Гэпа».
Куплю. Улыбнусь, положу на ладонь, любясь
Тем взглядом, который живет на античных стелах.

Матрона на них, как всегда, со служанкой верной
В шкатулке любимой разглядывают украшенья.
И в мраморной дымке сквозят тишина и нежность
С задумчивостью, в которой воспоминанья.

Догадка о грусти едва дуновеньем веет.
Вот так же и я взгляну на свою покупку,
И музыка флейт коринфских с Пелопоннеса
Возникнет, как ты велел, в многолюдном Молле.

А после опять, хоть глупости все и бредни,
Нырну в тупики джорджтаунских переулков,
Где бродит двойник твоей ускользнувшей тени.
И строчки о том запишу, чтоб не канули в бездну.

* *
*

Вопли сирен в никуда ниоткуда.
Солнцем над сквером палим,
В позе нирваны джинсовый Будда
Пьет сигаретный дым.

Что улей Столицы Мира сулит мне,
Меняясь сто раз на дню?
В отдельном от всех существуя ритме,
Бреду сквозь бред авеню.

Нью-Йорка яростная утроба,
Безумья и грез обвал.
Мираж стартующего небоскреба —
Приказ взлететь запоздал.

Но вечен вихрь вселенских тусовок
Наций, пространств и дней.
Он ловок в сценах гигантских массовок
Без всяких главных ролей.

Вéка заокеанская Мекка,
Души неприют, разброд.
А тело — втянутая помеха
В энергий круговорот.



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ

Роман

Я еще раз убедился, что любая ситуация у Катки всегда так или иначе подгримирована воображением, погружена в воображаемый контекст. Однако она при этом хитроумно избегает смертельной борьбы фантомов с фактами — она с удивительной непринужденностью упрятывает страшные, грязные, унижительные, безнадежные реалии за величественные, возвышающие символы: Служение, Любовь, Великодушие; но чуть на горизонте замаячат символы разрушительные — Бессмыслица, Бессилие, Безнадежность, — как она тут же с головой уныривает в конкретности — притом такие, которые рисуют нас не совсем уж беспомощными: «Какое счастье, что я тогда настояла им меняться в Ленинград, — представляешь, случилось бы это там!..», «А представляешь, у нас бы еще и денег не было — как у нас с нашим отцом!..».

Но я-то манипулировать фантомами не умею, я могу видеть их только все сразу — и алые, как утренняя заря, и лазурные, как Каткины глаза, и черные, как навеки разинутый рот бесхозной старухи, — поэтому свой М-мир я заклепал семью печатями — я был прост, целеустремлен, монофункционален, как сталь. Покорность реальной силе, вечное «воля ваша» — с этим зонтиком можно пройти не один огненный дождь. И в покорности этой — когда дело шло о деле, а не об обустройстве России — отец мог посостязаться с самой Бабушкой Феней.

В моем далеком детстве я слышал от него длинную производственную историю, удивительно напоминавшую прогрессивную повесть времен «Записок охотника» и «Антоня Горемыки» — барин-самодур, измывающийся над крепостным мастером. Время было суровое — война, и алюминиевые печи работали, как люди, — на пределе сил. И у двух главных печей (или они назывались ваннами?) орудовали два мастера — оба молодые, оба вчерашние вузовцы, только один был еврей, а другой русский, и, стало быть, один умный, а другой доверчивый. Оба валились с ног, но алюминия все равно требовалось в десять, в сто раз больше: фронт погибал без самолетов, почти весь парк которых господа профукали в первые часы войны. И выколачивать из мастеров алюминий был уполномочен особый барин — тело пухлое, белое, крупитчатое, хоть и затянутое в военный китель неизвестного рода войск. А варка алюминия, надо вам сказать, имеет кое-какие общеизвестные секреты — в ванне нужно непременно оставлять некую «незавершенку», иначе потом очень долго придется раскочегаривать снова, так что потери в итоге перекроют одноразовый хапок. Однако барину для отчетности годился хотя бы и одноразовый выплеск: он приехал — и сразу такой прирост! Ну а когда выдача упадет ниже прежнего, виновных можно будет расстрелять за вредительство — и снова отчитаться.

Барин вызвал мастеров в высокую контору: что есть в печи, то на стол мечи! «Никак невозможно», — объясняют мастера. «Запорю!» — топает но-

гами барин. «Воля ваша», — отвечает еврей, убежденный, что господам что-либо доказывать бесполезно. «Вам виднее...» — сдастся русский, питающий святую надежду, что и господа своему отечеству зла не желают. Русский выполняет приказ и после всех перечисленных процедур идет под расстрел. Еврей же, не имеющий за душой ничего святого, на все высокие слова — Родина, Сталин, Приказ — прокручивает свою унылую еврейскую материалистическую шарманку: технологический процесс, технологический процесс, технологический процесс...

Разумеется, барин и сам бы мог распорядиться насчет незавершенки, но в этом случае и ответственность, чего доброго, пала бы на него, а отвечать — дело не господское. Хорошо же, решил барин, мы тебя сейчас окрестим. В проруби! «Воля ваша». — «Окунай его, братцы! Ну что, даешь незавершенку?» — «Рад бы, ваше степенство, да технологический процесс не позволяет». — «Хорошо, погляди-ка еще разок, где раки зимуют!» — «Воля ваша».

Именно в этом роде и разыгралась драма между барином и смердом, с той только разницей, что роль проруби играла передовая. В те дни завод снаряжал регулярные экспедиции на фронт для сбора алюминиевого лома из побывавших в употреблении крыльев и фюзеляжей, и уполномоченный барин постоянно отправлял на этот промысел отца — пока нарастающая на заводе масса брака не начинала перевешивать вину строптивца, осмелившегося бунтовать на коленях, прижимая к груди вместо иконы не «Капитал», не «Вопросы ленинизма», а — о кошунство! — «Справочник металлурга». И тем не менее с этим еврейским писанием отец оказался столь полезен для Советской России, что его отправили в лагерь только после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Там-то, в бассейне реки Лены, он и сделался специалистом по золоту, а также по всему, что блестит.

Ему повезло — сравнительно недолго помахав совковой лопатой на заваливающей план за планом обогатительной фабрике, отец выискал в складированных без употребления химических книг метод управления флотационным процессом, осложненным избыточной — забыл чем: не то щелочью, не то серой. У циклопических флотационных ушат он и познакомился с моей мамой. А затем его карьера на базе карьера и фабрики приняла формы поистине сказочные: там была учреждена «шарашка», которую в числе полусотни прочих курировал в Москве боярин настолько ближний, что подпускал бывшего отцовского барина к ручке лишь по очень большому празднику. За технологическую схему, разработанную при отцовском участии, зеков наградили по-царски, не то что начальство: что такое Сталинская премия в сравнении с досрочным освобождением!

Которое, однако, не помешало в сорок девятом замести отца по новой в качестве заурядного «повторника». На золотой свадьбе я спросил у него, какой день семейной жизни помнится ему самым счастливым, и он ответил без промедления: «Когда вас с мамой довез до Красноярска. Ну все, думаю, вы уже почти у своих, а со мной теперь пусть делают что хотят: тюрьма, лагерь, ссылка...»

Смахивая с лысины очередную пригоршню пота, я снова увидел просветленное отцовское лицо, услышал мечтательный голос, произносивший эти сладостные слова: «тюрьма», «лагерь», «ссылка» — и наконец-то ощутил долгожданную трепетную нежность, нестерпимую жалость и — уж до того палящий стыд за свои злобствования, что душу мою враз отпустила крутившая ее инквизиторская судорога.

И когда — ф-фу!.. — с моих плеч свалилась эта гора, ответственность за Правду, я невесомым поплавром вынырнул из М-мира в разъедающую жару, лишь чуть-чуть поунявшуюся ближе к ночи. Чистый Джекказган... Слава богу, заранее успел назлобствоваться — теперь запросто продержусь

до утра нежным, заботливым, снисходительным... Незаменимая штука — самоудовлетворение, когда нужно сбросить лишнее давление!

Снисходительным... Да тут не снисходительность требуется — благоговение! Пройти сквозь две войны, голод, марксизм с его культом силы и пользы, советское правосудие с его культом «Чего изволите?», тюрьмы с их ежесекундной демонстрацией, что мы ничем не лучше запертой в хлеву скотины, — да не пройти, всю жизнь *идти* сквозь этот торжествующий разгул неодушевленной материи, но так и не увериться, что в мире важна только сила. Что же, как не верность фантомам, и означает быть сверхчеловеком! Да, этот сверхчеловек по-детски жулит в своей жажде выдвинуть любимые мнимости на почетное место, а нелюбимые задвинуть куда-нибудь на задворки, но — внешне покоряясь реальной силе, он упорно живет и живет идеями и призраками!

Мое «я», конечно, будет сильно побогаче отцовского, но его «мы» накроет мое «мы», как какая-нибудь Австралия крошечный тропический островок. Исключая торчащий наружу скалистый и безводный мыс Истины. Как границы нашего тела мы узнаем по той боли, которую нам причиняет столкновение с внешними предметами, так и границы нашего «мы» определяются теми образами, покушение на которые причиняет нам страдания. И в мое «мы» входит только истина — по крайней мере стандартные средства ее отыскания (доводы в пользу неприятного отыскивать тщательнее, чем в пользу приятного). В отцовское же «мы» входят (хотя и очень упрощенно обструганные) образы всех, кто когда-либо жил, живет и будет жить на земле. Его заботят буквально все. Но — только по отдельности. А народ как целое в отцовское «мы» входит лишь один — особенно удобный тем, что его можно вроде как народом и не считать, ибо он очень долго не имел точных (государственных) границ, и если бы он их вдруг ни с того ни с сего не приобрел, можно было бы и дальше делать вид, что привязанность к нему не есть вульгарный гойский патриотизм, а нечто несравненно более возвышенное. Возникновение еврейского государства внесло вульгарную конкретику в отцовскую патриотическую платонику — оттого он и отрешивается от Израиля с его слишком плотскими атрибутами: территория, армия, господствующий язык...

Но Катькино «мы» куда роскошнее даже и отцовского: в него входят не только все одушевленные и одушевляемые ею существа («Бедная, хочет, чтоб ее выключили» — о завывающей стиральной машине), но также и все когда-либо существовавшие и существующие народы — покуда они не покушаются на более близкие компоненты ее «мы». Когда-то в детстве она заливалась слезами, слушая по радио шарманочно-жалостную песню о Ленине: он пришел с весенним цветом, в ночь морозную ушел. Сегодня она ненавидит коммунистов, но на звуки «Интернационала» все равно начинает расторганно сморкаться, изо всех сил зажмуривая глаза, — в чьих угодно искренних чувствах она всегда ощущает некую правоту. Я думаю, она и о каннибализме в какую-то минуту могла бы вздохнуть: «Что ж, по-ихнему они совершенно правы». Новообращенных — в православие, в буддизм, во что угодно — она, как правило, терпеть не может: «Все это фальшь одна!» И чем вычурнее вера, тем в ее глазах фальшивее — в этом отношении, скажем, католицизм в России более фальшив, чем православие. Единственное оправдание — человек «сбрэндил». Зато искренняя преданность способна придать в ее глазах манящую красоту даже самому нелепому ритуалу. Обо всех видах современного колдовства — биополя, экстрасенсы — она отзывается так: «Мне в это верить муж не разрешает». Но где-то ей глянулась процедура очищения огнем, и она каждое утро со свечкой в руках, голая и розовая после ванны, делает топчущийся оборот вокруг собственной оси. «Уйди, жидовская язва, — гонит она меня прочь не от одной лишь прелестной деревенской стыдливости, — тебе бы все обсмеять!»

Не сомневаюсь, что ее всемирная отзывчивость, тоже не моргнув глазом, снесла бы и тюрьму. Мне-то достаточно переночевать в КПЗ, чтобы серьезно усомниться, стоит ли наш мир того, чтобы хранить в нем хотя бы минимальную вежливость — не говоря уж о каком-то энтузиазме. Ну а блатные отцовской поры были и вовсе хищными ящерами в своей первоизданности — отец же проходил сквозь них все с тою же предупредительной улыбкой и выходил на волю все с тем же паническим страхом обеспокоить соседа за стеной или спутника в поезде. О страшном в своей жизни он иногда еще рассказывал, но о грязном и мерзком — никогда. А потому мне никогда и не дознаться, кто является ему в его снах. Помню, в мирном ночном Якутске он вдруг крикнул страшным каркающим голосом: «Сволочь! Кто здесь в комнате?!» Все в порядке, никого нет, ласково успокаивал его я, слепой после настольной лампы, а он, внезапно забывший кинуться в суетливые извинения, лежал на спине под одеялом отрешенный и осунувшийся.

Такой голос я слышал у него лишь однажды — когда какая-то шпана пыталась преодолеть проволочные ограждения, возведенные отцом вокруг нашего щитового домика, выходящего задом на щепенчатые отвалы, а передом на дикую тайгу, в которой косые повалившиеся стволы в летние дни зеленели мохом ярче, чем стройные красавцы — хвоей. В те дни как раз накатил очередная волна обдающих холодом баек (увы, не всегда безосновательных) о беглой шайке, вырезающей целые семьи, и отец по всем правилам лагерной фортификации обнес дом колючей проволокой, да еще и присобачил к ней электрическую сигнализацию собственной конструкции. Мы с братом, уже начиная овладевать высоким искусством иронии, пошучивали, что отец просто соскучился по колючей проволоке. На бравые наши шуточки он только улыбался с любовной грустью — с одной стороны, радуясь нашему остроумию и беспечности, с другой — понимая, что шутить нам, возможно, осталось не так уж долго. И верно, когда едва затеплившейся белой ночью сигнальная лампочка подняла бешеный перемиг, мы сразу присмирели. А я даже почувствовал предвротный спазм, когда с крыльца ударил страшный отцовский крик: «Буду стрелять!» («Да у него, — понимай: размазни, — „ижевка” ведь всегда разобрана...») «Шаг вправо, шаг влево — побег, прыжок вверх — провокация», — с блатным подвывом передразнили его из розовой полутьмы. И тут же бухнул пушечный выстрел («Значит, у него и патроны были?!») — и новый каркающий крик: «Второй по вам! Картечью!» («А ну, отойдите от окна!» — шикнула мама, пригибая нас за шивороты.) Кажется, отец кого-то все-таки зацепил — очень уж визглив был ответный матерный вой с леденящими кровь угрозами все, что можно, повьдергать и на все, что нельзя, натянуть.

Неуклюжие фигуры (что-то в них было водолазное — ватные штаны, что ли?) исчезли и больше не возвращались. Судя по тому, что своего обидчика они крыли простой, а не еврейской сукой и падлой, это были не местные. Надо ли добавлять, что отца в поселке очень уважали, но ведь даже и на каждого святого находится свой палач и своя улюлюкающая толпа. Так или иначе, отец с ружьем на изготовку до утра обходил дом дозором, невзирая на мамины мольбы забаррикадироваться внутри. Но, вероятно, отец был прав: у настоящих урок нашлось бы, чем шамальнуть в него из лилового сумрака. По облику же отличить бандитов даже от рядовых тамошних работяг было непросто — те же нержавеющие зубы, те же ватники зимой и летом...

Так что через неделю мы с братом во главе уже всюю перешучивали отцовское всеночное кружение, а он снисходительно и грустно улыбался: смейтесь, мол, смейтесь, дурачки, куда смеется...

Зато когда его арестовывали в последний раз по делу о систематических хищениях золота с Северокомсомольского обогатительного комбината, он оставался совершенно невозмутимым: надвинувшаяся сила была

столь неодолимой, что нервничать уже не имело смысла. В безумном среди глубокой ночи электрическом озарении поправляя широкие подтяжки, отец предельно буднично успокаивал нас, ошалелых и поджавших хвосты при виде милиционеров, прячущих глаза все-таки менее старательно, чем совсем уж нелепые, новость откуда взявшиеся, кое-как натянувшие на себя что подвернулось сосед и соседка (понятые), — а прибывший из Москвы, как их у нас называли — «тайный», косивший под товарища Жданова, внимательно следил за происходящим из-под намертво приросшей шляпы, примерно пятой в моей жизни, непроницаемо укрытый за, хочется сказать, габардиновым пальто, хотя я теперь уже окончательно никогда не узнаю в точности, что он есть такое, этот габардин. Саженные плечи и полы до пола придавали руководителю операции несдвигаемость утеса. Обыск был довольно поверхностным: видимо, репутация отца не допускала, что он станет хранить краденое дома. «Я ни в чем не виноват, — почти по складам вдалбливал в нас отец, — я скоро вернусь, они скоро во всем разберутся». — «Я знаю, как они разбираются...» — безнадёжными движениями ликвидируя следы ночной растрепанности, мама едва слышно произнесла эти слова с такой отчаянной остервенелостью, что милиционеры, скованно перетряхивавшие книги, опустили глаза еще ниже, а «тайный» задержал на маме взгляд из-под фетровых полей столь пристальный, что папа впервые проявил признаки волнения: «Перестань, что ты такое говоришь, сейчас совсем другое время!..»

Эти «тайные» в поселок прибыли, может быть, вдвоем, а может быть, и шестером — настолько они были неотличимы друг от друга с их театрально, как декорации, колышащимися пальто, сдвинутыми на глаза шляпами, усиками щеточкой и пухлыми непримиримыми физиономиями. По центральной укатанно-щебенчатой улице Ленина, ни на кого не глядя, проходил то один из них, то другой, а может быть, и тот же самый, и в конце концов отца действительно выпустили. Вернулся он гораздо более радостный, но и заметно более печальный. Ему не угодить. Более того, когда в Магнитогорске органы оказали ему доверие, предложив полегоньку информировать их о настроениях студентов, он, судя даже по его запоздавшему лет на двадцать рассказу, отбивался уже не каркающим, а почти плачущим голосом: «Я сейчас же подаю заявление и возвращаюсь в Чимкент!..» С ним по-хорошему...

Но все же последний контакт с органами закончился для отца еще более благополучно, чем предпоследний: его ведь после ареста даже с работы не уволили — в отличие от директора. Посадили же только нескольких работяг, кто, вероятно, слишком уж усердно таскал через проходную золотишко в бидонах с молоком, выдаваемым за вредность. Я очень гордился, что отец побывал в тюрьме наравне с подлинными героями. Что он признан невиновным — это никакой гордости не вызывало: как же иначе! Только в глубине души скребло разочарование: ясное дело, куда уж моему кроткому папочке в герои... Скажи кто-нибудь тогда, что судьба подарила мне случай отведать такого редкого, исчезающего блюда, как героизм поврейски, это даже не показалось бы мне забавным. Героизм, ощущал я, — не покорность, а вызов. Однако чуждый поэзии отец отказался от предлагаемой должности главного инженера, и мы двинули из полутундры в полупустыню. Далекий от истинного героизма, папа не желал оставаться там, где его видели арестантом.

Мое пыльное отражение в уцелевшем треугольнике дверного стекла — разве мама любила такого? Не любила. Но любит. И даже сам я начинаю несколько более нежно относиться к себе, когда вспоминаю, сколь драгоценны для нее и моя плешь, и мои круги пота под мышками, и набрякшие вены на висках, и проседь на псевдочеховской бородке, похожая на потек молочного супа, — она часто повторяет: «Для меня главное, чтобы вы здоровенькие были». Впрочем, моим профессорством она все-таки

гордится, хотя, разумеется, я был бы хорош и младшим инженером. Вот для отца профессор — это не хрен собачий, отец чтит науку. И от моих презрительных отзывов о собственной ученой деятельности он законопатил свой М-мир очень давно и предельно прочно.

Любопытно, с общепринятой точки зрения я преуспел в жизни больше, чем мои родители. Но они, в отличие от меня самого, почему-то вовсе не кажутся мне неудачниками: а чего еще надо — работали, были «ото всех» уважаемы, счастливы в браке, вырастили прекрасных детей... Как ни крути, меня невозможно не признать прекрасным сыном. Мне бы такого...

«Сколько радости вы нам доставили!..» — каждый раз начиная мечтательно светиться, много лет повторяет мама, и в эти минуты я просто-таки умиляюсь собой. Катька не верит, будто мне все равно, хороший я или плохой, и, возможно, она права: с меня довольно быть не хуже других, а это у меня выходит само собой — слишком уж низкую планку установили эти «другие».

О, как же я мог забыть о главном своем фантоме — об истине: если человек не желает лгать, творить пакости, емудесятеро труднее.

Хотя меня сейчас и нет, эти тощие железные перильца с жалкими потугами на украшения в виде жиденких синусоидальных балясин, эти отливающие тусклым бетонным гляncем ступени все равно чувствительно обдирают бока моему «мы», больно ушибают его ступни — особенно правую. Я не помню, мне или брату, ненадолго вынырнувшему в реальность из-под тропика Козерога, пришла в голову идея подымать маму на пятый этаж не на клеенчатых носилках, которые на поворотах понадобилось бы ставить на попу, а на стуле. Бывалые грузчики, маму мы должны были поднять и пронести легко и бережно, как поднос с фруктами. Однако, чуть оторвав ее от земли, я почувствовал на верхней губе и на лбу под шапкой неприятный пот и увидел, как такой же холодный бисер проступает на одуловатом лице брата.

А через полминуты мы уже продирались между стеной и перилами, согбенные и задыхающиеся, как солдаты в траншее, волокущие под огнем раненого товарища. Бессильно свисающая мамина нога, как мы ни надрывались, то и дело ударялась о мерзлый бетон свисающей ступней, и мама вскрикивала тоненьким голосом одинокой придорожной птицы — прежде-то заставить ее вскрикнуть могло бы разве что гестапо. У нее и через сорок лет появлялось на лице выражение недоуменной гадливости, когда она вспоминала женщину, позволявшую себе взвизгивать, когда автобус на размытой горной дороге начинал скользить в пропасть: «С ней же ребенок был!..» А мы с братом и при псевдочеховских бороденках, и при жлобских усах оставались для мамы детьми. Однако на пороге нашего с ним двойного инфаркта, кажется, превратились во взрослых. У меня уже хватало сил думать только о том, чтобы ее не уронить.

На каждой площадке, не багровые, а бледные, мы останавливались перевести дух и смахнуть холодный пот (брат сдувал его с моржовых усов, фыркая, как морж). Но и долго держать маму в морозном подъезде тоже было нельзя, несмотря на две пары толстых, обвисающих ползунков из забытой человечеством дешевой чулочной ткани: в отсутствии платья, замененного двумя шерстяными кофтами, слово «колготки» как-то не приходило на ум. Зато силы беспокоиться о том, чтобы ее в этом облачении не увидели соседи, оставили меня где-то после второго перегона — такова российская жизнь: прежде чем убить, она желает напоследок еще и поглумиться. Кажется, мы с братом тоже послужили орудием этой сволочи — реальности без прикрас. Мы даже и развернуть маму, чтобы свисающая нога оказалась сзади, над задними, более низкими ступеньками, догадались этаже что-нибудь на третьем.

У изношенной двери отчего дома я уже совершенно серьезно боялся упасть. И уже совсем не заботился о том, чтобы подготовить отца. Но

Катка снова оказалась права: «Если ему ее даже нарисовать...» — она с пронизательной хитринкой изобразила рукой некий обобщенный контур, которым с восторгом удовлетворяется отец. И он действительно так захлебывался, суетился, семенил...

Мерцая седым лагерным ежиком (ради экономии мыла отец стригся под арбуз), он и сейчас при моем появлении так ликовал, пел и пританцовывал в своем вылинявшем и проносившемся до кисейной прозрачности тренировочном костюмчике, что у меня уже на пороге пробежал холод по раскаленной мокрой шкуре: отец явно старался заглушить какую-то страшную правду. У нас все хорошо, все хорошо, заклинал он реальность — и тут же предъявил мне решающее доказательство, радушным жестом распахнув дверь в уборную: «Вот, пожалуйста, — улыбающаяся мама!» Мама, сидевшая на унитазе, действующей рукой (но дернулась и висящая) попыталась натянуть на колени свою ветхую рубашку («Гос-споди, какой же все-таки... Кхм!») и начала робко улыбаться действующей половинкой губ. Мое счастье, что ожог жалости мгновенно отозвался нежностью, столь же пронзительной, но уже переносимой: взгляд у мамы теперь стал совсем детский — невероятно доверчивый и любознательный. И глазки даже как-то посветлели, поглубели... На пересохшей фотографии, по-бабьи закутанная в платок, с недовольным барсучком — мною — на руках (тоже в платочке, поверх которого натянут на уши нищий белый беретик), мама смотрится совсем простонародной. Но сейчас своей аристократической обрюзглостью в сочетании с короткой стальной сединой она кого-то мне ужасно напоминает... Точно — Кутузова!

Остатки рыжизны отстрижены несколько месяцев назад, а у меня все стоят перед глазами ее первые покрашенные пряди. Одна из харьковских жен даже изумилась маминой простоте: «В нашем возрасте и губы обязательно нужно подкрашивать!» Мама рдела, как невеста, оттого что разговор происходил в моем присутствии, но позволила увести себя в зеркальные квартирные недра. Я сидел насупленный — и вдруг мама появилась изрядно порывшаяся, да еще и — о стыд! — с накрашенными губами. Все поняв по моему лицу, она снова вспыхнула ярче своих распутных губ и вновь исчезла. И вернулась ало-пятнистая от волос до воротника, зато снова почти родная.

А между тем отец настойчивыми аплодисментами побуждал маму улыбаться поуверенней: «Видишь, видишь, улыбается, улыбается!» — он и впрямь способен удовлетвориться нарисованной улыбкой. Катка когда-то растягивала Бабушке Фене веки после ночного дежурства: «Мамочка, ну открой глазки!» Но ей тогда было четыре годика, «нашей беляночке»... А мне в мои пятьдесят не забыть бы две вещи: свариться, но не снимать рубашку, чтобы не ужаснуть маму самурайским шрамом поперек живота (месяца два подряд я звонил родителям из больницы, будто из командировки), и не проболтаться, что брат намертво стоит на якоре в залитой тропическим солнцем гавани у города нашей совместной мечты — Вальпараисо: братнин сухогруз зафрахтовала какая-то голландская фирма, в решительный момент оказавшаяся несостоятельной, и теперь команда, оставшаяся без соляра и кокпита, кормилась Христовым именем да подручными ремеслами — лично брату подвозили на катамаранах ремонтировать старые приемники и ходики, он спускал за ними линь, требуя только предоплаты из бананов и бататов.

К счастью, проболтаться мне об этом трудно, ибо чуть только мама начинает расспрашивать меня о чем-то реальном, отец принимается еле слышно твердить как заведенный: «Не спрашивай, не спрашивай, не спрашивай...» — от серьезных неприятностей свой М-мир нужно держать на замке, — другое дело, за обедом пересказывать — никогда не о себе! — как на допросах в НКВД загоняли иголки под ногти и сбрасывали на Колыме иссохшие трупы в штольни, — это во времена недавние. А во времена ны-

нешние — как одни роются в помойках, а другие воруют миллиарды. К чему ты, собственно, клонишь, иногда не выдерживаю я, и отец улыбается скромной победительной улыбкой, прикрывая выпуклые, темно-янтарные со вплавленными мушками глаза опухшими, натруженными веками, напоминающими ореховые половинки-скорлупки: чего, мол, здесь не понять — в России и социализм, и капитализм ужасны, а потому единственное, что ей остается... Но и этого не договорить и даже не додумать — не взять на себя ответственность даже за такую призрачную реальность, как суждение.

Бог мой, ведь еще полторы минуты назад я был переполнен любовью, граничащей с благоговением!.. Но когда человек так откровенно (так бесстыдно) прячется от правды... А вновь накачать себя образами его доблестей и подвигов времени уже не было. По-грузчицки покрикивая — па-а-берегись! — и беззастенчиво придуриваясь (главное — истребить трагический контекст), я приподнял маму за нежненькие подмышки (у той, на эскалаторе, прямо рука утонула) и успел поднырнуть под ее исправную руку. Советские квартирки проектировались по тому же принципу, что и подводные лодки, — каждый отсек, каждый проход предназначался только для одного, и притом здорового, матроса: уместиться сбоку от унитаза было невозможно, а потому я теперь упирался лбом в приятный холодящие трубы, а отец пританцовывал у меня за спиной — мне были видны его блекло-голубые, бывшие синие, тренировочные штаны, снятые с производства для школ-интернатов в одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом году, с белыми пузырями на коленях. (Не такими, конечно, белыми, как крахмальная манишка, а примерно такими, как его же, отцовские, носовые платки: чтобы приберечь настоящие платки, отец придумал отрывать одноразовые тряпочки от старых простынь, которые от ветхости уже расползались при встряхивании, но тем не менее все-таки хранились в распадающемся шкафу в ожидании каких-то грядущих катастроф. Так что отцу немедленно стало жаль выбрасывать и одноразовые ветошки — они и сейчас постоянно сушатся над ванной, сквозные, как марля, топорщащиеся, как тысяченожки, неподрубленными ниточными лапками. Мама давно уже сдалась, стирала и такое, а от Катьки отец засморканные лоскутки прячет, стирает сам, используя вместо порошка мутную жижу из собственной литровой банки, в коей он заквашивает бурые арестантские обмылки, ускользящие даже из самых бережных и бережливых рук.) Боком, безжалостно оттягивая мамину руку, топоча в три ноги и колотясь о стены и косяки, мы вышатались в коридорчик. Там, на мгновение положась на единственную мамину ногу, я ухитрился развернуться, оказавшись по отношению к маме в исконной позе русской бабы, волокущей на себе пьяного супруга. «Так! Правой! Правой! Правой!» — мои командирские раскаты неизменно вызывают у мамы усталую улыбку, но есть у моих р-раскатов и утилитарная функция: когда мозг отказывается давать ноге естественные приказы, иногда она машинально повинуетя чужой гаркающей команде (власть условностей надежнее власти фактов).

По дороге я ухитрился несколько раз чмокнуть мотающуюся у меня на боку маму в воспаленную щеку — а прежде никогда ее не целовал! Сейчас же пользуюсь любым удобным случаем — как с Митькой когда-то: поднял с горшка на руки — чмок (он, не обращая внимания, начинал крутить головенкой, озирая новые, недоступные снизу горизонты), просто взял за руку — и тут не удержаться. («Почему ты меня за руку поцеловал?» — загорались радостной любознательностью его глазенки.) На последних шагах мама совсем ослабла, пришлось, стиснув все бесполезные ассоциации, волочь ее, как мешок, — с облегчением плюхнулись рядом на родную с незапамятных пор кровать, на которой немало когда-то попрыгано, как на батуте, а теперь негнушующая из-за дощатого щита, подложенного под бородавчатый антипролежневый матрац из поролон, выданный мне как почетному еврею в благотворительном обществе «Хэсэд Яков» — милосердие

Иакова. Впервые в жизни пресловутая еврейская солидарность доставила мне нечто реальное — фирменные дюралевые костыли, роскошное кресло на колесиках, на которое Катька каждый раз глядит с горьким вожделением: вот бы ее отцу в свое время такое...

Бог ты мой, сколько лет утекло, пока я допер, что межнациональная неприязнь есть продолжение внутринациональной солидарности! И что вообще любая ненависть есть следствие какой-то любви: ненависть — реакция на угрозу тому, что ты любишь; чтобы всегда оставаться благодушным, нужно ничем не дорожить. Подозреваю, что слияние народов в единое «цивилизованное человечество» принесло бы примерно такие же результаты, как сплошная коллективизация: если каждый народ в отдельности еще кое-как хранит свои сплетения фантомов, именуемые культурой, то согнанные в общий коровник, противоречащие друг другу, они все передохнут. Люди, утрачивающие солидарность со своим национальным целым, редко возвышаются до солидарности общечеловеческой, чаще всего впадая в полное одиночество. Но хранить верность своим фантомам в одиночку способны лишь сверхчеловеки — прочим же остается чистое шкурничество, то есть преклонение перед материальными фактами. Охранять аристократию, живущую фантомами, от черни, поклоняющейся силе и выгоде, — в этом и заключается основное назначение государства: осуществлять власть мнимостей над фактами.

Или в аристократах, живущих ложью, мы и без того утопаем? «Сталин выиграл войну», «Рынок всегда прав», «Мы, русские, мы, евреи, мы, американцы, мы, коммунисты, мы, либералы, мы, рабочие, мы, крестьяне, мы, интеллигенты, мы — самые-пресамые», — а вот тех, кто судил бы себя строже, чем своих противников, — этих аристократов что жемчужных зерен в навозной куче.

А куда все это вспыхивало и гасло в моем М-мире, мои руки осторожно (после грубого волочения осторожно вдвойне) опускали мамыны плечи на высокую двойную подушку, заносили на кровать ее пухлые белые ноги, ярко проплетенные насквозь ало-фиолетовой кровеносной системой, язык молот что-то бодро-идиотическое, а губы вновь не упускали чмокнуть ее то в стальные кутузовские волосы, то в ветхий воланчик у нее на плече, то в теплые мертвые пальцы, чье подергивание, однако, отзывалось в моей душе робкой надеждой. «Так, дай пять!» — напористо распоряжаюсь я, и мама беспомощно смеется (уж очень не свойственны мне эти ухватки компанейского шоферюги) и слегка отрывает от постели иссохшую руку в чехле из чешуйчатой старческой кожи — и я опять не могу удержаться, чтобы не коснуться ее губами. А кисть-то по-прежнему висит...

Я начальнически пожимаю ее: «Объявляю благодарность! А где ответное рукопожатие?.. Ты что, не уважаешь?!» И мамыны теплые пальцы вздрагивают!

«Браво! — Я морщусь, словно от боли. — А ну еще! Крепче! Крепче! Крепче!» Я почти счастлив: я делаю что-то абсолютно бесспорное, и кое-что у меня получается.

«Молодчина! Пять с плюсом! Можешь секундочку передохнуть. Ну, так что тут у вас стряслось?» — я уже добрый взрослый дядя, готовый в две минуты разрешить все их детские проблемы. «Мне показалось, что со мной какой-то чужой мужик. Страшный...» — в мамыных просветленных глазах проглянуло затравленное выражение. «Ну зачем, зачем ты рассказываешь?..» — чуть не плакал за моей спиной отец: произнесенное вслух будет намного труднее признать небывшим. «Но сейчас ведь прошло? — ласково, но не без нажима спрашиваю я. — Так и выбрось из головы. А лучше поработаем — вашу ножку, мадам!»

Я тоже отказал опасному факту в существовании, а вместо этого, напавив на нас с мамой приобретенный Катькой вентилятор, принялся до отказа сгибать и разгибать тяжелую мамину ногу, к концу движения раз-

гоняющуюся, как обычный механический шатун. Но при отключенном М-мире ничто не ужасает: «А ну, не даваться! А ну, сопротивляться! Сильнее! Еще сильнее!» И в ноге действительно начинает пробуждаться какое-то упрямство. И я по-настоящему счастлив, прямо упоен. А на мамино встряхивающемся лице с каждым моим спортзальским возгласом укрепляется выражение упорной физкультурницы. Она даже что-то вроде купальника соорудила из своей ветхой рубашки в полустершийся цветочек, протянув ее как можно дальше между ногами, а сверху зажав для надежности еще и вытертым вафельным полотенцем, на которое я поглядываю с расстроганной снисходительностью, будто на растопыренную ладошку маленькой девочки, впервые догадавшейся прикрыться — гляди-ка, совсем как большая! Меня бы ничто не смогло смутить, абсолютно все вызвало бы только новый прилив мучительной нежности. Но раз уж она так хочет... И правильно делает, что хочет.

Катька считает, что любовью к ветоши мама заразилась от «деда», но я думаю, что это просто старческое сползание из мира условностей в мир целесообразности: одежда — лишь бы грела, чашка — лишь бы не текла. В последние годы от посещения к посещению (с утра теплело на душе — хорошо нести радость тем, кого любишь: моя неприязнь к детям усиливается еще и тем, что мне нечего им дать) из-под чайных чашек неуклонно исчезали блюдца, тогда как сами чашки (Катька называет их «черепками») продолжали оставаться в употреблении, невзирая на естественный износ в виде выщербленностей и трещин, а мои любимые сырники, нежно плавленые под золотой корочкой, все заметнее отдавали ненавистной полезностью подсолнечного масла. «Ох, нос!..» — восхищенно сокрушалась мама, а отец аппетитно вжевывался в испорченный мини-праздничек — больше всего мне бывало жаль маминых же усилий: она же действительно хотела меня порадовать, а не отчитаться перед кем-то, — и торжественно объявлял, что никакого запаха нет. Стараясь не выдать причиненную мне боль (отец ведь не виноват, что там, где у меня нарыв, у него роговой нарост), я с терпеливой лаской объяснял маме, что у меня была русская мать, никогда не портившая вкусные вещи какой-нибудь гадостью, — ею и воспитано мое обоняние. В ответ мама грустно вздыхала: «Ох и характер...» Ее печалит, что я вечно мучаюсь из-за пустяков. Характер у меня, возможно, и впрямь неважный. Но, может быть, и, наоборот, ангельский: надо еще поглядеть, кто на моем месте сумел бы сохранить благодушие, когда ему перекручивают гениталии, запретив при этом даже стонать. Ведь если бы я попытался разъяснить, что оставляю за каждым полное право чувствовать или не чувствовать любые запахи — пускай только он так и говорит: «не чувствую», а не объявляет, что запаха нет, — сама моя попытка теоретизировать из-за пустяка вызвала бы только вздох еще более грустный. Мама была бы вполне в состоянии понять, что пренебрежение точностью в гомеопатической дозе ранит меня только сильнее: когда люди переступают через нее ради серьезных причин, это еще не так отчетливо говорит об их полном презрении к ней. Но любые уточнения сами по себе укладываются в формулу: «Мой сын страдает из-за пустяков». В принципе, она могла бы попросить отца просто не задевать меня в таких-то и таких-то пунктах, раз уж я на них повредился, но это было бы непедagogично: сыновья должны сносить от родителей все, исключая разве что уголовные покушения на их жизнь и здоровье.

Стараясь не пыхтеть, широко открытым ртом выдыхаю в сторону, чтобы мама не заметила, как быстро я теперь начинаю задыхаться. Без рубашки пот по крайней мере холодил бы, а не разедал — но тогда откроется распластавший меня рубец. Отворачивая лицо, я повсюду вижу разные придамбасики для лежачих — поильники, кормильники, пюпитры для чтения из магазина «Мелодия», подносы, подсопы, колбочки, палочки, полочки: Катька хотя бы на «лечение» старается потрясти мощной небеса,

ибо родители слишком уж слезно умоляют не покупать им новые вещи. У них действительно *все есть*, как у султана Брунея, остатки двух своих пенсий они еще и откладывают на книжку: «Уже два раза все потеряли, — неведомо кому ябедничает Катька, — теперь копят для третьего». Поскольку их аскетизм служит ей укором, она выработала защитную формулу: надо уметь зарабатывать, а не экономить.

У Катьки практически нет недостатков — одни избытки. Впрочем, и всякое зло есть передозировка какого-то добра. (Нет, у Катьки все-таки имеется недостаток — игривости: она не умеет подмигивать, просто прикрывает свой лазурный глаз, а оставшимся простодушно высматривает, какое произвела впечатление.) Отцовская, к примеру, тяга ко всяческому убожеству проистекает из преувеличенного благоговения перед человеческим трудом. Он лет до двадцати верил, что воду в кран закачивает некий Сизиф, денно и ночью сгибающийся и разгибающийся над пожарной помпой, — так с тех пор и торопится поскорее завинтить кран, щелкнуть выключателем, перекрыть газ, кислород... Новую горелку он зажигает от старой только при помощи обугленной спички: дерева на земле и так осталось...

Мамина испарина налилась до струящегося бисера, однако она и под распаренностью находит, чем покраснеть: ей снова нужно в туалет. Ведь только же была!.. Я изображаю восторг тем более неподдельный, что это и для меня повод передохнуть. Я уже трижды допытывался, не слишком ли она устала, но — если врач велел «нагружаться», уж моя-то мама увильнуть не станет. Отправляясь заранее включить свет в уборной, попутно заглядывая в ванную облиться — и обнаруживаю там деда: он моет руки без света — при открытой двери и так более или менее видно. Не удерживаюсь от выразительного вздоха. Долго плещу себе в раскаленное лицо, но брызги с шипеньем отскакивают, как от сковороды. Выхожу, щелкаю туалетным выключателем — и слышу через дверь протестующий голос отца: он и в темноте не промахнется. Дождавшись появления его обесчеченных тренировочных с истрепанными в шпагатинки штрипками (от греха гляжу себе под ноги), снова зажигаю свет и впрок распахиваю дверь, но когда мы с мамой дошатываемся до нее, свет уже выключен, а дверь закрыта: папа успел навести порядок.

Приходится изворачиваться, оттягивать мамину руку, однако все М-чувства я удерживаю в железной узде — чертыхаюсь одними губами.

Чтобы опуститься на древесно-стружечный хомут унитаза, мама исправной рукой берется за проездом ввинченную братом в стену дверную ручку, а я, придерживая маму за подмышки, одновременно перебирая пальцами, приподнимаю ее невесомую рубашку. Стараясь на что-нибудь при этом отвлечься, ибо приподнимание пробуждает во мне совершенно неуместные ассоциации. Затем я прикрываю дверь и жду — мне хочется ждать как можно дольше, чтобы глубже ощутить, что я что-то для нее делаю.

Разражаются завыванья спущенной с цепи воды, и я вновь бодрюсь, хлопочу, подныриваю, чмокаю, стучаюсь о стены, плюхаюсь на бородавчатый щит — меня нет, есть только мама.

— Так. Начинается борьба на руках. Армрестлинг, как говорят у нас на Енисее. Ну-ка не давайся! Сопrotивляйся! Еще сильнее! Еще!

Я с замиранием сердца вглядываюсь, как в обвисшем чехле напрягается какая-то веревка, и раскатываюсь похвалами:

— Умница! Молодчина! Можешь передохнуть, заслужила!

— Господи, как я вас замучила... — вдруг убитым голосом говорит мама. — Я думала, сначала деда устрою, а потом уж сама... И вот тебе. Хоть бы уж скорей!..

— Мамочка, ну что ты такое говоришь!.. — Моя мольба прозвучала как-то по-отцовски — будто я спешил замазать ей рот, и я собрал всю свою нетренированную проникновенность: — Когда ты лежала без сознания, это был такой ужас!.. А теперь, когда мы снова все вместе, это просто

счастье, ты понимаешь, счастье! Ты вслушайся, ты же знаешь, я врать не умею: ты даришь нам счастье, запомни!

Со стороны это, наверно, выглядело фальшивым, особенно мой порывистый разворот к ней, этаким испанцем, но мама вяла. И прикрыла глаза:

— Какие вы все хорошие...

И слезинки, слезинки сквозь сомкнутые веки...

— Наверно, мы ничего, — признал я. — Но ты заслужила больше.

«Хэсэд Яков» дважды в неделю направляет к маме помыть-постирать на диво распахнутую и влюбленную во все хорошее пенсионерку с похотливыми на мамины оптимистическими зубами, и она никак не нарадуется, что такой семьи еще не видела. Особенно Катя! Катька от нее тоже в перманентном умилении и постоянно что-то передает для ее внучат, а заодно старается перехватить у нее побольше дел. А мама — не дать ни той, ни другой. Рубашку как будто вчера надела, словно бы про себя размышляет она, оглядывая вывернутый ворот. А в молодости, бывало, хоть через день меняй — зато бабушка ее тогдашняя носит-носит, а стирать нечего: такая у стариков кожа сухая!

До меня только теперь начинает доходить, что мама когда-то действительно была молодой, была девчонкой, которая просыпалась среди ночи и с упоением думала: «Как хорошо спать!» — мне мама как предстала когда-то большой, сильной и кормящей, так до конца и не могу... Нет, сейчас я все мучительнее ощущаю ее маленькой девочкой — какой даже собственную дочь никогда не ощущал.

— Давай-ка лучше пойдём помаршируем. Ты точно не устала?

Мама не тот человек, который способен признаться в усталости без медицинской справки — приходится измерить ей давление Катькиным японским манометром, напоминающим батискаф. Вроде терпимо.

Выкатив маму в еврейском кресле в комнату побольше, я чуть не крякнул от досады: отец, накрошив лука и огурцов в черепаховый суп, перемешанный густоты ради с паштетом из соловьиных языков, среди глубоко протезированной мебели предавался беззаботному чавканью и всхлюпыванию перед телевизором, из которого в качестве острой приправы завывал женским голосом кавказской национальности туманный призрак, отороченный съехавшим вправо астральным телом (попытки заговорить о новом телевизоре пресекаются слезными мольбами). Но что ужас и мерзость бессмысленных звуков в сравнении с мерзостью комментариев: ведь истинно для отца исключительно то, что либо первым приходит в голову, либо общено кем-то из своих. А в голову ему приходит только то, что психологически выгодно, — равно как и тем, кого он считает своими. Отец с такой беззаботностью, то есть бессовестностью, предается клевете на Россию, что мне очень редко удается высказать по ее адресу хоть какую-нибудь суровую правду — ибо приходится беспрерывно опровергать неточности. Правда, и правда-то моя очень тривиальна: нации бывают только везучие и невезучие. А таких, которые любили бы чужие фантомы больше собственных, нет. Пожалуй, как раз Россия-то и побольше других готова обожествлять чужие призраки — пока не почувствует угрозу своему существованию. А тогда уж ведет себя, как все. Как все, кому не повезло.

А может, и не как все, может, и хуже — взять хотя бы эту странную тенденцию: чем мягче власть, тем сильнее ее ненавидят. Сталина обожали, над Хрущевым смеялись, Горбачева... Впрочем, что я об этом знаю — кто обожал? кто ненавидел? И почему я думаю, что в других странах было бы иначе? Зато отец являет собой идеальный образчик еврейского скепсиса — скепсиса, направленного исключительно на чужие предрассудки.

— Геноцид! Самый настоящий геноцид! — радостно приветствует он меня, отираясь махрящейся тряпицей, бережно при этом обходя очки, косо свисающие на трусиковой резинке, коя несвежей петлей охватывает

его детски оттопыренное ухо (отломанная дужка, напоминающая оторванную лапку насекомого, дожидается возвращения моего брата Лёвши).

Парадную тренировочную форму отец уже скинул и теперь блаженствует в поседевших от старости некогда черных трусах-парусах. Худющие ляжки белеют довольно молодо, но под грудью (ребра проступают сквозь иссохшие грудные мышцы) лишняя кожа, наползая слоями, образует два наплыва, как на раненой сосне. Не зашитый вовремя бок глянцево клубится вдоль широкого рубца, напоминая вату из распоротой двери — хотя вата давно истаяла. (Хорошо ему с его легальными ранами, полученными за матушку Россию...) Но моя М-глубина закрыта для жалости — она восстает на неправду.

— Геноцид есть уничтожение людей по национальному признаку, а чеченцев сейчас в России больше, чем в Чечне, — ты можешь представить, чтобы евреи в сорок третьем году бежали в Германию?

Но связь работает лишь в одну сторону, и под виском у меня вместо ежика расправляет хвост целый дикобраз.

— Ты слышал, чеченцев собираются выселять из горных районов — это же возврат к Сталину! — Да, при Сталине он был бы таким смелым...

— Откуда ты это взял?

— Весь Запад сейчас бурлит! Уже никто не сомневается, что дома в Москве взорвало фээсбэ. — Даже очки от радости еще больше съехали с седла, словно в веселом подпитии.

— Если бы в фээсбэ были люди, способные на такие рискованные дела — для себя рискованные, они бы еще десять лет назад прищемили всем нам хвост.

Отец дружелюбно смотрел на меня припухшими половинками орехов и думал о чем-то приятном. Я невольно коснулся виска немеющими пальцами, и мама поспешила мне на выручку.

— Попей с папой чайку. — Из педагогических соображений она не желает замечать, что я уже лет сорок стремлюсь ускользнуть от пытки хлюпаньем и чавканьем — все инсценирует М-идиллию: отец и сын за вечерним чаем.

— Нет-нет-нет, благодарю, сыт по горло!.. — спешу отказаться я. — Дедушка, а ты знаешь, что никаких чеченцев на самом деле нет — это фээсбэшники вторглись в Дагестан, другие фээсбэшники их оттуда выбили... Для поднятия русского духа.

— Неужели?.. — половинки орехов радостно распахнулись, открыв просиявшие янтарные бусы.

— Он шутит, — сострадательно попеняла ему (а скорее мне) мама.

— Почему шутит? — не позволил отнять у себя М-лакомство отец. — Не-ет, будет, будет им Нюрнбергский процесс!..

Чем больше Россия кается, тем более неземной чистоты от нее требуют, а если однажды она согласится и впрямь перебраться на небеса, тогда нам всем устроят Нюрнбергский процесс за сотрудничество с преступным режимом, — я-то думал, у Катьки это совсем уж чистые злобствования отвергнутой любви... Ей-богу, можно подумать, что Россия ангельски чиста — настолько ее обвинителям постоянно не хватает правды, казалось бы, вполне впечатляющей: мне-то ведь тоже хочется высказать какую-нибудь благородно-негодующую истину, но никак руки не доходят — все время уходит на разоблачение благородного вранья.

— Для Нюрнбергского процесса нас должны завоевать.

Спорить с глупцами способны только идиоты, но — служение призракам отвергает низкую целесообразность.

— Он шутит. — Мама прибавила строгости: отец не должен выставлять себя дураком перед сыном — но и сын не должен искушать отца своего.

— Сегодня прочитал у Карамзина, — не отклонялся от своей путеводной звезды отец, — про героизм Древней Руси: монголы гнали их, как

волки овец. Помню, в Братске шофер — здоровенный детина — у меня допытывался, почему евреи в Бабьем Яре не сопротивлялись... Пусть бы он почитал!

За все проглоченные им национальные оскорбления расплачиваюсь я: наберись я храбрости сообщить отцу, что характеристика «просто шовинист и антисемит», выданная им Пушкину А. С., ранит меня так же больно, как если бы оскорбили мою мать, — он немедленно отключил бы связь, чтобы не видеть меня в роли лжеца столь безвкусного. Отец никак не может простить Пушкину, что он не был евреем — получившим воспитание не в Царскосельском лицее, а в Харьковском пансионе отцовских друзей.

Гогоча, словно стадо негодующих гусей, отец прополоскал горло кипяченой водой из специальной поллитровой банки (Катькин синенький кувшинчик отправлен собирать пыль на шкаф), изbleвал полученное из уст своих в собственную эмалированную миску и самодовольно откинулся на схваченном металлических уголках, облезлом и подновленном марганцовкой вместо лака стуле моего отрочества.

— Для меня нет русских, евреев, американцев — я вижу людей, не народ, — процитировал он кого-то из благородных — он, который только и видит, что русских, евреев, американцев, белорусов — и, просвечивая сквозь грифельную марлю увядшими белыми фасолинами, засеменил с миской на кухню, чтобы не услышать вымученно-небрежной реплики еще более безнадежного осла: — А я и леса не вижу — только отдельные деревья.

Миска загремела о кухонную раковину, и я бессильно вздохнул. Мама отказалась понять мой вздох.

— Попей с отцом чайку, — предложила она мне с той уже подзабытой было настырничкой, с которой она прежде защищала педагогически правильную картину мира.

— Нет, спасибо, очень жарко, — уступил я этой картине и почувствовал, что и правда ужасно хочу пить.

Но пить из отцовской банки меня что-то не тянуло — он, кстати, и вместо ночного горшка использует точно такую же банку, обросшую изнутри тусклым янтарем (днем неумело упрятывая ее за унитаза). Тем не менее я взял чистую чашку, приготовленную отцом для собственного чаепития, — и увидел на ней тускло-янтарный потек застывшего жира.

— Папа плохо видит, — призвала меня к состраданию мама.

Я тоже был готов к состраданию, но оно, на мой взгляд, не требует неправды.

— Он экономит воду, — сдержанно сказал я: мама сама не раз распекала его за то, что он все полощет в одной лоханке, в паре стаканов концентрированных помоев.

— Зря я тебе это сказала, — безнадежно прошептала мама. — Тебе его не жалко...

И меня мгновенно снова свело: при чем тут жалость — мне вот и брата жалко за его жлобские усы с проседью, — но не могу же я не видеть, что они жлобские! Уймись, она страшно больна, беспомощна, пытался я угомонить свою М-глубину, вслух отдавая бравые команды, но М-глубина ничего не желала знать: «Это неправда, неправда! Отец меня раздражает — это да, но мне все равно его жалко, а иногда даже вдвойне! Но чашка грязная все равно из-за того, что он экономит воду! Экономит, экономит, экономит, экономит!»

Отец наполнял вселенную благодушными всхлюпами, а я перехваченным горлом повторял: «Правой! Правой! Не так! Вместе! Вместе!» Дюралевые еврейские костыли, подобно подозрительной трубе, могли менять длину и, вследствие неизбежных люфтов, клацали, как затворы; выбрасываемая мамой бессильная нога шлепала подошвой о сизый линолеум — получалось:

кляц-шлеп-шаг, кляц-шлеп-шаг, — а я добивался, чтобы кляцанье и шлепанье сливались воедино, чтобы мама ступала на костыли и шлепающую ногу одновременно — дело пошло бы намного быстрее. У меня уже роились дерзновенные мыслишки вывести маму на улицу, и если я чего-то и не сумел скрыть в своем голосе, то разве что обиду, но уж никак не отчуждение. Правда, я, кажется, забыл чмокнуть мамину теплую и вялую кисть, прежде чем прибинтовать ее перепревшим резиновым жгутом к белой, как свиное сало, пластиковой перекладке костыля, — я ведь целовал ее по произвольному движению души, а не по психотерапевтической программе.

И вот когда отец, нахлюпавшись чаю из оттертой мною надтреснутой чашки, умиротворенно отрыгнул, усугубив звук кучерским «тбррр», мама вдруг подняла на меня горестные глаза, особенно детские на распаренном кутузовском лице, и — разрыдалась совершенно по-девичьи: «Ты на меня кричишь, как на чужую...» — «Ну что ты, тебе показалось, честное слово...» — потрясенно залепетал я, а отец от ужаса пустился отбивать перед нею босоногую чечетку вместо погремушки: «А-тю-тю-тю-тю-тю-тю!»

Я усадил маму в еврейское кресло, я промокал ее слезки собственным отсыревшим в кармане платком, уговаривал, успокаивал, заверял, что ей показалось, но прощения попросить не выговаривалось ни в какую — ибо М-глубина моя вопияла: «Это неправда, неправда, с чужой бы я вообще не стал возиться!!!»

Мне сделалось грустно-грустно...

Реальность внезапно пробила заглушки моего М-мира, и я понял, что ничего серьезного для мамы я сделать *не могу*. А вся развиваемая мною суета — массажи, разминки, покрикивания — не более чем самоуслаждение: даже чувства мамы двигались не по тому маршруту, который я для них предназначал.

И, присев на край ванны, я уже не с бодрой умильностью, а с безнадёжной нежностью наблюдал, как мама чистит свои оптимистические зубы, положив их на полку в ванной и пришлепнув бессильной рукой: ей велено разрабатывать мелкую моторику. Зубы скалились, а мама с детской серьезностью оттопыривала губы (верхняя из-за пустоты во рту отдавливалась к самому носу). В вырезе рубахи виднелась ее грудь, обычная грудь немолодой женщины, и мне в моей беспросветной нежности даже не приходило в голову отвести взгляд. Надо же, когда-то я ее сосал... Впивался до боли — а поди не дай! Когда начали «отнимать», бегал за мамой и пытался разорвать ей кофточку, словно потерявший человеческий облик насильник, — мне самому становится трогателен этот настырный зверек, раз уж он был так драгоценен моей мамочке. Меня умиляет даже его привычка наклоняться и между собственных колен любоваться перевернутым миром — счастлив, кто падает вниз головой...

И вдруг пронзило опасной жалостью к Дмитрию — из-за того, что меня больше не трогает та простодушная серьезность, с какой он когда-то рассказывал, что было в садике на обед: «*Кнели*».

Но все же я с отеческой снисходительностью кивал отцу, продолжавшему доставать меня через приоткрытую дверь: Достоевский умер от жадности, не поделивши наследство с сестрой; партизаны были просто бандиты, грабившие собственное население; маршал Жуков по умственному развитию оставался унтером и вдобавок браконьером русского народа, как удачно окрестил его Виктор Астафьев... Когда Астафьеву случается сурово отозваться не о чужих, а о собственном народе, он немедленно превращается из «просто шовиниста» в светоч мудрости и правдолюбия: да, вот уж кто знает русский народ! Милый, милый смешной дуралей, думаю я, Достоевский гений, и ему будут поклоняться, когда и наши с тобой правнуки затеряют наши с тобой имена, партизан, сколько ни старайся, все равно не будут отождествлять с бандитами, ибо бандит никогда не станет риско-

вать за что-то еще, помимо бабок, — ну а Жуков вообще неуязвим для фактов, как и любой коллективный фантом... И тщетно ты станешь называть бандитов благородными борцами только за то, что они борются с Россией, — этим ты будешь только углублять свое и без того бесконечное одиночество в «этой стране»... Но не все ли равно, чем тешится дитя, когда на пороге стоит бездонный ужас!

В итоге я утратил бдительность и, бережно опустив маму на подушку, стащил осточертевшую мокрую рубашку у нее на глазах. «Что это?..» — со страхом прощамкала она (зубы остались скалиться на полке), указывая на мой фиолетовый рубец со следами шнуровки. «А!.. — беззаботно отмахнулся я, — проволокой на пляже поцарапался». — «Не-ет, — медленно и горестно покачала головой мама, — это не проволока». И погрузилась в горькое молчание.

Ну, пора спать, бодрился я, однако спать в духоте я уже много лет как разучился, а открыть окно здесь нельзя из-за комаров (при том, что и улица дышит русской печью — но по крайней мере натопленной вчера). Шансы заснуть у меня были только под струей вентилятора, направленной прямо в лицо. Но мама тревожно подняла голову и испуганно, хотя и очень медленно, заговорила: «Не-ет, не надо, он будет гудеть...» — «Хорошо, хорошо, мамочка, все будет, как ты хочешь», — ласково зачастил я — а глубина отдалась новым безнадежным спазмом: раньше мама ни за что бы не предпочла свое удобство моему... Значит, в ней надломилось что-то самое главное.

Я прел под простыней (минимизируя поле жатвы для комаров) в спокойной готовности к ночи без сна — что такое бессонная ночь в сравнении с жизнью как она есть!.. С жизнью, у которой беспомощность, муки и смерть всегда на пороге. В душном мраке позванивали незримые комары, иногда с омерзительным ноем щекотали лицо, и тогда я отвечивал себе затрепанными, от которых звенело в ушах, — отправлял себя в мини-нокдауны. Время от времени я трогал вены на висках — они наливались все туже и туже. Мама легонько и как бы испуганно всхрапывала, а отец в соседней комнате раскатывался так, будто кого-то передразнивал, и я вслушивался в этот дуэт с тревогой и такой нежностью, словно внимал эфирному рокоту спящего Митьки, в трансе застыв над его кроватью. Интересно — нехватку передних зубов у отца я очень быстро перестал замечать: очень уж эти дыры гармонировали с его бомжовским обликом. Но сейчас его голенькие десны вдруг пронзили такой младенческой беспомощностью... Когда-то боль и бессилие вызывали во мне неудержи... едва удержимый порыв вернуть в лицо творцу те остатки кровавых помоев «жизни как она есть», о которых я его вовсе не просил, — но когда я *до конца* уяснил, что никакого творца у мира нет и *никому*, кроме меня, нет дела, буду я жить или слохну, гордыня оставила меня: я стараюсь лишь ничего не портить хотя бы сам — это найдется кому сделать и без нас. Или живи в том мире, в котором оказался, или уж повесься по-настоящему. А не хрипи на цыпочках в полузатянутой петле десять лет подряд, как это делает Дмитрий.

Ощущение ужасающей хрупкости мира, как всегда, отозвалось страхом за Катьку. Что там с ней?.. У меня вдруг сжалось сердце из-за того, что она в свои пятьдесят круглая сирота. Но окажись я сейчас в нашей спальне, над которой вышепоселившееся семейство Осетровых как раз приступило к ночному нересту, раскатисто перекатывая мебель, при виде возлежащей на двух подушках Катьки я бы немедленно перестал слышать потрескивание волоска, на котором мы все висим, — на время притихло бы даже неотступное ощущение какого-то несделанного дела, которое надо срочно сделать, хоть наверняка уже поздно. Катька пытается хотя бы перед сном набрать воздуха в естественной человеческой среде — придуманной, чтобы выдержать еще один день пребывания в реальности: она заинтересованно следит за какой-то белибердой на телеэкране, скашивая глаза

во время требующих откидывания головы глотаний из жестяной баночки с пятипроцентным джином. Зная, что мне это не нравится (она буквально после пятнадцати граммов слишком уж легко пускается то в неумеренные нежности, то в обиды двадцатилетней давности), Катька залихватски приветствует меня своим шипучим кубком: «Йо-хо-хо!» Но сегодня я целиком за бегство от правды — я опускаюсь на колени и припадаю к ее трудовой руке. Она замирает, а потом тоже наклоняется и проникновенно внюхивается в мой поредевший затылок. И умиротворенным кивком подтверждает мою подлинность. После приличествующей паузы и я отрываюсь от ее кисти и разнеженно спрашиваю: «Видишь, какой я добрый?» — «Мерзавец», — безнадежно и тоже в трехтысячный раз отвечает она и как бы удивленно дергает головой (я давал детям шелбаны, когда они вместо «икнул» говорили по-вуткински «задержал»). Катька и на горячее, и на холодное реагирует именно таким образом, и я всякий раз устремляю на нее изумленно-негодующий взор: что вы, мол, себе позволяете?.. Она беспомощно разводит руками и снова дергает головой. Я удваиваю изумление и негодование, но она уже ускользнула из игры в реальность:

— Я тебе на кухне ряженку оставила, пойдй выпей. — Впрочем, тут же вернувшись в естественный мир: — А ты заслужил?

— Не заслужил, — честно рапортую я. — Не по заслугам нашим, а по милосердию твоему.

— Послушал бы нас кто-нибудь — солидные, состоявшиеся люди... — не может не полюбоваться нами Катька, ввергая меня в сомнение: с чего это она взяла, что я состоялся? И вообще, что это значит — состояться? О ком бы я все-таки мог сказать от души: «Да, это успех!»? Пожалуй... Да, только о том, кто сумел сделаться фантомом. Площадь Сахарова, теорема Стаховича существуют — значит, Сахаров и Стахович вышли в фантомы. А Гена Алексеев декан, лауреат, кругом молодец, но дотянет ли до фантома — еще надо поглядеть. Вот почему, стало быть, я ощущаю себя неудачником: я уже никогда не стану фантомом.

Я думал об этом с тем строгим спокойствием, с каким опытный врач констатирует смерть девяностолетней бабуся, тридцать лет чахнувшей от неоперабельной опухоли всех долей мозга.

Перевернул мокрую подушку, вклеил себе затрещину мимо комара; поваялся еще пару недель (бедному жениться и ночь коротка, некстати вспомнилось Бабушки Фенино присловье), послушал перестук собственного сердца в висках да скуление качелей под окном — развлекалась какая-то парочка, в одиночку человек не станет заниматься таким идиотским делом.

Как любовь.

Я осторожно поднялся и отправился искать передышки в естественном — вымышленном — мире.

Если бы меня так не шатало, я бы мог под родной отцовский храп с закрытыми глазами обогнуть стол-книгу, навеки сложивший «лишнее» крыло с незаживающим ожогом давно растаявшего в Лете утюга (одна из подпирающих оставшееся крыло ножек схвачена стальным биндажом, на другую наложена дюралевая шина). Гиперконструктивист, отец убежден, что скрывать ему нечего — умелый протез красивее естественного члена. Кроме пунктика тайного — исходящая от России опасность для цивилизации — у отца имеется еще и явный — «мнимые потребности», нацеленные рано или поздно пожрать все мировые ресурсы (впрочем, даже и меня, прекрасно понимающего, что у человека как культурного существа решительно все потребности мнимые, раздражает, когда блоху продают в коробке с детской гробик величиной). Но еще не окончательно освободившаяся от условностей мама позволила отцу внедрить лишь наименее смелые элементы плана экономии. И теперь из вечной черноты комода мне светят только фаянсовые изоляторы, заменившие перетертые временем

ручки. Однако я предпочитаю двинуться на ощупь вдоль млечного пути осязательных веснушек на светлеющем сквозь мрак шкафу, отбитом отцом у помойки во время последнего обновления нашей с Катькой мебели.

Еще в пору первой Катькиной попытки прорубить в Заозерском бараке окно в Европу брат Леша со снисходительной усмешкой рабочего человека растолковал нам, что уродоваться кисточками по потолку способно исключительно безрукие интеллигенты, и приволок от соседа, строительного работяги, полтораведерную торпеду распылителя, опрысканного собою же от кормы до боеголовки. Мы залили в него всю нашу краску, по очереди до звона накачали воздуха, затем Леша навел лейку на потолок и нажал на спуск. Взрыв — и вся краска вылетела вон, мельчайшей белой изморосью покрыв потолок, стены, столы, стулья, кровати и нас всех с ног до голов в рыхлых газетных митрах. Пока мы отмывались, пока, растирая кисточками, спасали мириады капелек, словно в гроте, покрывших потолок, белая изморось на мебели успела схватиться намертво. В отскабливании ее принимали участие три поколения, но у всех краска отставала только вместе с лаком.

Миновав веснушки шкафа, я нашарил книжную полку с выбитым стеклом и замер — отец внезапно всхрипнул, как необъезженный мустанг. Маленький Митька, бывало, жизнерадостно хватал с полки синий том, чтобы ему читали: «Это Маршак? Это Писарев?» Но я по толщине, по тряпичной истрепанности суперобложки безошибочно унес из духовки комнаты в пароварку кухни — от удара света постоял, пошатываясь и прикрыв глаза ладонью, — боготворимую некогда книгу: Эрх Мария Ремарк, «Три товарища». Сколище раз я обмирал над этими распадающимися страницами!..

Врач затампонировал раны и заклеил их полосками пластыря.

— Хотите умыться? — спросил он меня.

— Нет, — сказал я.

Теперь лицо Готтфрида пожелтело и запало. Он смотрел на нас. Он непрерывно смотрел на нас.

Бравые, находчивые ребята — никакой философии, никакой политики, но если позвал друг... Друг, любимая, верная кружка рома, честная мужская драка, после которой бойцы обмениваются рукопожатиями, а не извергают брызжущие кровавыми слюнями визгливые угрозы... Но неодолимее всего манила все-таки трагедия: «Готтфрид смотрел на нас. Он неотрывно смотрел на нас. — „Пат, — говорю я, — Пат“, — и впервые она не отвечает мне».

Еще глубоким дошкольником я обожал играть в войну *один* — чтоб никто не мешал как следует погибнуть, красиво раскинув руки на снегу, — вся атака была только прелюдией к этому прекрасному мигу. Не мигу — я мог чуть ли не часами лежать, скорбно глядя в небо и чувствуя, как тянет под мышкой уже маловатое пальцецо, доставшееся от брата. Никогда победа не влекла меня — только прекрасная гибель. А уже старшим школьникам, пытаясь подгримировать отца под всепонимающего старшего друга, я уговорил и его прочесть обожаемую поэму, но отец очень скоро пожал плечами: «Пьют, пьют...» У меня буквально слезы выступили от обиды — не столько за себя, сколько за творца этого скорбного и прекрасного мира.

И вот, расплющившись коленями по вздутой тумбе стола, прилипнув потными локтями к покоробленной клеенке и продолжая время от времени награждать себя затрещинами, я снова глотал и глотал этот простенький наркотик — ведь только простое и можно любить без оговорок, сколько лет я потратил на то, чтобы сделаться трогательным и чистым под маской иронии, сколько народу я перегримировал — не в трех мушкетеров, а в трех товарищей, но никто мне не дался — даже я сам. Даже чахоточная дева Катька не пожелала обратиться в Пат, хоть я и плакал однаж-

ды в морозном тамбуре, глотая из горла ледяную кашу портвейна... Однако стиль теперь меня коробил — «вдруг она расхохоталась сердечно и беззаботно», «я чувствовал, как меня захлестывает горячая волна»... Но все равно забирало. Может быть, даже тривиальная сентиментальность лучше нетривиальной мерзости?

Мама дважды просыпалась, дважды звала меня слабым голосом, я беголо успокаивал ее, что совершенно не хочу спать, отволакивал ее в туалет, укладывал обратно и, очумелый, вновь нырял в чужую жизнь, в которой даже ужасное было прекрасным, потому что не требовало прагматического к себе отношения, не требовало ответственных действий. Уже была отчетливо видна рассеченная стеклянными зигзагами листва за оконным крестом, и можно даже было разглядеть, что она пожухло-зеленая, как на банном венике; уже на крыше соседнего дома чернела одна лишь суфлерская будка слухового окна; уже воронье остервенелым карканьем пыталось вырвать меня из моей естественной стихии — а я все не давался и не давался, хотя чувствовал, что теперь, пожалуй, заснул бы и в духоте. Тем более, что и духота чуть-чуть отпустила.

Сердце время от времени выделявало сложные переpleсы до пресечения дыхания, но я грозно прикрикивал на него: «Цыц!», и оно на время притихало. Однако с криком петуха наконец распоясалось всерьез: «Цыц!», «Цыц!», «Цыц!» — а оно все продолжало свои ужимки и прыжки. Ладно, не будь ребенком, пришлось одернуть и себя самого, подумай и о реальности, надо поспать хотя бы пару часов!

Подушка уже не отпаривала щеку, как парикмахерский компресс, в затянутую марлей форточку струилось что-то вроде свежести. Я набросил на глаза свою рубашку и оказался за огромным стеклом на какой-то обширной лестничной площадке, по которой радостно бегал мой внук, и я впервые ощутил боль за него — за то, что он лишен минимально положенного дедовского умиления; ладно уж, позволю себе расслабиться, а там что бог даст, махнул я рукой и увидел за стеклом на замусоренной цементной крыше, как один зверек или даже зверь душит зверька поменьше — так сказать, барсук суслика. Я хотел отвернуть внуку личико, чтобы он не смотрел, но он уже через стекло взасос целовался с барсуком. От изумления я почти проснулся, но успел сказать себе: «Спокойно, это сон...»

В восемь утра отец уже посвистывает, как щегол, — уж так в эпоху «Трех товарищей» меня передергивала его манера будить в школу бодрим: «Вставай, вскакивай!» — еще и вскакивай, вот так вот, через запятую. Мама грустна и детски старательна; оттопыривая губы, она усердно чистит и чистит зубы на полке, прилепнув их бессильной ладошкой, а я, прикрывая проклятой рубашкой свой рубец полишинеля, натужно нахваливаю мамини успехи, пристроившись на врезающемся крае холодной ванны. Я до кончиков ногтей отравлен недосыпом и безнадежностью.

В дверном проеме возникают отцовские грудные седины. Я стараюсь не поднимать глаз, но все равно угадываю его скорбную торжественность (торжество): он явно принес сведения — даже как будто письменные — о каких-то новых напрасных жертвах — ибо любые жертвы, понесенные за Россию, раз и навсегда напрасны. Никто так не жалеет русский народ, как его недоброжелатели.

Не угадал — из зачухломского гарнизона бежали аж пятеро солдат: с одной стороны, вот он — русский патриотизм, с другой — молодцы, кого здесь защищать — разьевшихся генералов, повальное воровство?.. Мама понимает, что сейчас меня лучше не трогать, но попросит об этом отца было бы непедagogично. Сама-то она относится к его долблению, руководствуясь принципом: «Чем бы дитя ни тешилось...» — чувствуя, однако, что я не способен презирать его до такой степени. И лишь поэтому возражает досадливо сплюсненными под самый нос губами: «А то у нас когда-нибудь не воровали... Что ж теперь, всем разбежаться?..»

В этом разница между евреями и русскими: для русских воровство обидно, мерзко, опасно, но, если перед ними возникает вопрос, остаться России с воровством или погибнуть, они немедленно выбирают «остаться». Евреи же соглашаются строить Россию только нравственную — или уж никакую. Не хочешь быть хорошей, как мы, — пропадай.

У меня немели и подрагивали руки от разрядов в локтях, а отец — кто бы мог заподозрить подобное цицеронство в затюканном барсучке с седеньким тюремным ежиком? — изнемогал от гневного стыда за Россию, опять протянувшую руку какому-то подлому режиму, не то арабскому, не то белорусскому. Что за страсть у евреев служить совестью страны, чье умаление они приняли бы с большим облегчением? Отец уже наполовину превратил меня в антисемита, еще одно усилие — и я сделаюсь параноиком, сумею забыть тот тривиальный факт, что все евреи разные — герои и жулики, авторы патриотических песен и авторы саркастических анекдотов. Но если уж говорить о фантоме еврея, вздутом во мне отцовской харьковской аристократией, то это был образ неподкупности: нас не соблазнишь убаюкивающими сказками, мы всегда будем оставаться на стороне истины — и, значит, будем понимать частичную правоту каждого и прежде всего — наших врагов. И когда я обнаружил, что посланники истины такие же лжецы, слепоглухие к неугодной правде, — с тех пор я живу с чувствами обманутого вкладчика — увы, немало души я вложил в этот банк...

Если говорить о деле, а не о самоуслаждениях, отец всегда несомненно принадлежал к тонкому слою наиболее полезных российских граждан. А какой-нибудь Леша — к массе довольно сомнительных. Но для сохранения целого требуются ежедневные бочки Леш, чтобы нейтрализовать струйку яда, источаемую такими, как отец, — ибо Леша чтит объединяющий фантом по имени Россия. Так они и будут гасить одной ложью другую, истязая тех, кто хоть сколько-нибудь дорожит фантомом Истина.

Я непроницаемо плясую в Катькин резиновый коврик, стараясь не видеть седых волос на голубых отцовских икрах, мама, вдвинув подбородок в нос, упорно чистит скалящиеся из бесстыдно розовых, с блестящими проволочками десен зубы — но отец разливается соловьем:

— Я сейчас нашел выписку о походе Едигея на Москву: не было ни малейшего сопротивления, россияне казались стадом овец, терзаемых хищными волками, они падали ниц перед варварами, ожидая решения участи своей, и монголы отсекали им голову или расстреливали их в забаву, иногда один татарин гнал перед собою пленников по сорок. А? Русская храбрость!

Да, деморализация — утрата фантомов — может довести и до такого. А отец подшивал к своему делу «Г-н Барсукер против России» все новые и новые документы: в сегодняшней газете какой-то умник, залетевший сюда не иначе как с Парнаса, написал, что в России много дураков, — как умно, как смело, — это же про кого — про саму Россию!.. Отец воздевает к потолку ликующий палец, и наши условности все не позволяют и не позволяют мне упасть перед ним на колени: «Пощади! Ну что я тебе сделал?!»

Меня трясло, когда я, мотаясь, волок маму на ее бородавчатый щит, меня продолжало трясти, когда я, задыхаясь, сгибал-разгибал ее тяжелую бессильную ногу, тряска не унималась и когда я, упавшим голосом покрикивая, боролся с нею на руках, когда прыгающими руками отирал с ее шеи подтекающий изо рта чай, — и во мне все нарастало и твердело: «Да сколько же мне это терпеть?! Я и сам уже не юноша — вполне созревший претендент на тот свет!.. Мне же нужно и маму подбадривать, а я...» В виске пульсировали электрические иглы дикобраза, сердце через раз ударило то в макушке, то в горле...

— Минуточку, — корректно отпросился я у мамы и, позвякивая шпорами на босых пятках, решительно вошел в отцовскую комнату.

Отец обрадованно вскинул на меня половинки орехов от миски с хлебом, но я не дал себя сбить.

— Милостивый государь! — слогом Андрея Болконского тире Женьки Малинина отчеканил я. — Вам не нравится, когда антисемиты собирают всякие пакости о евреях, игнорируя факты противоположного рода. Но почему же вы позволяете себе делать то же самое по отношению к русским?

— А ты заметил, что я цитирую только то, что русские сами о себе... — с хитринкой начал отец, но я оборвал его («Я не шучу с вами! Извольте молчать!»).

— Да, у русских хватает честности себя изобличать, евреи в этом отношении гораздо осторожнее. Но я могу составить *такой* сборник «Евреи о евреях»... Только я считаю это постыдным делом. Так перестань же и ты меня беспрерывно оскорблять — у меня русская жена, русская мать...

— Но моя жена тоже...

— Со своей женой разбирайся сам, а моя жена русская, и мне глубоко оскорбительно...

— А моя жена — не русская, она... — Он, вероятно, хотел закончить торжественным «святая», но я, возвысив голос, чтобы он не сорвался, не позволил отцу улизнуть в возвышенность:

— Я не знаю, где ты отыскал жену без национальности, но *моя мать* — русская!

Отец хотел было окутаться какой-то непроницаемой благородной ложью, но вдруг до него что-то дошло.

— Так ты что, обиделся?.. — Он заговорил со мной ласково, как с маленьким ребенком, хлопая розовыми половинками орехов.

— Обиделся — очень слабо сказано. Мне *очень больно*, когда... — От его мягкости мой голос сразу подло дрогнул.

— Так я больше не буду, ты давно бы сказал!..

— Да уж сделай милость...

Я уже снова был готов упасть перед ним на колени. Так и положено: он истязал меня годами, а я однажды — ну, несколько резко — попросил его этого не делать, — и вот теперь я чувствую себя последней сволочью. И за дело — ибо я, в отличие от него, действовал сознательно. Хотя и не совсем: я не успел сообразить, что, прекратив оплевывать фантом Россия, он будет обречен на молчание, ибо ничто иное ему не интересно.

Зато раскаяние и стыд мигом выжгли тоску. И электрические разряды в локтях перешли в покалывания лишь самых кончиков пальцев.

Я сделался ласков до приторности, сам напросился выпить с ним чаю, искупая свою жестокость его хлюпаньем, и когда я наконец пал на колени перед его грифельными марлевыми трусами, застегивая сандалию, он осторожно поинтересовался: «Достоевский пишет, что в России сегодня все лгут и даже не боятся, что их разоблачат, — это ведь тоже характеристика России?» Я выпрямился и, помолчав, вздохнул как можно более устало. Но это было слишком тонко для него — он ждал ответа.

— Если все лгут, значит, и он лжет, — наконец ответил я, всем видом и тоном стараясь показать: «Но я же тебя просил...»

— Да, значит, и он лжет! — с благодарностью за неожиданный подарок приподнял он набухшие половинки орехов.

И я понял, что могу себя простить.

...Меня нисколько не смущал раскисший снег под босыми ногами — я опасался лишь ненароком наступить в одну из бесчисленных, всевозможных фасонов и укладок, кучек размякшего дерьма, пестреющих под белеными монастырскими воротами, куда мне никак не удавалось проникнуть из-за туристского обычая метить собой достопримечательности и святыни. Я осторожно переступал между этими россыпями, с тоской вытягивая шею

в направлении ворот и понимая, что ступить туда я все равно не решусь. И проснулся.

Детская площадка передо мной была все так же вытоптана и вытерта подошвами, и шведская стенка без стены торчала одинокой печью на пожарище. Каталная горка-слон покорно положила в тусклый иконостас зубчатых пивных медалек свой серый цементный хобот. Ночные качели едва слышно поскуливали под накалявшимся с каждой минутой утренним ветерком — когда-то одного слова «бриз» было для меня довольно, чтобы преобразить духоту в морскую свежесть... На зеленых и шуршащих, как банные веники, деревьях рваным вороньем, сказочными летучими мышами были развешаны обрывки толя — последствия недавнего ремонта крыш.

Сердце беспорядочно трепыхалось, и я знал, что мог бы снова с легкостью впасть в целительный сон — но, увы, я разучился спать, когда по дому шатаются чужие люди, а сейчас к моей богоданной дочери, возможно, прибавилась еще и кровная: Катька вечно старается залучить «козочку» на ночь — имитировать «как раньше», «вместечки», бедняжка... И внезапно, как от обманувшей ступеньки, новое выпадение в ирреальность: это уже было — но что?.. где?..

Елена Владиславовна! Имя этой приятельницы Юлиных родителей, упомянутое в пору первых откровенностей о будничном, «низком», немедленно окуталось в моей душе почтительностью и тайной — как все в скрытой от меня Юлиной жизни. И однажды в парящем, но все-таки парящем Таврическом саду... «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом». Я был пьян трезвостью, у истинно трезвого ни от чего не перехватывает горло, и Юлия вслушивалась в «Думу» с необыкновенной серьезностью, ни мгновения не сомневаясь, что в моей груди кипят силы необъятные. «Богаты вы, ты... — с горечью за меня пробормотала она, но заключила легко: — А от таких, как я, всегда проку мало». Она гордилась тем, что, в отличие от вечно пыжащихся мужчин, претендует лишь на служебные роли.

«Похожа на Елену Владиславовну», — вдруг прервала она себя, и я увидел перед нами колоколообразную старуху в беленькой детской панамке. Старуха была столь обыкновенна, что я поспешил опустить глаза на сырой солнечный песок: любое Юлино соприкосновение с обыденностью отзывалось во мне смущением, словно я подглядел какую-то неприличность. Но когда она через год или десять грустно упомянула, что Елена Владиславовна умерла, мне вдруг стало ужасно жалко и саму Елену Владиславовну, и особенно Юлю — обыденность, не щадя ее знакомых, явно не собиралась на этом останавливаться. И вот — снова лето, мы снова на скамье, только на Юлином месте дрожит лиловая наркоманка, зато перед нами по-прежнему озирается колоколообразная старуха в беленькой панамке...

Кольхая парусиновым балахоном, она двинулась под встрепанные веники деревьев и, отвесив им земной поклон, принялась, словно больная кошка, выклеивать какие-то замученные целебные травинки. И я понял, что еще миг — и я начну тихонько поскуливать, как эти трубчатые качели: мне невыносимо захотелось снова увидеть Юлю — немедленно, сию минуту.

Пересушенные листья шуршали над головой не менее мертвенно, чем под неверно бредущими ногами. Вот так же невпопад эти ноги меня несли в то давнее постыдное утро, делая вид, будто бредут, сами не зная куда. В ту пору судьба весьма услужливо убирала с моего пути препятствия к незаработанной халяве... Юлия была бы смертельно оскорблена, сообщив ей, что она служила для меня утонченным наркотиком: мир еще не скоро поймет, что оказаться сравнительно безопасным психоактивным средством — заслонять скуку и ужас мира, не уводя из него, — высочайшая миссия, доступная смертному. Уже подсевший, после безумного ночного

загула, — вспышками помню, как таксист за наш счет везет нас ремонтировать в обморочно неохватный пустынный таксопарк, и я всю дорогу сквозь неведомые индустриальные пустоши восхищаюсь его мужественной невозмутимостью (как это он умудряется сочетать сферу услуг с таким достоинством!), пока он не произносит с сожалением, не поворачивая голову: «Хороший ты парень...»; потом помню себя над цементной траншеей, внимательно вглядывающимся в трескучие бенгальские огни электросварки под пузом клейменной шашечками бежевой «Волги» и начинающим догадываться, что свою родную мужскую компанию в этих бескрайних полумраках мне теперь никогда не отыскать; потом, с обретенными откуда-то друзьями, спасаемся от милиции безвестными проходными катакомбами, — и вот я уже отражаюсь в полированном столе у какой-то строгой дамы с собакой, с рыком лязгнувшей зубами в микроне от моей руки на попытку ее погладить — к гневному ужасу хозяйки и детскому веселью нашей компаши, — и вот, еще нетрезвый, но уже этого не чувствующий, я бреду вроде бы сам не зная куда, по каким-то сталинским полуукраинам, в ту пору казавшимся мне чуть ли не еще более унылыми и прозаическими, чем хрущевские: я еще не знал, что значительными и ничтожными бывают не предметы, а лишь ассоциации, которые они у нас вызывают, и сейчас, удаляясь в вечность и обращаясь в фантом, сталинская эпоха своим убогим ампиром пробуждает во мне ощущение некоего грандиозного испытания, еще раз открывшего слепому миру, что горстка придурков, зачарованных вульгарнейшей грезой, способна поставить на колени миллионную бесфантомную массу.

Однако, непротрезвевшими ногами приближаясь к перекрестку, где я уже однажды, тоже «случайно», подглядел, как Юля перебегает дорогу перед наглой зеленой машиной — в своем отглаженном рубчато-синем костюмчике... Мы к тому времени уже делали вылазки в «низкое», где только и возможно завершение любви: она помогла мне выбрать немаркую футболку по случаю Катькиного отъезда, пренебрежительно отыскалась о дамском костюме с шароварчиками вместо брюк («Кому хочется быть клоуном!»), делилась, что никогда не смотрит на водителя, перед чьей машиной торопится прошмыгнуть... «А вдруг он мне кулак показывает?» — «И что?» — «Чего это он мне будет кулак показывать!» Однажды она даже увлеклась до того, что поведала о своей попытке лечить простуду горчичиками — горела вся... И осеклась на неприличном слове «спина». Впоследствии она при помощи тех же горчичников вечно боролась с задержками — пылали два рубиновых прямоугольника на спортивной пояснице...

Похмельная дурь мешала мне оценить слишком уж озабоченную целеустремленность слишком уж редких прохожих, и только под ее окном я наконец догадался посмотреть на часы — семь. «Закричи иволгой», — посоветовал бы Славка, но частичная невменяемость подсказала мне свистнуть в два пальца (моя искушенность в хулиганских искусствах неизменно вызывала умильное Юлино сострадание: «Тяжелое детство...»), — а если выглянет не она, сделать вид, что это не я. И ведь был я уже и не совсем мальчишка, таскал дочку в садик, «работал над диссертацией»... Наркотик, наркотик.

Настолько могущественный, что одного вдоха из недостаточно промытой ампулы оказалось довольно, чтобы — замученный, облезлый барсук с седым потеком изо рта — я вновь повлекся тем же путем. И судьба вновь взялась мне подыгрывать, не мне — овладевшему мною призраку: в обширном оранжевом жилете и секундхеновых шароварчиках, о коих когда-то отзывалась так презрительно, Юля формировала граблями воздушную кучу банной листвы. О витязь, то была Наина! Нет, она была несколько не «хуже» Катки, но — мы способны любить лишь собственные фантомы, а новую Юлину наружность моя фантазия еще не успела перепримировать.

Я едва не нырнул в растрепанные веники кустов, но Юлия меня уже углядела и — сначала замерла, потом вспыхнула, потом просияла своими новыми, оптимистически продвинутыми вместе с верхней губой глазурированно-белыми и необыкновенно крупными зубами для бедных, обрамленными вверху и внизу узенькими клычками желтого металла (богатеям-то научились вставлять совсем как настоящие — кривые, желтые, траченные кариесом...). Я сумел изобразить несколько разухабистое: «Ба, кого я вижу!» — и джентльменским жестом попытался принять у нее грабли. Она воспротивилась (грабли — символ независимости), и я все с той же «бесхитростной» разухабистостью плюхнулся на ближайшую скамейку. Готовая укусить ее муха («Давай, давай, иди, у меня работа!») жужжала где-то над ухом, но я должен был некий бред довести до конца. Она продолжала отделявать шевелящуюся кучу, но движения ее уже сделались скованными, вернее, излишне танцевальными. Она всегда нежилась, когда ею любовались (не любова-лись, а любовал-ся, поправила бы она: это вы, мужчины, хотите обольщать всех подряд), однако малейшего пафоса смущалась. Когда я ее впервые целовал в положении лежа, ее лицо в городских ответах неизвестно каких реклам вдруг показалось мне таким прекрасным, что у меня вырвалось невольное: «Какая ты красивая!» — и она немедленно отреагировала: «Не видно лишних подробностей». Последнее слово ради пущей небрежности она произносила примерно так: «пдробностей». Однако сейчас с каждой минутой поддающее жару солнце правды высвечивало все подробности, не отделяя чистых от нечистых.

По-крестьянски почернелые Юлины руки, выныривавшие из огромных проемов долгополого оранжевого жилета, сильно расплылись, и на них уже наметились чехлы свисающей лишней кожи. В красиво полневшей дамской шее проступила некая моржовья текучесть. Волосы... Помню ее с прической «лампочка», с прической «желудь»... «Эта голова мне определенно нравится», — не раз поддразнивал я ее простодушным приговором, который она однажды вынесла перед зеркалом своей укладке. Но сейчас на ней была прическа «ни то ни се». В отличие от златокудрой Катки, Юлия была именно беленькой — под ласковую руку я именовал ее белокурой бестией, — теперь же она светилась бледно-оранжевым, в тон жилету, пламенем, а в проборе, точнее, в распадении... Конечно же это была седина... Нелегко мне было ее ампутировать — но ведь она же первая начала. Однако, прослышав, что у нее умерла мать, я наступил на горло оскорбленным амбициям и позвонил ей с предложением любых услуг, начиная от денежных. Я готов был непроницаемо снести самый оскорбительный отказ, но в М-глубине что-то все же оборвалось, когда я услышал в трубке не убитую даже горем ту особую ее интонацию, которая у ее матери переходила в некое подобие простодушной крикливости: «Руку сложила. Там на взгорочке были копытца натоптаны, а я возьми...» — ее «мамаша» готова была с детской доверчивостью отвечать на формальный вопрос полужнакомого человека. Но не скрою, известие о ее смерти обдало меня холодом больше оттого, что Юлия давно страшилась остаться с отцом вдвоем — «мы с ним поубиваем друг друга». И я на разные голоса навязывал и навязывал свою помощь, а она октавой выше обычного повторяла как попугай: ничего не нужно, зачем?.. Но я продолжал звонить ей каждый вечер, и она, хотя и отвечала совершенно мертвым голосом, разговор по своей инициативе все же не прерывала, несмотря на то что говорил я, может быть, с чрезмерной ласковостью: все, дескать, и в самом деле проходит, перемучаешься — и снова начнешь радоваться, улыбаться... «Мне это не нужно, — отвечала она, но полной уверенности в ее голосе я уже не слышал. — Мне лишь бы отца дотащить. Его в больницу предлагают взять, но я хочу, чтобы это дома произошло...» — «Ты сейчас замучена. А потом снова оживешь», — почти сюсюкал я и читал ей Фета: «Для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа». И чувствовал, как она

затишает: преданность возвышенной ауре, окружающей стихи, не умирала в ней — они и впрямь святые, эти отличницы из низов.

«А как вообще отец?» — «Да никак — плачет и матерится. Раньше бы я его за это... А теперь — чем бы дитя...» Только в беде до нас наконец доходит, что и наши родители не более чем дети. Тогда-то она и пошла в дворники, чтоб постоянно быть рядом с отцом, у которого нарастание беспомощности сопровождалось опережающим нарастанием требовательности. Он терял слух, но желал, чтобы телепередачи были ему внятны до последнего слова. Он терял зрение, но требовал, чтобы буквы в газете оставались по-прежнему отчетливы. Он терял подвижность, но не позволял подмывать себя на рабочем месте — в постели, а требовал волоочь его тушу в ванную. Я употребляю слово «туша» без всякой злости — разве что на реальность, которой мало просто убить достойного человека, а надо еще поглумиться, чтобы запакостить и самую память о нем. Хотя Катька все же сумела из безумного паралитика восстановить прежний образ отца... А Юля, придя с работы, ложилась на диван и смотрела сериал за сериалом, принимала эти обезболивающие средства для бедных, фантомчики одноразового пользования, поднимаясь только по гонгу (ложкой по кастрюле) из отцовской комнаты.

И единственным, чем мне удавалось ее расшевелить, оказались мои неприятности. Заметив это, я принялся жаловаться на все подряд: на здоровье, на детей, на коллег, которые совершенно меня не ценят и всячески обижают, и в ее голосе начинал разгораться даже какой-то жар. И месяц за месяцем ей, словно по кирпичику, по дымку, по пушинке, по отблеску, по иллюзийке, удалось снова выстроить какой-то воображаемый контекст, в котором и об отцовских выходках стало возможно отзываться с шутиливой досадой. И я начал звонить все реже и реже... Но все-таки мы были в курсе дел друг друга. И даже говорили интонациями чуть больше, чем словами.

Моя М-глубина могла бы еще долго наслаивать на реальность один призрак за другим, но Юля уже довела до совершенства последнюю кучу. И мы вновь сидели рядом и, встречаясь глазами, вновь начинали невольно улыбаться, когда в словах не было вроде бы ничего смешного. Только ее зубы, ударявшие мне в глаза, каждый раз меня пугали. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие зубы?..

Не задумываясь, отчего ей так хочется мне все это рассказывать, она пересказывала с папаши и кастрюль на президента и художественную литературу, и что-то во мне съезживалось, когда я видел, что у нее жест по-прежнему предшествует слову: сначала воздушный кружок и нырок кистью и лишь затем слова «я положила в кастрюлю», сначала бегущие указательный с безымянным пальцем и лишь затем слова «я побежала». Разумеется, ей необходимо было установить отчетливые отношения и с президентом: ведь в каждом человеке можно выделить (ребром ладони нарезались воображаемые доли) и хорошие, и плохие качества, а показывать (демонстрировалась горсточка) одни только... Она по-прежнему была детски заинтересована во всем высоком и по-прежнему детски доверчива к высокоумному апломбу — относилась серьезно, словно к вечным звездам, к однодневным фонарикам, разжигаемым шарлатанами. Она выспрашивала мое мнение о случайно услышанных по телевизору философах и литераторах, о которых правильнее всего было бы вовсе не слышать, ограничивая себя измышлениями лишь проверенных фирм, — и я чувствовал, что моя улыбка становится все более и более растроганной.

Что, в свою очередь, не укрывалось и от нее.

— У тебя замученный вид, — вдруг заключила она, едва сдерживая улыбку.

— Спасибо на добром слове. А ты, наоборот, выглядишь чудесно.

— Ты тоже выглядишь чудесно. Только замученно.

— Сегодня утром я повторил подвиг Павлика Морозова. Отрекся от родного отца за то, что он враг народа.

— Ты же знаешь, я народ не люблю. — Это было одно из тех излюбленных ее признаний, которыми она могла услаждаться вечно.

— Ты не любишь простонародье. А простонародье больше заслуживает звания народа по единственной причине: оно более предано тем коллективным фантомам, которые создают народное единство. Хранят народ, проще говоря.

Я чувствовал, что мне для чего-то нужно ее обольстить, а потому следовало быть не просто умным, а «блистательным», то есть парадоксальным. Какая бы муха ее ни укусила, мне всегда бывало довольно поблизить минутки три, чтобы она снова обреченно бросилась мне на шею: «Конечно — у тебя язык вот такой!..» Она показывала что-нибудь с полметра от своих губ.

— А зачем нужны единства? Я еще с пионерского лагеря терпеть не могу никаких единств, в них всегда командуют подонки. — Она охотно въезжала в прежнюю колею восхищенного Санчо Пансы при витающем в блистающих облаках Дон Кихоте.

— Без единств мы все сделались бы смертельно трезвыми. Бывают, конечно, одиночки, способные опьяняться в одиночку, но, как правило, это те, кому повезло уродиться душевно не вполне здоровыми. На миру и смерть красна именно оттого, что в коллективе легче опьянить себя иллюзиями. В трезвом виде люди не способны на подвиг. Посмотри на какую-нибудь отечественную войну. И фронт, и тыл состоят в основном из трусов и шкурников, готовых с превеликой радостью обменять и честь, и свободу на комфорт и безопасность. А народ как целое, можно сказать, бросает в огонь куски собственного тела, он готов бороться за свою честь и достоинство целыми веками. Народ — это главный сеятель и хранитель опьяняющих фантомов, это та сила, которая заставляет трусов совершать подвиги, а жмотов делиться последним куском.

— Ну и зачем это нужно? — Она уже предвкушала интересность моего ответа. — Я еще понимаю — жертвовать ради конкретных людей...

— За детенышей может пожертвовать жизнью и волчица, за стадо жертвуют жизнью и павианы. Но только человек способен погибнуть за то, чего нет!

— Так зачем, зачем погибать за то, чего нет?..

— Без преданности тому, чего нет, человеку просто не выжить. Разве тебе не знакома моя теория культурного опьянения? Ну, ты, однако, отстала... Базисное положение теории в том, что человек способен по-настоящему, до самозабвения любить лишь собственные фантомы, реальные предметы ему всегда в лучшем случае скучны, а в типичном ужасны.

— Уж прямо-таки все без исключения?

— Исключая присутствующих, разумеется. Хотя даже они когда-то сумели проглотить друг друга только под розовым соусом «фантазий». Но это вопрос слишком частный для теории такого масштаба — ее было бы, пожалуй, даже более правильно назвать *учением*. Основной его тезис — человека сделал царем природы не только разум: разум вместе с множеством, не спорю, полезных вещей открыл нам и нашу беспомощность перед огромностью реального мира, нашу микроскопичность и мимолетность. И защититься от этого знания мы сумели только при помощи системы коллективных иллюзий, не позволяющих нам видеть мир таким, каков он есть. Можно называть эту систему религией, можно культурой, но главное — она выполняет функции наркотика. Психостимулятора, когда побеждаем мы, и транквилизатора, когда побеждают нас. Когда же действие культурного наркотика ослабевает, когда человечество начинает выходить из-под власти мнимостей и стремится жить реальными заботами — тут-то и поднимается волна скуки, тоски, самоубийств, наркотизации... Короче

говоря, чем трезвее становится общество, тем сильнее оно нуждается в психоактивных препаратах. И практический вывод отсюда — трезвости бой! Спасительная соль земли — это придурки, живущие ради каких-то бесполезных химер, карабкающиеся на Эверест, собирающие спичечные коробки, верящие в предназначения и призраки: на месте министра здравоохранения, а заодно и министра финансов я бы с утра до вечера показывал их по телевизору в качестве антинаркотической пропаганды. Они демонстрировали бы нам потенциальное могущество нашего духа, которому, собственно говоря, глубоко безразличны все инфляции, дефляции и дефлорации — он вполне способен жить и среди собственных конструкций.

К концу моего пародийно-напыщенного монолога Юля уже светилась гордостью за меня перед каким-то воображаемым миром, в ориентации на который она бы не призналась даже под пыткой («Это вы, мужчины, все хотите производить на кого-то впечатление!»). Наиболее продвинутые философы давно раскусили, что под знамя истины соберешь одних зануд, а истинно громкую славу можно снискать лишь блистательным шарлатанством. И сейчас мне аплодировали даже банные листья в Юлиных кучах, расшевеленных поднявшимся ветерком.

Сама же она, прекрасно понимая, что я наполовину валяю дурака, все равно не могла не вдумываться в мой треп.

— Мне кажется, это когда-то давно национальные фантомы хранило простонародье. А сейчас они, по-моему, еще трезвее нас. И кстати — почему ты говоришь только о национальных фантомах?

— Да, сегодня существуют и транснациональные, космополитические фантомы — Цивилизация, Бетховен, Человечество... Но многих ли они в состоянии опьянить? До забвения реальности?

После этих слов даже солнце правды изрядно померкло. Ветер снова пронесся по тополям, и они задирижировали всеми своими банными ветками. Кожу на лице начало покалывать песочком. Ветер надал еще сильнее, и деревья согнулись, повернувшись к нему спиной, словно путники в плащах. А он тем временем взрыл Юлины муравейники и принялся их расшвыривать целыми пригоршнями. Я бросился было спасти плоды ее труда, но она залилась таким радостным смехом, что и я расхохотался. Я, признаться, и забыл, как это звучит. А ее смех был уж до того прежний...

Листья срывались и катились прочь, а вослед им над нашими головами, над крышами, над миром раскатился исполинский львиный рык, завершившийся страшным ударом, от которого мы оба втянули головы в плечи и, переглянувшись, фыркнули. И только тогда, протоптав по земле, прогремев по невидимой жести, хлестанул ливень. Подхватив грабли, мы кинулись в подъезд — вмиг полупромокшие от одного только залпа небесной шрапнели.

Это был ее подъезд, и он, похоже, не ремонтировался с тех самых пор, но выметен был — чистый Гамбург: не зря я эту ударную дворничиху называл еще и немкой, когда она появлялась в сетчатом чепчике, приобретенном нами в Риге. Холодная вода смыла с ее лица разгоряченность, и на крестьянском загаре отчетливее проступили множественные белые морщинки. Вместе с нарастающей борьбой принципов: если пригласить меня домой, не заберу ли я чего-нибудь в голову — но и оставить мокрого человека на лестнице... А ведь пускалась на опасные для репутации ухищрения, чтобы только как следует показать мне свое гнездо: воспользовалась ежегодным визитом предков к Елене Владиславовне...

Уж до того самозабвенно летала она по прихожей, наматывая на совок мелкий мусор и отгибая сверху от усердия большой палец на ноге, обутой в зеленый вязаный «следочек»!.. Показывала свои книги — русская классика, плюс экзистенциалисты из книгообмена, плюс Пруст и Платон с черного рынка, плюс стопочка женских поэтических сборничков, немедленно приговоренных мною к помойному ведру; показывала полуметровую

наивноглазую куклу-невесту, подаренную ей за отличное окончание первого класса («Ее племянницы все время роняют, а она так вскрикивает — ужас!»); хвасталась геройской пилоткой на фотографии старшего брата, чье пьянство пока еще можно было воспринимать как забавную слабость; с грустной гордостью показала пожелтевшую и покоробившуюся девочку, ее умершую в блокаду двоюродную сестру, в чью честь она тоже была названа... Юлианой. На самый ценный экспонат — диван, на котором она спала, — она зачем-то уложила меня отдыхать — видно, не наигралась мною в нашем убежище под персями Виктории. Возможно, потому и кофе ей хотелось подать мне не как-нибудь, а именно в постель, — тем не менее дотерпеть ритуал до конца ей не удалось — она поставила поднос на пол и припала ко мне. Ее волосы щекотали мое лицо, но я не подавал виду — однако она что-то все же заметила и убрала их за уши. Своей чуткостью она развивала во мне изнеженность — вслед за ней и я начинал придавать значение своим мелким неудобствам.

Теперь та же самая обстановка — не хуже людей, а следовательно, чуть-чуть лучше, как излагала Юля принципы своего папаши, — изрядно одряхлела: там отвисла полированная дверца, сям спинка стула стянулась бельевой веревкой — это в доме, где когда-то в каждом шурупе чувствовалось присутствие рукастого хозяйственного мужика...

Стены в ванной, куда я зашел помыть руки, напоминали лунную поверхность. Я взгляделся в зеркало и поразился, какие излишки кожи скопились на моем лице. Я ущипнул себя за мятые подглазья, и след щипка растаял далеко не сразу, словно я щипал поднявшееся тесто.

А между тем душа все просила и просила любимого некогда наркотика. И потому необходимо было нагнетать и нагнетать обаяние. Но при попытке по-свойски положить локти на кухонный стол он завихлялся по всем степеням свободы. «Ну-ну, не пихайся!» — ворчливо предостерегла меня Юля, все еще опасаясь, как бы я чего не вообразил, — но в ее ворчании я расслышал и знакомые воркующие нотки. Ее волосы слиплись и потемнели, царапнув меня неуместной ассоциацией: Катька на заозерском озере окунулась с головой, и маленький Митька пробормотал с недоверчивым удивлением: «Брюнетка получилась...» Я почувствовал себя еще более бессовестным обманщиком. Однако что-то я должен был довести до конца.

Юля скрылась в ванной, пошумела водой, словно ей мало было небесного душа, и вернулась протертая и причесанная в добытом из Леты посверкивающим на сгибах курчавом коричневом халате «большая медведица». Эти просверки пронзили меня такой мучительной нежностью, что я поймал ее руку и прижал к губам — пожалел волк кобылу. К моему удивлению, она воспротивилась лишь в самое первое мгновение. Однако ветхую отцовскую ковбойку — явно повеселев, с убыстрившимися движениями — она протянула мне все-таки с прежней воркующей ворчливостью: «На, переоденься! А то еще простудишься — отвечай за тебя...»

Опасаясь, что удалиться для переодевания будет выглядеть жеманством, я стянул мокрую в яблоках безрукавку здесь же, в кухне, и она немедленно распялила ее по лупящейся стене над газовой плитой. И, обернувшись ко мне, остолбенела, разглядев мой втянутый рубец. «Я уж и забыл давно», — досадливо отмахнулся я: мне не хотелось, чтобы она отвлекалась сам не знаю от чего. Поняв, что я не кокетничаю, она переключилась на былую игривость: «У тебя теперь тоже талия с напуском». И вдруг провела холодным пальцем по моему правому боку: «Толстенький стал, как поросенок». Я изобразил смущение и в «бесхитростной» манере ответно потрогал ее талию указательным пальцем: «Ты тоже вроде бы не похудела». Я опасался (но, кажется, и надеялся), что Юля в своем стиле отвилънет, как норовистая кобылица, — однако она спокойно позволила моему пальцу спружинить о наросший жирок. «Да уж, не похудела, — с

саркастической гордостью подтвердила она. — Ем одни макароны!.. — И ворчливо захлопотала: — Давай, давай садись, я чай поставлю, есть хочешь?»

Это была наша старинная игра — то она начинала изображать ворчливую хозяйку, то, наоборот, я капризного деспота: «А что у тебя есть? Что это за колбаса? Почему такая холодная? Ты должна была заранее... Кто же на таком блюде подает!..» — эта роль требовала вальяжно развалиться на стуле, но спинка при первой же попытке поползла, и я уселся поскромней. Однако она снова вад-вперед с прежней готовностью, все так же сокрушенно приговаривая: «Тебе надо что-то делать с твоим характером, ты же совершенно невыносим!»

Ее простодушие все нагнетало и нагнетало в моей душе стыд за творимый мною обман — одновременно с желанием искупить его все более и более достоверным исполнением своей роли.

— Я невыносим только потому, что женщины вообще ненавидят порядок, — тон заигрывающего умничанья.

— Щас! Это вы, мужчины, ненавидите порядок!

Хорошо. Готовность обсуждать противостояние полов есть первый шаг к их сближению.

— И «щас», и всегда. Когда я в первый раз пришел пьяный на школьный вечер, кто, ты думаешь, был в восторге — оторвы? Нет, девочки-припевочки. Да и в университете...

Я снова вспомнил, как однажды ночью в подпитии забрался на строительный кран и — не возвращаться же без трофея — вывернул на его макушке огромную лампишу, — так даже Пузя была в восхищении. «Страшно...» — благоговейно произнесла она, когда наши лица в пылании этого глобуса засветились магнием. Пришлось — не карабкаться же с нею обратно — бахнуть ее в унитазе, — от взрыва заложило уши.

— Вот-вот, ты и об университете всегда вспоминаешь какие-то беспутства. А я — лекции, преподавателей... Мне так нравилось учиться!

— Я вообще обожаю все науки. Но не вспоминать же о том, что ты дышал.

— Юлиана! — послышался хриплый крик из квартирных глубин.

— Папаша... — со снисходительной досадой улыбнулась Юля и ускользнула, прикрыв за собой стеклянную дверь, полузатянутую приклепанным обойным листом.

В некоем выжидательном отупении — я бы уже с удовольствием смылся, но что-то должен был довести до конца — я посмотрел в окно. Прямоугольные трубы на плоских крышах окружающих Юлину башню пятиэтажек под бешеным ливнем уходили вдаль стройными рядами, словно стелы на европейском кладбище.

Где-то в квартирных недрах вслед за томным дверным стоном послышались звуки закончившегося заседания — грохот и перестук передвигаемых стульев, сменившиеся ритмическим пыхтением и низким ворчанием, которому Юля вторила прерывистыми добродушными покрякиваниями. Мне показалось даже, что я различаю знакомое шлепанье мотающихся тел о стены, — пришлось сделать усилие, чтобы не сунуться с подмогой: одноразовые услуги все равно ничего не стоят, а как отреагирует «папаша»... Да наверняка и она (как и я) предпочитает обойтись без свидетелей.

Из-под обойного листа открылись ее загорелые семенящие ноги рядом с беспорядочными выбросами пижамных штанин в забытую голубую полосу. Водружение на унитаз представилось уже лишь моему противящемуся воображению. Затем Юлины ноги отошли в сторонку, через некоторое время послышался шум спущенной воды, потом проволоклись спущенные пижамные штаны, из которых восставали смертельно бледные набухшие ноги, затем штаны были вздернуты за обойный лист — и снова началось сопение, ворчание, шарканье, шлепанье, поощряемое прерывис-

тыми Юлиными покрякиваниями. Новые громыхания стульев. Томно про-
стонала и захлопнулась дверь.

Заглянула Юля: я сейчас, я должна подождать, пока он покурит, а то он может окурочить в постель уронить, уже бывало, он же не видит почти ничего... И горько заключила: «Совсем старый».

Я дождался ее отупело, как приговаривающаяся к доению корова. Присходящее было слишком страшно, чтобы допустить его в М-глубину.

Очередного дверного стога я почему-то не расслышал и едва не подпрыгнул, когда над моей головой раздалась Юля:

— Извини, пожалуйста, — с ним только расслабься...

— Да я все понимаю, — с предельной отзывчивостью начал оборачиваться к ней я, оберегая табурет, — у меня у самого мама...

На этом заколдованном слове голос мой опять дрогнул — Юлино присутствие вновь расшевелило мою изнеженность. И Юля тоже дрогнула — внезапно обняла меня сзади за полуповёрнутую голову.

Я слегка обмер, хотя вроде бы именно этого и добивался, и попытался повернуться к ней, приподнявшись над неверным четвероногим. Она воспрепятствовала, видимо, пряча от меня свое лицо, снова горячее — я чувствовал ухом.

— Ты, наверно, думаешь, что я сумасшедшая?

— Я думаю, ты была сумасшедшая, когда меня отталкивала.

— Тогда все было иначе. Тогда мне еще хотелось чего-то прочного. А теперь я живу одним днем. И думаю: если мы можем украсить друг другу жизнь — почему этого не сделать?

Она даже за моей спиной проговаривала это, понизив голос и отворачиваясь в сторону.

— Ну да, ну да, разумеется, — заторопился я и, чтобы возместить сверхлюбезную суетливость своих слов уверенными и прочными делами, ласково, но твердо разомкнул ее руки и, освободившись наконец от табурета, обнял ее за раздавшийся корпус. Руки наотрез отказались признать ее своей, но она отдалась им с такой безоглядной готовностью, что я ощутил стыд за свою придирчивость. Я пытался искупить ее страстностью поцелуя, но она спрянула свои губы у меня на плече:

— Подожди, подожди, дай мне почувствовать, что я тебя снова обнимаю. Когда ты мне звонил, мне всегда просто невыносимо хотелось тебя обнять, ну подожди, ну подожди!..

Ее замирающий шепот напомнил мне, что нас может услышать ее отец, и она, мгновенно уловив мое беспокойство, улыбочиво зашептала: не бойся, не бойся, он ничего не слышит, это я просто так шепчу.

Настигнув наконец ее губы, я внутренне сжался, до того они были чужие и царапучие. Однако опьянение лишило ее обычной чуткости — она, как в бывшее время, пустилась проказничать своим веселым язычком, и я, все больше теряясь, ощутил, какой он пересохший и вообще неуместный, — вспомнился вдруг какой-то ремизовский старец, дававший паломникам язык пососать. Однако руки помнили свои обязанности — распустили бантик на поясе, раздвинули коричневый занавес, явив моему мечущемуся взору тело, которое я когда-то знал гораздо лучше собственного.

В соседстве с разделившим их чешуйчатый мыском загара ее сильно отяжелевшие груди казались смертельно бледными и ужасно немолодыми. «Мама», — больно екнуло в груди. Гимнастический животик ее тоже оплыл в нормальный дряблый живот немолодой тетки — было прямо-таки дико его целовать: что это, с какой стати?..

— Юлиана! — донесся хриплый крик.

Я резко выпрямился и даже слегка запахнул полы халата обратно.

— Не обращай внимания, он просто от скуки, — со снисходительной досадой кивнула за спину Юля.

— Но... он же может войти?..

— Не выберется, я его стульями загораживаю. Он уже два раза газом обжигался, зажженные спички на пол ронял...

— Он даже стулья не может раздвинуть?

— Я их связываю. Ладно, пойдем ко мне в комнату, раз ты такой нежный, — это насмешливое слово она прошептала с особой нежностью.

На постаревшей тумбочке у ее обветшавшего дивана стояли две большие блеклые фотографии — задорная мать в лихих кудряшках и смущенный от непривычного парадного костюма отец, оба сегодня годятся нам в дети.

— Теперь это все, что у меня осталось, — как бы легкомысленно обронила Юля, но жалобная нотка все же прорвалась.

И мне ужасно захотелось прижать ее к себе, погладить и утешить — но между мной и ею стояла чужая тетка в поношенном Юлином халате.

Отец ведь еще жив, порядка ради хотел возразить я, однако вовремя сообразил: это уже не он.

Мгновенно разгадав мой взгляд на дверь, Юля, ободряюще улыбнувшись, придвинула к ней стул:

— Не бойся, он и раньше ко мне не заходил.

Мы снова обнялись — она самозабвенно, я неловко, все острее ощущая чуждость ее тела и лживость своего жеста. Но моя скованность, вероятно, представлялась ей трогательной застенчивостью. Что в свою очередь усиливало во мне ощущение собственной подловатости.

За стеной послышались нетерпеливые удары ложкой по кастрюле.

— Ему что-нибудь нужно?

— Ничего ему не нужно, он так развлекается. — Ее ласковая снисходительность явно относилась и ко мне тоже.

Мой взгляд упал на увядшую куклу-невесту на подоконнике, паралично прикрывшую левый глаз.

— Как твоя кукла, все вскрикивает?

— Нет. Отвскрикивалась.

Между тем бледно-огневая тетка в Юлином халате ласковыми движениями, будто одеялко любимого малыша, подтыкала под спинку простыню на диване, порождая во мне протест против ее бесцеремонности: я ведь еще ни на что не подписывался. Вместе с протестом нарастал и стыд перед Юлей за это предательское чувство и все более мучительная жалость к ней, с такой доверчивостью углублявшей эту унижительную для нее ситуацию, а с ними и досада на ее наивную слепоту — вместе со стыдом за эту досаду... А поверх этого букета все густела и густела тень безнадежности — да разве за этим я сюда влачился...

Под жидкий кастрюльный набат я снова развел полы ее халата. Она с готовностью сронила его с плеч и, что-то азартно приговаривая, принялась расстегивать на мне отцовскую ковбойку, поклевывая меня в обнажающую грудь чужими странными поцелуями. Затем опустилась на корточки, пробежалась цепочкой почмокиваний по бесчувственности моего рубца и посторонними нелепыми руками взялась за брючный ремень. Я напрягал все силы, чтобы не выдать своего напряжения, а она, ничего не замечая, заигрывала с каждой новой частью моего тела, как и прежде, не разделяя приличного и неприличного: «Здрасьте! Давно не видались!»

Я попытался разрядить свое напряжение шуткой:

— Я вам, кажется, уже не нужен?

Усаживая меня на диван, она сделала лишь успокаивающее движение ручкой: не беспокойся, мол, дойдет очередь и до тебя. Стараясь не вслушиваться в кастрюльное дребезжание над ухом и не вдумываться в бредообразии происходящего, чем-то напоминающее насилие, я все-таки начал впадать в известное томление и попытался отблагодарить ее рукой, преодолевая глубочайшую непристойность своих усилий по отношению к совершенно неизвестной мне женщине. Она, протестуяще мыча, взбрыкива-

ла крупом, уворачиваясь от моих ласк. «Тебе неприятно?» — осторожно поинтересовался я, и она вскинула раскрасневшееся пятнами лицо: «Наоборот. Я боюсь умереть».

Подтянув к себе ее чужое, слишком громоздкое для узкого диванчика тело, я попытался занять доминирующую позицию, но она взмолилась жалобно: «Не надо, у меня сейчас все циклы сбиты...» — и я отпустил ее милиться с любимой игрушкой, борясь с желанием защититься рукой.

Тяжелая грудь ее была уж слишком чужая — я постарался расслабиться и получить удовольствие, закрыв глаза и поглаживая ее нейтральные плечи. Кастрюля над ухом то умоляюще призывала на помощь, то вдруг умолкала, чтобы я начинал прислушиваться, не стряслось ли там чего, не гремят ли стулья, однако в конце концов я сумел возвыситься над мирской суетой. «Гадость», — с прежним аппетитом констатировала Юля: во всем телесном даже истинно гадкое вызывало у нее разве что юмористическое отношение, а уж во мне-то абсолютно все требовало уменьшительно-ласкательных суффиксов — и попочка, и геморройчик. Но сейчас мне было ужасно неловко в голом виде, да еще при поддельной чеховской бородке, лежать перед малознакомой голой теткой с расплывшимися боками и золотыми клычками ростовской спекулянтки вокруг сверхоптимистических американских зубов, крупных, как фарфоровые изоляторы.

— Ты потный, как японец, — поддразнила она меня Юлиным голоском, и глаза ее среди врезавшихся еще глубже морщинок засветились таким озорным счастьем, что стыд начал жечь даже кисти моих рук за то, что я разглядываю ее в безжалостном свете правды. Да кой черт правды — мне ли не знать, что ее нет, что любой предмет не комплекс ощущений, а комплекс ассоциаций: зубы желтого металла — такой же повод растрогаться, как и передернуться.

— А у тебя неприлично счастливый вид, — с «доброй» улыбкой выговорил я ответный пароль, и она, ослепленная и огуленная своим комплексом, счастливо расхохоталась. Прямо вылитая Юля.

Шлепнув меня сначала одной, а потом другой тяжелой грудью, они обе — Юля и проглотившая ее чужая тетка — забрались «к стеночке» и замерли у меня под мышкой, предварительно попытавшись ее взбить как подушку, — к чести моей, я никак не дал знать, что начинаю нависать над полом. Что-нибудь через полминуты она принялась переукладывать меня поудобнее, и я тоже принимал это с полной готовностью. Юля всегда любила меня вертеть и переукладывать, чтобы полнее насладиться обладанием. Иногда едва ли не нарочно накрывалась с головой, чтобы с воркующим недовольством — «Закопал!..» — тут же выпростаться из-под собственной полы.

На глаза мне попались ее ступни с такими же полированными бугорками на разросшихся суставах, как у Катьки, только сейчас открыв мне, что и на мне бесконтрольным образом разрослось несколько подобных диких наростов. Я покосился на Юлю и увидел, что глаза ее безмятежно закрыты, а уголки немножко размазанных за свои пределы губ блаженно приподняты вопреки монотонному кастрюльному сопровождению. В порыве нежности и сострадания я перецеловал бы ее от блаженных губ до полированных суставов, но — я не мог доцеловываться до нее сквозь уже начавшую прилипать ко мне, теснящую меня к обрыву бесцеремонную тетку в протуберанцах крашенных седин. Которой и теперь не лежалось.

— Самое лучшее, что ты мне давал, — это даже не наслаждение, — спешила наоткровенничаться из нее Юля, и от звука ее голоса у меня снова холодело в груди. — Хотя мне всегда казалось, что я тебе недоплачиваю... Но самое лучшее было — успокоение. Умиротворение даже. Я уже с утра все делала со счастьем — подметала, мыла посуду... — Свободной рукой она успевала бегло обрисовывать и успокоение, и подметание, и мытье посуды. — Понимаешь? Я ни против никого в мире ничего не таила.

Мы же всегда из-за чего-нибудь напряжены, а с тобой я испытывала *абсолютный* покой, с тех пор я ничего подобного не знала. Я даже и любила, может быть, больше себя, какой я с тобой становилась!

— Все наркоманы любят свое состояние, а не героин.

— Нет, тебя я тоже, конечно... ты был такой лапочка, такой романтичный и вместе с тем такой добрый... Почему ты такой напряженный? Ты же весь как камень! — Рука, обрисовывавшая мою романтичность и доброту неопределенно округлыми движениями, внезапно замерла.

Начавшееся протрезвление вернуло ей обычную наблюдательность.

— Да нет, не обращай внимания, просто я от тебя отвык... но я еще привыкну, привыкну! Так ты что, все время был такой стиснутый? — Как ее кулачок.

— Ну, как тебе сказать... Еще эта кастрюля...

— Почему же ты не сказал? Я как дура разливаюсь... — Волнообразное трепыханье кисти.

— Я не хотел тебя обижать. Но я еще привыкну, ты не беспокойся!

— Хм, привыкнешь... Как ты это себе представляешь — я буду выворачиваться наизнанку, а ты терпеть и привыкать? Если это тебе не нужно, то и мне не нужно. — На слове «тебе» она показала на себя, а на слове «мне» — на меня.

— Нет, мне, в принципе... Но я просто еще не готов. Но я...

— Постарайся? Да нет уж, спасибо, как-нибудь перебежусь.

Я не мог не фиксировать и ее отстраняющий жест — слишком уж все это меня когда-то умиляло.

Я пытался что-то мямлить, но она уже наглухо укрылась в свой медвежий халат и легкомысленный тон: да перестань ты, да о чем здесь говорить — мы с тобой приятели, а если один раз сваяли дурака, то не надо хотя бы повторять, давай лучше о погоде — видишь, снова солнце...

Но за прощальным чаем, каким-то образом утихомирив отца, она вдруг опустила глаза и принялась старательно ввинчивать в клеенку хлебные крошки, рассуждая будто сама с собой:

— Ну вот, ты разрушил и мою жизнь, и свою — и чего ты добился? Кого ты сделал счастливым? Но у тебя же на первом месте долг...

Я молча цепенел, тем более что ее вопросы и не предполагали ответа. Но душа на каждый из них отзывалась прибойным толчком сомнений: «Неужто так уж и разрушил?.. Неужто совсем уж ничего не добился?.. Да неужто у меня и впрямь на первом месте долг?..»

Солнце безжалостности снова палило, и у двери Юля вновь не удержалась от прежнего тона любовной ворчливости:

— Бестолочь! Ты почему без головы?

На ее языке это означало «без головного убора».

— Снявши волосы, по голове не плачут, — ответил я, изо всех сил стараясь выразить и грусть, и раскаяние, и робкую надежду, что все еще как-нибудь утрясется.

Но когда испятнанная ожогами дверь была уже готова окончательно отсечь от меня улегшийся бледный огонь ее волос, мною овладел отчаянный порыв что-то спасти — упасть на колени, прижать к груди... Только вот все вины она уже и без того мне простила, а объятий моих не пропустит к ней поглотившая ее легкомысленно-любезная, незнакомая женщина. Да теперь и она меня к этой женщине не пропустит.

Чуть я шагнул из-под бетонного козырька, дождь грянул с прежней силой, и я даже не пытался укрываться, брел под хлещущими струями и плакал. На залитом водой лице слезы были незаметны, да и смотреть на них было некому — все попрыталось, — так что можно было без помех отдаться этой давно ампутированной стихии, и мне казалось, что все пузырящиеся лужи с раскисшей листвой, все грязные ручьи, завивающиеся у канализационных решеток-иллюминаторов, наплакал именно я. Такой же

Между тем жизнь продолжалась, и однажды мама уже не поднялась с пола. Но хотя я знал, что она ничего не чувствует, я все равно готов был целовать край Катькиных брюк за то, что мама лежала в отдельной комнате, аккуратно повязанная чистенькой косыночкой, сама чистенькая и розовая, как девушка. А в крематории я даже поправил лацкан ее «гуманитарного» темно-зеленого костюма с золотыми пуговицами — «адмиральского». И в лоб ее я целовал не по чувству долга, а с такой нежностью, словно она могла это ощутить. И ледяной холод отнюдь не оттолкнул меня, хотя мертвецы с малолетства приводят меня в содрогание, а, наоборот, вызвал новый спазм боли за нее — как за еще одно свалившееся на нее несчастье. Да еще и эта скорбная складочка ее губ...

Я и через много месяцев продолжал самоудовлетворяться — оставшись один, по несколько раз в день принимался повторять про себя с предслезной нежностью: «Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка...» — прорываясь даже еле слышным похныкиваньем. На людях я, естественно, держался с обычной своей непроницаемой любезностью (правда, в общении с людьми особенно злобными и амбициозными у меня появилась мягкая повадка доброжелательного доктора). Зато во сне я распоясывался до бесстыдства. Не проходило недели, чтобы я не обмирал от счастья, что снова вижу ее, хотя прежде она почти никогда мне не снилась, — и тут же вспоминал, что ее больше нет. И начинал рыдать, как женщина, падал на колени, заламывал руки, простирали их к небесам, вопия: «Мамочка, мамочка, как тебя давно нет с нами!» Просыпаясь же с легкой икотой, я горько сожалел о дискредитации театральности — насколько было бы легче и въяве падать на колени перед могилой, раскачиваться, причитать, рвать на себе волосы...

Мало того, я с тревогой прислушивался к себе, когда мне казалось, что боль начинает затихать, — я желал, чтобы она длилась вечно. В молодости, в дни душевного упадка — упадка ослепляющих фантомов, меня особенно ужасало ощущение нашей мизерности в космосе: неведомый наблюдатель улетает все дальше, дальше, дальше, а Земля превращается в мяч, в яблоко, в пылинку, в ничто...

Теперь же я беспрепятственно позволял своей глубине разворачивать и разворачивать передо мной такую приблизительно панораму: время делает свое вечное дело — разрушает, и вот на маминой могилке уже опрокинута полированная гранитная стела, и ее заносит песком, как уже занесло тысячи и тысячи могил таких же чудных и удивительных мам и бабушек, а дымящийся холодной пылью шар, кружась, уплывает, уплывает и, наконец, теряется среди бескрайних пространств мертвой космической пыли...

Однако теперь эта картина вызывала во мне не ужас, а лишь примиренную грусть. Я жалел только, что, в отличие от Катьки, на маминой могиле я не чувствую себя ближе к ней — наоборот, овальная на эмали фотографии, на которой мама болезненно улыбалась и вскидывала брови с грустной готовностью принять и обогреть какого-то не слишком приятного гостя, — этот овал лишь являл собою еще одно вещественное доказательство необратимости всех реальных процессов. От любых попыток подкрепить иллюзии фактами я только трезвею, начинаю задумываться, не слишком ли это бестактно — симметрично маминому лицу оставить дикий каменный овал для будущей отцовской фотографии, — но тут же соглашаюсь, что так оно и следует: если бы в гранит была вмазана Катька, я бы смотрел на овальную нишу для себя самого с полным приятием. Раз уж Катька туда ушла, я готов беспрекословно за нею последовать, что бы там меня ни ожидало. Разумеется, не ожидает меня там ничего — ну, значит, ничего.

Я думаю об этом с какой-то даже лирической проникновенностью — о том, что отец в конце концов упокоится (отличное имечко для процесса-фантома) под заозерскими мачтовыми соснами рядом с Бабушкой Феней. Они оба достойные представители своих народов. И они всегда отзывались

друг о друге с такой растроганностью, что в наивном человеке это могло возбудить надежду, будто между народами возможно братство. Однако нет — фантомы в компромиссы не вступают.

Я напрасно боялся за отца. В последние годы он был привязан к маме именно как ребенок, но — когда потребовалось не страшиться, а переносить, он снова показал себя героем. Обрядившись в свой выходной костюм несдающегося босяка, он обреченно молчал над гробом — кажется, мне пришлось перенести более трудную борьбу со спазмами в горле, — и только когда мама уплыла в глубину, безнадежно обронил: «Взял ее за руку — холодная...»

И оставить его одного в квартире, где все пропитано маминым присутствием, я тоже боялся зря: он каждое утро писал ей длинные письма, сортировал реликвии, потом садился за итоговый труд своей жизни об экономии всего на свете. Я навещал его практически каждый день; голос у него был убитый, но никаких надрывов опасаться не приходилось. «Когда человек умирал, у евреев было принято говорить: благословен судья праведный», — каждый раз с суровой значительностью сообщал он мне, и я безнадежно сожалел об утрате выдумок, позволявших человеку мириться с утратами. Я долго не мог собраться с силами выбросить две вишенки, подвешенные мамой у своего изголовья и уже превратившиеся в бурые сухофруктинки. А отец однажды без долгих слов взял и смахнул их в помойное ведро. И вынул из последней маминой книги заложенные в нее очки тоже он, а не я, мне это было страшно сделать — словно отключить реанимационную машину.

Лишь забегавшая убраться-постирать Катька вызывала у него кратковременный приступ рыданий — но тут ее всегдашняя готовность слиться в экстазе служила чересчур уж соблазнительной провокацией. От обедов ее отец все-таки отбил, уверив, что самообеспечение его все-таки развлекает. Благодаря нынешнему разнообразию цен у него появилась возможность семенить из лавки в лавку в поисках совершенства — максимальной дешевизны. В своих скитаниях он начал приглядываться к конкурирующим старушкам — «так много с палочками...». Отобрав пару самых беспомощных, он принялся, как тимуровец, таскать им хлеб и молоко. Я еще раз убедился, что, когда дело касается реальностей, а не фантомов, мой отец самый хороший человек, которого я когда-либо встречал. Но, увы — или к счастью, — фантомы для нас важнее хлеба.

Поскольку даже самое тяжкое горе не сумело превратить отца в эгоиста, за него можно было немного успокоиться. Более неожиданно повел себя Дмитрий — прекратил пить и истекать завистливой злобой, хотя ходил мрачнее тучи, пару раз я заставал его замершим над квантовой химией, но в конце концов он действительно отбыл в Израиль с безмятежным сынишкой и недобро ироничной женушкой в окружении выводка черных сумиш, которые онемевшая Катька целый месяц набивала одеялами, половиками, свитерами, словно они ехали не к Средиземному, а к Баренцеву морю, — пришлось забраться в порядочные долги.

В пустой квартире мы с Катькой как-то даже стыдились смотреть друг на друга, опасаясь, вероятно, того, что хорошие родители не остались бы одни. Катька сделалась неузнаваемо молчаливой и, вернувшись с работы, подолгу переключалась с сериала на сериал. Она прозванивала половину наших доходов, но все никак не могла уяснить, что же там, в Тель-Авиве, происходит. Вроде бы Дмитрий по-прежнему держался молодцом, устроился в какой-то тамошний водоканал, до работы успевал на иврит, после — на какие-то курсы повышения. Проговорив очередную долларовую десятку-двадцатку, Катька немного отмякала и произносила горестно: «Это так тяжело — жить без родины».

На работе неотвратимо, как осеннее ненастье, над нею нависла угроза потерять работу. Нам-то с нею (плюс сотня баксов разочарованной доче-

ри) хватило бы и моих заработков, но — *люди* пойдут на улицу! Наиболее грозowymi тучами были две — американский империализм и российский криминалитет. Беда, как обычно у нас, началась с успеха: Катькин программный продукт был необычайно высоко оценен комиссией Международного валютного фонда и рекомендован к внедрению в смежные отрасли и регионы — вследствие чего на Катькину фирмочку пролился короткий, но бурный финансовый поток. Катька в упоении раздала неслыханные премии и закатаила давно ей грезившийся пир на весь крешеный мир — и, можно сказать, назавтра же на их рабочие места пожелала сесть Мамаем транснациональная корпорация «Ай-ти-эм», коей ничего не стоило сунуть принимающим решения чиновникам по двадцатке-тридцатке тысяч долларов. «Для американцев же это копейки, а они ради этого готовы отнять у нас последний кусок», — скорбела Катька, когда ее сторона начинала перевешивать. (В периоды поражений она только передраивала посуду, пол, потолок...) «Борьба ведется не за копейки, а за совершенство», — удерживался я от разъяснений, не переставая подспудно дивиться, какое она чудо — Катька: как она понимает, когда надо испугаться, когда обрадоваться, когда свести брови к переносице, а когда... И сразу же становится ужасно жалко Юлю: она ведь тоже чудо, а никому это не восхитительно, не умилительно... Пожалел волк кобылу.

Вот и криминалитет был довольно снисходителен — он не пытался отнять у бедных инженеров последнюю лошадь, он желал только превратить их из хозяев в конюхов. Впрочем, и здесь ничего нельзя было знать наверняка — ну, появился новый заведующий отделом, человек ниоткуда: тридцать один год, закончил училище химзащиты, служил в капиталметаллремонта, потом в Патриархии, работой даже не делал вида, что интересуется, подчиненные вдруг разом оставили свою любимую манеру сплетничать о начальстве — исполнительская вертикаль засверкала как штык... Вот перед этой бесфантомной силой выступали бы борцы с советским режимом... В подъездах нет рампы.

С дочкой наши отношения сильно потеплели после того, как в Гамбурге — я скатался туда в свите Угарова и вечером решил посмотреть, что за Альтона такая, — мне впервые позвонили *оттуда*. На гамбургском вокзале — дальнем родственнике Эйфелевой башни, ведущем свое происхождение не от жирафа, а от черепахи, — сердце вдруг начало отбивать пьяную чечетку. Причем после грозного «цыц!», вопреки обыкновению, не поджало хвост, а, наоборот, превратилось в ошалевшего от радости жеребенка на весеннем лугу. Я сначала закашлялся, потом задохнулся, потом, пытаясь стиснуть его в кулак сквозь куртку и ребра, сумел войти в сияющую, как прихожая рая, кафешку, привалиться к высокому табурету и вспомнить единственное, исключая «Хальт!» и «Хенде хох!», известное мне немецкое выражение: «Их штербе». После укола я пытался выбраться из санитарной машины сам, но меня с неукоснительной любезностью усадили в кресло-каталку.

Кранкенхауз им. Мартина Лютера тоже сиял во тьме, как бензоколонка у ночного шоссе. Собранность перед иностранцами держала на запоре мою М-глубину, где и таятся самые ужасы (нас ведь и ужасать способны лишь собственные фантомы), однако умом я не исключал, что белый потолок, капельница и осциллограф — мои последние зрительные впечатления. Поэтому я думал о Катьке и детях с такой силой любви и сострадания, что не сразу включался на утрированную доброжелательность немецкой речи, навеки скомпрометированной для меня советскими фильмами про войну (я старался испугать это стыдное чувство утроенной корректностью инглиш). Отец в моем М-мире проходил какой-то периферийной тенью, как будто я незаметно для себя уже простился с ним раньше. Но, может быть, я сильнее сострадал тем, в ком ощущал больше никчемности, и в этом отношении дочка оказалась вне конкуренции. Все эти ее потуги

старшей несчастливой бабы понтиться и хорохориться с той минуты на одре начали вызывать у меня уже не брезгливость, а только жалость, жалость и еще раз жалость. Совсем другой стороной вдруг предстало то ее девчоночье стихотворение в тетрадке по тригонометрии: она мечтала, чтобы у нее в столе жил маленький гном, с которым они беседовали бы по ночам, и все такое прочее — и уж так умилялась собственному умилению, что менее правдолюбивый папаша немедленно сообразил бы: как и любая нормальная женщина, моя дочь мечтала быть слабой, наивной и трогательной, а изображать сильную, независимую и пронцающую всех насквозь она пустилась только с горя, с горя и еще раз с горя.

С Юлей мы по-прежнему изредка перезваниваемся — она постепенно вернулась к тону заигрывающего поддразнивания, я — к благодушной снисходительности с подтекстом. Но голос ее — невероятно прежний — по-прежнему заставляет сжиматься мое сердце, и, повесив трубку, я довольно долго ощущаю тупую боль в груди. Я мог бы ее, Юлю, ампутировать, но ведь на то мы и люди, чтобы мучиться безо всякой пользы. Вообще-то мне запрещено волноваться, но избегаю я говорить с ней о прошлом не поэтому, а исключительно потому, что этого избегает она. Правда, сразу после той исторической встречи я успел ей ввернуть, что, разрушая ее жизнь, я служил лишь орудием обожаемой ею любви. Затеяв основать брак на любви, М-культура додумалась тем самым впрягать в повозку даже не трепетную лань, а бенгальского тигра: любовь, как все наркотические переживания, безразлична ко всему на свете, кроме собственной подпитки. А семейные наркоресурсы иссякают очень быстро, потому что семья, как и любая реальность, требует прежде всего ответственности. «Если семья не приносит радости, так лучше пусть ее совсем не будет», — не удержалась от шпильки Юля, и я поспешил поставить ногу в приоткрытую щель: «Радость должна быть следствием какого-то достижения. А если она сама становится собственной целью, ее уже не достичь. Невозможно пообедать с аппетитом, если ты не голоден». — «Да перестань ты — все достигается радостью!» — «Что — египетские пирамиды, Сикстинская капелла?! Все достигается *служением!*» — «Служением достигается тоска. Правда, любовь без ответственности я теперь тоже знаю, как называется, — блуд».

Ей наверняка хочется и дальше меня поддразнивать, но — ну меня к черту, раз уж я, кажется, и впрямь пошатнулся здоровьем. Когда на твердом немецком ложе под неровным светящимся почерком моего сердца, подколотый каким-то транквилизатором, я прикрыл глаза, мне навстречу, все увеличиваясь, поплыли редкие, вкривь и вкось понатыканные желтые кривые зубы, и вот я уже между их мерзким редкоколом врываюсь... Я так и не узнал, куда. Но теперь, когда я начинаю впадать в дрему, эта кособокая костяная крепость довольно часто маячит передо мною, но войти в нее мне пока что не удастся.

После смерти мамы я от пуза вкусил, что такое снисходительный ад по старцу Зосиме — ад как невозможность делать добро. Меня буквально ломало от неудовлетворенного желания собираться к маме на ночлег, сгибать-разгибать ее ногу, горлопанить, врать... Пустоту в душе усиливала пустота в доме — мне начало не хватать ставшего на путь исправления Дмитрия, и даже внук, оказалось, успел пустить во мне корешки. А тут еще Катьке, прикованной к рабочему месту, уж так не терпелось, чтобы я посмотрел на Митину жизнь своими глазами, «разобрался»...

Финский залив в растрескавшихся льдах напоминает ладонь древнего старца, извивы лесопосадок среди белой равнины тоже почему-то кажутся мне папиллярными линиями. Какой-нибудь психоаналитик наверняка нашел бы, что в нашем семействе любят детей греховной любовью. Моя сверхдобродетельная мама однажды с недвусмысленной мечтательностью

показала мне на памятник Пушкину перед Русским музеем: «Мы с тобой здесь когда-то встречались...» — я же лечу на встречу с Дмитрием с таким волнением, словно на любовное свидание. (А Юля давит и давит на мою М-совесть... И Славкина тень все крепнет и крепнет во мне, все наливается красками разбудораженная картина: со Славкой и Катькой мы вприпрыжку поспешаем к университету — впереди Зимний, вправо Исаакий, под нами Нева — золото, лазурь, малахит...)

Уже на трапе обдало солнцем и теплом. Не жарой, но это же декабрь! Рваный желтый камень аэровокзала слепил глаза, как крымский известняк. В выкликающей толпе Дмитрий поразил меня серьезностью и галстуком. Он не только не загорел, но, наоборот, побледнел и если не похудел, то подтянулся. Что значит ответственная работа — окунать какие-то полоски в мензурки с водой и записывать, сколько в ней накопилось всякой пакости. Да потом еще сводить их в таблицы!.. Он был несомненно рад мне, но — сквозь какую-то безотлагательную заботу. Не задерживаясь на этапе возгласов и взаимных охлопываний, он перехватил мою сумку и быстро повел меня к солнцу и пальмам вдоль разогретого асфальта. «Да у вас здесь просто Флорида!» — закинул я приманку экзотики, но он лишь покивал с беглой улыбкой, как будто я напомнил ему о совместных играх в казаки-разбойники.

Просторы за окнами автобуса сверкали бескрайней зеленью, а Дмитрий внимательно расспрашивал меня о нашем здоровье, о делах, о деньгах, отказываясь принимать мой молодецкий тон — ништо, мол, горе не беда. Справа в отдалении потянулась земляная гора, отделяемая вдоль гребня крошечным бульдозером (отозвались Юлины грабли). «Что это такое, арабская земля?» — попытался я оживить сына, но он ответил с той же серьезностью: «Свалка, я думаю». Пролетели заросли кактусов — небритых зеленых пропеллеров, пухлых ладошек, лаптей, за которыми угадывались ноги раскинувших их лодырей.

Уже и в автобусе я слышал русскую речь, а один фраерок сыпал в мобильник матери за матерками, возможно, обманутый соседством классического еврейского патриарха при бороде, пейсах и кипе.

Улица, в которую мы влетели, казалась нарядной из-за лакированной зелени и домов, свободных от обшарпанности. Далеко не сразу я разглядел, что в них не было ничего «для красоты». Пролетели, правда, над цепочкой бассейнов с каскадами — но это же вроде полезно еще и для здоровья. А серый цементный квартал, в котором мы сошли, был уже окончательный Магнитогорск, разве что параллелепипедально остриженные бастионы кустарников вокруг были непроницаемо пружинисты, как прическа папуаса. Хотя озабоченные повадки Дмитрия и отключили во мне фантомоторческую М-глубину и вследствие этого уже ничто меня поразить особенно не могло, я все-таки отметил, сколь круты ступени в чужой стране. И увидел в квартире прежде всего квадратные плитки каменного пола и лишь затем — вытянувшегося внука: он вглядывался в меня как в чужого. Вот он-то загорел. А волосики выгорели. Я дернулся было его обнять и замер — и он к этому не привык, и мне учиться уже поздно.

Из длинненькой гостиной белые двери открывали совсем уж крошечные спальни. В одной я увидел лежащую поверх одеяла невестку — только встретившись со мною глазами, она вышла в гостиную и как нельзя более буднично кивнула. Она тоже загорела и помялась. С той же будничностью недовольно спросила Дмитрия, куда он положил счет за телефон, — мне даже почудился намек на его чрезмерные расходы в общении с нами. Что побудило меня немедленно выложить на стол пачечку зеленых — гуманитарную помощь от голодающей России процветающему Израилю. Тем не менее было очень неуютно оставаться в ее обществе, когда Дмитрий, напоив меня чаем с бутербродами (какие-то невиданные светло-се-

рые пасты — хумус, тхина), побежал на свои курсы повышения. Я бы, конечно, ушел побродить, но, как назло, прихватило сердце, пришлось прилечь — здесь же, в «салоне», как ни противно мне было выставлять напоказ свои хвори. Вдобавок, прекрасно понимая, что единственно разумная политика — любезное безразличие, я (чужой дом все-таки!) попытался завести светскую беседу, поинтересовался, как моя богоданная дочь проводит свободное время. Но ее, казалось, оскорбляла сама мысль, что у нее может быть свободное время: в *этой стране* только солнце бесплатное, да и то радиоактивное. Так на пляже ребенок не даст спокойно полежать.

Внук тоже отвечал односложно и норовил спрятаться за маму, вскоре, к моему облегчению, укrywшуюся в спальне, куда и он, к ее неудовольствию, поспешил за нею проскользнуть. Только когда воротившийся Дмитрий включил телевизор — российскую программу, появилась и она, еще более измятая: «Что же ты оттуда уехал, если ты такой патриот?» — «Людям свойственно испытывать противоречивые чувства», — ого! Это была мудрая кротость уже не мальчика, но мужа-подкаблучника.

Дикость ситуации — так вот она какая, историческая родина, — усугублялась тем, что впервые в жизни я даже не вышел прогуляться, оказавшись в чужой стране. Но за окном давно царила тьма. Да и как оставить сына в первый же вечер — это М-чувство взяло верх. Российские вести Дмитрий комментировал тоже с большой ответственностью, без всяких понтов. Но говорить о серьезном (обнажаться в присутствии его жены) было невозможно, а болтать о пустяках — слишком уж фальшиво. Я перевел дух, когда, усадив на колено мгновенно подобравшегося сынишку, Дмитрий минут двадцать, искательно заглядывая ему в глаза, читал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Слегка сорвался только в самом начале: «Не видать милого друга! Только видит: вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля». Белешенька... У меня у самого навернулись слезы, и ужасно захотелось домой. Что-то заметила и невестка:

— Что же ты в Канаду собрался, а не в Россию?

— Надоело на родительской шее сидеть. А заработаю денег, может, и вернусь. — Дмитрий подчеркнуто отвечал лишь на буквальный смысл вопроса.

— А может быть, я не захочу?

— Тогда и поговорим.

Далее приобщение ребенка к культуре первой исторической родины продолжалось без сбоев.

Холодный прием делал особенно ощутимым дачный холод в доме. «На отопление, извините, не зарабатываем», — ядовито присела невестка, наконец-то превратившаяся из наблюдателя в полноправного участника. Однако я уже мобилизовался и придавил все М-чувства метровой толщины чугунным люком. Да, я знаю, что ты живешь лишь до тех пор, пока тебе больно, но — жить за троих я все-таки не хочу.

Осенние дачные простыни тоже пустяк в состоянии мобилизованности, единственный недостаток коего — в нем невозможно заснуть. Тем не менее я все-таки успел полюбоваться своей желтозубой крепостцой, прежде чем в начале шестого осторожной кухонной возней меня разбудил Дмитрий. Втягивая живот от холода, я просовывал ноги в холодные штаны, проволочив болтающиеся штанины по плиточному полу, и — они оказались в серой пудре, пришлось отряхиваться. Натягивая же застылую рубашку, я успел убедиться, что на чужбине Дмитрий и готовить научился, вполне поворотливо заливая хлопья горячим молоком из микроволновки. А потом еще и вымыл миску — вместе с чашками, оставленными с вечера супругой. Чужие люди не бьют, не мучат, а жить научат, с грустью говаривала Бабушка Феня. Сквозь невыспанность и сердечную недостаточность я не сумел проявить достаточной сердечности, но Дмитрию, торопливо-при-

ветливому, было и не до нее: он четко завтракал, поглядывая на часы, по часам же брился, поправлял перед зеркалом галстук и спешил на утренний иврит.

Я понимал, что уже не засну, но М-желание не признавать эту очевидность заставило меня изнывать под одеялом до тех пор, когда было уже поздно ускользнуть от контактов с невесткой: в детский сад (обысканный с собаками) внука полагалось отводить до восьми — после этого высоченная ограда запиралась до часу, когда, кровь из носу, ребенка необходимо было забрать. А до тех пор поучиться бесплатному ивриту, который через некоторое упущенное время резко дорожал. И этой необходимости подчинить свою жизнь какой-то внешней необходимости невестка, похоже, не могла простить ни Дмитрию, ни Израилю, ни, кажется, мирозданию.

Однако открытые претензии можно было предъявлять только мужу и «этой стране» — первый был не в силах заработать на порядочное отопление, отчего ребенок постоянно простужался, вторая отказывала тому же ребенку в гражданстве, ибо количество еврейской крови в его жилах, согласно гитлеровским законам, не требовало непрременной его ликвидации. Вследствие чего ему не полагалось и каких-то пособий, о коих невестка безуспешно хлопотала, докладывая Дмитрию о неудачах в интонации «полюбуйся на своих дружков». Дмитрий же, как бы вне связи с ее словами, принимался рассказывать мне, как его сынишку обожают в детском садике: он там единственный беленький среди черненьких, воспитательницы за ним просто гоняются, чтобы потискать. И он уже знает очень много ивритских слов — глаголы, правда, в повелительном наклонении, как к нему самому обращаются: сядь, встань...

Эти разговоры мне предстояло выслушивать до конца моего визита, но я уже и в первое утро уносил ноги по крутым ступеням чужбины с большим облегчением. На улице снова было тепло, но не жарко. Палисадничек перед домом зеленел густой щеткой мясистых трехгранных напильников. Продуваемый кондиционерами автобус с жирным, грузинского обличья шоферюгой за рулем, успевавшим еще и отщелкивать сдачу из сверкающего патронташа, закладывал такие крутые виражи с таким реактивным ревом, что ожившая М-глубина быстро развеяла и сонную одурь, и недоумогание: я мчался по чудной чужой стране, давшей пристанище моему взрослому сыну.

Под обрывом очередью лазурных вспышек просверкало море — и я оказался в Британской Индии. Наш кондиционированный аквариум мчался бульваром, обрамленным белокаменными домами с привкусом восточности — то аркады, то... Не успевал заметить, что. Зато глаз успел схватить, что многосложные стволы деревьев сплетены из слоновьих хоботов, а ветви, обсаженные лакированными листочками, заключали в себе столько изгибчиков, словно никак не могли решить, в какую сторону им расти. Вдруг услышал: Яффо... Чуть ли не здесь, согласно самой главной правде — легенде, Наполеон пожимал руки зачумленным.

Я выскочил наружу. Европейского вида публика торопилась и прогуливалась, азиатского — торговала. Все как у нас.

Я поспешил в гору — возбуждение всегда побуждает меня переходить на рысь. Оказалось, панцирность пальм, разваливающихся веером на макушке, возникает из-за того, что отсыхающие лапы слой за слоем отсекают, как на капустной кочерыжке, а необрезанные пальмы со временем начинают утопать в сонных грибах, как старые мудрые львы.

На вершине холма у желтокаменного собора мне предстала коренастая раскрашенная статуя в мундире и треуголке наполеоновских времен. (Тото Юля бы захопала в ладоши... А уж Катька!..) Проникнув в улочку-коридорчик за спиной собора, в сопровождении двух теней я оказался в уголке Тысяча и Одной Ночи, выбравшись из которого я узрел под ногами неторопливое море, а впереди — панораму некоего Рио-де-Жанейро.

Каткин фантом витал рядом, а Юлин двигался по соседней улице. Я бродил по Тель-Авиву до темноты — я понимал, что своим присутствием лишь создаю Дмитрию дополнительные унижения. Я уже не мог ступать на свои артрозные ступни и старался переносить тяжесть на их, так сказать, ребра, словно подштитиненный очарованный странник. Я обошел и открытую солнцу и ветру набережную со скромными, но элегантными небоскребами, и утопающие в зелени узкие улочки белого субтропического городка, многократно подпоясанного ленточными балконами (любимый строительный материал массивных оград — галечно-цементный козинак). Попутно убедился, сколь трудно было бы строить национальную еврейскую культуру — формировать фантомы ее деятелей на чужбине, когда нет возможности называть улицы именами Бялика и Черниховского. Для истинного, то есть антигосударственно настроенного, интеллигента многовато сионистских вождей, но — без этих генералов и министров не было бы и того целого, внутри которого только и возможна монументальная пропаганда личностей истинно великих — фантомоторцев.

Натыкался я и на казахстанские глинобитные лачуги у подножия уносящихся в недостижимую высь блистающих небоскребов, а к вечеру забрел уже и в самый настоящий Магнитогорск — мазутный асфальт, гаражи, ремонтные мастерские... Ну, разве что горластые восточные люди сдвигали картину куда-то поближе к Баку. Вот только попадающиеся на каждом шагу солдаты с автоматами и без — девушки, в таких же защитных хабэшных штанах — придавали картине своеобразие. Иной раз видишь сзади: бредут в обнимку два солдата, потом остановятся — и взасос...

Одно было плохо — в присутствии Юлиного призрака я не мог все это показать Каткиному. Тем более что показывать пришлось бы вместе с семейной жизнью нашего сына. Дмитрий... это так тяжело — жить, не будучи ничьим фантомом. Зато и супружница, окончательно лишив его иллюзий, тоже когда-нибудь, как и Пузя, падет жертвой его трезвости.

Но что-то, а пацанчик у них был действительно чудный — подлинность удостоверюсь той болью, которую у меня вызывал каждый взгляд на него. А когда я однажды подглядел, как он рассматривает в зеркале свои зубы, приборматывая: «Даренному коню в зубы не смотрят»... Свершилось — мой внук говорит по-русски с легким акцентом. Зато, лишь разговаривая о нем, мы с Дмитрием могли смотреть друг другу в глаза. Поэтому, с петухами отправляясь в Ершалаим, я чувствовал, что мы оба заслужили эту передышку. Я уже совсем не желал жить полной жизнью — это слишком больно. Но оказалось, что вместе с болью отсекается и красота.

Поэтому не стану живописать дорогу до Иерусалима в сопровождении трогательной укоризненной тени — ну, скажем, похоже на Крым, только хвойные на холмах — то желтосыпучих, то крепких, как орехи, — уходили в высоту регулярными ярусами. В одном месте на пригорке возникли и исчезли раздолбанные машины типа наших «Урал-дрова» — остатки какого-то исторического сражения; наследники же боевой славы с автоматами и вещмешками не переставая трепались по мобильникам. Пролетая над желтой каменной долиной, на противоположном откосе я успел прочесть высеченные на камне русские слова «Сады Сахарова». Он, кажется, заступался и за отказников, стало быть, его фантому еще и здесь жить да жить.

Стену Ершалаима мы все тысячу раз видели в теленовостях, но тьма, пришедшая вместе со мной со Средиземного моря, превратила ее в белгород-днестровскую. В бесконечных под сводиками и куполками коридорах, увешанных пестрой сувенирной дребеденью, я набрел на русскоязычную экскурсию, повторяющую крестный путь Спасителя — все его остановки именовались почему-то «станциями» и указывались с точностью до метра. Публика почтительно осматривала священную пустоту.

Храм крестоносцев *подлинностью* своей грубой асимметричной резьбы что-то подраспечатал-таки во мне, но длинная каменная плита, на кото-

рую было якобы уложено тело Христово, выпуклый, как мозг, камень Голгофы, который можно было потрогать сквозь отверстие в заурядной церковной раззолоченности, а этажом ниже еще и череп Адама, на который по случайному стечению обстоятельств протекла кровь Распятого... Казалось бы, все эти вешдоки должны были будить только недоверчивость, однако народ почтительно выстраивался в очередь, чтобы погреть руки о святые камни («Осторожно, здесь может быть масло»).

За еще одними воротами я оказался в пустыне асфальта, камня, глины, и реальный ручеек Кедрон, Масличная гора, Гефсиманский сад почти ужаснули меня своей заурядностью в сравнении с теми поистине неземными фантомами, возведенными человечеством вокруг этих имен. Пытаясь зачерпнуть из самой глубины, добираться до песчинки, на которой выросла грандиозная жемчужина. Даже и здешний храм — ничто против соборов Кёльна и Рима, равно как и живопись его до оторопи беспомощна после Микеланджело и Рафаэля — хотя и они слишком уж конкретны в сравнении с безбрежностью тех туманностей, кои дарует нам воображение. Пожалуй, лишь могучие древние оливы, изваянные из одних только каменных складок, дышали здесь подлинностью. Какие же бастионы веры нужно возвести в душе, чтобы их не обрушили эти нищенские вешдоки! Или какие же хлипкости там нужно налепить, чтобы прибегать к таким убогим подпоркам!

Но тысячу раз золотившийся на плакатах купол мечети Омара восходил над крепостной стеною все-таки впечатляюще. Я показал его обеим своим спутницам, но было тяжело на душе, что они так и не желают глянуть в сторону друг друга.

А у черного куба священного надгробия Герцля моя М-глубина окончательно распечаталась. До меня вдруг дошло, что я оказался современным и почти очевидцем чуда (тени почтительно прислушались — Катка рядом, Юля в отдалении). Вдуматься только: какой-то древний фантом богоизбранности, овладевший полудиким племенем, сопровождает его в победах и разгромах, изгнаниях и передышках, в истреблениях и триумфах; текут века за веками, меняются страны, одежды, языки, занятия, но фантом живет и живет, и однажды кучка рассудительных господ в сюртуках додумывается до того, чтобы собрать его наследников, наводящих друг на друга оторопь диковиной манер, на потерянной родине, от которой остался один только звук. И вот сказка обретает скромные черты небольшого общественного движенья, обрастает конгрессами, петициями, умеренными пожертвованиями, декларациями и т. д., и т. д., и т. д., но однажды, соединившись с другой, столь же нелепой сказкой — социализмом, обретает прокаленное в огне одержимости боевое острие, — а жизнь между тем плодит все новые разумные якобы причины потомкам сказки воротиться к ее истокам, хотя почти каждому в отдельности переселение сулит гораздо больше тягот, чем выгод, но чарующая химера отыскивает для себя все новые орудия среди предусмотрительных и энергичных, — и вот наконец я стою на холме у могилы сюртучного основоположника, а подо мною рычат машинами, торгуют, производят, ссорятся и мирятся тысячи и тысячи практичных человечков, свято убежденных, что собрала их сюда исключительно жажда благополучия...

Написать бы историю человечества как историю борьбы, слияния и преобразования чарующих фантомов — плюс их борьба с истиной. И показать, как победа иллюзий опустошает землю, а победа правды — нашу душу. А что — все равно ведь надо чем-то заниматься лет еще как бы не двадцать: жизнью благоразумного господина я уже сыт по горло, почему бы не отведать еще и приключений недоучки, замахнувшегося на Единую Теорию Поля? Но нет, я недостаточно безумен для такого размаха. Пока что я еще зачарован собственным фантомом, но чуть начну собирать вешдоки — ведь история фантомов наполовину уже написана — то как исто-

рия религий, то как история общественной мысли, — честность уже не позволит мне не видеть, что они не укладываются в нужную мне систему — равно как и ни в какую другую. Нынешние «боговерующие» поступают весьма разумно, шагая по жизни с заклеенными веками и законопатченными для правды ушами, ловя только крохи вещдоков даже от ренегатов науки, которая по самой своей природе воспрещает верить во что бы то ни было, включая себя самое: новые верующие правильно чувствуют, что одно нечаянно воспринятое слово правды безжалостной катапультной немедленно выметнет их из теплого уголка уверенности в безбрежный ледяной океан сомнений.

Если ты не в силах открыто провозгласить: «Верую, потому что нелепо!» — значит, ты не веруешь. Если для тебя есть что-то реальнее твоего фантома — каменная плита, плащаница или справка из Академии наук, — значит, вере твоей цена тридцать сребреников в базарный день.

Что я несу, кому нужно это изуверство — верить в нелепое! Чуть люди серьезно почуют, что истина грозит их благополучию, как они смахнут ее, будто дохлую мошку со стола, — тут же провозгласят, что излюбленные их фантомы научно обоснованны, надежны, выгодны, удобны... На худой конец, снова объявят пророками душевнобольных — религиозности-то как душевной болезни на людской век хватит.

Почему-то принято считать, что если Бога нет, то все дозволено, а по мне, так наоборот: все дозволено, если Бог есть. Потому что уж он-то как-нибудь да защитит свои святыни. А вот если его нет и они исключительно наших душ дело — вот тут-то мы должны оберегать их в тысячу, в миллион, в бесконечное количество раз самозабвеннее, ибо сделать это, кроме нас, некому.

И тени согласно кивали.

А потом я разыскал телефон-автомат, и меня соединили с тем краем, откуда прежде не возвращались.

Я всегда с удовольствием слушал Элькино восторженное щебетанье, но сейчас в ее восторге что-то меня насторожило — просветленность.

Жирный абрек снова выписывал смертоносные виражи, отшелкивая сдачу. Дома были бы заурядны, если бы не солнечный иерусалимский камень. На безостановочных остановках вваливались и вываливались вместе с продуктовыми тележками мелкие кучеряво-бородатые люди в черных сюртуках и черных брюках, заправленных в черные носки, у каждого изпод черной шляпы с каждой стороны свисало по черной спиральке. Многочисленные дети были обряжены примерно так же, только без спиралек. Затем вдруг автобус вырулил на некую баллистическую кривую и понесся без единого притормаживания, и я почувствовал, что проносящиеся мимо дома лишены какой-то нарядности — ах да, лакированной зелени! — и лишь потом заметил, что чеканка иврита на вывесках сменилась арабской вышивкой.

Миновали каменные соты, остановились у сооружения из тетраэдров. Однако внутри квартирка была точь-в-точь как у Дмитрия. В объятиях я ощутил, что Эли еще немножко убыло, а Ильи, наоборот, прибавилось. Когда-то, еще до ее замужества, я однажды процеловался с Элькой целую вечеринку и даже в пределах, допускаясь моими принципами, ее подраздел, а потому, согласно благородным законам мужской дружбы, испытывал к Илье несколько снисходительное чувство. Элька и тогда была худенькая и глазастенькая в духе Гуттузо, но тугая ее стрижка под девочку сквозь круто замешенную смолу теперь проплелась великолепными серебряными завитками.

Илья же, как и я сам, сумел только облезть.

Сначала было диковато общаться с теми, с кем когда-то простился на веки. Но за столом мы быстро почувствовали себя как раньше — только

неизменная пара хумус — тхина да аккуратная грядочка розовой сельди напоминали, что мы не дома. Мы так с ними когда-то и дружили — без общих фантомов, — нет, даже самая маленькая дружбочка водит хороводы вокруг каких-то общих фантомчиков, — но собирались мы без затей, выпивали, болтали, Илья вставлял саркастические, однако не обидные реплики: он был тоже полукровка с истинно еврейской фамилией Сидоров, хотя скептичен был, как три Рабиновича, вместе взятых. От язвительности его спасала только округлость.

Сиделось у Сидоровых особенно уютно именно потому, что в присутствии Ильи мы все серьезное инстинктивно обходили. Катьку, правда, рассказы о работе иногда заносили в патетику, но Илья и ее пафос с легкостью гасил кратким вопросом: «Неужели тебе так страстно хочется работать на государство?» — «Но не всегда же помнишь, что это на государство», — смущалась Катька, а в мою душу надолго всасывалась пиявка сомнений: «Тогда вообще ничего нельзя делать — что ни сделай, государство хоть как-нибудь этим да воспользуется... Илье-то хорошо, его полукольца и подгруппы заведомо никому не нужны...» Однако высказать что-либо подобное вслух было заведомо неприлично — и компанию испортишь, и... Илья уж очень кровно был оскорблен государством: отличный алгебраист, он вынужден был защищаться в Кишиневе, преподавал паршивую высшую математику в целлюлозно-бумажном институте...

Мы и за морем блюли неписанный договор оберегать нашу взаимную симпатию, а потому не грузить друг друга чем-то серьезным. Я в юмористических красках изобразил перевод Дмитрия из водоканала в водоканал. Эля в пандан поведала, как ее сугубо гуманитарная дочь — помню, стихи ее хвалили в Аничковом дворце пионеров — теперь сидит в некоей «амуте» без извлечения прибыли. Я позабавил хозяев пересказом своих аналитических записок. Эля изобразила пару-тройку сценок из своих халтур, носивших звучные греческие имена «никайон» и «метапелет» (первое означало мытье — зато с мылом! — лестниц, второе — уход за беспомощными старцами и старницами). Илья развлек нас теми усилиями, с какими израильские школьники постигают, что дважды четыре есть не что иное, как восемь, но при этом с непривычной просветленностью констатировал, что евреи наконец-то перестали быть народом математиков и шахматистов, а сделались люди как люди. Еще и получше прочих — очень преданы семье, сами оплачивают учебу в университете, если накатит такая блажь: это в России мы считали, что надо обязательно куда-то карабкаться, а у себя дома можно и расслабиться.

Прежде я не мог бы даже представить, чтобы Элька — ну разве что в концлагере — согласилась мыть и подмывать что-то чужое, а Илья испытывать просветление от чьей-то бестолковости.

— То есть евреи устали быть великим народом и решили наконец расслабиться? — в предельно несерьезном тоне подхватил я, но не был услышан.

Или, напротив, был? Они оба заговорили... Нет, говорила в основном все-таки Эля, но Илья, не без смущения, правда, просветленно (Илья — и просветленно!..) кивал тому отрадному явлению, что израильские дети очень *свободны* — свободны от совковой зажатости. По совковым меркам, они, может быть, даже распухли — могут среди урока встать и попроситься «пи-пи», — но это совершенно беззлобно, вот в чем суть! Парню выговаривают за получасовое опоздание, а он может в ответ подойти и обнять учительницу: главное, все это без всякой задней мысли, это мы в советские привыкли, что все делается из желания оскорбить, унижить...

Илья, умиляющийся чьему-то амикошонству... Или тут действительно воцарился золотой век?

Здесь Эля в увлечении упомянула, что в прошлом году летала в Москву на чьи-то похороны и даже не заехала — она по-прежнему говорила «в

Ленинград». «В России такая тяжелая атмосфера — все повергает в депрессию!» И тут меня заело. Что-что?.. Что повергает в депрессию? Эрмитаж? Стрелка нашего Васильевского? Фантом нашего незабвенного матмеха? Я более чем понял бы любовь-ненависть, смесь восхищения с отвращением, привязанность к родине-матери, слитую с обидой на родину-мачеху, — но такое *простое* отторжение!.. Седеющая Элька под застенчиво-просветленные кивания облезлого Ильи вдохновенно повествовала, как она расплакалась, когда ей сказали, что все бесконечные зеленые ярусы по дороге на Иерусалим высажены на камне человеческими руками, но моя глубина уже оглохла от обиды: да ведь весь Петербург выстроен на болоте человеческими руками — почему же ты там не плакала?! Ха, мне ли не знать почему — тот фантом был чужой, а этот свой, из его рук и дорожная пыль принимается за золотой песок, в чужой системе мнимостей было запахло учить дифференциальному исчислению, в своей вдалбливать таблицу умножения естественное дело. Нет-нет, вы в полном праве холить и лелеять свои фантомы — но позвольте же и другим делать то же самое со своими, зачем вы говорите, что естественно любить только маленькую родину, которую можно всю объездить и вместить в память, — все равно вы любите не реальную страну, а ее фантом, — так и в фантоме России, для тех, кто ее, вернее, его любит, именно неохватность и составляет важнейший оттенок очарования... Россия вдруг представилась мне огромной растрепанной скирдой, покинутой в темном поле, — ее разносит ветер, растаскивает и топчет бродячий скот, и никому-то, кажется, она не дорога, кроме дураков и сволочей... И я понял, что никогда не смогу его покинуть, этот несчастный, растрепанный, исчезающий призрак: каждый из нас с легкостью обойдется без России — беда в том, что ей без нас не обойтись. Образ не может жить без тех, кто его воображает.

— Ладно, — вдруг решила спуститься с небес на землю Элька. — Выпьем же за то, чтобы ты поскорее последовал за своим сыном.

Подняв рюмки с водкой «Кегелевич», они смотрели на меня самого, словно мудрые добрые родители на еще не вполне образумившегося блудного сына. Судорогу обиды немного отпустило, и я постарался как можно проще сказать, что Дмитрий, возможно, еще переберется в Канаду. Мудрые папа и мама мгновенно погрузились и понимающе переглянулись.

— Мы здесь считаем, — сочувственно объяснила мне Элька, как хорошему человеку, по неведению сморозившему что-то бестактное, — что к стране непорядочно относиться прагматически — если где-то лучше живется, значит, можно туда ехать.

Пардон, пардон — но когда это же самое вам говорили в России, вы называли это покушением на свободу передвижения или как там его, а когда понадобилось защищать ваш собственный фантом... Я наливался холодом, и от прямых заявлений меня удерживало, кажется, уже не столько старое приятельство, сколько опасение рубануть что-то несправедливое — их зигзаг от скепсиса к пафосу был настолько внезапным, что было бы непорядочно высказываться без серьезного обдумывания.

А может, и обдумывать здесь нечего — просто надо всем желающим разехать под сени собственных фантомов, — тогда и страсть оплевывать чужие поослабнет. Косности будет больше, а взаимной злобы меньше. Не надо перемешивать народы — не трожь этого самого, фантомов, я хочу сказать — не так сильно будет смердеть дохлятиной.

— Это в совке так можно было рассуждать, — постарался разрядить мое напряжение Илья, — у пролетариата, мол, нет отечества.

— Я больше не могу этого слышать: в совке, в совке, в совке, в совке!.. — В комнату ворвалось и закружило вокруг стола по-совиному нахохлившееся на своем помеле серое существо. Оно, точнее, она наверняка и в тот миг была в тонконогих джинсиках и свитерке, но фантом ее наве-

ки запечатлелся бахромчатым плащом дервиша, развевающимся за ее плечиками рваным серым пламенем.

— Когда мужик в России писает на улице — это свинство, а здесь — древняя мудрость, галаха!.. Да если б хоть приперло его — пописал и побегал, так нет — он еще обтряхиваться будет полчаса! Я одному не выдержала — ты что, говорю, себе позволяешь?! Так этот кипастый мудила еще на меня наорал: у него, видите ли, от моего крика детей может не быть! У тебя их, говорю, и так в десять раз больше, чем нужно! А у моих папахера с мамахером уже и штаны подтянуть — это совковость, у здешнего жлобья излюбленная манера устраивать сзади декольте — свобода, блин, эх, эх, без креста!..

Только тут я наконец узнал их дочь Софью. «Мудила» — передовая ба-рышня... Тот факт, что она не была приглашена к столу, а также и сама не вышла к старому другу дома, я оценил несколько позднее.

— Я постоянно занимаюсь социологическими опросами, — круги вокруг стола сменились челночным рысканьем параллельно его оси, — и уже заранее знаю: если о чем-то спрашиваешь русского — мы же здесь русские, вы не знали? — он будет колебаться, раздумывать... Понимаете? Это совковая зажатость, когда человек не хочет врать, чего не знает! Ну а сабра — тот свободен, как ветер, у него есть готовое мнение на все случаи жизни, если даже о проблеме услышал секунду назад. Во всем мире это называется наглостью, а у моих папахера с мамахером — раскрепощенностью. Конечно, при такой раскрепощенности они ни хера ни о чем не будут знать! Зачем еще чего-то узнавать, если ты уже и так все про все знаешь!

Она наконец рассталась со своим помелом, и мне удалось немного разглядеть ее. Еврейского в ней было даже меньше, чем в Эльке, — только верхние резцы излишне обнажались, как на юдофобской карикатуре, — однако, оседлав свой небольшой с горбинкой носик велосипедными выпуклыми очками да еще и работая под горбунью, она сумела превратить себя в типичную еврейскую ученую сову.

Элька смотрела на нее с натянутой снисходительной улыбкой — как поздно, мол, взрослеют нынешние дети!.. Илья тоже улыбался в уже не демократическую, а ухоженную бороду:

— Знаешь, на кого ты похожа? Меня недавно подвозил таксист из Тибилиси, он тоже возмущался: здесь нэт культура! Ты же имеешь дело со здешним плебсом, а говоришь обо всех: здесь нэт культура!

— Может быть, может быть, может быть... И я имею дело с плебсом, и вы имеете дело с плебсом, и он, она, они тоже имеют дело с плебсом — мы же здесь все заперты в гетто для плебса! Но я по крайней мере не вылизываю этому плебсу задницу, не называю хамство свободой! Я ведь тоже, — она вперилась в меня своими совиными окулярами, — пробовала преподавать. Так я каждый раз останавливалась перед дверью и начинала твердить: сейчас я заработаю шестьдесят шекелей, шестьдесят шекелей, шестьдесят шекелей... Двойной гонорар Иуды Искарриота. Это правда, они не злые, они будут вытирать об тебя ноги без всякого зла. Не ведают, что творят.

— Ну, какое гетто, какое гетто! — Обида смыла следы снисходительности с Элькиного лица. — Это в России было гетто — спроси у отца: устроиться на работу, защитить диссертацию — везде на тебя смотрели вот в такую лупу! — Она обрисовала нечто вроде сковороды.

— Смотрели, потому что уважали! Считали своими соперниками, властителями дум, аристократами! Да вы там и были аристократы: ведь у интеллигенции не партийные органы, а вы задавали тон, скажешь нет? Вы входили в круг законодателей интеллектуальной моды — что, не так? Вас потому и ущемляли, что видели в вас опасных конкурентов, а здесь вас в упор не замечают, у них своих умников выше крыши! Ой, но только не

говорите мне про вашу русскую партию!!! Да, она заставила с собой считаться — но как со взбунтовавшимся плебсом, не более того! Зато на культурные наши, извините, запросы здешнему государству плевать со Стены Плача — что, не так, что ли?!

— Нет, все-таки всему есть граница! — Наконец-то мне открылась святая святых — Илья в гневе: добрались наконец-то и до его фантома. Правда, по столу он ударил все же лишь кончиками пальцев. — Это самое государство выделило тебе деньги на издание твоих опусов, а ты... В России ты бы до сих пор по редакциям тыкалась!

— Ну и что? В России тебе тоже дали бесплатное образование, только ты по этому поводу что-то не очень склонен... Да, выделили подаяньице, не спорю. А тираж хочешь в шкаф сложи, хочешь в сортир на гвоздик повесь — свобода, блин!

— Ну, в этом, знаешь ли, никто...

— Я знаю, что никто. Если живешь в стране с чужой культурой... Я не говорю, что здесь *нет культуры* — здесь *ест культуры*. Да только ей до нас нэт никакого дела. А нам до нее. Русская поэзия будет жить в этой ужасной, варварской, коррумпированной, не знаю еще какой, но в России, все, что там пишется, вливается в реку, которая текла тысячу лет и будет течь еще тысячу, а мы здесь...

— В грязную, кровавую реку! — сверкала глазами Эля.

— Да, и в грязную, и в кровавую, и в отравленную, но и в родниковую, блин, — только синь, блин, сосет глаза! Она перемешанная. Как вся реальная жизнь, а не лаборатория, в которой мы делаем вид, что живем! Мандельштам, Пастернак, Бродский, хотите вы или нет, будут течь в той реке, а не в нашей! Хотя бы уже потому, что ее просто нет — мы живем и видим собственный конец. Мы знаем, где прекратится наше, извините за совковость, духовное наследие — на наших детях, у кого они есть. Если не раньше.

Когда люди начинают догадываться, что спор ведется не о фактах, а о фантомах, до них начинает понемногу доходить, что оппонентов надо либо убить, либо оставить в покое: вечер мы закончили в духе столь выдержанной политкорректности, что я готов был запроситься обратно к невестке.

Однако при хорошем снотворном не страшны даже такие неотвратимые мнимости, как сны. Но и лег я, и встал все с той же — поверх всего — тяжестью на душе: Юлей. И постиг наконец, почему я не должен ее ампутировать, — пусть и она тоже будет хоть чьим-нибудь фантомом.

Я сразу понял, что со мной говорит младшая Славкина дочка, — такой картавости из России было бы не вывезти: «Мама еще не пххгишла из ххгаботы». А вот Сэм Трахтенбух как будто только что освободился от трехлетней пытки молчанием — тарактел, будто обычный добрый малый. (Я-то, нехороший человек, и позвонил-то ему только ради поддержания фантома Парень с Нашего Курса...) Жирная чеканность его профиля чрезвычайно соответствовала его манере не беседовать, а ставить собеседника в известность. Столкнувшись с ним в Публичке максимум три месяца тому, я и вопросов ему не задавал, чтобы не доигрывать отводимую им роль почтительно внимающего интервьюера, но Сэму такие ухищреньица были как слону горчичник. Он известил меня, что рано или поздно покидать родину, равно как и родительский дом, хотя и страшновато, но необходимо, без этого невозможно повзрослеть, — да и вообще не имеет значения, из какого окошка ты выпал в этот мир. Вступать с Сэмом в споры можно было лишь для того, чтобы еще раз убедиться, насколько ты ему неинтересен.

Зато сейчас он буквально навязался встретить меня на упоительно подробно обрисованной автобусной остановке, развлечь, выкупать в море, а потом доставить к Славкиной... да, вдове. И махать мне он начал первым,

искажая свою жирную чеканность совершенно не идущим к ней радушием. «Нет, но какой город?! — требовательно восхитился он, обводя сверкающие лакированной зеленью холмы дарственным жестом (нормальная субтропическая заграница — до Петербурга, как до неба). — И в декабре — ты подумай, в декабре! — можно купаться!

Он и плавки для меня захватил.

Увлекая меня мимо каких-то противоестественно вылизанных пакгаузов, пьяный еще не приевшись фантомом, он неузнаваемо тарыхтел, какие отзывчивые и щедрые люди живут в этой стране: новым *олим* дарят вполне еще пригодную мебель, на специальных складах можно набрать отличных шмоток — при Брежневе бы с руками оторвали, некоторые *русские* и здесь остановиться не могут, и еще недовольны... Сэм не переменялся только в одном — он по-прежнему не интересовался реакцией собеседника.

Мимо вороненого стеклянного здания в форме огромных ворот (я уже не стал признаваться, что подобную конструкцию, но помощней я обозревал в парижском районе Дефанс — все-таки нам, евреям, пора научиться шадить чужие фантомы) мы вышли на убитый свежим ветром песчаный пляж. Море неприветливо бурлило и блистало. «Вода двадцать два градуса!» — ликовал Сэм, влача меня к обойме синих пионерлагерных кабинок.

В голом виде сделалось окончательно не жарко — отличный сентябрьский ветреный день. Песчинки секли по ногам чувствительными мини-укольчиками — приходилось делать усилие, чтобы не пританцовывать: я уже с завистью смотрел на мохеровые ноги и жирную спину уверенно ковыляющего Сэма — по волосатости он годился мне в далекие предки, да и жирок на мне отдавал бабьей желейностью в сравнении с его тугим салом упитанного боровка. А уж что до невидимой шубы окутавшего его почти не ношенного фантома — с ним хоть в арктическую полыню. И когда первый взбаламученный вал обрушился на мои ноги, только страх испортить чужую игру удержал мой поросячий взвизг в горле. «Ты что, отличная вода, в Комарове же ты при восемнадцати купался!» — почти плача, зазывал меня Сэм, кувыркаемый валами, но я уже торопился обратно к кабинкам, из-за бесчисленных укольчиков поджимая пальцы на облепленных песком ступнях — которые теперь еще и придется как-то отмывать, оттирать...

Марианна вышла из машины у зеркального супермаркета как самая образованная иностранка — уже не брюнетка с грациным отливом, а хенно-рыжая дама средних лет («Поседела», — догадался я). Светофор не пустил нас друг к другу, и мы разом опустили глаза — не простирать же руки через улицу. Зато прямо посредине мы обнялись как старые-старые, добрые-добрые друзья. И замерли, не опасаясь сфальшивить. «Здесь если уж ты наступил на „зебру“, все машины обязательно остановятся!» — торжествовал Сэм за нашу безопасность. В Бендерах Марианна была, помнится, довольно *дебелая*, а тут меня поразило, до чего хрупкие у нее плечики...

Но стоять здесь было нельзя, в том числе и ее машине.

— Сколько времени вы в *стране*? — радостно просовываясь с заднего сиденья, заинтересовался Сэм. — Видишь — за десять лет своя машина, своя квартира!..

— С этим имуществом всегда как на фронте, — вздохнула Марианна. — Все время какие-то платежи подступают, на машине можно врезать... Что уже и случилось.

— И правильно, что платежи! В Союзе сначала десять лет деньги собираешь — помните, «раздеты камнем»? — потом десять лет ждешь, а здесь сразу въезжай и живи!

— Это так, — печально согласилась Марианна, сосредоточенно отруливая от тротуара. — Но что в Союзе было хорошо — ты точно знал, что возможно, а что невозможно: нет у тебя квартиры и не будет, забудь и

живи. А здесь все время какие-то соблазны, и никогда точно не знаешь, что тебе по карману, а что не по карману. Сегодня вроде бы по карману, а завтра...

В ней уже не было ни тени неземной выпренности — какие-то фантазии явно оставили ее: это была просто умная усталая женщина.

Мы не сговариваясь двинули «к Славе». Марианна вела машину очень серьезно и внимательно, без тени рисовки, склонность к которой, собственно, и отличает человека от животного: согласие ничего из себя не изображать, принимать реальность такой, какова она есть, — не что иное, как сломленность.

Она горько, но без всякого надрыва рассказывала ужасные вещи, а впадший в детство Сэм все тщился и тщился вовлечь меня в свою новую игру.

— У Славы в последние месяцы совершенно разрушились сосуды на ногах, они у него постоянно болели, — говорила Марианна, внимательно глядя перед собой. — Он везде сразу же старался сесть и начинал их растирать.

— Это порт, — всовываясь между нами, радостно кричал Сэм, — все делают механизмы, докера не отличишь от доктора!

— Он уже не мог сосредоточиться, ему плохо давался язык, а я не понимала, говорила: возьми себя в руки, здесь всем трудно. А его и так страшно мучило, что он сидит на моей шее, он же был такой ответственный!.. Он старался хоть в магазин сходить за йогуртом каким-нибудь...

— Ты не пробовал здешних молочных продуктов? Это нечто, восемьдесят процентов производится на экспорт! Если корова дает меньше десяти тысяч, ее отбраковывают на мясо!

— ...Вроде бы наклюнулась неплохая работа, а он не смог заполнить анкету, это его окончательно убило. Он видел все хуже, читал уже с трудом...

— А вот там, в глубине, — видишь, в зарослях? — пещера, где Илья-пророк шуровал! Здесь же на каждом шагу исторические памятники!

— Он боялся от меня отойти, ходил за мной, как ребенок... Это было ужасно — мужчина, которого я привыкла видеть сильным... Он разыскивал людей из Бендер, приводил их в дом, угощал... Потом разочаровывался... Может быть, он хотел видеть тех, кто помнил его другим?..

— Вот здесь самые лучшие дома, каждая квартира под миллион долларов — и покупают!..

— Ему сделали пересадку почки, поджелудочной железы, он принимал преднизолон, чтобы не началось отторжение... Но началась страшная аллергия, он весь чесался... Врач говорит — ну, уменьшите дозу. А он совсем перестал. Я считала, что это неправильно, но получалось, что я опять на него давлею...

— Посмотри вправо — с такой высоты море еще шикарнее!

— А тут песах, лаборатория не работает, а когда он наконец сделал анализ, положение было уже катастрофическое. Он себя грыз — сам виноват, и я тоже еле удерживалась, чтобы не сказать: ну что, говорили же тебе!..

— Слева горы, справа море — хороший перепад после чухонских низин?..

— Я уходила на работу, а он целый день один мыкался по квартире, спускался на ощупь... Он хотел, чтобы я с ним ходила на диализ, и вместе с тем боялся быть мне в тягость...

— Здесь аппаратура только самая современная, к плохому врачу здесь никто не пойдет!

— Слава почувствовал, что что-то не то, сказал врачу. А врач не мог поверить, чтобы аппарат мог сломаться, посчитал, что мнительность. И вколол ему снотворное. И аппарат так и продолжал работать в обратном режиме. Я прихожу — он спит...

— Посмотри на этот склон — загородные виллы с видом на море, а до центра пятнадцать минут!

Потребовалась вся моя сверхчеловеческая выдержка, чтобы не попросить его заткнуться. Но я понимал, что в моих силах лишь сделать из одного безобразия два, и потому, окаменев до потрескивания в сухожилиях, сумел удержаться от М-телодвижений.

Фантомные декорации не давали Трахтенбуху заметить, что слепящие белизной здания-крылечки сбегают не только к морю, но и к кладбищу.

— Ты обрати внимание, какое небо, какое море, — а называется зима!

Небо действительно, как из брандспойта, било солнечным золотом, сияло рекламной лазурью, море далеко внизу переливалось необозримой сине-зеленой пластмассой в бесчисленных серебряных трещинках барашков — засмотревшись на его повергающую в оторопь, сверхоткрыточную красоту, у каменных ворот кладбища я натолкнулся на куст, и он отпихнул меня сильно и неприязненно, будто пятерней в лицо. Глянцевые листочки были жесткие, как надкрылья жуков.

На кладбище не было земли — все покрывала уложенная набок литая бетонная стена в бесчисленных окнах, одни из которых были замурованы небольшими мраморными плитами с округленными стелочками в головах, в другие же пока что выглядывала сухая желтая щебенка. Ивритскую резьбу я прочесть, разумеется, не мог, но опухшее Славкино лицо из бороды Афанасия Афанасьевича Фета разглядело меня еще издали. Мы шли к нему по бетонному монолиту, а Славка вглядывался в меня все более и более измученными, бесконечно грустными и бесконечно мудрыми глазами...

На плите была рассыпана горсточка той самой щебенки, и я только здесь припомнил, что евреи приносят на могилу не цветы, а камешки. Мы тоже положили по камешку, подняв их из соседней, еще не запечатанной могилы, а Славка все смотрел и смотрел на нас своими глядящими в самую душу безнадежными глазами среди ослепительного сияния невероятной, ирреальной, издевательской красоты — золото, лазурь, малахит...

Сэм с хозяйской поощрительностью похлопал по желтой воды полированной стеле, словно тренер по плечу будущего чемпиона, и с начинающей смущаться своего непрерывного превосходства гордостью сообщил мне:

— Это галилейский мрамор — он может хоть двести лет без ремонта простоять.

Неподалеку от своего дома Сэм заставил-таки меня выйти из машины, чтобы полюбоваться действительно роскошной аллеей пиний, тянущихся к его новому обиталищу, — за все, заметьте, платит государство, здесь не та родина, что умеет только требовать! Но после кладбища я испытывал к нему лишь снисходительное сострадание — чем бы дитя... Недолго ему осталось. Хотя я, конечно, не предполагал менее чем через год столкнуться с ним на стыке Фурштадтской с Литейным и выслушать серию чеканных приговоров израильтянам, у которых совершенно нет чувства чести: пообещать и не сделать — самое обычное дело, для них не существует ничего, кроме денег: любой профессор за тысячу шекелей надбавки бросит свое профессорство и пойдет торговать фалафелем...

И это было так по-человечески — перекрашивать фантомы, а не смотреть в глаза ненавистной правде.

Трижды опоясанный ленточными окнами Славкин дом с пропорциями холодильника был задвинут в склон с фикусом выше крыши. Лестницы здесь тоже были крутые, зато квартира занимала целый этажик. Гостиная словно сошла с рекламного журнала. Мягчайшие кресла опускали тебя до уровня элегантного журнального столика, пользоваться которым можно было, лишь ставши на четвереньки. Потолок был взъерошен белыми, как безе, роскошными протуберанцами.

На стенах висели все те же эрмитажные Сислей, Писарро, но если в Бендерах они служили окошечками в Ленинград, то теперь это были напоминания о канувшем, где были когда-то и мы дураками. То есть живыми и счастливыми, только этого не знали. А теперь Славка смотрел на меня с бендерского пианино бесконечно измученным, бесконечно мудрым взглядом, и я каждый миг ощущал этот взгляд на нас с Марианной.

— Славину *машканту* не списали, — грустно рассказывала она. — Мы не догадались на него записать, так что до сих пор за него выплачиваем.

— Здесь же у тебя есть братья? — Я опустил уточнение «двоюродные».

— Все распалось. Может быть, им — нет, их женам — не понравилось, что я не захотела играть роль вечно беспомощной профессиональной страдальницы, не знаю. Мы приходили в гости, Слава читал газету, а все его обходили, как будто его уже нет. Может быть, боялись в эту бездну заглядывать, не знаю. Когда Слава умер, мне пришлось самой обзванивать всех знакомых и двести раз повторять: Слава умер, Слава умер...

Выдержать налегшее молчание было нелегко, но я выдержал. Я знал, что нет ничего оскорбительнее утешений там, где утешений быть не может. Однако после достойной паузы я рискнул робко изобразить Сэма:

— Какой у тебя телевизор — в России такого экрана и в кинотеатре не сыщешь. — И съезжился — бестактно все-таки вышло.

— Слава по ночам не спал, иногда включал телевизор. Я какое-то время терпела, потом начинала его упрекать — мне же к восьми на работу, надо было себя показывать, — не хватало только и мне без работы остаться... А он однажды вдруг среди ночи отправился на улицу, он спускался на ощупь. Я пошла его искать, уже раздосадованная, а он сидит на ступеньках и рыдает, как маленький ребенок. Я его привела, успокоила, протянула ему яблоко — и вдруг он как-то дико перекосялся: «Ты меня отравить хочешь?!» Не знаю даже, что это было — чистый бред? Или у него засело, как я его вынуждала взять себя в руки: если живешь, надо жить! Или умирай! Я иногда говорила ему ужасные вещи... Но он все равно припадал к моему плечу. Потому что другого плеча у него не было.

Я сидел, не смея поднять ни глаз, ни мысли. Чтобы чего-нибудь нечаянно не осудить. А если не судить, что тут можно подумать? Что жизнь безжалостна и подла? Но кто же этого не знает...

— А как девочка? — нащупал я самый правдозащитный из фантомов.

С девочками как будто все в порядке, тьфу-тьфу. Старшая — нормальная российская еврейка: и там шла на золотую медаль, и здесь получила *багрут* со средним баллом девяносто; затем первая ступень, вторая ступень, сейчас в Иерусалиме делает третью, докторскую, по микробиологии, много читает, любит Достоевского, в личной жизни сложности — мальчик ее, тоже «русский», с «исканиями»: они с ним решили до какой-то проверки чувств воздерживаться от физических отношений — чуть ли не в знак протеста, здесь же на это дело очень просто смотрят. Нормально смотрят. И младшая — «я ее сюда привезла совсем ребенком» — растет совершенно другая. Нормальная. Язык уже распушен, как у выдавшей бог знает какие виды, а сама дурочка дурочкой — при том, что как положит тебе сиську на плечо... («Сиська» — прежде таких слов от возвышенной Марианны услышать было невозможно.) А вообще-то хорошая девочка — заботливая, работающая, только вот учиться не хочет. «Но я теперь, грешным делом, из-за этого и не переживаю: ну, мы учились-учились — и что толку? Я сейчас думаю так: все живы, здоровы, не голодаем — чего еще надо?»

Неужели евреи и впрямь устали быть великим народом с дивной и страшной судьбой, народом, чьи отпрыски по всему цивилизованному миру в первых рядах вечно устремляются за каждым новым фантомом и вечно расплачиваются за каждое новое разочарование, и теперь наконец решили «просто жить»? Но я не верю, что человек способен «просто

жить» — чего же Марианне не жилось в России? Там ей жизнь была не в жизнь без романской литературы, а здесь, оказалось, вполне можно жить и воспитательницей в каком-то жутком интернате для маленьких уродцев — у одного нет кишечника, у другой половины мозга... При том, что и с педколлективом отношения не теплее, чем когда-то в пригородном учебном «пункте» для вечерников: когда она решается вставить слово, оно, как и в том пункте, повисает в воздухе, чуть ли не самое близкое существо у нее на работе — аутичный мальчик, который ни с кем не разговаривает, но замирает, когда она подолгу держит его за руку... И все равно она не ощущает себя так уж беспросветно одинокой, она чувствует, что она у себя дома: ни с кем в отдельности не сближаясь, она пребывает в самых нежных интимных отношениях со страной как единым целым, то есть с фантомом страны, — эта любовь и согревает ее в холодном офисе и в холодной постели.

Кстати, по здешнему эскимосскому обычаю в гостиной было более чем прохладно, и Марианна извлекла из небытия поношенный Славкин свитер. Но чуть я натянул его, она с содроганием отвернулась:

— Не могу смотреть, вы так фигурой похожи...

Я остервенело стащил свитер обратно.

— Да ты ешь, ешь, — извинилась она. — Мне очень приятно тебя кормить, я все запасаю как заведенная — шинкую, мариную, закатываю... Хотя, конечно, на *шук* покупать дешевле, это правда...

Журнальный столик действительно был заставлен всяческими молдавскими вкусоностями (неизбежные хумус и тхина, разумеется, присутствовали здесь тоже), и под Марианниным грустным любящим взором я принялся уписывать их, невольно стараясь являть собою воплощение Жизни с большой буквы.

— Ф-фу, сейчас умру... — наконец откинулся я в гостеприимнейшее кресло, и Марианна очень серьезно покачала головой:

— Не надо. — И взялась за линейку телепульта: — Извини, я на минутку, новости послушаю.

Огромная голова в телевизоре наговорила чего-то серьезного, и по Марианнинному лицу пробежала страдальческая тень, глаза подплыли слезами.

— Снова двое ребят в Ливане погибли.

Я почтительно промолчал.

Беззвучно отворилась дверь с резиновой окантовкой на случай газовой атаки, и беззвучными зелеными кроссовками по каменному полу к столику приблизилась свеженькая и щекастенькая, как новенький персик, очень юная девушка в оранжевой футболке (если бы даже Марианна не упомянула о ее «сиськах», не заметить их все равно было бы невозможно). Хороший художник, сохраняя сходство, может каждого из нас превратить и в красавца, и в уродца, и, создавая ее по Славкиному образу и подобию, творец пошел по первому пути.

Она остановилась перед нами, глядя на меня с выжидательной робостью, как юная грешница на председателя педсовета.

— Не бойся, Лиечка, дядя добрый, — ласково поощрила ее Марианна и повернулась ко мне: — Слава нас всех запугал, что ты страшно умный.

— Не страшно, не страшно. Но я строг...

Чтобы утрировать ситуацию до комизма, я напустил на себя явно неправдоподобную требовательность:

— Ну-с, как в школе дела?..

— Нохгмально, — выговорила она с предельной ответственностью, не сводя с меня робко-выжидательных Славкиных глаз.

— А какой ты предмет любишь больше всего? — перешел я к простодушной любознательности, всячески показывая, что со мной можно рубить начистоту.

— Никакой, — немножко расслабилась она.

— А зачем тогда в школу ходишь? — Я был сама наивность.

— Говоухгят, что надо. Если хочешь дальше учиться, — поверила она.

— Так, а зачем дальше учиться? — Я вообще перестал что бы то ни было понимать.

— Я не знаю... — окончательно доверилась мне Лия. — По-моему, и так можно пххгожить...

— Конечно! Жизнь сама по себе есть высшая ценность!

— Лиечка, он шутит, ты посиди с нами — я сейчас чаю принесу.

Однако Лиечка присела лишь на самый краешек кресла. Мне хотелось сказать ей что-нибудь задушевное, но я совершенно разучился это делать. Да и с чего начать?

— А если бы ты в школу не ходила, чем бы ты занималась? — никак не удавалось мне съехать с наметившейся колеи.

— Телевизоухг бы смотххгела. — Она уже говорила почти свободно.

— А что-нибудь о России вам в школе рассказывают? — Мне и вправду было интересно, что сохранилось от прежнего фантома — уж черного там или розового.

— Ххгассказывают. В Ххгоссии были большевики и меньшевики. Большевики хотели воевать, а меньшевики хотели, чтоб было тихо.

— С кем хотели воевать?

— Чтобы пххгогнуть коххголя. Сначала большевиков было много, потом мало, потом опять много. — Для наглядности она изобразила руками сначала большой арбуз, потом маленький, потом снова большой.

— Лия, ну что ты говоришь глупости? — ласково укорила ее Марианна, грустно любуясь ею.

— Нам так учительница показывала — много, мало, потом опять много. — Лия обиженно изобразила прежние арбузы.

— А чего хотели большевики? — полюбопытствовал я.

— Они хотели все ххгзделить поххгговну. Чтобы каждый человек стаххгался, как может, и получал все, что ему нужно.

— Ну, и получилось у них?

— Да. Только люди стали плохо ххггаботать. Кххггестьяне начали сжигать свои поля и убивать своих звеххгей.

— А потом?

— А потом началась инфляция.

— И дальше?..

— И дальше так и пххгодолжается инфляция.

— Лийка, ты же у меня неинтеллигентный человек... — легко вздохнула Марианна, по-прежнему любуясь ею.

— Это я по-ххгусски неинтеллигентный, а по-ивххгитски интеллигентный, — отвергла эту снисходительность Лия. — Мама, можно, я пойду...

Она отпрашивалась на хуу, свадьбу, только не развлекаться, а подрабатывать официанткой.

— Хорошая девочка, — от души сказал я.

— Хорошая... Только очень упрямая. Со Славой у них такая была война. Его же все раздражало, он ей говорил: не стучи, а она смотрит ему в глаза и продолжает стучать.

— Я тогда была еще маленькая! — Лия вспыхнула, как Юля когда-то. И окончательно обиделась: — Ну вот, тепеххг ты меня ххггасстххгоила, и мне тепеххг никто не будет давать чаевые.

— Ну что ты, в печали ты еще красивее, — вступился я. — У тебя чудесный цвет лица — кстати, знаешь ли ты, что твой папа в детстве считал «цветлица» одним словом? — (Она с величайшей серьезностью отрицательно покачала головой.) — Просто невозможно представить такую красавицу в военной форме... А сама-то ты хочешь в армию?

— Да.

— Почему? Что там хорошего?

— Всегда с подххгугами. И вообще... Хава!я!

— Это значит, какое-то интересное событие, — пояснила Марианна.

— В шабат пххгиезжаешь домой, тебе ххгады, а так пххгиходишь, никто тебя не хочет...

— Пей-ка ты лучше чай. — Наша беседа Марианну явно умиляла.

Меня, впрочем, тоже. Если забыть, что это дочь Славки с Марианной.

— Папа говоххгил, что вы его лучший дххгуг? — доверительно спросила Лия, когда Марианна ушла за новыми порциями чая.

Слово «друг» со времен Джека Лондона и Ремарка требовало в моих глазах такой взаимной безупречности, что я запнулся. Но вовремя сообразив, что дело в данный миг идет не о констатации факта, а о формировании фантома, я успел достаточно серьезно кивнуть прежде, чем промедление успело бы дезавуировать мой кивок.

Лия уже давно таскала брачующимся кошерные тарелки, за черным окном царила непроглядная тьма, а мы с Марианной все говорили и говорили грустно и тепло, и не было ничего естественнее, чем лечь в общую постель и с усталой нежностью обнять друг друга. От этого не пострадал бы никто. Кроме фантома. А следовательно, это было невозможно.

Мне было постелено в девичьей светелке, над которой царил снятый во весь нечеловеческий рост мускулистый полуголый парень, уже подрастивший и молнию, устремленную к выразительному всхолмлению на джинсах. Среди россыпей косметики распласталась переплетом кверху раскрытая книга с глянцевой нежно-бесстыдной красоткой на обложке. «Ужасным ударом он швырнул меня на четвереньки и страшным рывком разорвал на мне мои трусики, и я почувствовала ужасающую боль между ягодицами», — прочел я. М-да-с, в бендерском бараке с Акутагавой, но без сортира что-либо подобное и вообразить было бы невозможно...

На зеркале трепетала липучая бумажка: «Дорогая мамачка! Я очень тебя люблю! Я имею только хорошие намеренности. Твоя самая сексуальная дочь».

Разуваясь, я углядел под кроватью картонный ящик, из которого выглядывало что-то невыносимо знакомое... Ящик был набит математическими книгами — еще из общежития: исполинский всеведущий Гантмахер, «Теория матриц», «Топология» Н. Бурбаки, которого мы склоняли так же, как «дураки», «Теория функций вещественной переменной» Вулиха, похожего на иностранного тренера по борьбе — «принцип Коши» и «принцип каши» он произносил совершенно неотличимо...

Так Славка, стало быть, таскал за собой эту бессмысленную тяжесть, как, говорят, Шалапин возил с собою чемодан русской земли себе на могилу...

Командировочный долг был исполнен — и перед призраками мертвых, и перед призраками живых. Когда мы с Катькой, пьяные от дурацких предвкушений, не разбирая дороги бродили по святым камням Вильнюса, то и дело обнаруживая себя за его пределами, в одно из таких проскакиваний мы оказались на полузаброшенном православном кладбище, могилы на котором наполовину превратились в проплетенные травой бугры. Смерть не имела никакого отношения к нам, краешек вечной ночи лишь подчеркивал солнечность нашего вечного дня. И на погибающем нищем кресте я прочел выведенные заплаканным и явно малограмотным химическим карандашом поразительные слова: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы». Эти слова для меня, юного дикаря, были исполнены такой красоты и значительности, что я целый день повторял их про себя: приидите ко мне... аз успокою вы...

И теперь, глядя на погружающийся в переливчатый муар Средиземного моря насыщенный пурпурный круг, я одним языком все повторял и по-

вторял эти слова: аз успокою, аз успокою... И чувствовал себя действительно успокоенным. Но — если не считать матушки-смерти — как же зовут того благодетеля, кто приносит страждущей душе успокоение? Имя его — смирение. Сломленность. В самом деле, все живы, здоровы, не голодаем — чего еще надо? Выдалась тебе минутка, так не порть ее хотя бы сам — мир с удовольствием делает это и без тебя. Не буди лиха, пока оно тихо. Тебя не гребут — не подмахивай.

Впервые за много лет я не испытывал напряжения в присутствии сына. Более того, мне было хорошо с ним, как с умным товарищем, который без серьезной причины не сделает тебе подлянки, не станет выстраивать приятную картину мира за твой счет. Можно было говорить, можно было молчать. Главное — он ничего из себя не изображал, высказывался серьезно и ответственно. А потом меня уже не раздражало, что он слишком часто и не слишком опрятно курит — самостоятельный человек, имеет право.

Два добропорядочных облезлых барсука, мы сидели на набережной за одним из уличных столиков тайландского ресторанчика, ожидая, пока остынет необыкновенно курчавое блюдо из завитых макарон, овощей, ломтиков мяса и бог знает чего еще, тоже, однако, вьющегося. Повар за зеркальным стеклом, как и полагается, непроницаемый, словно восточный божок, держал над пышущим огнем полусферу на длинной ручке. Время от времени из полусферы, каждый раз внезапно, вырывался метровый столб пламени, не производящий на божка ни малейшего впечатления, а мы с сыном задумчиво потягивали двойной дайкири, как самые образованные иностранцы, — среди пальм и небоскребов, рядом с которыми и море из безбрежной и опасной стихии превращалось в элегантную часть городского пейзажа — примерно такую же, как уютно журчащий и плещущийся фонтан, имеющий форму зыблющегося пенного зиккурата.

Нарядные светofоры то запускали стройный конвейер сверкающих автомобилей, то приостанавливали его, словно дирижируя каким-то таинственным танцем: хрустально-прозрачные лифты за стеклами небоскреба, равно как и фигурки людей, двигались так неспешно, как будто служили наглядными пособиями — так сказать, цивилизация в разрезе. А Дмитрий вслух размышлял о том, что квартиру все-таки, видимо, выгоднее купить в рассрочку, а потом, если понадобится, продать — хотя он вряд ли куда-то тронется в ближайшие годы. Он говорил об этом с простотой и обыденностью истинного гражданина мира: фантом Родина мы разрушили сами, фантом Заграница позволили разрушить заботам. Вообще-то уже пора, говорил Дмитрий, откладывать деньги и на будущую учебу сына; но деньги и в России пригодятся — неизвестно, в какой стране моему внуку придется получать образование и сколько это будет стоить... Ведь жены у меня нет, мимоходом упомянул Дмитрий как о чем-то само собой разумеющемся. Я несколько напрягся, но он не собирался устраивать никаких эксцессов по этому поводу: раз так, значит, так.

— Но мать у моего сына есть, есть что беречь. Пока что. Мать она неплохая. Вернее, мама и папа для ребенка — это земля и небо, не надо у него их отнимать, пока можно. Я когда-то подслушал ваш с матерью разговор — вы думали, я сплю, — и испытал именно *леденящий ужас*. Нет, вы не ругались, наоборот, были ужасающе предупредительны. Ничего, не огорчайся, никто не знает своих детей. Главное, чего мы не хотим понимать, — чем более беззаботное детство мы им устраиваем, тем сильнее они цепляться за него. И потом им всю жизнь весь мир чужбина. Когда так долго — детство же это целая вечность — живешь в качестве единственного и неповторимого, ужасно трудно смириться с тем, что ты не единственный и повторяемый. В жизни ведь есть только три пути — быть нормальным, как все, а если не можешь или не хочешь быть нормальным, остается два варианта — быть героем и быть неудачником. Вот ты сумел сделаться героем, а я...

— Ну, ты и выискал героя, — ввернул я, чувствуя себя мошенником.

— Не кокетничай. Ты как когда-то вдолбил себе в голову что-то свое — не важно, глупое, умное, хорошее, плохое, но свое, — так всю жизнь на этом и простоял. А я понял, что героем быть не смогу, — я даже и не вижу ничего такого, ради чего стоило бы быть героем.

— Героем стоит быть только во имя каких-то пьянящих фантомов, — потешил я свой последний пункт.

— Интересная мысль... Возможно, я просто слишком много пил и от этого утратил способность опьяняться чем-то еще. А может, и наоборот — пил, чтобы не чувствовать своего отрезвления. Я подумаю. Так или иначе, в какой-то момент я понял, что героем быть не могу, неудачником боюсь, а быть нормальным — ужасаюсь. От этого я и пил, и кривлялся — пусть лучше буду мерзким, чем нормальным. Но оказалось, что путь мерзости еще мучительнее, чем путь героизма, — и я сдался. Теперь я хочу одного — быть нормальным. Выполнять нормальную работу, получать нормальную зарплату, нормально воспитывать сына... Нормального сына. Ну, тебе-то, конечно, известно, что сегодня называют нормальной ту жизнь, которую могут себе позволить пять процентов населения земли, и я намерен войти в эти пять процентов. Так что можешь доложить маме, что у меня все нормально. У нормальных людей всегда все бывает нормально.

С каждым его словом остатки моей настороженности таяли все быстрее и быстрее: атавистические нотки ёрничества в его классицистическом монологе явно проскакивали только из-за привычки быть искренним. Но глубь его — ощущал я своей глубиной — была невеселой, но очень серьезной. И я понял, что наконец могу быть спокойным за своего сына: он сделался именно таким, каким я мечтал его видеть.

Нормальным. Умеющим смотреть правде в глаза и принимать ее. Умеющим браться только за возможное, но уж здесь-то добиваться своей цели. Умеющим... Словом, я получил то, чего хотел еще вчера. И когда я это понял, я почувствовал невыносимую боль. Я сразу узнал ее — именно эта боль пронзила меня, когда я впервые увидел своего умненького домашнего барсучка, в синей школьной формочке затерявшегося в синих школьных шеренгах, испуганно поводящего добренькими глазками. Но что же было делать — не оставлять же его без образования! Взрослеть — переходить из искусственной, человеческой среды в естественную, нечеловеческую — это всегда очень больно. Но пропитаться духоподъемными фантомами возможно только в среде искусственной, домашней...

Разница была только в том, что сегодняшняя боль отдалась режущим ударом в левой половине груди и электрическим в левом локте, и я осторожно полез в нагрудный карман за нитроглицерином.

— Ну-ну, ты что это... *отец?* — Лишь самой минимальной капелькой дружеской иронии Дмитрий подчеркнул выпренное слово «отец» — но слово «папа» и вправду звучит смешно, мы ведь, в сущности, теперь почти ровесники.

— Ничего, ничего, все нормально, сейчас пройдет.

Мы оба подождали, и понемножку, понемножку отпустило.

Я успокоительно покивал ему и — внезапно предложил:

— Хочешь, я покажу тебе, где водятся черные белки?



ВЛАДИМИР КОРОБОВ

*

ПРЯМАЯ УЛИКА

* *
*

В веке проклятом, двадцатом
я хочу еще пожить
и на мостике горбатом
постоять и покурить.

Прежде, чем в тысячелетье
новое перешагнуть, —
всех, кто сгинул в лихолетье,
поименно помянуть.

И глядишь, за этим списком
час пройдет, за ним другой...
Жизнь касаткой низко-низко
промелькнет передо мной —

не догонишь, не поймаешь,
не разлюбишь, не вернешь,
ничего в ней не исправишь,
ничего в ней не поймешь.

* *
*

Ветка сирени склонилась в поклоне,
преобразив красотой
пыльные стекла, окно, подоконник
комнаты полупустой.

Светом залиты тетради и книжки,
нищенски скудный уют,
скарб коммунальный. О Господи, слишком
ярко лучи твои бьют!

Лучше какой-нибудь угол медвежий,
свиток бескрайней зимы,
чем этот запах тревожный и нежный,
веющий властно из тьмы.

...Стала пуглива душа и безлика,
 прежний умерился пыл,
 и красота — как прямая улика:
 слаб человек и бескрыл.

А за окном разбежались дорожки
 в ад? или, может быть, в рай?
 Господи, ветку сирени в окошке
 нищему духом подай.

Поэты

Кричали с эстрады о вечном,
 горланили спяну стихи,
 а сами, как стадо овечье,
 пугались любой чепухи.

Метались, толкаясь в загоне,
 терпели и стужу, и грязь...
 Им снились крылатые кони,
 что мчали их к славе, клубясь.

Но время, листая страницы,
 развеяло многое в прах,
 лишь слов золотые крупницы
 лежат на Господних весах.

* *
 *

Всё, что осталось от прошлого лета, —
 мертвые бабочки писем, кассета

видеофильма, засохшие осы
 на подоконнике, наши вопросы

к Господу Богу, а также друг к другу...
 Милая, дай на прощание руку!

Так и замрем на краю пустоты —
 испепеленные зноем листы.

* *
 *

Скучная, неудачная
 жизнь. Но ласкает слух
 станция Новодачная,
 где голосит петух.

Лечит получше всякого
 лекаря русский сплин —
 рощица эта зябкая
 с оспинками рябин.

Больно глазам от просини.
Боже, в который раз
в сотах медовой осени
взгляд, как пчела, увяз.

* *
*

Я думал, что Ты существуешь
и любишь всех нас, бережешь,
прощаешь, скорбишь, негодуешь.
Но что, если все это ложь?

И мы, как заблудшее стадо,
заложники чьей-то игры:
жуй травку, терпи или падай
в разверстую бездну с горы.

* *
*

И все же... жить зачем-то надо —
собаку вывести гулять,
забрать ребенка из детсада,
хитрить, отмалчиваться, лгать,
проходим стать на всех похожим,
смех проглотить, не хмурить бровь,
поплыть корабликом порожним
без слов тревожных: Смерть, Любовь.

* *
*

Цикада, бабочка, кузнечик,
холмы полуденные, зной...
Цикория зубчатый венчик,
сияющий голубизной, —
приют и отдых стрекозиный,
звезда над домом муравья,
когда склонится тенью длинной
прохладный вечер у ручья.

И ты дорогою земною,
в сандалях, стоптанных до дыр,
благоговейно стороною
обходишь хрупкий этот мир,
под небом звездным — человек,
бредущий горною тропой...
Цикада, бабочка, кузнечик
на равных говорят с тобой.



ОЛЕГ БОРУШКО

*

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

Рассказ

Апрельским днем 2000 года озарило: почему не едем на рыбалку? Внезапность порыва отвечала графику британского клева: клюет неожиданно и в самых непригодных водоемах.

Жаня пришла с работы, Егор поставил на стол котлету «чикен-Киев» и сказал:

— Мам! Я сегодня удочки делал...

— Удочки? — сказала Жаня, облизываясь. — У меня завтра рабочий день... И потом... Эта картошка — она что, подгорела?

— У Матвея в школе каникулы, а он дома сидит... — сказал Егор. — А шука в апреле начинает брать... Ничего там не подгорело, это картошка такая...

— Каникулы? — удивилась Жаня. — У Матвея?

Восьмилетний Матвей решил исход дела.

Червей складывали в банку из-под польских огурцов — с завинчивающейся крышкой. Единственные огурцы, которые хоть как-то напоминают русские.

— У них тоже, видишь, пыпырышки, — говорит Жаня с ударением на первый слог.

— Коренные москвичи говорят «пупырышки», — отвечаю я с ударением на второй.

— Да у вас под Харьковом никакие не растут, — парирует Жаня.

Почему *под* Харьковом, когда я родился непосредственно в самом Харькове? — грустно думаю я. И с каких пор под Харьковом не растут огурцы?

В жестяной крышке шилом продолбили дырочки — чтобы британские червяки могли, значит, дышать. Копали уже в потемках, в садике под старой туей: здесь растут туи и при каждом доме сад.

Прошлым октябрём худосочный сосед Мик (работник химчистки и методический пьяница) повез нас по яблоки. В бесхозный сад под Бексли — на Юго-Востоке Большого Лондона. Там-то мы с Егором и заметили водное пространство. Пространство по внешним данным и аналогии смотрелось тоже бесхозным. Ничто так не радует русского человека, как наглядное отсутствие собственника.

Жаня еще спала, когда мы наутро отправились.

Я припарковал «Черную стрелу» на стоянке огромного хозмага, мы перешли дорогу и углубились в смешанный садово-лесной массив. Один рюкзак, две неподъемные сумки, крапива по пояс, переносной пластмассовый холодильник для доверчивой рыбы и Матвей в тренировочных шта-

нах. В сумках палатка (на случай дождя), бархатистый надувной матрас (на случай солнца), примус и запас еды на неделю. Пикник.

С нашей стороны озеро было хоть куда — ивы, ракиты и все, что полагается. С противоположной — автострада.

Насаждали, забросили. Я — налево, Егор — направо. Время — около девяти утра. В полдесятого Егор пробасил:

— Пап, чё-то не клюет.

В пятнадцать лет они начинают басить и иронизировать. Не успеваешь уследить — что раньше.

Десять. Ни одной поклевки. Обычно хоть мелочь играет с червяком, а тут — кладбище.

— Пап, можно мне половить? — сказал Матвей. — А то у меня ноги колются.

— Ты б еще в шортах пошел, — сказал я. — В поход надевают плотные штаны, например, джинсы.

— У меня порвались, — сказал Матвей. — Я просил новые, как у Райана. Можно мне половить?

— А ты б зашил. Егор, дай ему маленькую. Видишь, дно? Все дело в дне: ни травы, ни коряг. Глина. А рыба любит траву и коряги. Глину рыба совершенно не любит.

Я смотал удочку, отдал мобильный телефон Егору и азартно двинулся вправо вдоль берега — на разведку.

Берег был круг; заросли бамбука (откуда в Англии бамбук?) толстой стеной подступали к самой воде. Ни одного плеса, куда можно установить ступню сорок четвертого размера. Я пролезал, ломая бамбук, низвергаясь по скользким откосам, прорывался к кромке воды, чудом забрасывал — глухо. На третьем забросе крючок зацепился за бамбук и остался там покачиваться вместе с поплавком. Я вернулся на базу — поправить снасть. Может, это не бамбук? — думалось мне.

Егор обнаружился метрах в тридцати — на дереве, павшем в воду. Дерево было многолиственным и пушистым. Егор проделал по нему уже метров семь в сторону автострады.

— Блесна, пап! Тут надо на блесну! — крикнул Егор, свешиваясь с ветки.

— На крючок не берет, — добавил Матвей.

Я чертыхался, тайком подвязывая к новой леске новый крючок, на который не берет.

— Кто же с дерева забрасывает спиннинг? — крикнул я. — Так и зацепить недолго.

Еще поколдовал со снастью, но привязать крючок восьмеркой — это как вид на жительство получить: требуется везение, сноровка и осторожность. Матвею надоело ловить, он не любит стоять, он любит приключения.

В итоге я бросил свою красавицу, взял простецкую удочку Матвея, ушел снова вправо от базы на много футов или даже ярдов. Наконец обнаружил плесик. И вроде хороший — травка просвечивает на дне, осока по краям — самые рыбы места. Забросил. Еще забросил. Мертво. Червяк на крючке давно сдох, от него даже не отщипнули — там, под поверхностью. Притащился Матвей.

— Тихо! — прошипел я. — Распугаешь!

Матвей насупился. Постояли, я — с удочкой, Матвей — отвернувшись.

— Па-ап! — раздалось с тропинки.

— Чтoб тебя! — ругнулся я, вцепившись взглядом в безжизненный поплавок.

— Па-ап, вы где? — кричал сверху Егор.

— Иди встретить! — прошипел я Матвею.

Появились. Егор — мокрый ровно по линию подбородка.

— Упал? — безучастно спросил я, не сводя глаз с могильной поверхности водного пространства.

— Вот! — Стуча зубами, Егор протянул мобильный. — Он же был у меня в кармане...

— А Жаня там, наверное, звонит-надрывается, — злобно сказал я. — Говорил же — не надо с дерева. Ну кто на дерево берет с собой мобильный?

— Пап, а мы будем палатку ставить? — спросил Матвей.

— Давай снимай одежду! — скомандовал я. — Это... У тебя есть переодеться-то? Н-да. Сними батарею с телефона — может, просохнет? — Я наконец вытащил безнадежную удочку. — Ну ладно, пошли.

— Там человек подходил, — дрожа, сказал Егор. — Говорит, тут нельзя ловить. Это клуб. Нужна лицензия. И рыбы, говорит, тут нет. И сезон еще закрыт — только с шестнадцатого июня. Там, говорит, дальше есть маленькое озеро. — Егор махнул в сторону автострады. — Говорит, там щуки здоровые и лещ.

— А сколько стоит лицензия? — нервно спросил я.

Егор пожал мокрыми плечами.

— Фунтов десять.

— А, ну это еще...

— За каждую удочку. Он еще сказал, в два часа придут рабочие — берег чистить — и нас все равно арестуют, — закончил мысль Егор.

— А сколько у нас удочек? — справился я.

— Пап, а мы будем матрас надувать? — вклинился Матвей.

— А смысл? Где ты видишь солнце? Сейчас дождь пойдет.

— Тогда палатку? — сказал Матвей.

Пришли на базу. Егор остался в мокрых трусах, в моей куртке и моих же шерстяных носках. Ловить ему больше не хотелось. И чего ловить, когда двенадцатый час — а ни одной поклевки. Не повезло с озером.

— Ладно, — сказал я. — Пойду пройду еще влево, к дороге. Потом оттащим барахло к машине, отдохнем, возьмем удочки, примус и — на маленькое озеро. Налегке.

— А лицензия? — спросил Егор, потягивая куртку книзу на трусы. — Мужик сказал — две тысячи штрафа и всю рыбу заберут.

Обманывать нехорошо, пронеслась у меня в голове заповедь, с детства внушаемая Егору.

— Сейчас мы все это бросили и побежали покупать лицензию! — сказал я. — Все равно не клюет!

— Вот именно! — солидарно согласился Егор.

Я насадил свежего червя и потопал вдоль берега. Здесь стали вдруг попадаться явно рыбацкие места: тропинки сквозь чащу вниз к берегу, притом со ступеньками, выложенными доской. Не белье же они тут полощут! — думал я. Англичане давно отполоскались. А рыбы нет. Странно.

С базы доносились визги: дети, наплевав на святое — на рыбалку, — затеяли салочки.

Жизнь не удалась, еще и не клюет, думал я. Работы нет, разрешения на работу нет, денег нет, паспортов нет: визу продлить — ждем уже год. Книжки писать поэтому не видно смысла. Егор не ходит в школу, потому что русская школа при Посольстве России в Великобритании (все большие буквы) требует за обучение русских детей четыреста долларов в месяц. «А налоги? — сказал я директору. — Я же плачу налоги со своих книжек в России. А из этих налогов содержат вашу школу».

Живет за границей и еще платить не хочет, читаю в глазах товарища Кривоногова, переброшенного из Пятигорска за Ла-Манш на укрепление педагогических кадров.

«Постановление, Олег Матвеевич», — уклоняясь взглядом, говорит Кривоногов, бурундук с глазами из молодой крапивки.

«Покажите постановление», — требую я. «Для служебного пользования». Кривоногов отводит крапивки за окно на улицу Пемброук Гарденс. «Дайте письмо, что вы отказываетесь учить Егора потому, что я не могу платить». — «Пардон, — парирует директор. — Меня тогда из Лондона попросят. А на что я буду в Пятигорске жить? — Кривоногов частично бледнеет. — На те четыреста долларов, которые вы не платите?» — «Позвольте...» — «Или, может быть, на зарплату? — Кривоногов частично краснеет. — Вы что себе позволяете? Вы думаете, если вы писатель...» — «За что же вас выгонят? — не сдаюсь я. — Вы такой талантливый педагог...» Крапивки Кривоногова превращаются в репейнички: «Это очень просто. Борушко платит налоги в бюджет? Платит. И не может обучать ребенка в госшколе? Ты, скажут, в своем уме, Кривоногов? Ты, скажут, зачем дал такое письмо?»

Но не клевало, хоть убей. Я добрел до автострады, над головой ревели машины, я безнадежно забрасывал детскую удочку с мостков для полоскания белья и представлял себе Жаню. «Борушко! — скажет она. — День прошел. Я восемь часов работала, значит, как дура. А ты чего в жизни добился?»

Я зашел в тупик, прислонился к какому-то забору, забросил на метр от берега, достал трубку, раскурил, и поплавок исчез.

Я отставил трубку от лица, опасно потянул удочку. Что за черт? И вдруг на поверхности жирно блеснуло белое брюхо, да какое! Я рванул, хлипкое удилище сложилось в пузатый восклицательный знак, трубка выпала, и в бамбуковых зарослях позади меня забились рыба. Щука, мелькнула мысль.

Но тут эта дрянь перекусила леску и ужом устремилась к воде.

Я ломанулся вперед, наступил сапогом ей на хвост, переломился в поясе, норовя захватить пальцами под жабры, но она выскользнула из-под резиновой подошвы и, извиваясь, рывками загозила к кромке воды. Я бросил все и рухнул наперерез, ладонью рубанул у ней перед носом, вбив растопыренный пятипалый заслон в прибрежную грязь. И тут она меня укусила.

Заметьте, это не было случайной царапиной, оплошностью в панической неразберихе. Это был с ее стороны обдуманый шаг. Увидев перед мордой писательскую кисть, она замерла на секунду, потом изловчилась, соразмерно распахнула пасть ихватила за бугор Венеры — между большим и указательным.

Кусаться?! — внутренне взревел я. Не чуя боли, перекинулся на бок и профессионально запустил пальцы под жабры. Стиснул так, как давно никого не стискивал. В последний раз — Жаню, когда она сделала мне предложение в очереди за арбузами у метро «Ленинский проспект» шестнадцать лет назад.

Щука замерла. Я напозл всем телом, как Мересьев, клещами до судороги свел пальцы под жабрами и — сперва на одно колено, потом на другое — поднялся. Ног, впрочем, так же, как и Мересьев, не чуял.

Только когда выпростался из кустов на тропинку — поверил, что она у меня в руках. Восторг поднялся в груди с тою же стремительностью, с какою при взлете на «Ту-104» (рейс Новосибирск — Южно-Сахалинск) к горлу подкатывала липкая детская тошнота. В менее отдаленном прошлом похожий восторг пришелся на миг получения въездных британских виз. И так же, как опрометью бежал тогда по раскаленной земле от британского посольства к машине, — детсадовским аллюром неся я теперь к детям.

— Да-а-а, — уязвленно сказал Егор, разглядывая зверя. — А у меня чё-то не клевало.

— Ух ты! — сказал Матвей. — Теперь надо палатку и матрас...

— Сматываем удочки, — сказал я. — Который час? А то еще правда застывают.

— Пап, у ней крючок в губе, — сказал Егор. — А у нас нет щипцов.

— Действительно, — сказал я, отставив руку и любуясь добычей. — А что за щипцы?

— Ну... Англичане им щипцами пасти открывают, чтобы это... А потом щупом вынимают крючок. И щупа тоже нету...

— Как? И щупа нету? — удивился я.

— А потом обратно отпускают, — смиренно продолжал Егор, пальцем тыкая зверю в брюхо. — Поцелуют в морду и отпускают. А как у нас крючок вытаскивают?

— У нас башку отрубают — и все дела, — сказал я.

Дети потупились.

— Эх, помню, на Сахалине первый раз голову тайменя увидел... — мечтательно сказал я. — Одну только голову, заметьте. На пристани, на озере Тунайча... Ну, с дедом Сережей. Где-то размером... — Я развел было руки, но щука, болтавшаяся на правой, помешала толком показать. — Идите, кстати, воды наберите...

Дети, перешептываясь, полезли к воде, я устремил глаза вдаль, покачивая щукой. Все-таки самый большой таймень — это таймень из детства.

— И чего? — запыхавшись, спросил Егор по возвращении.

Я сложил щуку в холодильник, холодильные элементы от которого были впопыхах забыты дома, и он легко преобразовался в аквариум. Выпротал наконец руку из жабр.

— А дед Сережа был рыбак? — не отставал Егор.

— Почему — был? Хотя сейчас-то он, конечно... Ты его помнишь? — Я присел над холодильником.

— Который мне в Киеве кортик подарил?

— Да, хороший дед... Как он там один сейчас, интересно? Без бабушки?

— Ну да, — сказал Егор.

— И Михайловна уехала. К Ольке в Одессу — ногу лечить... Знаешь, там эти тазобедренные у женщин...

— Ну, — сказал Егор.

Я снова задумался, обвел глазами озеро. Над базой словно пролетел тихий ангел.

— Ну и чего, пап? — Егор торопил перескочить через сантименты к делу.

— Пап, это таймень? — спросил Матвей, указывая в аквариум.

Щука в холодильнике пришла немного в себя и заходила жабрами.

— Тайменя знаешь как выводят? — сказал я. — Дед однажды три часа...

— Он какой? Очень большой? Ну какой? — присев, ерзал на корточках Егор.

— Которого дед выводил? Вспотел, помню, как негр. Мне было лет двенадцать, что ли... Короче, его положили в кухне на стол: башка с одной стороны до пола, хвост с другой — тоже до пола.

Егор зажмурился.

— Классно было на Сахалине, — сказал я. — Каждый день торт, прикидываешь? «Подарочный». Такой с орешками, за три двадцать. Дед же полковник, зарплата восемьсот плюс у бабушки четыреста. Приедешь на каникулы...

— Это эта бабушка умерла? — спросил Егор.

Я кивнул:

— Четыре месяца уж... Да. Ну вот. А мы там в Академгородке под Новосибирском... Олька, я, наша мама Михайловна и зарплата инженера-конструктора. Торт есть праздник. И наоборот: праздник есть торт.

— Это сколько фунтов? — запоздало спросил Матвей, тоже присаживаясь в кружок над тяжело дышавшей щукой. — На Сахалине?

— Зарплата? По-здешнему будет... шестьдесят тысяч в год.

— А у нашей мамы сколько?
 — У Жани? Одиннадцать.
 — Мало, — сказал Матвей. — А у тебя?
 — Ладно, друзья мои, который час?
 — Четверть второго, — сказал Егор. — Правда, часы тоже, это... влажные.
 — Сматываемся, пока шуку не отобрали, — сказал я. — Отнесем в машину, потом спокойно вернемся.

Навьючились, теперь Егор тащил еще тяжеленный аквариум с водой. Встали передохнуть. Я заглянул к зверю. Вода — вперемешку с кровавой слизью.

— Стоп, — сказал я. — Мы что ее — в багажнике в этой гадости оставим? Тяжело? — Я приподнял от земли аквариум, крикнул и сочувственно посмотрел на Егора. — Смысл?

— А как? — спросил Егор.

— Завернем в крапиву, да и все, — сказал я.

— Но...

— Давай, давай крапиву. Она, это... обезболивает.

Егор поколебался, смерил взглядом аквариум, вздохнул и, замотав руку в полу куртки, сорвал два колючих пучка.

Я вытянул из рюкзака молоток, взятый для вбивания колышков от палатки в сухую британскую землю. Запустил руку в розовую слизь, шука сразу не далась, но потом обмякла, почуяв под жабрами знакомую железную хватку. Я положил ее на траву и быстро ударил по голове. Матвей присел слева и смотрел, замерев. Я ударил еще раз.

— Пап, все? Все? — спросил Егор.

— Сливай воду, — сказал я.

Было полвторого.

На стоянке около хозмага, в углу, посреди спящих с хозтоварами англичан, был разбит временный бивак. Солнце пробилось-таки из-за тучек, и крыша нашего «опеля» по кличке «Черная стрела» (скорость не более двадцати миль в час) украсилась мокрыми егоровскими штанами, футболкой, носками и утопленником телефоном, который неожиданно зазвонил.

— Ну? — сказала Жаня. — Много?

— Дак...

Я уткнул микрофон себе в бедро и прошептал детям:

— Будем говорить про шуку?

— Нет! — в один голос ответили дети.

— Не клюет, — сказал я в трубку.

— Я была уверена! — зазвенела Жаня.

— Но мы сейчас опять пойдем, — сказал я. — Еще есть надежда.

— У тебя шестнадцать лет одни надежды, — хмыкнула любимая. — А где улов? Почему к телефону никто не подходил?

— Потому что Егор утонул.

— Я так и знала, — сказала Жаня. — Работаешь тут, работаешь... Матвей кормил? Не вздумай не кормить. До свидания, — закончила она.

До малого озера шли налегке, шука осталась в крапиве под крышкой холодильника в багажнике, но не дошли. Трудно было пропустить местечко под автострадой, где она взяла. Нырнули в кусты, спустились на бережок, насадили. Только забросили, в воздухе произошло следующее. С другого берега, где раньше была база, раздалось громогласное «о-ой!».

— В чем дело? — строгим шепотом сказал я, близоруко прищуриваясь над гладью.

— «Ой» — по-английски значит «эй», — сказал Егор, козырьком поставив ко лбу ладонь. — Раз, два... Человек пять.

— О-ой! — снова заорали на бывшей базе.

— Кому они говорят «ой»? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Так они пока дойдут... — сказал Егор.

Я не мог при детях позволить себе нервно засуетиться и перед трудностями отступить. Так и стоял расслабленно с удочкой. На той стороне еще пойкали, и стихло.

— Они кричали слово, которое на зажигалке, которую я нашел. Ну, которую ты отобрал, — сказал Матвей. — На букву «фэ».

— Не слышал, — сказал я. — Ай-яй-яй.

Поплавки трупиками лежали на коричневой глади.

— Ты, наверное, прямо в нее тогда попал, — задумчиво произнес Егор.

— А чего ж ты не попал?

Прошло полчаса. По моим расчетам опасность миновала. Ходу сюда с того конца — минут всего десять. Смотря, правда, каким шагом.

— Хорошо, пошли, — сказал я. — Где там твое маленькое озеро с большими лещами?

...Их оказалось шестеро.

— Две тысячи! — сразу объявил приземистый, подступая ко мне.

— Пардон? — отозвался я, делая механический шаг обратно в кусты.

Именно когда я поднялся на тропинку, они проходили мимо. Минутой позже — и никаких встреч. Неожиданные встречи в Англии чреватые неприятностями.

— Француз? — без тени сочувствия наступал приземистый. — Полиция! — Он грозно махнул в сторону хозмага.

Им кажется, иностранец лучше поймет, если сказать погромче. Притом кто такой в Британии иностранец? Француз. Ясно, хочется повысить голос.

— Why? — сказал я, что по-английски означает — «почему?». А кстати, по-грузински означает «эй» и «ой» одновременно.

— Лицензия! — уже очень громко сказал приземистый. — Клуб! Сезон!

Да. Мы нарушили сразу все, что можно нарушить в сфере британской рыбалки. Я покосился на Матвея. Нельзя было ударить лицом в английскую грязь. Но и нельзя было сказать, что про лицензию не знали, потому что дети знали, что мы знали, а обманывать нехорошо.

— О'кей, — сказал я, виновато вздохнул и опустил руки.

Американизм неожиданно произвел впечатление.

— Ол райт, — сказал приземистый. — В другой раз вызову полицию!

Так нас выперли из этого оазиса.

На обратном пути я подавленно молчал.

— Пап, ну и чего там дальше про тайменя? — осведомился с заднего сиденья Егор.

— Каждый день торт... — задумчиво подал голос Матвей. — Этот Сережа тебя, что, очень любил?

Матвей никогда не видел деда Сережу. Но остров Сахалин, шестьдесят тысяч фунтов, таймень до пола и не просто торт, а «Подарочный»... Дед Сережа, думаю, встал перед Матвеем как живой.

— Любил, да, — сказал я. — Так сильно, что тоже однажды выпер. Когда уже с бабушкой в Киев на пенсию переехал... — Я вел машину по узким британским улицам и обращался к зеркалу заднего вида.

Дед повез меня копать на новую дачу: студент из Москвы на каникулах в Киеве — как можно не копать? 1982 год, дорогие товарищи.

На обратном пути с дачи в Киев, поздно вечером, в автомобиле марки «Жигули» я заявил, что не люблю КГБ. Дед нахмурился. Всю жизнь прослужить во внешней разведке, чтобы под конец от любимого внука услышать, что внук это дело не любит. Торты — любит, а КГБ — нет.

— Столько людей пересажать! — с чувством сказал я.

— Откуда ты знаешь? — спросил дед.

— Читал.

— Где читал? Где ты это мог прочитать? Кто тебе, понимаешь, такие книжки подсовывает? Он еще учится в политическом вузе! — Седые кустистые брови деда с разнокалиберно торчащими черными выскочками недобро шевелились над рулем. — Я, пожалуй, дрянь такая, твоему ректору напишу...

— А что, не правда? Как можно сажать за убеждения? — авторитетно сказал я. — И при чем тут «дрянь»? И при чем писать ректору? Вот они — методы. Ты умей спорить спокойно.

— За какие убеждения? — Дед поднял острые плечи, не сводя глаз с полнотной трассы.

— За разные!

— За разные не только можно, но и нужно, — отрезал дед. — Ты, может быть, понимаешь, и советскую власть не любишь?

Картошечка на конце дедова носа усыпалась каплями росы.

— М-м... — сказал я.

— Его, щенка, понимаешь, бесплатно учат, бесплатно лечат...

— Беспла-атно? — вскинулся я, всем корпусом развернувшись к водителю. — Да Михайловна всю жизнь налоги платит...

— Какие налоги? — Брови поднялись и выгнулись в мою сторону, словно порыв грозового ветра рванул по верхушкам кустарника.

— Подходные! — сказал я.

— Куда платит?

— В госбюджет!

На последнем звуке слова «госбюджет» дед затормозил.

— Выходи из машины! — сказал он.

Я пожал плечами, огляделся. Машина воткнулась в обочину неведомой трассы неизвестно в каком медвежьем углу Киевской области.

Я медленно и как мог грациозно полез из автомобиля. Дед в последний момент наклонился, захватил дверную ручку, резко прихлопнул дверь, зацепив край моей неуспешшей руки, свистнул задними колесами и был таков. Мигнул только красными фонариками.

«Ты казала: у неділю підем разом до весілля. Я прийшов — тебе нема...» — бормотал я, независимо вглядываясь в прелести украинской ночи.

Он не вернулся за мной и больше в эти каникулы нам с Михайловной не звонил. Меня подобрал до Киева грузовик, а на руке возник синяк, пониже указательного: хорошая сталь шла на первую модель «Жигулей».

— Интересно, мама уже дома? — сказал Егор. — Мобильный утопили, на полицию попали, ничего не ели...

— А вы не говорите, — отозвался Матвей. — Я вообще не люблю есть.

— Обманывать нехорошо, — сказал я. — Слушай, а точно! О! Не будем говорить. Входим с постными лицами: «Мама, клева никакого!» Вы отвлекаете Жаню, я кладу зверя прямо в холодильник, вы начинаете нить, что хочется есть, Жаня лезет в холодильник...

— Здорово! — сказал Матвей. — С какими-какими лицами?

Отрепетировали.

Маневр удался на сто процентов.

— Ой! — сказала Жаня, когда прямо с полки на нее глянула морда. — Что это? Что такое? Купили? Откуда деньги?

Мы переглянулись.

— Ты знаешь, что такое «ой» по-английски? — сказал я. — Это «эй!» Так вот я тебе говорю: эй!

— Врете! — сказала Жаня. — Таких шуток не бывает.

— А у нее крючок в губе, — сказал Матвей. — Они с крючками не продаются.

— Ну правда, мам! — сказал Егор.

— А вы потом крючок вставили! — сказала Жаня.

— А где ты в Англии видела в продаже шук? — сказал я.

— Шук? Шук? — Жаня на секунду задумалась. — Да везде!

— Непотрошенных? — Я бился до последнего.

Жаня пощупала ей живот.

— Непотрошенная... — потрясенно сказала она.

В духовку зверь залез с трудом.

— Надо было нашпиговать! — спохватилась Жаня, когда шука уже десять минут обогревалась. — Мне все равно ее жалко. Как она не хотела умирать. Как она ужом от тебя, умная, мудрая, добрая шука.

— Ого, добрая! — сказал Матвей. — Жабрами папу за руку ка-ак...

— Она хотела жить! — сказала Жаня.

— А сколько она маленьких мальков сожрала! — добавил я, потирая раненый бугор Венеры. — Чтобы в такую мудрую вырасти! Нашпиговать, кстати, никогда не поздно. Ей это, кстати, уже все равно.

Мы выхватили горячую шуку из духовки, Жаня перемешала порубленный репчатый с петрушкой из-под туи, аккуратно чайной ложечкой вложила смесь в жаркий живот и вдвинула на место.

Нашпигованная, она источала — аппетитный вдвойне — аромат мудрости и петрушки. Я подумывал начать с головы. Разлили водку.

— Ну, за шуку! За удачу. За надежду, — сказал я, посмотрел двусмысленно на Жаню, и зазвонил телефон.

Егор притащил радиотрубку.

— Тетя Оля из Одессы, — подсказал Егор.

Я вернул рюмку в исходное положение.

— Привет, Олежек, — сказала Оля. — Ну, как у вас дела?

— Шуку поймали, Оль! Сейчас из духовки, веришь?

— Ага, — сказала Оля.

Сестра на шесть лет младше, то есть ей тридцать четыре. Но голос на шесть лет старше, то есть ему сорок шесть. Но уже когда мне было шесть, она орала в коляске на всю Сибирь двенадцатибалльным сопрано.

— Первый раз в этом году, Оль! Сначала ничего не брало, мы уже думали, короче, все...

— Ага, — сказала Оля.

Матвей улыбался, Жаня улыбалась и ела, Егор улыбался и не ел. Он не ест рыбу, которую поймали на удочку. Саночки возить любим, кататься — нет.

— И тут ка-ак дало! Вот такая, Оль. Ну, где-то с килограмма... Ну, примерно...

— Ага, — в третий раз сказала Оля.

— А ты чё такая кислая? — осведомился я.

— Олежек, дедушка Сережа... — сказала Оля.

Я услышал, как в трубке шумит далекий и близкий трескучий телефонный эфир.

— Мама в санатории, я сейчас к ней еду, — заговорила Оля. — Ну, общить. Похороны послезавтра. Наверное, вечером выедем в Киев. Ну, или завтра. Ты меня слышишь?

— Да, — сказал я.

— Там оставалась женщина — за ним смотреть. Ну, пока мамы нет. Утром покормила завтраком и ушла. Он вроде лег. А когда пришла...

— Как это было, Оль? — глухо сказал я.

— Что? — сказала Оля. — Плохо слышно. Где-то в полвторого сегодня днем. Женщина когда пришла, он лежал на полу... Мы все поедем. Дядя Юра приедет из Харькова, девчонки Борушки. Ну а ты... Ты же и бабушку не хоронил, так что... Вот я тебе сообщаю. Олежек, ты хоть послезавтра позвони нам в Киев...

— Конечно, — сказал я.

— Ну как дети?

— Обязательно, — сказал я и нажал кнопку с зачеркнутой трубкой на радиотелефоне.

Посмотрел на голову щуки, аккуратно отделенную от туловища. Из-под жабр ароматно дымился репчатый вперемешку с петрушкой.

— Кто? — сказала Жаня.

— Дед Сережа, — сипло ответил я и взялся двумя пальцами за рюмку.

Я в тишине поднял рюмку, подержал, поставил обратно и вышел. Я вышел на терраску, в сад. Туя конусом темнела передо мною, и неиспользованные червяки, выпущенные Егором из польской банки на свободу, вероятно, копали себе новые уютные ходы в корнях старого дерева.



ЭЛЬМИРА КОТЛЯР



ОБРЫВ ДЫХАНИЯ

В больничном корпусе

Катя из Подмосковья.
В колхозе угробила здоровье.
Полгода — похоронила мужа.
Двадцать дней — сына.
Горе скрючило спину.

Старушке — восемьдесят восемь.
Все ее зовут Асей.
Она маленькая —
девочка в первом классе.
За жизнь держится —
тоненькое деревце!

Мадам Туган-Барановская.
Девяносто три года.
Живет одна —
никакого ухода.
Жизнь стала —
сплошная боль, болéсть.
А голова есть!

Профессор-театровед патлат.
Байковый халат.
На босу ногу сабо.
Заговорить с ним мне слабо!

Прошлый год
в кардиологии лежала Сима —
она здесь присутствует незримо.
Болезнь ее унесла
и больница не спасла!

Анастасия Ивановна!
Мы здесь встречаемся с нею
не в первый раз.
Как подалась!
Совсем хворая —
ее привезла «скорая»!

Старичок!
Превратился в замшелый гриб.
Только воспаленные глаза и хрип.
А душа страдает —
жизни жаждет!

На этаже ЧП!
Нину отвезли в хирургию,
в главный корпус на каталке.
Спасибо, не на катафалке!

Врачи у старика ищут рак.
Испугался, бедняк!
— Не можете ли вы
дать мне яд? —
Непереносимый взгляд!

Привезли женщину-бомжа.
Совсем потерянная душа.
Ни фамилии, ни имени, ни отчества.
Вычеркнута из общества.
Мычит. На ней грязи короста.
Погибнуть просто!

Я помню — болела Марина:
неоперабельный рак груди.
Она молилась:
— Господи, гряди!

*

Больничные коридоры!
Больничные разговоры!
Жить или не жить? — вопрос —
все мировые проблемы перерос!

Приходят родные
в будни и выходные.
У кого сын, у кого мать,
у кого дочь.
В больничную страду
несут в сумках домашнюю еду!

Сегодня в приемное отделение
поступили:
пятнадцать самоубийц,
десять — в алкогольном отравлении.

Наркоман — семнадцатилетний юнец!
А его мать и отец?!.
У девочки-наркоманки
ребенок — только из животика —
корчится, питтит —
требует наркотика.

*

Пациент Вася
 к наркотикам пристрастился
 в шестом классе.
 Подрос — стал воровать.
 Обокрал сестру и мать.
 В пьяном виде
 в чужую квартиру залез.
 Хозяин был дома:
 — Ах ты, подлец! —
 Схватил за шкуру
 и спустил в окно с девятого этажа.
 И надо же, осталась жива душа!

*

Здесь умирал мой друг,
 Григорий Михайлович,
 на семьдесят шестом году.
 Лежал в бреду.
 День и ночь —
 у постели жена и дочь.
 Он не приходил в сознание.
 Едва теплилось дыхание —
 и оборвалось...
 Санитарки надели резиновые перчатки
 и повезли тело в морг.
 Призвал его душу Бог!

Как в этом году
 мне не хватает Анны Алексеевны,
 моего лечащего врача.
 Она знала души моей язвы,
 телесные язвы леча!

Мы, соседи,
 жаловались на нее —
 с полу ватку не подбирала.
 А она умирала.
 Сидела в коридоре
 в распахнутом халате,
 сползающем с плеча...
 Мы ходили мимо нее ворча.

Вечером сидела с папиросой
 в курилке —
 душной парилке.
 То были последние всплески жизни.
 Прости нам, Господи, укоризны!

В последнюю ночь
 она сидела на краю ванной
 в замаранной, задранной рубашке.
 И вдруг на меня взглянули глаза
 умирающей собаки!

*

Я услышала,
что женщине дышать стало трудней.
Почему не подошла к ней,
не позвала ни сестру, ни врача?
Что мне делать теперь,
раскаяние волоча?..

...Больше всех мне нравится
медсестричка Таня —
глаза — сиянье!
Она
чуткостью одарена.

*

В столовой фиалки на окошках.
На буфетчице кокошник.
Рука ее щедра —
гороховый суп из ведра!
Двое курильщиков
истово едят
больничную нашу
гречневую кашу.

*

Опять плетемся с кружками в столовую.
Вечерняя кормежка.
Ура! Сегодня картошка!

Курят и курят в курилке.
А бутылки!..

Парень в полосатой майке —
по телефону байки.

Радиовопли несутся из палат.
Телевизору исполать!..

Ах! Починили-подштопали —
домой потопали.
И я прощаюсь с тобой,
больничный садик.
Садик ты мой, виноградик!

Молитва

Богородица Умиленья,
Тебе возношу моленья:
Ты видишь,
Я одна в мире суровом.
Осени меня Своим Покровом.



АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

*

ХМЕЛЬ ПАМЯТИ

Рассказы

НА САНОЧКАХ

А зима?

Сколько радости было зимой в одних только катаниях на санках!

Горка посреди сквера, на которую взрослый забирался в четыре широких шага, тебе, дошкольнику, казалась настоящей горой, высокой-превысокой. Покорить ее было нелегко.

Сперва волочишь санки позади себя за веревочку.

Споткнулся. Оступился.

Веревка вырвалась — санки поехали вниз.

Спустился за ними. Снова тянешь в гору.

Поскользнулся. Упал. Поднялся. Пополз на коленках.

Достиг!

Целое действо. Стоишь на макушке горы, поглядывая по сторонам победно: сзади церковь, справа твой дом, впереди Кремль, над головой облака. А что за ними — в небе?

— На небеси усё есть, чего хошь, — говорит няня.

— И церковь? И наш дом? И Кремль?

— А то как же...

— А почему же я их не вижу?

— Мал ишшо. Дитё. Вот и не видать. Уырастешь — увидишь.

Я подставляю под ноги саночки, встаю на них, чтобы приблизиться к небу, но все равно, кроме облаков, не вижу ничего.

Эх! Хватаю санки в руки и, плюхнувшись на пузо, скатываюсь с горы.

У меня сани мальчишечьи — без спинки. Это девчоночьи со спинкой. Девочки чинно спускаются сидя. А мы разбегаемся и с размаху — хлоп на живот: красота!

Накатаешься до седьмого пота, до того, что тебя качает. Вернешься домой — и с порога:

— Пить хочу!

Вокруг упитанного графинчика из густо-синего, почти ночного стекла с золотыми звездами — подарок папе от офицеров-сослуживцев — шесть рюмок на подносе. Но воду в них не льешь — некогда. Поспешно глотаешь, глотаешь, глотаешь через широкий уточкин носик графина, словно боишься, что отнимут.

— Да что ж ты усё дуёшь и дуёшь, как вутка? — проворчит Филипповна. — Споддыхни, хватить. Брось грахвин, непослушник! На тебе воды не напасёсси.

Смирнов Алексей Евгеньевич родился в 1946 году. Окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Автор книг «Спросит вечер», «Дашти Марго», «Время, полувремя, времена». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Живет в Москве.

Оторвешься от горлышка, переводя зашедшее дыхание: ведь пил на одном вдохе, и воскликнешь, оторопев:

— Еще хочу!

А вечерами, когда ты был совсем маленьким, — помнишь? — Филипповна упаковывала тебя в овчинную шубку, валенки, шарф, надевала шапку с ушами, помогала лечь на санки и везла, как тючок, по размешенному пешеходами снежку — погулять перед сном.

Там, где снег был протерт до асфальта, веревочка саней туго натягивалась, и полозья, издавая занудный визг, тупо скрежетали по камню. Зато, въехав на нетоптанный пушистый покров, точно вздохнув с облегчением, убыстряли бег, а по обледенелому насту катили так, что только держись — и-их!.. И няня бросала веревку, и санки мчались сами с тобой, как с Емелюшкой, по щучьему велению, пока оно не иссякало в каком-нибудь рыхлом сугробе.

Иногда ваш путь пролегал по набережной вдоль освещенной розовым светом Кремлевской стены. Ты лежал на животе головой вперед и смотрел вниз. Полозья наезжали на широкие следы няниных валенок. Ты поднимал глаза и видел серые войлочные пятки с неровной каемкой снега. Они были подшиты кожей, как двумя полусолнышками, и мерно переступали перед тобой, то приподнимаясь, то оседающая в снег: левая — правая, левая — правая... Порой саночки виляли, объезжая следы. Это няня меняла руку. Потом ты переворачивался головой назад и вместо крепко хрустящих валенок видел две тоненьких извилистых колеи от железных полозьев. Один раз тебе почудилось, как будто ты упал с санок, няня не заметила и уезжает, ты лежишь на снегу, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, а она уезжает, уезжает... А еще тебе нравилось на ходу опустить руки в снег и рядом с линиями полозьев оставлять следы своих рук, пока колючий холодок не начнет набиваться в варежки, и Филипповна, почувствовав, что движение чуть утяжелилось, не обернется и не спросит:

— Куды ручки у снех усунул? Чичас отморозишь...

И ты переворачиваешься на бочок. Над тобой нависают ветки, полные снега. Плывут зубцы и бойницы кремлевской стены. Есть в них что-то грозное, хмурое, и вместе с тем веет от них теплом, защитой, даже уютom: ведь они так близко от дома!

Над угловой Водовзводной башней неподвижно горит пятиконечный рубин. Но если повернуться на спину, притворить ресницы и поморгать, то звезда начнет лучиться как живая.

А выше — в небе — теплятся настоящие звездочки морозной зимы — такие же маленькие, как ты. А может быть, и там кто-то едет на саночках вдоль укреплений Небесного Кремля, ведь совсем не хочется знать, что там ничего нет; хочется верить, что есть, есть: и река, и набережная, и Кремль, и Филипповна, и ты сам — только какой-то другой, сияющий и замороженный, цепляющий рукавичками за звезды, осыпающий их вокруг себя в густо-синее до черноты небо...

ТИТИНИКА

Летом мы жили на даче у нашей родственницы. Звали ее *Зинаида Константиновна*. Но так к ней никто не обращался. Все произносили имя ее не целиком, а уменьшительно, зато отчество выговаривали отчетливо — во всю его пятисложную длину: *Зина Конс-тан-ти-нов-на*. Скромно-коротенькое *Зина* совершенно терялось рядом со звучно диссонирующей *Конс-тан-ти-нов-ной*... Прихоти детского слуха необъяснимы. Станным образом это бескрайне раскинувшееся отчество одушевилось чем-то легким, тенькающим, как бы мелькающим в ветвях, пульсирующим в их светотени.

— *Титиника!* — вырвалось у меня ненароком и осталось навсегда. Видно, прозвище это пришлось ей по душе. Каждое мое окликание веселило

ее. Взрослые в моем присутствии привыкли звать ее так же. Няня, до поры выговаривавшая на свой манер *Зина Костятиновна*, наклонясь ко мне, скажет, бывало:

— Вон, гляди-кось, *Титиновка* твоя из Москвы едет... Устречай.

И я устремляюсь к калитке с безотчетно радостным:

— *Титиника!*

Была она бабушкой моего двоюродного брата, но почти настолько же и моей. Очень худенькая, невысокая, молчаливая, однако не хмуро молчащая, а какая-то волшебным образом немногословная, как фея, творящая добро таинственно и безмолвно. У нее был низкий, глуховатый голос давнишней курильщицы. Серые глаза смотрели ласково и печально. Она носила шелковую или шерстяную кофточку, перекалывая с одной на другую свою любимую овальную брошь — фамильную камею: рельефную головку старинной красавицы, ее профиль с распущенной прядкой волос, вольно сбегавшей вдоль виска.

Иногда я счастливо вздрагивал, различив ее в сумерках, как будто слившуюся с кустом сирени, а потом отклонившуюся от него, словно ветка, наполненная птичьим щебетом:

— *Титиника!*

А то угадывал ее присутствие по аромату душистых папирос, которые она курила, или по синеватому облачку табачного дыма, оставленного ею на крыльце, когда она была уже в глубине сада, или по горстке горячего пепла, рассыпанного на перилах...

Она дарила мне шоколадные «бомбы» — полые шары в золотой фольге с серебряными колокольчиками внутри.

Она предоставила в мое распоряжение сад с грядками обильно спеющей клубники, колючим малинником, лиловыми сливами, точно подернутыми первым инеем. Я продирался сквозь цепкий крыжовник, тянулся к гроздьям красной смородины, срывал веточки сдвоенных вишен, подобных нотным «восьмушкам».

В будни днем Титиники на даче не было. Она работала на очень важной и трудной работе — в Телеграфном агентстве Советского Союза. Сокращенно это называлось ТАСС. Я гордился тем, что такое необычное слово то и дело встречалось в газетах, звучало по радио в самых торжественных или в самых тревожных случаях:

— Передаем сообщение ТАСС... — и вся страна замирала у радиоприемников.

Меня забавляло и возмущало то обстоятельство, что няня на вопрос: «А где *Зиночка Константиновна* работает?» — неизменно отвечала:

— У Тазе.

— Еще скажи в тазу, — обижался я на Филипповну.

— Не у тазу, а у Тазе, — поправляла меня няня.

— Что она там — белье стирает? — утрировал я.

— Не путляй! Какое тебе ишло белье? Белье у тазу стирають, а у Тазе делают заявления.

Зато по вечерам Титиника часто приезжала к нам, то есть к себе. Приезжала тихая, усталая. Поклюет-поклюет что-нибудь с веток, выпьет дождинок со смородинового листка, похожего на утлую лодочку. Наверно, и поест, но этого я не замечал.

Мужа у нее не было. Было два взрослых сына. Один жил в Москве, другой на Урале. Не знаю, дружила ли она с ними. Мне казалось, что до рождения родного внука больше всего времени она проводила со мной. Мы ходили на реку — и в зной студеную Серебрянку — с течением острым, как колющие иголочки льда. Купание взбадривало ее, оживляло.

Она что-то рассказывала мне или слушала мой лепет с тем восхищенным удивлением, с каким очень умные, умудренные жизнью взрослые вникают в совсем наивные речи младенцев, находя в их речах правду, не-

доступную самим младенцам. Она любила моих маму и папу. Ей было с ними интересно. Она окрылялась в их присутствии и воодушевляла их. Чувствовалось, что она ждет от меня чего-то особенного, потому что знает и любит их.

Потом мы не виделись долгое время и последний раз встретились в Москве, в семейном кругу. Все были радостны. Мама смеялась, папа шутил, а я гадал, как мне обратиться теперь, когда я вырос, к *Зинаиде Константиновне*: полностью или по-старому, то есть по-детски. Как? Она уловила мое замешательство и сказала счастливо и грустно:

— А я бы хотела остаться *Титиникой*...

КОНФЕТКУ ИЛИ ЯБЛОЧКО?

Вопрос выбора часто оказывался для меня затруднительным. Особенно когда выбирать приходилось между одним очень хорошим и другим тоже очень хорошим.

Перед сном мама давала мне что-нибудь вкусное, когда оно было. Обычно яблочко или конфетку, предлагая на выбор либо то, либо это. А мне хотелось и конфетку, и яблочко. Я долго выбирал, а потом нерешительно просил и то, и другое. Поэтому мне так нравилась советская избирательная система. В ней избирателям рекомендовались и «конфетка», и «яблочко» вместе, то есть два кандидата на два места: в Верховный Совет СССР и в местный совет депутатов трудящихся. Выбор состоял не в том, за кого голосовать, а в том, голосовать или нет. Можно было и отказаться. Вообще-то... Но отказываться было нельзя. Такое даже в голову не приходило. Как это не голосовать, когда все голосуют? Итак, я осваивал новый для себя праздник — День выборов. Наш избирательный участок помещался в ближайшей от нас 41-й школе в Обыденском переулке, за церковью. Туда нам и надлежало направить свои стопы.

Вечером накануне праздничного дня к нам домой приходил агитатор. Он усиленно агитировал, то есть убеждал не отказываться от своего гражданского долга (хотя мы и не думали) и отдать голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных — за двух самых достойных. Он разъяснял, что выдвинутый в Верховный Совет СССР начальник цеха Электролампового завода им. Яблочкова — очень хороший начальник. Его лампочки горят у нас в доме и не перегорают.

— Перегорают, — не соглашалась Филипповна улыбаясь. — Как же не перегорают, кады надьсь сама увькручивала на калидоре?

Агитатор тоже улыбался в ответ, воспринимая нянины слова как дружескую шутку. Лампочки, конечно, могли перегорать, но в шутку, чтобы все порадовались внезапно наступившей темноте: горело-горело и вдруг — погасло! А если говорить серьезно, то...

— Простите, ваше как имя-отчество?

— Хвилипьевна.

— А полностью?

— Акулина Хвилипьевна.

— Акулина Филипповна, в лампочке светится вольфрамовый волосочек. Температура его плавления свыше трех тысяч градусов. Понимаете? Это обеспечивает надежность и долговечность изделия.

Это няня понимала, а *усе-тки увькручивала*...

Я молчал, но внутренне стыдился за то, что жизненно важный для всех жильцов вопрос политического выбора она путает с такой ерундой, как есть свет в коридоре или нет. Пропагандисту требовалось тратить время на вольфрамовый волосок, вместо того чтобы сосредоточиться на процедуре голосования или растолковать мне недоработки в «Положении о выборах».

Почему Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин баллотируется по единственному избирательному округу, а не по всем?

Почему некоторым так везет, что они голосуют за маршала Клима Ворошилова, тогда как другим достается начальник цеха — пусть и очень хороший, но все-таки хуже Ворошилова, — или вообще какая-нибудь укладчица с конфетной фабрики?

Эти жгучие для меня вопросы няня перебила своим неуместным замечанием о перегоревшей лампочке. Агитатор так расстроился, что у нас нет света в коридоре, что, казалось, был готов подарить няне новую лампу. А как хорошо было бы получить в подарок *лампочку Ильича с завода Яблочкова!*

Кроме заведомой добротности изделия, меня радовала эта сочная звукопись на «че» и капельная на «эль», эта внутренняя рифма: *яблочки я любил, лампочки тоже.*

— А кто выдвинут по нашему округу в местный совет? — спросил папа, увы, скорей из вежливости, нежели из интереса.

— Укладчица орденоносной кондитерской фабрики — очень хорошая укладчица, — живо отозвался пропагандист, а я тихо вздрогнул.

— И что ж это она укладывать? — полюбопытствовала няня.

— Она укладывает конфеты.

— Сладсть! — воскликнула Филипповна и неожиданно добавила: — Ох, от ентной сласти у мене зубы ломить...

Ну, это уж было слишком! Ломит — не ешь, а при чем тут голосование?

Я побоялся, что Филипповна вспомнит еще и о недавней денежной реформе, или, как она говорила, *лесхорме*, отобравшей все ее сбережения. С тех пор малейшие слухи о возможных новых *лесхормах* чего бы то ни было сеяли в няне панический страх.

Однако, спасибо, от этого воспоминания она воздержалась. Просто ей было приятно поговорить с агитатором, а личное выше общественного она не поставила.

Убедившись в том, что наша семья от выборов не отказывается, агитатор попросил нас прийти пораньше, проголосовать с утра, чтобы он был спокоен.

Так мы и поступили.

Папа жил в своем режиме и голосовал отдельно, а я с мамой и Филипповой сразу после завтрака собрался идти на участок.

Все нарядно оделись. Няня повязала перед зеркалом выходной платочек, застегнула на все пуговики чистенькую *кобеднешнюю кохточку*, и мы отправились.

Пересекли скверик, поднялись на горку к церкви, вошли в школу. Там было так красиво... Кругом плакаты, красные транспаранты с непонятными белыми буквами.

— Мам, что здесь написано?

— «Все — на выборы!»

— А там?

— «Отдадим голоса лучшим сыновьям и дочерям народа!»

Играет патриотическая музыка. И какая предупредительность, какая вежливость по отношению к избирателям со стороны людей, обслуживающих выборы! С нами здороваются, нам показывают, куда идти, передают нас по цепочке из рук в руки. Ничего подобного я раньше не встречал. Верно, и няня не встречала. От заботы и внимания ей сделалось дурно. Вот ноги ее слегка подкашиваются, она произносит что-то вроде:

— Свят! Свят!

И тут же два молодых человека — комсомольских активиста — подхватывают ее с двух сторон. Избирательнице не должно быть плохо на выборах, ей должно быть хорошо!

— На каком витеже вурны? — как-то подозрительно ослабев, со знанием дела спрашивает Филипповна, опираясь на крепкие плечи активистов.

— На третьем, — отвечает актив.

— А лихта нетути?

— Чего?

— Какой тут лифт? Это же школа, — говорит мама.

— Чижало по лестницам. Чувствую себе... — шевелит губами няня, не разжимая доверчивых объятий и не доканчивая мысль, как именно она себя чувствует. Однако из того, что ей *чижало*, следует, что чувствует она себя неважно, может и не дойти до цели, не исполнить гражданский долг.

Комсомольцев охватывает беспокойство. Есть опасение, что избирательница не сумеет подать голос. И парни — а в моих глазах — взрослые дяди — любовно, бережно поддерживая няню, с величайшим почтением возносят ее, как Царицу Небесную, по белой парадной лестнице, устланной красными коврами с золотой оторочкой; по лестнице, сложенной такими легкими, такими плоскими ступенями, что они сами поднимают тебя на любой этаж, но таинственным образом именно сегодня оказываются неприступными для Филипповны.

В актовом зале на третьем этаже, в святая святых, установлены приземистые, как медовые колоды, коричневые урны для голосования. Глуховатая напряженность, как на пасеке. Торжественность, будто в храме во время богослужения. Над колодами стоит мерный гул и роятся, роятся, роятся маленькие бюллетени, прежде чем влететь, заползти, протиснуться в узкие щелки колод. А чин Избирательной комиссии — басовитый, осанистый бородач — точно дьякон похаживает среди встревоженной паствы, и чудится вместо утраченного «Аллилуйя! Аллилуйя!» вновь обретенное «Голосуй! Голосуй!» Пожалуй, более всего это напоминает фантастическую литературу на пчельнике в момент массового прилета. Как взятки в соты, сносятся в урны лакомые бюллетени. Приглушенно поет партийный хор. Те же сосредоточенность, чинность, точность. Те же тревожные танцы рук над урнами, пассы взволнованных пальцев. Те же хвалы, но не сокрушенному Создателю, а нерушимому блоку.

Подобье скрытых ниш для исповеди — занавешенные рыхлым и пухлым вишневым бархатом кабинки тайного голосования. Оказывается, изъявлять свою волю можно не только открыто, но и тайно. Замечаю, что в кабинки, однако, почти никто не входит. Да и зачем таиться? Это выглядит даже неблагоприятно, как будто у тебя есть секреты от советской власти. Тем не менее возможность посекретничать предусмотрена. И я опять испытываю замешательство. Как лучше голосовать маме и няне: открыто или тайно? Жаль, что нельзя и открыто и тайно, ведь так любопытно заглянуть в кабинку: что там за плотными складками бархата? А вдруг там приготовлен какой-нибудь сладкий сюрприз: чашка яблочного компота или пурпурная коробочка ассорти «Бегущий олень» с серебряными щипчиками, чтобы сподручней было поддевать конфетки? А может быть, там, в загадочных драпировках, прячется умудренный опытом и облеченный доверием Товарищ, готовый подсказать верное решение сомневающемуся избирателю?

Все это совершенно завораживает.

А смущает одно: слово *урны*. Я знаю урны для мусора. Урны с прахом. Но разве избирательные бюллетени — мусор? Разве они — прах? Зачем же тогда опускать их надо непременно в *урны*? Неужели нельзя во что-нибудь другое? Слово *урны* откликается во мне каким-то трауром, хотя я, конечно, не догадываюсь, что оно и по звуку полностью укладывается в слово *траурный*, придавая голосованию совсем неподходящий для него оттенок панихиды. А еще меня беспокоит, чтобы няня по ошибке не опустила в урну паспорт вместо бюллетеня. Хорошо, что она заранее поинтересова-

лась, куда блютень, куда пачпорт, и ничего не перепутала: подала один голос за коммуниста «Яблочкова», другой за беспартийную «Конфеткину», а паспорт оставила себе. Правда, няня почему-то чуть-чуть помедлила над избирательной шелкой, словно колеблясь: бросать — не бросать?.. А мамин бюллетени я опустил сам и был доволен тем, что они не застряли, потому что у некоторых застревали, и приходилось проталкивать свой голос в прорезь как бы насильно: урна не хотела его принимать, а ее заставляли.

По выходе из зала те же молодые люди участливо спросили у няни, как она себя чувствует, не надо ли чем помочь? И Филипповна уже привычно приподняла руки, точно опираясь на подлокотники невидимого кресла. И «подлокотники» тотчас явились, и, плавно покачиваясь, она сошла по парадным ступеням под торжественный марш в сопровождении двух преданных (до вестибюля) пажей.

На улице няня моментально обрела былую твердость походки, четко шагая по *протувару*, а когда тротуар кончился, просто взлетела на наш четвертый этаж, опередивши и маму, и меня.

Я испытывал неловкость за тот «театр», который няня устроила на лестнице в школе. Ведь плохое самочувствие она разыграла — на самом деле она чувствовала себя нормально... Но теперь, по прошествии лет, вспоминая тот день, я, кажется, догадываюсь о причине, побудившей Филипповну извлечь из выборов столь сильный театральный эффект.

Всю жизнь власть унижала ее как могла. Сгубала в три погибели директивами и указами. Пустопорожними трудовыми. Мешком сорного проса за месяцы полевых работ. Большим произволом и мелким самоуправством. Хлопотами о скудной *пензии*, оформить которую было невозможно, потому что у неграмотной крестьянки, пережившей коллективизацию, пожары, немецкую оккупацию, бегство из голодного Смоленского края, не осталось на руках никаких «справок», подтверждающих ее трудовой стаж, — хотя все «справки» были написаны на ее ладонях. Всю жизнь она покорствовалась умыслам правителей, воле местных и поднебесных вождей. И вдруг — на один только миг, на момент голосования — почувствовала, что власть заинтересована в ней, в ее голосе, пусть на крошечку, но зависима от нее. И она воспользовалась случаем. Нет, она не стала исправлять заведенный порядок, но заставила себе услужить — раз в жизни вознести себя вверх по белой лестнице — и как бы задумалась на мгновение над избирательной урной, прежде чем послать туда листок с приветом судьбе — ее окаменевшей конфетке, ее гнилому яблочку.

«ПЬЯНИЦА»

Дело к осени. Дача. Вечер. Сыро.

За окном дождик — мелкий, противный.

Спать рано, а заняться нечем.

Неприкаянность. Скука.

Все как-то тускло, серо, сумрачно. Да и сумерки какие-то пустые, неодоушевленные. Стемнеть стемнело, а зачем?

— Нянь, расскажи что-нибудь, — прошу я Акулину Филипповну.

— Эха-хо! Уж все переговорила, что знала.

— Сказку какую-нибудь...

— Сказки я забывать стала. Памяти нетути ничуть.

— Ну, придумай...

— Помилуй Бог! Это тебе бы усё выдумлять да выдумлять, а мене не выдумляется боле.

Удостоверившись, что сказок я от Филипповны не услышу, прошу ти-хонько:

— Хоть лампу зажги. Темно ведь...

— Чего красин зря жечь, ланпу беспокоить? — отвечает няня по-хозяйски заботливо. — Усё рамно скоро спать укладываться. Вот кюхвирчику прихлебнем — да и спатюшки.

Нет, это меня не устраивает. Вздыхаю:

— Рассказывать не хочешь, керосин жалеешь...

И няня входит в мое положение — грустное положение человека, как и она, не умеющего ни читать, ни расписываться, но в отличие от нее тяготящегося вынужденным бездельем ненастного вечера.

— Давай я тебе у «пьяницу» играть вывчу, — предлагает Филипповна, доставая с полочки замусоленную, вытертую колоду карт без одной семерки.

Мы садимся к столу.

В экономном полумраке няня перемешивает карты. Пальцы у нее крестьянские, сильные, но непослушные, лишенные той тонкой сноровки, что надобна для проворного тасованья. Колода то встанет крест-накрест в широких няниных ладонях, то строптивая карточка неловко выпадет из общей кучи. Тасовальщица цепляет, цепляет ее с клеенки, а она не цепляется — прилипла.

— Да что ж ты, мать честная?! — стыдит няня ослушницу, протаскивая ее на край стола, чтобы легче ухватить.

Я оживляюсь.

— А как играть? Это трудная игра? А почему «пьяницей» называется? — спешу с вопросами, опережая события.

— Чичас усё чисто узнаешь. Не тропись, быдто не поспеешь.

Няня вынимает из колоды четыре карты: две красные, две черные.

— Ето буби и черви будутъ, — показывает на красные. — А ето, значить, хрести да вини — масти. Смекай.

В картинках я разбираюсь. Пожилых, бородатых королей не путаю с молодыми валетами. И считать до десяти тоже умею. Даже до ста. Жаль, что такие познания в арифметике, равно как и в мастях, для «пьяницы» совершенно излишни. Можно обойтись и без них.

Филипповна сдает карту за картой — то мне, то себе — всю колоду.

— Теперъча смотри. Я кладу... Десятка виной. Увидал?.. Ты клади...

Шастерка.

— Бубновая, — выказываю я свое избыточное понимание предмета.

— Что ж, что бубновая? — отзывается моя наставница. — Новая бубновая... Сё одно десятка старше. Хучь бубновая, хучь червовая, хучь какая. Я беру. — Няня с удовольствием утолщает свою стопочку. — Ну, ты ходи, не сумлевайся... Куды, куды две карты положил, рикошетник? По одной ходють. Не мухлюй! — Она строго сдвигает брови.

— Я не мухлюю. Они сами слиплись.

— Сами-то сами, а ты на что тут сидишь? Гляди унюмательно... Вот, говорить, и вышла кралечка с крылечка... — сопровождает няня выход дамы.

Я переворачиваю верхнюю карту из своей стопки, и меня пробирает колкий холодок удачи:

— Король!..

— Бери ты, раз король. Твой ход.

Хожу и уже не чую дождя за стеной, забываю о времени и скуке. Возник интерес.

Новичку везет. Нянины полколоды медленно, но верно начинают перекочевывать ко мне.

— Глянь-кошь, глянь-кошь, что деется?! У кого картинок девать некуды, а кто с одной швалью осталси!.. — сокрушается Филипповна на превратности судьбы, но сокрушается не безутешно, а как-то полушутя. — Ишь ты, шшибленок! Вывчила на свою голову!..

Между тем игра занимает и ее. Проигрывать ей так же не хочется, как и мне, а потому она возвращается к моей давней просьбе:

— Правда, быдто тёмно сделалось. Карту не видать. Дай лампу зажгу, — связывает Филипповна свои неудачи с убылью света и, как опытный игрок, берет тайм-аут. Коль скоро речь зашла об интересе, экономия на керосине кажется няне уже неуместной.

Человеку в возрасте бывает трудно присесть, а еще трудней привстать: поясницу *прихватывает*. Держась за нее, Филипповна *колтыхаёт* в угол комнаты, снимает с гвоздика керосиновую лампу, водружает на стол. Начинаются священнодействия с лампой.

Сперва надо протереть мягкой тряпочкой *скло*. Оно потемнело от набежавшей копоти — *вычудилось*.

Потом — подрезать лохмушки фитиля («Игде у нас ножни, а? Признавайся, куды дел?»).

Успеть зажечь фитиль толстой, короткой спичкой, пока та не прогорела и не стала кусать огнем за пальцы («Врах ее возьми!..»).

Спичка гаснет, поджигая кривую кромку фитиля, и стол озаряется живым, подвижным пламенем, а темнота отступает в углы и там оседает, сгущаясь.

Няня осторожно вставляет круглое *скло* в бороздку подставки, словно приручая диковато блещущий и вольно, как факел, дышащий огонь. Теперь он не бросается по сторонам, а длинно и покорно вытягивается вместе с фитилем в узком горлышке чисто-начисто протертого стекла. Впрочем, Филипповна урезонирует и фитиль — загоняет его поглубже в керосиновую баночку. Пламя ослабеваёт, зато потемки отовсюду делают дружный шаг к столу, но ближе няня их не подпускает («Хватить... Слава Богу!» — возносит она хвалу Господу за то, что помог ей благополучно зажечь светильник, не оставил Своим попечением).

Вот сидит она в платочке легком, освещенная зыблущимся пламенем. Косой, ласковый свет, маслянисто лоснясь, ложится на ее подбородок, широкую скулу; высвечивает дрожащий зрачок, всегда полный невыплаканной влагой слез; выхватывает краешек ситцевого в бледно-голубой горшок платка, завязанного под подбородком, как опущенные заячьи ушки. Няня постоянно ходит в платке, говорит, что с непокрытой головой — *несурьезно*. Вообще ее деревенские, старинные понятия о приличиях сильно разнятся с нашими, городскими. Она никогда шумно не смеется. Услышав по радио комиков-конферансье, только улыбнется:

— Ишь как укуривают, анчутики...

Она ни с кем не вздорит. В ответ на дурное слово перекрестится втихомолку — и все. Вождей не обсуждает. Никакого отношения к ним ни дома, ни в очередях не высказывает. Лишь однажды наедине со мной молвит раздумчиво:

— Чтой-то Восипа Воссаривоныча усё мене поминають; усё боле Уладимира Ильича...

В ее представление о грехе входит много такого, что вокруг меня вовсе не считается грешным. Не очень строго, но посты она соблюдает, а мы — нет. Ни вина, ни водки не пьет: грех. Не поддается унынию, всегда в работе, а я вот от дождя и безделья запечалился и, если бы не игра, наверно, совсем бы раскис. И это при том, что мне, вспоминая свою жизнь, нужно было бы только радоваться, а ей, вспоминая свою, — рыдать.

Однако именно няне зыбкий керосиновый свет придает бодрости, а следом приходит и везение.

Филипповна перетаскивает у меня карту за картой. Полная стопка в моих руках пустеет, как у пьющего залпом.

К счастью — уже почти на «донишке», — мне выпадает туз. Я предвкушаю успех. Хорошо бы отхватить короля или даму... Но у няни тоже туз. Ничуть не хуже.

Кладем еще по карте на тузов. Я — девятку, и она — девятку. Что за напасть?

Еще по карте!

Я — валета, а она... даму.

— Вот тебе и туз — нажал в картуз, — подытоживает Акулина Филипповна, забирая сразу шесть карт.

Но я не сдаюсь!

Я заклинаю всех ведомых и неведомых мне духов удачи; всех тех, что устраивают верный выбор одного из двух. Я призываю духов «орла и решки», «чета и нечета», «курочки или петушка», «правой руки или левой» и даже самого страшного духа «жизни или кошелька»! Наконец я взываю к тому «пьянице», в которого мы играем, ведь это он волен подложить мне карту старше или младше няниной. И смилостивившаяся фортуна скрепя сердце раскручивает колесо в мою сторону.

— Чтой-то у нас хвитель опять плохо гореть стал, как-то тусьменно... — возвращается няня к известной причине своих осечек и подбавляет света.

Язычок фитиля с пламенем на кончике вытягивается вверх. Наверно, Филипповна думает, что дела ее пойдут на лад, как только керосиновая лампа покажет мне язык. Однако я беру взятку за взяткой и лишь тогда, когда фитилек снова принимается подмигивать, теряю, спускаю с рук, отчаянно «пропиваю» ненароком нажитое.

От возбуждения картежница напротив сдвигает платок на затылок. Кровь стучит у нее в висках, приливает к щекам. Это называется *давление ажник под сто семьдесят выскочило*, то есть *ненормальное*.

— У каком вухе стрелять? — спрашивает няня, жмурясь от азарта, и я решаю про себя: если угадаю, то выиграю.

— В левом!

Оно же ближе к стенке, а *стреляет* или *звонит*, как уверяют люди сведущие, обычно в том, которое ближе к стенке. Это проверено на опыте.

— Нюжли ж?! — торжествует Филипповна, словно разгадав ход моих мыслей. — У правом, а не у левом! — И трясет пальцем в правом ухе, опровергая наблюдения знатоков.

Она богатеет, а я уже почти ни с чем, стало быть, «пьян», как она выражается, у *стельку*. Керосиновое *скло* накалилось — не притронуться. Я и сам горю изнутри то сладко, то гадко, не хуже этого *скла*.

— И хто ж, говорить, йиво знать, чиво он моргаить... — напевает няня, поощрительно глядя на фитиль.

Играть я научусь, но карт не полюблю. Зачем заставлять других огорчаться, унижать поражением? А если не огорчишь ты, то огорчат тебя. На то и противники, чтобы досаждают друг другу, делать противно. В этом изнанка соперничества, и потому оно нечисто.

Однако наша игра — особенная. Она отличается от умной, то есть хитрой, коварной, расчетливой, именно своей природной глупостью, тем, что никакую выгоду соблюсти в ней нельзя. Счастливая незадачливость и оправдание «пьяницы» в том, что по условиям ты лишен всякого маневра для козней, хитроумия, расчета. Ты полностью зависишь от расклада карт и никак на него не влияешь. Здесь работает не мысль, а жребий. Что будет, то и будет! — вот девиз «пьяницы».

Это — праздник фаталиста, восклицательный перст судьбы.

Постепенно догадываюсь, что в такой игре нет строгих «супротивников», а есть скорей «сотрапезнички», теплые «собутьельнички», ласково потчующие, настойчиво пичкающие друг дружку: тебе карточку, мне карточку, в твою стопочку, в мою стопочку — и это переливание из «стопки» в «стопку», вероятно, лишь бесконечно рас-тя-ги-ва-е-мо-е удовольствие, за которым встает что-то совсем иное, нежели тонкий расчет порядочного игрока или ковы сообразительного мазурика — нечто, доставляющее обшую простосердечную радость.

Наши тени колеблются на стене: большая — Филипповны и маленькая — моя. Темнота за окном, потемки у стола словно приглядываются к тому, как в круге света ведут дружелюбную тяжбу два «горьких пьяницы»: один лет пяти-шести, другая лет шестидесяти пяти. Успех сопутствует то старому, то малому. То моя, то нянина стопочка, обмелев, снова потихоньку пребывает. Карты ходят по кругу как заколдованные. Игра наша неостановима. Кажется, что она длится и поныне. Мы опьянены игрой — монотонной, нескончаемой, в которой совсем нечего делать уму — за него все решает бестолковое везенье, — но эти однообразные пассы, но это волхвованье теней на стене наполняют нас каким-то чудным и чудным, блаженно-восхитительным хмелем. Быть может, это хмель памяти, сладковатый запах подгулявшего керосинчика, бражный отблеск фитилька на стекле, вспышка льняной лохмушки: полыхнула, осветилась, брызнула, как умылась во тьме, и снова ровное, уютное свеченье, какое бывает разве что в старости да в младости, когда страсти улеглись или еще по-настоящему не разгорелись. А может быть, так являет себя затаенное чувство душевного родства, того взаимного обожания, что не высказывается, а молча передается, хотя бы вот с этой кочующей из рук в руки вытертой колодой карт.



ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

*

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ...

* *
*

...При кедре.

*Анна Ахматова,
Комарово, 1963 г.*

Жизнь проходит при кедре.
Разрушается дом,
для советских писателей строенный.
Обитатели литературным трудом
не живут,
хоть и мест удостоены.
Время пробует всех на излом.

Из подвала разит.
Штукатурки, считай, уже нет.
Все балкончики жаждут обрушиться.
Обнаженный кирпич
рваной раной зияет в просвет.
Двери, окна и кресла старушатся,
и столы подвывают:
«Обет!..»

Здесь врачи, и биологи, и молодежь,
старый клоун, торговцы и беженцы
из Абхазии;
здесь же — и детский праведж,
и собаки по-свойски манежатся.
Кедр молчит за окном.
И уснешь...

Но не к месту, не вовремя, нипочему
кой-кому посылается все-таки,
не по чину и профилю, не по уму —
и звоночки, и стуки, и отклики...
Кедр молчит и решает —
кому...

Комарово.
19 июля 2000.

Стихи, прочитанные Анне Андреевне

Когда подробности остынут
и перестанут обжигать,
я нагужу стихам на спины
дорогостоящую кладь;

путем изменчивым и странным,
как бы преодолевая лень,
они верблюжьим караваном
уйдут искать вчерашний день.

И, город глиняный враскачку
пройдя,
узнав азийский лик,
они преодолеют спячку
и губы вытянут в арык;

и колесо начнет вращаться,
из всех жестянок воду лить,
и выйдут старцы, домочадцы,
чтоб, споря, беженцев селить...

Ташкент.
1959 — 1961.

* *
*

...А Гога не выходит в ложу,
от жизни отделен вполне.
Ни я его не потревожу,
ни он не скажет слова мне.

Разделены не смертной датой,
а поздней жизненной чертой...
Я был одной семидесятой
его команды золотой.

И вот гляжу почти в испуге
на жизнь, прошедшую при нем,
и здесь, на поворотном круге,
без десяти минут чужом, —

он сам, его смешки, повадки...
И я, слепец, в его кольце.
И привкус славы, горько-сладкий,
и слезы зрителей в конце...

А. А. Ахматовой

Век ушел, совместив городами,
осчастливив знакомством в конце,
и считаю мгновения с Вами
или с Музой в Вашем лице,

или с музыкой...

Вас от избытка
мне послала судьба вместо лент
и чинов...

Не сказать «одесситка»,
но ведь там родилась...

И Ташкент

во вторую войну воспевала...

И, вернувшись на боль и парад,
переводами хлеб добывала,
освещая собой Ленинград.

Мне достались три города эти
и три года разрозненных встреч.
Если что-нибудь держит на свете,
то, наверное, голос и речь.

И хотя все, как прежде, случайно,
век ушел ради новых времен,
пушкинистики общая тайна
все же кроется между колонн.

И хотя все, как прежде, жестоко
и чревато поденным горбом,
утешаюсь виденьями Блока
и приветствую Пушкинский дом.

А со Знаменской снова, как страус,
в Вашу сторону шею тяну,
и гармонией кажется хаос,
опьяняющий нашу страну.

* *
*

Кто звал тебя вестником смерти
ступать на веселый порог,
мол, знайте, смеяться не смейте,
приблизил ровесника Бог?..

Тебе это что, поручали?
Просили тебя говорить,
чтоб сразу вокруг замолчали,
ушли на площадку курить?..

Ты первый узнал, так подумай,
зачем посылалось тебе
сокровище вести угрюмой
и что она весит в судьбе.

Кто должен узнать, тот узнает,
а что до того остальным?
Пусть новая боль проплывает,
как облако или как дым.

Пусть женщины в праздничных платьях
 хохочут, держась за бока.
 А он на небесных полатях
 пускай отлежится пока...

* *
 *

Никого не учу, ни чужих, ни родных,
 а, свернувшись в своей скорлупе,
 обращаюсь на «ты» в поученьях слепых
 лишь к себе, глухарю, лишь к себе...

Все, что сказано — ты, мол, вот так, а не так,
 повелительный тон старика
 относите ко мне одному: я, дурак,
 наставляю себя, дурака.

Не учи, мол, и бисера зря не мечи,
 все — впросак, а добра — ни на грош,
 и, как сказано Тютчевым, знай да молчи,
 полно, хватит, довольно, хорош!

Но во сне появляется ангел с ведром
 и смывает все правила дня,
 и, проснувшись, смеешься, дурак дураком,
 чтобы в полмя попасть из огня...

Пушкинисты

Ю. Н. Чумакову.

Пересесть, поменяться местами
 по теченью высоких речей...
 Господа пушкинисты, я — с вами,
 хоть не ваш и, пожалуй, ничей.

То, что нам задавала наука,
 мы усвоили каждый, как мог,
 и токуем о празднике звука,
 глядя в рюмочку и в потолок.

До конца мы сойдемся едва ли,
 именинник и автор суров:
 в чем ошибся Непомнящий Валя,
 то поправит Сергей Бочаров.

Как слепые подсолнухи, к солнцу
 обращаясь за горним теплом,
 вновь и вновь апеллируем к донцу,
 пересаживаясь за столом...

Никого мне на свете не жалко,
 кроме тех, кто не понял пока,
 что закончена, к счастью, «Русалка»,
 но, к несчастью, любовь коротка...

Жаль, что нет на пиру Фомичева
и Рассадин сейчас вдалеке,
но сияет хрустальное слово,
как звенящая рюмка в руке.

Трезвость — вот что науку сгубило,
и, спасая ее как-никак,
допиваем за наше светило
драгоценный армянский коньяк.

* *
*

Петербургская спячка тебя догнала
и заставила думать о том,
что безумное дело — корпеть у стола,
объявляя безумье трудом.

И с собой не в ладу,
и с товарищем — врозь,
и шутком, и врагом для жены,
но возникло гуденье,
сквозь сон прорвалось,
и ничто не имеет цены,

кроме звука и слова.

И что ни скажи —
обретает напев и размер,
словно летчик закладывает виражи,
чтобы вычертить:

«эс-эс-эс-эр».

Непрерывное пенье в оглохших ушах,
хор погибших друзей и подруг,
строевой,

беспримерный,

размеренный шаг...

Это память о звуке иль звук?

Это память о веке иль с веком в разлад,
это новые гулы вдали?

Или в лодке погибшей

матросы стучат,

чтобы их адмиралы спасли?

Комарово.
20 августа 2000.



ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



PANTA RHEI¹

Заметки о связи времен

Новый век начался под звуки «Союза нерушимого», что лишь подтверждает уже сложившуюся закономерность: вся наша пореволюционная история — эдакий норовистый Тянитолкай, который то рвется вперед, то резко подает назад, то кружит на месте, утратив всякое представление о направлении движения. И каждый новый рывок или поворот болезненным образом отзывается на том, что еще остается от национального сознания, увеличивая путаницу в головах и обостряя взаимное непонимание поколений.

Правду сказать, не мы первые демонстрируем в истории такую режущую глаз непоследовательность. Были и другие. Предлагаю две цитаты. «В наше время вступающие в жизнь поколения настолько не похожи на предшествующие, что кажется, будто они принадлежат другому веку или образуют другую нацию». Вторая цитата. «Мы разрываемся между двумя мирами, один из которых как будто продолжает другой и в то же время разительно отличается от него — это мир отцов и мир детей, каждый со своими обычаями, предрассудками, институтами настолько несхожими, как если бы их разделяли столетия». Оба высказывания принадлежат французам — соответственно поэту Леону Алеви (или Галеви, как пишется по-русски фамилия его знаменитого брата-композитора) и публицисту Феликсу Фёйе де Коншу². Оба относятся к 20-м годам XIX века. Годы Реставрации столкнули друг с другом сразу несколько поколений: выросших при старом (до 1789 года) режиме, тех, кто неистовцев девяносто третьего года продолжал считать «сверкающими звездами» (Гюго) и в той или иной мере сохранил ментальность революционных лет, заматерелых бонапартистов-державников и, наконец, молодое поколение (в литературе и искусстве представленное именами Гюго, Делакруа, Бальзака и других), очень непохожее на все предыдущие и особенно далекое от фривольных дедов-вольтерьянцев. Таковы были последствия революционной бури, начавшейся в 1789-м и достигшей апогея в 1793 — 1794 годах.

Звуки этой бури заморозили, как известно, и русских революционеров разных цветов и оттенков, до большевиков включительно. Лишь кучки маловлиятельных, как оказалось, в национальном масштабе либералов-постепеновцев разглядели на Западе пример, действительно заслуживающий подражания, — пример Англии, умеющей сочетать обновление с соблюдением преемственности; это путь, которым за Англией последовала англоязычная Америка и который обеспечил англосаксонской расе лидирующее положение в современном мире. Увы, заразительны как раз дурные примеры. Любовь к резким движениям толкнула русский революционный «авангард» на путь, аналогичный французскому пути, а лучше сказать, французской беспутнице. Об этом, собственно, было говорено уже несчетное число раз (с разных точек зрения и соответственно с проставлением различных оценок одним и тем же фактам), но почему-то все аналогии такого рода оканчиваются или на Термидоре, или на 18 брюмера.

¹ Все течет (*греч.*).

² Цит. по: Spitzer A. The French Generation of 1820. Princeton, 1987, p. 29, 30.

Разве не естественно допустить, что и последствия революции должны были оказаться хотя бы отдаленно схожими? И действительно, в линиях разрывов и повреждений общественного сознания что-то общее улавливается.

В этом плане, как, впрочем, и в других, последствия оказались у нас еще более тяжелыми. У французов отречение от «старого мира» было, пожалуй, не менее резким, но, к счастью для них, гораздо более кратковременным; и все «этапы большого пути» — не столь продолжительными, как у нас. В результате в одном и том же времени сошлись люди глубоко различных ментальностей, что, с одной стороны, было плохо, но с другой — хорошо, ибо можно было хотя бы соотнести одних с другими. Культурное поле выходило клочковатым, но оно по крайней мере вмещало всех и вся.

Возьмите, например, роль криминального элемента, которая после революции была очень значительной. В романах Бальзака, представляющих наиболее широкую панораму современного ему общества, криминал в лице беглого каторжника Вотрена заявляет о своих претензиях на власть; более того, берет на себя смелость формулировать философию этого общества (где даже иные уважаемые капиталисты представлены как «мазурики»): «Вы будете пожирать друг друга, подобно паукам в банке» (Вотрен — Растиньяку). Но против криминала объективно «играют» совсем другие «игроки». Тот же Растиньяк находит в себе силы разорвать тенета, сотканые вокруг него Вотреном. Почему-то в Растиньяке обычно видят циничного «завоевателя Парижа», тогда как на самом деле он чувствительный и порядочный или, точнее, преодолевающий соблазны непорядочности, ибо за ним — фамильное достоинство, привычки усадебной (хоть и бедной) жизни.

Высокие ценности «старой Франции» прекрасно чувствовал и Стендаль, даром что, в отличие от Бальзака, никакого почтения к частичке «де» не испытывал. Ему дорог аристократизм в любых его проявлениях, включая те, что были скорее правилом, чем исключением в традиционной буржуазной среде; напротив, буржуа нового типа, хищный приобретатель, мечтающий о титулах, ему «скучен» или «смешон» (кстати говоря, Стендаль острее, чем Бальзак, почувствовал, что парижская ярмарка тщеславия представляет собою скорее отталкивающую картину и «завоевывать» этот город не стоит труда). Но и Стендалю было ясно, что рассадником аристократизма в точном смысле слова является угасающий феодальный класс. Его Жюльен Сорель, воплощение плебейской гордости, не скрывает от себя, что шармирован титулованными *vis-à-vis*; в то же время непосредственный контакт с ними оттеняет преимущества новых людей — свежесть чувствований, энергию, широту помыслов и т. д.

Вот так — все варилось в одном котле. У нас, увы, «старый мир» был отрезан от «живой жизни» на целых семьдесят лет, и в год, когда была объявлена свобода, от него остались одни только тени; и нет среди нас Одиссея, который мог бы напоить их кровью, чтобы они заговорили так, как могут говорить живые люди.

И еще раз бросим взгляд на французских учителей, ныне ушедших от своей «великой» революции так далеко, что соответствующая точка на российском пути не просматривается даже при наличии самого сильного воображения. Время, конечно, многое у них сгладило; к тому же пребывание в лоне объединенной Европы в чем-то уравнило французов с их соседями. И несмотря на все это, отголоски той бури пронизывают идейно-политическую жизнь Франции во всех направлениях. Видный публицист Жан-Мишель Гайяр пишет в год двухсотлетия революции: «Расщепления (*clivages*), унаследованные от эпохи Революции и Империи, навязывают себя каждому новому поколению. Все о них помнят, все на них так или иначе ссылаются и соответственно самоопределяются, революционеры и контрреволюционеры, „белые” и „красные”, монархисты-конституционалисты и республиканцы, либералы и социалисты. Всегда кто-то хочет за что-то взять реванш и, захватив власть, восставать тот или иной порядок»³.

³ Gaillard J.-M. Le jeu de l'oe. Paris, 1989, p. 61.

Неужели что-то похожее на этот раздрай (хотя бы и в элегантных демократических рамках) ждет нас где-то в XXII веке? Неужели какие-то значительные сегменты российского общества и дальше будут самоопределяться на основе заветов В. И. Ленина и творческих разработок И. В. Сталина?

Нет, мы не пойдем таким путем. Французская революция хорошо начиналась и плохо кончилась — отсюда сложности в ее оценке, с которыми французы всегда, наверное, будут сталкиваться. Русская — плохо началась и плохо кончилась, и это существенно облегчает задачу найти для нее соответствующее место в цепи времен.

Трогательно слышать в наши дни призывы «не перечеркивать прошлое» от тех, кто считает себя наследниками строя, в семнадцатом и последующие годы не просто перечеркнувшего прошлое, но всесторонне его оплевавшего и глумившегося над ним так, как немисливо было глумиться над советским прошлым в начале 90-х.

Любопытно, что 90-е годы во многом повторяют 20-е. Я имею в виду не политику и экономику, но то, что глубже их, — мирочувствие. Надо учитывать, что на протяжении 20-х годов власть коммунистов над умами, идет ли речь об интеллигенции или о массе народа, была весьма ограниченной. Пожалуй, в них видели (сознательно или подсознательно) агентов неких стихийных сил, преуспевших в разрушении «старого мира» и по-своему в этом правых. Допускаю, что мысль Гюго о том, что революция — «это гроза. А гроза знает, что делает», из всеми читающими людьми прочитанного «Девяносто третьего года» (та же мысль варьируется и в «Отверженных») способствовала такому пониманию вещей. Наверное, эта некорректная с марксистской точки зрения мысль позднее помогла некоторым коммунистам смириться с положением агнцев, обреченных на заклание.

Движение стихийных сил заморозило многих творческих работников, тех, кого официально звали «попутчиками» и кто реально «делал погоду» в культурной среде. На коммунистов они смотрели вчуже, тишком называли их «крокодилами на шарнирах» (Илья Эренбург, 1921) и ждали, что нечистая сила все равно унесет их туда, откуда они однажды явились. Равнодушные к заклинаниям «Коммунистического манифеста», они поклонились богине «одичавшей свободы»; а это как раз то божество, которое стало пользоваться успехом в 90-х.

Конечно, небосвод в 90-х значительно более темен (это явление мировое, а не чисто российское); и кое-какие уроки истории усвоены, хотя бы и подсознательно. Но есть много общего во взгляде на человека. Взгляд этот по преимуществу холодный и злой. Как ни странно может показаться, его разделяли и строители «нового мира». Сейчас 20-е заслонены позднейшими десятилетиями, для которых типичен как раз избыток сентиментальности, но если мы обратимся, так сказать, к строительной площадке, где только начинали возводить здание «нового мира», то тут, как мы увидим, избегали всяких проявлений чувствительности. Все друг для друга «стервы», даже независимо от политического едино- или разномыслия. Разве не сказал сам Троцкий, что человек — «бесхвостая обезьяна»? Сперва надо выстроит здание, а в нем уже заводятся совсем другие личности, которые будут ходить в венках из роз. Пословица о том, что не место красит человека, а человек место, отброшена за полной устарелостью.

Естественно, что у «попутчиков» подобные видения будущего не вызывали большого доверия и они сосредоточивались на настоящем, которое населяли «стервы». Раз кругом «стервы», значит, и самому можно не слишком чиниться. «Мы с детства не отличали / Добра от веселого зла» (Сергей Марков, конец 20-х) — под этими строками могло бы подписаться целое поколение. Многие стало можно из того, на чем прежде стоял знак запрета, что дает повод для веселья, но веселье сильно горчит, ибо исчез ответ на вопрос «Зачем все?». «Души у нас, как горькие ветры азиатские, вздымающие пыль по степным дорогам» (Борис Лавренев, 1923) — это тоже портрет поколения, поверившего в революцию как «правду соленого ветра», и не более того.

Корень пола, как известно, чуткий ко всем переменам в духе, ответил на подобную неприкаянность «любовью без черемухи», или попросту «кобелированием». Так было в жизни — и так в литературе: любовь вытеснялась «проблемой пола».

Все грубое, злое, жестокое, циничное и физиологичное, что так «неожиданно» захлестнуло нас в 90-е, массой бывших «советских людей» было воспринято, как свалившееся на голову или завезенное из каких-то заведомо порченных стран. Роль завоза не следует преуменьшать, но равным образом не следует и преувеличивать. В основных своих чертах экзистенциальная ситуация 90-х просто возвращает нас в 20-е, то есть в советское же время, только полузабытое. Строители не умели заковать «шевелиющийся хаос», и здание, выстроенное, как им казалось, на несокрушимом фундаменте, рухнуло; закономерность такого конца не захотели признать «вечно вчерашние», вся энергия которых в минувшее десятилетие ушла в ноги — сопротивляться течению, вместо того чтобы переместиться в голову. В то же время нельзя не учитывать, что при строительстве было использовано немало добротного материала, который надо уметь оценить по достоинству.

СССР как физическая масса времени-места обладает еще заметной силой притяжения, подобно всякой инертной массе. Естественно, что с течением времени сила притяжения будет убывать. Наивно, однако, думать, что можно просто «убежать» от этой темной, со светлыми прожилками, массы, бросив ее позади без всестороннего осмысления.

Остро необходима деконструкция советского прошлого — не та, с которой носится злой гений, пытающийся разъять все живое, но та, что диктуется не только конечной несостоятельностью, но и явной несуразностью конструкции. Все, что мы привыкли называть советским, суть плоды беззаконных и порою противоестественных соитий и просто случайных наложений, породивших редкостную мешанину в умах «советских людей» (как, например, должен был чувствовать себя Карл Маркс, которому сел на голову Иван Грозный? Но с другой стороны, каково было тени православного тирана опираться на этого «лапсердачника»?).

Смотрел по телевизору куски из сериала «Два капитана» по роману В. Каверина. Там в одном месте Саня Григорьев в первый раз целует Катю; в ответ на осторожный поцелуй в щеку она поворачивает голову не без некоторого недоумения и произносит, почти без лукавства, одно укоризненное слово: «Свинство». Я подумал: Боже, какая счастливая девочка, если у нее такое представление о свинстве! И ведь это тридцатые годы — время, зловещее в других отношениях, убогое в третьих и нелепое в четвертых.

Мы попадаем в жизненный пласт (который литература одновременно и отражает, и создает), как будто «не знающий» о существовании других пластов. Отчасти, впрочем, так оно и есть: культурные процессы на протяжении 20 — 30-х годов в известной мере автономны. Мне уже приходилось писать, что понятие «тоталитаризм», если считать, что это система управления обществом «сверху», сильно огрубляет советские реальности, значительно более сложные, запутанные; в частности и в особенности это касается отношений между властью, с одной стороны, литературой и искусством — с другой⁴. Конечно, в меру своих сил власть «управляла» культурой, но и культура в свою очередь «управляла» властью.

По крайней мере такие отношения сложились между ними примерно с середины 30-х годов. У старых большевиков с высоким образовательным (или хотя бы самообразовательным) уровнем, которых к тому времени прогнали в шею, еще были некоторые умозрительные представления о том, как надо со-

⁴ Близкой точки зрения придерживается хорошо знающий материал Е. Добренко: «Соц-реализм, — пишет он, — это не „управляемое искусство“... но *самоуправляемое*, не контроль, но *самоконтроль*...» (Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб., 1999, стр. 12).

здавать «пролетарскую культуру». Но какие могли быть умозрения у поколения «выдвиженцев» из числа главным образом раскрестьянненных крестьян, занявших командные высоты власти и едва-едва научившихся читать и писать? О таких говорят: отесан, да не обструган; и отесаны-то они были кое-как, что называется, вчерне⁵. «Дикий человек Кавказа» (М. Пришвин) выглядел среди них гигантом мысли потому, что успел прочесть кое-какие книги и умел складно рассуждать и, рассуждая, скрывать — от посторонних, от своих и, может быть, даже от самого себя — то, о чем нельзя было говорить вслух (например, о том, что пути-дороги советского государства далеко разошлись с путями, преуказанными Марксом), и таким образом помог им утвердиться на своем пути. И тот жесткий контроль, немислимый для 20-х годов, которому он подчинил литературу и искусство, можно объяснить лишь чувством зависимости от литературы и искусства, которое ощутило общество с новыми хозяевами во главе. По сути дела, одна ветвь власти, располагавшая неограниченными средствами физического принуждения, стремилась ограничить другую ветвь власти, у которой тоже были «длинные руки» — те, что формируют души, характеры.

На протяжении 30-х годов идет постоянный обмен сигналами с двух сторон — власти и культуры. Обе стороны обнаруживают некоторое одиночество: пора подавать назад, искать точки опоры в дореволюционных реалиях. Прошлое по-прежнему отвергается в его законченных формах, но в то же время из него воровски перетаскивается все, без чего трудно обойтись на «новых землях» и что может быть состыковано, хотя бы и с большой натяжкой, с требованиями идеологии. К тому времени идеология уже была в высокой степени выхолощена, а то, что от нее осталось, приспособлено к нуждам новых хозяев; но именно потому, что они овладели коньком идеологии, новые хозяева проявили в этих вопросах «твердость», которой могли бы позавидовать старые большевики. Такая «твердость» производила впечатление в поле культуры, где идеологию принялись всячески охорашивать, используя многое из того, что можно было найти в кладовых национальной и мировой культуры.

Несмотря на все сближения двух миров — власти и культуры, контраст между ними (речь идет не о людях власти и людях культуры, но именно о мирах, ибо люди могли принадлежать тому и другому миру одновременно) оставался разительным; это были как два течения, холодное и теплое, которые постоянно соприкасались, но удивительным образом не смешивались. Теплые воды гуманистической культуры (пусть и с поправками от идеологии) производили ласкающее и бодрящее действие, и совсем же рядом, рукой подать (ногой ступить), струились ледяные воды античной преисподней. Унаследованное от революционных лет презрение к людшкам держалось в мире власти особенно долго и упорно. Самое «яркое» его выражение — это, конечно, ГУЛАГ, и почти столь же «яркое» — Великая война, когда руководство швырялось «человеческим материалом» так, как это могли делать только классические деспоты древности — какой-нибудь Кир или Камбиз.

Смешение вод началось лишь с «оттепелью», и тогда получилось непонятно что (и в этом «непонятно что» все более уверенно чувствовала себя блатная стихия, дотеле струившаяся понизу). Но тогда же начался и разлад между людьми власти и людьми культуры; его внесло публичное низвержение кумира в середине 50-х. С точки зрения интересов правящих кругов, это был опрометчивый поступок. Конечно, они хотели обезопасить себя от новых спазмов опричнины, но это можно было сделать иначе, не открывая — или, точнее, не приоткрывая — для неподготовленных взоров панораму египетских казней, осуществлявшихся на протяжении предшествующего периода (потом спохватились, попытались что-то прикрыть, что-то затушевать, но было уже поздно).

⁵ Марк Алданов, наблюдая их в кинематографе, поражался тому, как мало они похожи на «интернационалистов» и «строителей будущего».

Для «идеалистов» в поле культуры это был удар из тех, оправиться от которых невозможно. С четвертьвековым запозданием они могли бы повторить упрек Павла Васильева:

Ну что ж ты наделал, куда ты залез, Расскажи мне, семинарист неразумный! —

(из эпиграммы «Ныне, о муза, сегодня воспой Джугашвили, сукина сына», около 1930). Конечно, неразумный семинарист не по своей воле залез туда, куда он залез; он всего лишь угадал исподние помыслы новой знати, для которой к концу жизни, выполнив свою задачу, стал в тягость.

Имя Сталина было «коэффициентом» нового строя жизни — как имя Наполеона для героев Стендаля. Только имя Наполеона, уже при жизни сверкавшее романтическим блеском, поднялось в цене после его кончины на далеком атлантическом острове, а имя Сталина post mortem оказалось накрепко сочтаным с системой организованного в невиданных масштабах зверства, и если остались еще у него почитатели, то свое почитание им пришлось, так сказать, продолжить своими силами; ибо кладовые национальной и мировой культуры отныне были для них закрыты.

«Роман» культуры с властью был сильно подпорчен. Хотя и не прервался окончательно.

Лояльность творческой интеллигенции, как и населения в целом, в позднесоветские десятилетия, поскольку она была искренней, отчасти можно объяснить силою привычки, что, согласно пословице, приходит как странница, остается как гостья и потом сама становится хозяйкой. Но существовало и более глубокое чувство, которое ее, лояльность, поддерживало, — я бы назвал его чувством последнего берега. Оно теплилось на протяжении 20-х годов и стало главенствующим в 30-х. «Нежданно-негаданно» оно овладело душами даже вчерашних циников и скептиков. И оно было глубже, нежели вера в конкретику социально-политических программ.

«Советского человека» растили в уверенности, что под ним — твердая земля, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не дрогнет. Что там «Тысячелетний рейх»? Нацисты были отравлены декадансом и поэтому заранее положили себе конец, по историческим меркам не такой уж страшно далекий (а кое-кому из них, включая самого Гитлера, даже нравилось его смаковать, представляя, как этот самый рейх будет выглядеть в руинах). Нет, наше «царство» — навсегда. Дотошные студиозы вычитывали в книжках, что все человечество когда-нибудь погибнет (Энгельс подтверждал), но это случится очень-очень нескоро, так что и думать об этом не стоит; может ли далекое облачко на горизонте испортить зрелище ослепительно голубого неба?

Советская мифология представляла дело таким образом, что человечество всегда устремляло взоры к этому последнему берегу, что лучшие его представители гребли и гребут в нашу сторону, к нашим путеводным огням. И ведь нельзя сказать, что это была сплошная неправда: для великого множества людей в остальном мире СССР был оплотом высшей справедливости, последним воплощением хилиастических надежд, истоки которых прослеживаются в далеком прошлом.

Чувство последнего берега было настолько основательным, что жизненная эмпирика до поры до времени воспринималась как что-то второстепенное (перелицованное христианство); отсюда высокая готовность воспринимать окружающее «по писаному», а не так, как подсказывает простая пятерница чувств. Когда же все-таки земля ушла из-под ног и захлестнуло нас темными водами «реки времен», панический холодок проник в души бывших «советских людей». Вроде бы знали, что «все течет», но это земно-печальное знание (древнего философа, которому принадлежит знаменитое выражение, между прочим, называли «плачущим») оставалось скорее книжным; теперь появилась возможность прочувствовать его.

«Берег тает, убегая» (как поется в одной старой краснофлотской песне), и нет надежды вступить на него еще раз.

Что дальше: перельется ли «энергия заблуждения» в другие виды энергии, как это происходит в физическом мире, или останется только — пыль, копоть, гарь?

«А где же те липы, под которыми прошло мое детство? — нет тех лип, да и не было никогда». Так размышляет сам с собой Егор Молотов, герой повести «Мещанское счастье» Николая Помяловского. Под «теми липами» растут помещики, а помещик — «не наш» человек, пусть он и зовется Тургеневым.

Везде и всюду трудный, даже болезненный процесс восприятия «третьим сословием» аристократической культуры в России был болезненным вдвойне по причине известного отрыва верхнего слоя от остальной массы народа. К тому же у нас не успела по-настоящему сложиться буржуазная, или мещанская, культура, которая могла бы смикшировать разрыв между верхним и нижним ярусами. Какие-то зачатки мещанской культуры есть у шестидесятников, у того же Помяловского, у самого Чернышевского, но основной их пафос — радикальной переделки мира, такой, при которой не будут лишними (цитирую Чернышевского) «ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Шестидесятническое сердце «просило бури», а отнюдь не прогрессивного улучшения жизни⁶. И что буря разметет «не наших», полагалось только естественным и справедливым.

После семнадцатого года «тех лип» не стало ни для кого, и в этом, как ни странно, был не только несомненный минус, но и определенный плюс. С ликвидацией дворянства как класса культура, и в первую очередь литература, создававшаяся в лоне дворянских гнезд, как бы повисла в воздухе, стала «ничья», и оттого сделалось возможным «отделить дары от дарящих» — принимая из белых рук «дворянских» писателей их произведения, не связывая их жестким образом с враждебной силой, каковою продолжало считаться дворянство. Новые хозяева в доме, несмотря на всю их «революционную» и плебейскую кичливость, не могли не ощущать собственную ущербность в сравнении с прежними хозяевами, но, к счастью, их ревность не простиралась так далеко, чтобы уничтожить все оставшееся по наследству убранство. Так что «старая» литература, коей позволено было «присутствовать» в настоящем, ощутимо вмешивалась в течение жизни, связывая хотя бы некоторые нити в местах разрыва социальной и культурной ткани.

Тесно было классикам в духовно сузившемся пространстве советской жизни, но без них в нем дышалось бы труднее.

В меру возможностей за классикой следовала живая литература. Г. Федотов писал, что в 30-е годы в подсоветской литературе происходит возвращение в «реакционную глушь 60-х» (цитирую по памяти). Это правда или, точнее, та часть правды, которая должна была броситься в глаза стороннему наблюдателю. Действительно, «поднятая целина» читательской массы психологически была близка именно к шестидесятникам с их характерной угловатостью, занудливой рассудительностью, нечувствием почвенного (близкого равно «дворянской» и «крестьянской» литературе⁷) и большим или меньшим равнодушием к трансцендентному (но одновременно также и культом жертвенного героизма, и уважением к труду, жаждою знания и стремлением к «мещанскому счастью»). Другая часть правды состояла, однако, в том, что в самонастраиваемом литературном процессе классическое наследие, то есть «дворянская», за малыми исключениями, литература, выполняло роль некоего гироскопа, в

⁶ Уже упомянутый Егор Молотов в другой повести Помяловского, «Молотов», рассуждает о своем «мещанском счастье» в следующих словах: «Человеку же с большими запросами от жизни думается: о Господи, не накажи меня подобным счастьем, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!» Пройдет не так много времени, и явятся люди с еще большими запросами от жизни — горьковские босяки.

⁷ На протяжении 30-х «крестьянская» литература уничтожалась так же решительно, как и авангардизм всех толков и оттенков.

эстетическом и этическом смысле, уберегавшего от чрезмерных наклонов в сторону идеологически-плоского и жизненно-грубого⁸; тем самым она обеспечивала такую степень исторической преемственности, какая вообще была возможна в сложившихся обстоятельствах.

Вот для примера только два произведения литературы 30-х годов, из числа самых известных. В повести «Белеет парус одинокий» Валентин Катаев делает акцент на сохранении прошлого, а не на истреблении его; автор выполняет заказ, полученный в поле власти, но выполняет его по-своему. В связке Петя — Гаврик ведущим, естественно, сделан Гаврик; «босаявка», русский Гаврош служит делу революции, озарившей мир сей негасимым светом (восторженный Гюго, раскрывавший свое большое сердце перед каждой революцией, сотрясавшей славный город Париж, покончил с маленьким героем баррикад одной пулей; вопрос о том, во что превратился бы Гаврош, вырасти он в одного из хозяев жизни, для него, к счастью, был неактуален). Но ярче, убедительнее выписан мир Пети с его домашним уютом и дачным привольем, с милыми рождественскими праздниками, с благородными чувствованиями и поступками старших, их неистребимым народолюбием. Обаяние того, что было, да сплыло, прорывается сквозь ритуальные поношения «проклятого прошлого» (в позднейших произведениях автор имел возможность высказаться на сей счет гораздо свободнее). И заключительные строки повести: «Под ним струя светлей лазури, / Над ним луч солнца золотой...» — могут и должны быть отнесены не только к изображению моря на полотне художника и самому изображаемому морю, но и ко всему тому, что было в «старом мире» чистым на просвет и музыкальным на слух и что отнюдь не было достоянием только избранных. Стоило ли «просить бури»? Для читателя 30-х годов такой вопрос, может быть, не возникал, ибо неизбежность и благотворность бури считались тогда сами собой разумеющимися, но объективно он был заложен в тексте повести.

В романе «Два капитана» (телевизор подтолкнул меня его перечитать) обе основные темы относительно слабо связаны с политикой. Первая — семейная; точнее, это тема переплетающихся судеб двух семей, одна из которых столичная и интеллигентная, а другая провинциальная и попроще. Вторая тема — странствий и поисков, свершений и подвигов. Обе темы тянутся издалека и рубеж семнадцатого года переступают без сколько-нибудь глубоких преобразований. В истории семьи определенная преемственность естественна, даже с учетом места-времени. Но здесь и вторая тема — «сквозная», о чем говорит само название романа — «Два капитана»: советский капитан продолжает дело, начатое капитаном досоветским. Вымысел более или менее соответствует действительности: ветер, поющий «про сильных и больших людей», начинался в дореволюционные годы; и, не будь революции, эйфория вокруг летчиков, моряков, полярников и т. д. была бы, наверное, почти такой же, какой она была в 30-е годы. Что здесь характерно для советского времени — это упор на «здоровье»; об основных (положительных, разумеется) персонажах подчеркнуто говорится, что они «здоровые», физически и, главное, душевно. Такое внимание к «здоровью» диктуется требованием советского масскульта: в человеке не должно быть пятнышек (во всяком случае, таких пятнышек, которые невозможно вывести), а те, что с пятнышками, «не наши».

Примечательна, однако, и такая деталь: автор чуждается шестидесятников. В романе карикатурно изображены две старухи с комической фамилией Бубенчиковы, представленные как «атеистки и нигилистки» 60-х годов XIX века.

А девиз романа «Бороться и искать, найти и не сдаваться», право, совсем не плох и вполне мог бы шагнуть в новый век, как шагнул он в советское время из

⁸ Примерно о том же — М. Чудакова: «Литература сама себя защищала — сопротивлялись ее глубинные слои, ее ядро» («Новый мир», 1990, № 4, стр. 256).

дореволюционного. Надо лишь скорректировать его смыслы, подправить внутреннее звучание. И это, как многое другое, дело прежде всего литературы.

Я не уверен в том, что литературоцентризм есть специфически русское явление. Мне кажется, что Запад в этом отношении существенно от нас не отличается: не раз именно литература становилась причиной глубоких перемен в европейской ментальности. Случалось, что переворот в умах и сердцах совершала одна-единственная «эпохальная» книга, такая, как «Страдания юного Вертера».

Вот в советское время, действительно, литература оказалась поставлена в исключительное положение, ибо задача связывать времена выпала главным образом на ее долю. Но разве сейчас эта функция ею утрачена? Кто первый сказал, что литературоцентризм — дело прошлого? Конечно, роль литературы уменьшилась, но далеко не в той степени, в какой уменьшились тиражи книг и журналов. Конечно, литература отныне не будет заполнять те ниши, которые должны заполнять различные частные конкретные знания, но на столбовой вопрос «Как жить?» ответить может только литература (остающаяся, не забудем, и в основе видеопродукции). А вопрос этот звучит нисколько не менее настоятельно, чем шестьдесят или восемьдесят лет назад.

Другое дело, что литература сама подсудна духовному суду, как и все остальное на белом свете.

«В детях и воинах богатство Рима». Что-то от этого речения сохраняло силу и в Третьем Риме, и даже его уродливый в целом извод, именуемый СССР, в меру своего разумения пытался традицию продолжить. Дети и военные — пожалуй, наиболее «коммуникативные» на randevу с иными временами (предшествующими и, смею думать, последующими) фигуры в советской литературе начиная с 30-х годов. Национальный инстинкт подсказывал, что в таких сферах, как воспитание детей и «военная культура», преемственность особенно важна.

Образовательно-воспитательная сфера в течение 20-х и начала 30-х годов переживала смуту, в чем-то напоминающую нынешнюю. Тогда, как сейчас, обращает на себя внимание избыток дурной свободы, равно как и заносчивость подрастающего поколения, свысока смотревшего на преподавательский корпус, на старших вообще (только тогда заносчивость шла от панибратства с розово-туманным «новым миром», сейчас — от стихийно возникающих словоров стайной жизни). Пионерка, отчитывающая и поучающая закоснелого в академических дебрях профессора, могла бы служить «товарным знаком» раннесоветской школы. Дисциплина была отнесена к числу характерных уродств дореволюционной школы, отживших свое, как и ять с фитою; в популярных книжках увлекательно рассказывалось, как старым учителям, этим «придирам в пенсне», утирали нос недоросли с «демократическими» фамилиями типа Гвоздило или Портянко («Кондуит и Швамбрия» Льва Кассиля).

В последующем, хотя бы частичном, возвращении к старым порядкам, вошедшем в историю как «огимназивание» советской школы, было что-то неловкое и порою даже чуть-чуть комичное (полонез на школьных вечерах). Тем не менее общее направление образовательно-воспитательной сферы национальный инстинкт во многом подсказал правильно. Были восстановлены в правах дидактические принципы, которые вряд ли когда-нибудь устареют (и которые имеют ряд несомненных преимуществ в сравнении с принципами «свободного», «развивающего» обучения, в последние годы пришедшими с Запада). Если бы еще не мировоззренческая ущербность, которую школа не могла не разделить с государством!

А военным в России, помимо их прямых обязанностей (роднящих их независимо от того, какому режиму они служат), знать, еще и суждено связывать растерзанные времена, наводить понтоны там, где разрушены мосты. В Граж-

данскую войну офицеры, по аналогии с французскими событиями названные «белыми», попытались восстановить российскую государственность и не дать оборваться национальным традициям. Кроме них, никто другой не мог бы этого сделать. Увы, не удалось это сделать и им.

Недаром Солженицын героем «Красного Колеса» вывел офицера, доверив ему многие свои соображения и чувства.

Но Красная Армия, одержав победу над белыми, претерпевает ряд принципиальных трансформаций; из революционной вольницы, не признающей своего родства со «старой армией»⁹, она шаг за шагом становится самой, вероятно, традиционной структурой в рамках советского государства. Веха на этом пути — физическое уничтожение едва ли не всех командиров и комиссаров эпохи Гражданской войны (Колчак с Деникиным о таком могли только мечтать). Литература (и кинематограф вслед за нею) здесь, как и в других сферах, «обжигает горшки»: она скрадывает былой революционаризм и одновременно сглаживает мужиковатость советских командиров. В предвоенной пьесе становящегося главным пиитом армии Константина Симонова «Парень из нашего города» герои-командиры еще донашивают идейные революционные обноски своих предшественников, одержимых идеей мировой революции, но психологически они во многом близки дореволюционным военным; автор заходит так далеко, что обнаруживает их сходство (или скорее создает его) с гусарами «доброго старого времени».

Не случайно в эти годы РОВС (военная часть эмиграции), оставив надежду когда-либо одолеть Красную Армию, делает ставку на то, чтобы в определенных обстоятельствах перетянуть ее на свою сторону. И нельзя сказать, чтобы это был такой уж фантастический план. Мы помним, что после сокрушительных поражений сорок первого года немалая часть попавших в плен к немцам, от генералов до рядовых красноармейцев, выразила готовность пойти на союз с Гитлером... А если бы на месте Гитлера был кто-то другой, не обаянный ненавистью к славянству и вообще более трезвомыслящий политик? Вполне можно допустить, что в этом случае сталинский режим был бы повержен силами не только и, может быть, даже не столько германской армии, сколько силами «новой русской армии», выделившейся из состава Красной Армии.

В войну миметическое сближение со «старой армией» зашло так далеко, как это вообще могла допустить окоченевшая, но не утратившая некоторой цепкости идеология: вернулось почитание «великих предков», вернулись прежние звания, представления о субординации и, самое главное, погоны (прежде — символ ненавистного офицерства). Верховный Главнокомандующий даже рассматривал эполеты с бахромой из золотой канители, думая вернуть их в строй, но, не совсем лишенный вкуса, в конце концов отказался от этой идеи.

В годы «перестройки» впервые свободно заговорившие СМИ одним из главных предметов своей критики сделали гипертрофированный милитаризм (кстати, до сих пор не вполне сломленный). Но ведь не военные повинны в нем; или, точнее, военные всегда и всюду хотят, чтобы солдат, оружия и т. д. было как можно больше, но решает, сколько чему быть, политическое руководство. И то, что военные были верными слугами советского государства, трудно поставить им в вину: другого у нас не было. Само же по себе служение государству для военного — обязанность и доблесть.

Антонов есть огонь,
Но нет того закону,
Чтобы огонь принадлежал Антону.

Нападки на человека в погонах как такового (исключая, конечно, те случаи, когда речь идет о разложившихся элементах) по меньшей мере легкомысленны.

⁹ Вот характерное для 20-х годов представление о «старой армии»: «Умерший... мир генералов, погон, орденов, каменной субординации, тяжелая мертвенная машина развалившейся империи» (Борис Лавренев, 1927). Все «умершее» — живо, только до поры до времени у бабушки в рукаве спрятано.

ленны. Не говоря уже о том, что в своем качестве «защитников родины» военные еще ой как нужны, даже в общественно-политической жизни они, точнее, некоторые из них оказались не лишними. Не все ведь они солдафоны и скалозубы. Этих, конечно, тоже хватает, но есть и другие военные, способные принести пользу не только в казармах и на поле боя¹⁰. О чем довольно точно сказала Юлия Гинзбург в отчетливо либеральном «Знамени»: «Способность к служению чему-то, что выше тебя, — это основной инстинкт нации, а в определенные моменты истории — залог ее выживания. Может быть, этим прежде всего и ценны для сегодняшней России люди в погонах — естественные носители и хранители этого инстинкта». Дело за малым: определить «что-то, что выше тебя», содержательно. Но тут уже одного инстинкта, даже основного, оказывается недостаточно.

И все же «военная косточка» пытается пока придержать Желтое колесо, и это уже кое-что.

Сомнения в том, что страна идет «правильным путем», подспудно возникли в поле культуры еще до приоткрытий послесъездовских 50-х. Уже в первые послевоенные годы можно было наблюдать некоторое смещение теней. В ликование по поводу одержанной победы вплетались первые нотки разочарования. В 30-е СССР дымился претензиями на мировое водительство, а после войны дым стал мало-помалу рассеиваться, и взору открывалась глухая провинция, лишь по собственному недоумию продолжающая считать себя «строительной площадкой» будущего. Одним из первых это почувствовал Борис Слуцкий. Его стихи:

Рожденный пасть
на скалы океана,
Он занесен континентальной пылью
И хмуро спит в своей глуши степной, —

позволительно отнести не только на счет погибшего на войне Михаила Кульчицкого. В континентальной пыли задохнулась мировая мечта, еще живая в 30-х. (В. Кожин, упирая на национальность поэта, усмотрел в этих строках пренебрежение к Отечеству, но здесь выражено другое чувство — сожаления, что Отечество не возвысилось до уровня коммунистической мечты и не простерлось до каких-то далеких океанских берегов.) Во второй половине 50-х, когда наладились некоторые каналы связи с Западом, стало окончательно ясно, где «они» и где «мы». И наша перехваленная «социалистическая культура» предстала как эпигонская, и не более чем. Последующие, всегда половинчатые, усилия, направленные к тому, чтобы активизировать дореволюционное наследие или развернуться в сторону Запада, лишь показали, как трудно дается то и другое. За годы советской власти Россия стала мировой провинцией — таков факт, который остается только проглотить.

А чтобы не было уж чересчур горько, хочу обратить внимание на то, что можно назвать «достоинствами недостатков» (я перевернул французское выражение «Les défauts des qualités»). Когда столицы начинают «вонять» (Петр I о Париже времен Регентства), бывает полезно отступить в провинциальную глушь, дабы поразмыслить в некотором отдалении, что в них, столицах, действительно передового, а что лишь притворилось таковым. Г. Федотов еще в канун последней мировой войны писал, что цивилизация ныне держится «силами спасительной косности»; с еще большим основанием мог бы он по-

¹⁰ Я убедился в этом, познакомившись с мемуарами некоторых наших военачальников, появившимися за последние годы. В советское время произведения данного жанра писались по раз навсегда установленному трафарету, и казалось, что их авторы просто не способны изъясняться «своими словами» (чуть ли не единственное исключение — мемуары генерала Горбатова, опубликованные в «Новом мире» еще при А. Твардовском). К счастью, это не так: у нас были и есть умные и образованные офицеры, способные мыслить самостоятельно.

вторить эти слова сегодня. Конечно, косность, которую он имел в виду, не совсем та, что отличает на переломе столетий наши края; зачастую даже совсем не та. У нас «парки перепутали» концы с началами (бестолковая Антропос резала не там, где надо, пряжу, которую пряла усердная Клото), и косным, среди прочего, оказалось и то, что еще недавно почиталось ослепительно новым. Оттого просторы родины чудесной, до сих пор осененные, особенно в захолустье, бесчисленными памятниками Ленину, в целом являют собою печальную картину. И все же... Во многих углах здесь еще сохраняется «добродетель закоулков» (как высокомерно выразился Ницше), еще не угасло представление о моральной дисциплине и даже не изжит вкус к умной словесности, а чужие нездоровые сны, которые можно видеть по телевизору, внушают только отвращение (особая к тому же статья — повсюду рассыпанные бывшие «закрытые города», где интеллигентности, похоже, больше, чем в столицах). Та к а я провинциальность — «ресурс», который еще может поработать на будущее.

Традиционное русское добродушие (хоть и приправленное пореволюционным амикошонством), отзывчивость, готовность прийти на помощь равно ближнему или дальнему — черты «советского человека», которые представляются особенно симпатичными оттого, что сегодня их стало не хватать. Что его отличает от дореволюционного русского человека и сильно портит, это некие хитинообразные затвердения души, выказывающие себя при соприкосновении с «чужими», «не нашими», теми, что засели в заграницах, в закатных странах, и теми, что еще ходят по нашей земле в качестве «пережитков прошлого». Аналогично тому, что в биологии называется морфологической корреляцией (форма рогов, например, должна соответствовать строению пищеварительного тракта и т. д.); хитинообразные затвердения связаны с сужением души и уменьшением мозга, точнее, той его части, что подключена к «коллективному разуму». С советской точки зрения, сохранить тепло общесоюзного «кагала» можно только так — противоборствуя враждебным силам, которые «товарищи, все знающие о прибавочной стоимости», втискивают в одно зловещее слово «капитализм». Для советских капитализм — это «пауки в банке», прямая антитеза нашему образу жизни. В том, что такое представление до сих пор глубоко сидит в народном сознании, сомневаться, кажется, не приходится.

На самом деле «пауки в банке» — лишь один из аспектов капитализма. Социализм в той или иной степени (в зависимости от его концентрации) подавляет естественное, которому дает выход капитализм, но естественное не сводится к «паукам в банке». Цветущая сложность мира тоже идет от естества (подавляя живые краски бытия, социализм неизбежно выбирает серую). Это во-первых, а во-вторых, не следует преуменьшать действенность в условиях капитализма, а лучше сказать (чтобы не выпячивать экономику), свободного общества, религиозно-культурных сил, изначально отправляющихся от сверхъестественного. Возьмите «крепость капитализма», Америку: даже применительно к экономической жизни образ «пауков в банке» оказывается, мягко говоря, слишком односторонним, а применительно к жизни общественной он попросту нелеп. Во всяком случае, еще в 40 — 50-е годы по части взаимодоверия и взаимовыручки американцы могли, наверное, поспорить с тогдашними русскими («советскими») «простыми людьми». С тех пор, да, атмосфера в Америке заметно изменилась, но экономика, то есть капитализм в собственном смысле слова, тут ни при чем.

Зато мы теперь знаем, как выглядит естественное, когда оно, однажды изгнанное в дверь, возвращается через окно — в маске и со «стволом». Утверждения, что таков вообще облик раннего капитализма, основаны на плохом знании истории. Такого капитализма не было нигде и никогда. Даже на американском Диком Западе, знаменитом своим «револьверным лаем», существовал своеобразный дуэльный кодекс: соперники (враги, конкуренты) стрелялись при первой случайной встрече (задача состояла в том, чтобы успеть выстрелить первым), а отнюдь не «заказывали» друг друга, как это принято у нас;

разумеется, преступный элемент был там очень заметным, но, как и всюду, он составлял исключение из правил. Единственный мировой аналог нынешним российским порядкам — мафия, но она всюду, где ей удалось прижиться, представляет собою локальное (некоторые области Италии) или локализованное в экономических структурах, именно в подпольной их части (США и ряд других стран), явление и только на просторах бывшего СССР превратилась во всепроникающую величину.

В иные времена русские люди судили-рядили «по человечеству», теперь судят — «по понятиям». Так в конечном счете преломился в нас советский опыт¹¹.

Закатные страны по-своему способствуют такому ходу вещей, ибо, с одной стороны, они передают нам различные полезные ноу-хау, но с другой — заражают своими настроениями, а каковы настроения, можно судить по их фильмам. Увы, их дева-Свобода заметно подурнела и приобрела парадоксальное сходство с классной дамой и уличной девкой одновременно; и классная дама следит главным образом за тем, чтобы никто никому не мешал «самовыражаться». Оттого многое, что было у них естественного, вырождается в дикое (экономика, повторю, тут ни при чем, это результат упростибельного смешения, происходящего на тротуарах больших городов); только у них пока дикость проявляет себя главным образом в культуре, а у нас — «в натуре». Как и куда мы будем выходить из этого состояния, вместе с Западом или порознь — интересный вопрос, на который никакая пифия не могла бы сегодня ответить.

Горчайший вопрос, который задают себе люди уходящих поколений: «Зря жили?»

Это как посмотреть. Не зря, например, в том смысле, что можем ответить «простой душе» из одноименного рассказа Алексея Толстого, в далеком девятнадцатом году спрашивавшей себя: «Что новые годы принесут? Хватит ли плеч вынести?» Что принесли новые годы, тогда невозможно было даже вообразить, и тем не менее — «хватило плеч» вынести все. И не просто вынести, но и отказать кое-что стоящее по наследству. Что-то ведь строили, далеко не всегда плохо. Воспитывали детей, стараясь как лучше, иные души засеявая добрыми семенами, отнюдь не советских урожаев. В годину небывалой опасности сумели защитить страну, хоть и ценою умопомрачительных жертв; более того, повергли долу величайшее зло столетия (коммунизм тоже есть зло, но, оценивая его объективно, нельзя не принять в расчет, что эта дорога в ад изначально была выложена добрыми намерениями, чего никак нельзя сказать о фашизме), предотвратив дальнейшее его расползание по свету и в своей собственной стране (если бы не было лобового столкновения с Германией, вполне вероятно, фашизоидные тенденции во внутренней политике СССР выразились бы куда резче).

Если же говорить о выборе, сделанном страной (или, точнее, навязанном ей) в 1917 году и определившем последующий, до 90-х годов, путь, то ради будущего вступающих в жизнь поколений необходимо как можно скорее недвусмысленно признать, что этот выбор был роковой ошибкой. И что «скверное подражание добру» (воспользуюсь выражением Набокова) в конечном счете сыграло на руку злу.

¹¹ Реформаторы почему-то не умеют ответить на обвинения, доносящиеся из лагеря, заявляющего себя как патриотический, а именно, что они, реформаторы, ограбили народ, довели его до нищеты и т. д. Народ-то ведь действительно остался пока ни с чем в подавляющей своей части. Вот только кто в этом виноват? По своей традиционной наивности люди относят приключившиеся с ними беды на счет тех, кто все эти годы стоял у власти и проводил реформы. Я не хочу целиком обелять реформаторов, узких специалистов, не чувствующих народной души, какую она сложилась исторически. Но грабительскими сделали реформы не они, а их (реформ) непосредственные «агенты» на местах — новые русские капиталисты, люди, прошедшие весь цикл *советского* воспитания, от пионерских дружин до партийных школ (вариант: от пионерских дружин до криминальных общаков). В итоге мы получили совсем не типичный капитализм, вышедший из чрева социалистического общества и социалистической культуры, весь пропитанный гнилостными испарениями от разложившихся мечтаний.

Простое сравнение пути, пройденного страной начиная с 1917 года, с тем, который мог бы быть пройден, является убийственным для первого. Революционеры, пока они не победили, имели «право мечтать», и хотя импульсы, давшие их воображению толчок, были заведомо сомнительного происхождения, невозможно было публично «доказать», что их мечты неосуществимы. И, напротив, легко было обмануться относительно собственных намерений и возможностей. Как, например, в следующих строках поэта Владимира Кириллова (1919 или около того):

Мускулы рук наших жаждут гигантской работы,
Творческой мукой горит коллективная грудь.
Медом чудесным наполним мы доверху соты,
Нашей планете найдем мы иной, ослепительный путь.

К месту поговорка: от мертвых пчел меду захотели. Но сегодня «право мечтать» перешло к противной стороне, только, увы, оно относится уже к прошедшему времени (когда выбор мирового пути действительно во многом зависел от России). Зато как бы та далеко ни зашла в своих мечтаниях, какие бы яркие картины несбывшегося ни пригрезились ей, никто никогда не сумеет уже «доказать», что это только грезится¹².

Конечно, трезвое рассмотрение виртуальных вариантов исторического развития России после 1917 года обязывает допустить возможность, а скорее всего и неизбежность, разного рода диспропорций, частичных срывов, временных откатов и т. д. Но и вы, поклонники Ленина и Сталина или кого-то одного из них (точнее, те немногие из вас, кто способен думать, вроде ныне покойного В. Кожина), проявите минимальную честность: если есть у вас хоть малая толика воображения, можете вы представить, чтобы в случае эволюционного развития мы имели бы сегодня что-то, хотя бы отдаленно похожее на то всесторонне бедственное положение, в котором ныне находится Россия и которое является закономерным итогом всего пути, пройденного после 1917 года?

Переменим, однако, угол зрения. Ошибки такого масштаба имеют свою ценность, даже в практическо-историческом смысле. Если бы не был испробован до конца путь коммунистической революции, в мире до сих пор были бы живы иллюзии на сей счет. И может быть, еще не одно столетие множество людей в разных странах толкалось бы в эту роковую дверь. А если возвысить взор горé: на уровне недоступной нам икономии истории пройденный нами путь может иметь еще и какие-то высшие смыслы, о которых мы сегодня ничего не знаем и даже не догадываемся.

«Чего-то высшего мы коснулись своей бедой и своей Победой» (Олег Чухонцев).

Еще раз переменим угол зрения — для верующих в Последний Суд. Пред этой Инстанцией каждый ответит персонально за себя и свои дела: и те, кто сеял ветер и «приводил в движение горы», и те, кто страшный сход горных пород и камнепад переносил страдательно, и те, кто от зоны нашего катаклизма оставался в стороне и пользовался торными путями в своих более или менее благополучных странах. И только там и тогда откроется, кто на самом деле жил «зря», а кто «не зря».

¹² Эта ретроспективная мечта может быть столь роскошна, что кое-какие блики от своего избытка отбросит в будущее. Попытка выйти на *другой путь*, начатая Белым движением и продолженная в эмиграции духовно, своею во многом сохраняющейся энергетикой может и должна питать грядущих преобразователей России. Есть, скажем так, сапоги, оставшиеся от Ледового похода (с которого, напомним, начиналось Белое движение), — нужен кто-то, кто решится их примерить.

ЕВГЕНИЙ РАШКОВСКИЙ



ИСТОРИК МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН

Нет для меня зрелища более поразительного, нежели связь между всемирно-историческими событиями и переживаниями индивидуальной души... От всякой отдельной души идут нити к маховому колесу истории, и только они своим совокупным натяжением двигают его. Здесь нет непризванных и нет праздных: каждый из нас, хочет он или не хочет, неизбежно участвует в коллективном творчестве.

М. О. Гершензон, «Кризис современной культуры».

Издание четырехтомника избранных произведений Михаила Осиповича Гершензона (пятый том, содержащий его переписку, — еще в стадии подготовки) предпринято в рамках проекта «Российские пропилеи»¹. Это собрание — неоценимая помощь тем, кто интересуется проблемами отечественной и мировой истории и культуры. Нельзя не отметить тот огромный труд, который вложила в подготовку этих книг плеяда издателей, исследователей, комментаторов, археографов и библиографов. Разумеется, в любом из человеческих начинаний могут быть свои недостатки, огрехи, неполнота. Возможны самые разнообразные претензии к составлению, методам передачи текста, к научному аппарату издания. Но сейчас говорить об этом попросту неинтересно. Ибо нам воистину подарено с любовью сделанное издание трудов этого не оцененного по достоинству российского ученого и мыслителя, в котором, наряду с известными работами, читатель обнаружит целый ряд материалов, затерянных на страницах полузабытых изданий. Этот четырехтомник (или, точнее, пятитомник) и станет для нас поводом особого разговора о наследии Гершензона.

Гершензон многолик. Он «свой» среди писателей, литературоведов, философов, публицистов, эссеистов. Но вот его служение историческому знанию, его особый и уникальный вклад в это знание еще не поняты. Назвав эту статью «Историк Михаил Гершензон», я вовсе не претендую на превознесение заслуг Гершензона в области исторической мысли и исторических исследований надо всеми иными его заслугами и дарованиями. Речь об ином — о понимании особой грани его наследия. Грани, имеющей существенную связь не только с изучением наших российских судеб, но и судеб всемирно-исторических.

Вновь — о ремесле историка

У самой исторической науки — равно как и у всякой развитой сферы гуманитарного знания — как бы два лика. Один лик обращен к изучаемой исто-

Рашковский Евгений Борисович родился в Москве в 1940 году. Доктор исторических наук, автор статей и книг по философии, историографии и науковедению и поэтического сборника «Странное знание» (М., 1999), а также перевода «Книги Причей Соломоновых» (М., 1999).

¹ Гершензон М. О. Избранное. В 4-х томах. М. — Иерусалим, «Университетская книга» / Gesharim, 2000. Т. 1. Мудрость Пушкина. Т. 2. Молодая Россия. Т. 3. Образы прошлого. Т. 4. Тройственный образ совершенства.

риком непреложной человеческой действительности², другой — к нашему внутреннему миру, к внутренней ойкономии человеческой души. И именно обращение к этому второму лику истории — истории не только как последовательности объективных явлений, но и как процесса познания и, стало быть, самопознания — помогает нам находить, по словам Гершензона, «путь к нам самим»³. Это существенное двуединство истории, существенная ее обращенность к двум подчас конфликтным, но всегда взаимодействующим и взаимодополняющим мирам — непреложному миру хронологически последовательных явлений и внутреннему миру «нас самих», — и делает историю, как это доказывал в свое время Бенедетто Кроче, одной из центральных наук о судьбах человеческого духа. Но если так широки рамки исторического знания, если так силен в нем субъективный момент — то как избежать растворения предмета исторических исследований в рацеях об «истории вообще», а вместе с ними — и собственной дисквалификации?

Арнольд Тойнби, один из крупнейших историков прошлого столетия, часто настаивал в своих трудах, что историк, чтобы сохранить высокий профессиональный и творческий уровень своих исследований, должен уметь попеременно пользоваться и «микроскопом», и «телескопом» — то есть уметь и вести тонкие фактологические изыскания, и владеть способностью теоретической трактовки больших блоков всемирно-исторических событий. Мне думается, что для удовлетворения этому требованию нужен особый внутренний настрой, который предполагает умение осознавать и присутствие истории в самом тебе, и твое собственное присутствие в истории. Настрой, который делает тебя не остранным зрителем и не самочинным распорядителем исторических событий, но скорее их зрячим и мыслящим сопричастником⁴.

Этот редкий настрой, помноженный на недюжинную эрудицию и мастерство, оказался определяющим в трудной творческой судьбе историка Михаила Осиповича Гершензона.

Судьба

Исторически сложилось так, что судьба любого сколько-нибудь масштабного русского писателя, философа, ученого-гуманитария была судьбой как бы пророка поневоле. Сейчас нет возможности рассуждать о том, какими особенностями российской социальности и истории была вызвана такая ситуация. Многие писатели и мыслители России легко принимали правила этой искусительной «игры в пророки». Но были и такие, как Чехов, Анненский или Пастернак, кто уходил от этих правил.

Гершензоновская судьба в этом смысле неоднозначна. Разумеется, общий профетический настрой тогдашней русской культуры, общий тогдашний взгляд на пишущего человека как на «учителя жизни» не могли не затронуть его своим влиянием. Но все же надобно воздать справедливость Гершензону: сколь бы отчетливо и категорично ни высказывался он по самым значительным вопросам мысли и веры, жизни и истории — он всегда подавал свое мнение именно как мнение *личное*, как итог своего внутреннего, гершензоновского опыта. Опыта маргинала тогдашней России — еврея, разночинца, интеллигента, — оказавшегося, если вспомнить выражение Розанова, в «стремнинах» российской культуры.

² Фернан Бродель определял историю как «хронологическую последовательность форм и опытов» (Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, «Полиграмма», 1993, стр. 83); я же отважился определить основную задачу исторического знания как «экспозицию и осмысление человеческих проблем на оси времен» (Рашковский Е. Б. На оси времен. Очерки по философии истории. М., «Прогресс-Традиция», 1999, стр. 5).

³ «Гольфстрем» (т. 1, стр. 302).

⁴ Подробнее об этой проблеме *свидетельствования истории* см.: Рашковский Е. Б. Указ. соч., стр. 195 — 207.

Гершензон — выходец из традиционной и бедной еврейской среды Юго-Запада Российской империи, из того поколения зажатой в «черте оседлости» части еврейского народа, для которого тогдашние эмансипационные веяния, веяния европейской культуры — и прежде всего ее дворянско-разночинно-интеллигентской российской ветви — были воистину «солнцем над мглою»⁵.

Учился в Шарлоттенбургском политехникуме (Берлин) и на историко-филологическом факультете Московского университета, где успешно занимался генезисом социально-исторических воззрений Аристотеля. Однако нормальная академическая карьера оказалась для Гершензона как для «лица иудейского вероисповедания» заказанной. Оставалась лишь возможность трудной жизни литературного пролетария, строчащего текст за текстом для газет, журналов и сборников. На этом, собственно, и основывался последующий быт Гершензона и его семьи. Гершензон — создатель интереснейшего корпуса критико-библиографических, научно-популярных и публицистических работ, переводов.

Слов нет, тогдашнее дискриминационное законодательство лишило Россию блестящего академического исследователя в области античности или средневековья. Но Гершензона ждала иная судьба. Дружба с Елизаветой Николаевной Орловой, внучкой декабриста М. Ф. Орлова и внучатой племянницей декабриста С. И. Кривцова, открыла ему доступ к русским дворянским архивам XVIII — XIX столетий; брак с Марией Борисовной Гольденвейзер, сестрой замечательного пианиста и друга Л. Н. Толстого А. Б. Гольденвейзера, облегчил Гершензону доступ в круг московской культурной элиты⁶; он сам стал одним из средоточий московской интеллигенции.

Редкостная трудоспособность, академическая выучка, отработанные в тогдашней науке методы анализа документов, критики и издания исторических источников, методы источниковедческих и исторических сопоставлений — все это было обращено Гершензоном на дело изучения ближайшей в ту эпоху социальной, культурной и духовной истории России: от времен Екатерины Великой до времен Толстого и Скрябина.

Для нас, переступивших порог XXI века и переживших безжалостный, но изживший и завершивший себя цикл кратковременной «ленинско-сталинской» цивилизации в России, и гершензоновское время, и «гершензоновская Москва»⁷, и внутренние противоречия самого Гершензона отодвинулись в глубину прошлого, в относительно «дальнюю» историю.

А между тем фигура Гершензона была и остается загадочной, парадоксальной. Еврейский интеллигент, влюбленный в «славянскую душу» России; тонкий ценитель высочайших традиций мировой культуры и — одновременно — своеобразный религиозный народник; один из создателей «Вех», усмотревший в агрессивности полуинтеллигентской полукультуры один из источников дальнейшей варваризации мира, а несколько лет спустя — во многом под влиянием катаклизмов Первой мировой войны — один из тех интеллектуальных объективистов, кто принял Октябрьский переворот; измученный, но лояльный гражданин советской России — и один из тех немногих, кто понял, сколь насуточно библейское наследие для человеческого сознания в этом новом, осиротевшем и непрерывно переоформляющемся мире⁸... Противоречия эти — как бы ни были они вопиющи — не случайны. Чтобы понять их, нужно присмотреться к самим основам исторического видения Михаила Гершензона.

⁵ «Я сам родился во тьме, — могу ли забыть моих братьев, навеки рабов?» («Солнце над мглою», т. 4, стр. 268).

⁶ Подробно о роли этих двух замечательных женщин — графини Е. Н. Орловой и М. Б. Гольденвейзер-Гершензон — в жизни и творческой судьбе ученого см.: Гершензон-Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути. (Воспоминания дочери Михаила Гершензона). М., «Захаров», 2000.

⁷ «Гершензоновская Москва» — очерк советского литературоведа Д. Л. Тальникова, издательский пародирующий книгу Гершензона «Грибоедовская Москва» (см.: Тальников Д. Л. Гул времени. Литература и современность. М., «Федерация», 1929, стр. 7 — 47).

⁸ См.: Шестов Л. О Вечной Книге. Памяти М. О. Гершензона. — В его кн.: «Умозрение и Откровение». Paris, «ИМСА-Press», 1964, стр. 11 — 21.

Первая герменевтика

К понятию герменевтики — точнее, исторической герменевтики, — которое я хотел бы привлечь к делу понимания наследия Гершензона, обращаюсь не случайно. То, что понимается ныне под исторической герменевтикой, есть особый подход к истории, который сосредоточен не столько на динамике событий и явлений (или, по упоминавшемуся выше выражению Броделя, «форм и опытов»), сколько на долговременной динамике *человеческих смыслов*, которые пронизывают жизнь поколений и обращены к нам самим⁹. Такой подход к истории не дает нам права на досужее резонерство, на «взгляды и нечто». Напротив, требуя строгой формулировки теоретических проблем изучения истории, он настаивает на интенсивной работе с источниками, на постоянных документальных и книжных разысканиях. Однако исторический источник в таком раскладе — нечто большее, нежели предмет объективного, остраненного анализа: исследователь ищет в изучаемых им материалах собственную живую связь (то есть связь твою личную и твоих современников) с делами, мыслями и чувствами и внутренним духовным опытом ушедших или уходящих поколений.

Архивные разыскания, аналитическая и публикаторская работа с дотоле неизвестным рукописным наследием Корсаковых, Орловых, Кривцовых, Чаадаева¹⁰, о. Владимира Печерина, Герцена, Огарева, братьев Киреевских, Самарина и других позволили Гершензону увидеть в истории российской дворянской интеллигенции не только динамику мыслей и поступков, но и то, что составляло важнейший человеческий контекст этой динамики: скрещения родства, соседства, дружб и разрывов, любовей, семей, служебных продвижений и падений, возвышений, изгнаний или опал. Воистину, если вспомнить стихи Пастернака, «судьбы скрещенья».

Человеческий контекст истории для Гершензона — нечто большее, нежели социальность, психология или «антропология» (в современном, сугубо научном понимании этого слова). В этом плане характерна одна из важнейших исторических догадок Гершензона, высказанных прежде, чем ученые получили доступ к следственным материалам по истории декабристского движения. Но тем не менее эта догадка закрепилась в последующей историографии.

Исследователей всегда мучил вопрос о том, как соотносились личная честность, удаль и отвага декабристов со странностями их поведения под следствием. Только ли растерянность и малодушие или же лукавая изощренность следователей заставляли многих из них каяться, оговаривать товарищей? И как соотносится это малодушие с их мужеством у эшафота или в тяготах сибирского изгнания? На взгляд Гершензона, причины этого следует искать не столько в частных исторических обстоятельствах или «психологии» декабризма, сколько в сложнейших смысловых коллизиях, пережитых декабристами после Декабря. Впервые в истории российской — именно после 14 декабря — решительный, оформленный и осознанный антагонизм между обществом и государством прошел через судьбы и совесть, через *жизненные смыслы* реальных людей¹¹...

Или еще один пример. Процесс освобождения крестьян с землей, угодыями и за невысокую плату (1839 — 1846) был для богача, поэта и мыслителя Николая Огарева экономически немотивированным процессом саморазорения, но одновременно — духовно необходимым, хотя и противоречивым актом внутреннего освобождения. И здесь — та же самая тема: прохождение на-

⁹ Принцип исследования динамики человеческих смыслов во времени как неотъемлемый принцип изучения и понимания социальности, культуры и истории я пытался обосновать в статье «Образ науки, образ мира, образ Третьего мира» («Науковедение», М., 2001, № 1).

¹⁰ Гершензон не только выявил и расшифровал значительную часть корпуса философских работ Чаадаева, в оригинале написанных по-французски, но и перевел их на русский язык. Так что именно благодаря Гершензону Чаадаев как *мыслитель* заговорил по-русски.

¹¹ «Образы прошлого» (т. 3, стр. 221 — 225).

зревших, хотя, в сущности, неразрешимых духовно-исторических коллизий сквозь сердца и сознания. И не случайно, исследуя этот подвиг Огарева, Гершензон вынужден входить в подробности семейных, экономических и делопроизводственных, бюрократических сторон этого человеческого акта¹².

Иными словами, микроистория — история личностей и малых групп, будучи сама отчасти сложной и многозначно задана самими разнообразными предшествующими процессами, — через культуру и социальные связи пресуществляет себя в макроисторию: в историю больших социальных массивов, народов, регионов, историю всечеловеческую. Так за пластами дворянско-интеллигентских микроисторий выявляются целые пласты духовной истории России и мира. И чьей бы судьбы ни касался Гершензон — людей, условно говоря, радикальных или консервативных, западников или почвенников, — он везде сталкивается с трагедией непонимания и одиночества для тех из них, кто видел смысл социальности и истории не только и даже не столько в массовидных процессах, сколько во внутренней жизни человеческой личности.

И все это сполна относится и к судьбе самого Гершензона.

Траговка русскими поэтами и мыслителями проблем творчества и свободы, попытки осознания и описания ими особенностей национальных судеб России в плане всемирной и европейской истории — вот что сознательно стремится выявить Гершензон в идейной истории русской дворянской интеллигенции XIX века. С его точки зрения, идейная активность этой интеллигенции явила собой «настоящую революцию»: впервые в истории русской культуры на первый план выдвинулись подсказанные живой жизнью и осознанные теоретические интересы; само по себе облечение в концептуальные философские формы личного правдоискания, личных раздумий «о Боге, о смысле истории, о назначении человека и пр.» подвело черту «патриархальному мировоззрению»¹³. С точки зрения Гершензона, эта проблемная ситуация и оказалась подлинным сознательным самораскрытием России, предпосылкой ее многогранного, но духовно и исторически необходимого вхождения в эпоху современности и рационализма. Именно глубина столкновения традиционного мировосприятия с качественно новыми для русской культуры формами теоретизирования и самопознания, стремление выразить это столкновение путем идейного и художественного творчества и явилась одним из определяющих стимулов выхода россиян на передовые рубежи общечеловеческой культуры. Круг идей, обоснованный и в исследованиях по истории быта, по истории общественной мысли и по истории философии, и в историко-литературных изысканиях, оказался во многих отношениях основой пушкиноведческих интересов Гершензона. Ибо, с точки зрения ученого, весь склад мышления Пушкина связан с неповторимым стремлением целостно воссоединить в себе историческое и вечное, национальное и общечеловеческое, рациональное и интуитивно-спонтанное. В этом, собственно, и заключается, согласно Гершензону, сумевшая высказать себя в несказанной красоте словесных ритмов и образов пушкинская «мудрость». Но об этом — чуть позже...

Одна из важнейших тем первой гершензоновской герменевтики — тема многозначной генетической связи современной ему русской интеллигенции с культурой послепетровской аристократии, с традицией барского культурного быта. Тема эта — может быть, не без излишней категоричности — отчасти затрагивалась им и на страницах «Вех»: «Наша интеллигенция справедливо ведет свою родословную от петровской реформы... Нынешний русский интеллигент — прямой потомок и наследник крепостника-вольтерьянца»¹⁴.

¹² См.: «История Молодой России» (т. 2, стр. 122 и сл.).

¹³ Гершензон М. О. Ответ П. Б. Струве (по поводу «Исторических записок»). — «Русская мысль», 1910, № 2, 2-я пагинация, стр. 176.

¹⁴ Гершензон М. О. Творческое самосознание. — В сб.: «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909, стр. 78, 79.

Книга «Грибоедовская Москва», написанная в основном по материалам семейной переписки московских аристократов Корсаковых, завершается следующим знаменательным пассажем:

«На злачной почве крепостного труда пышно-махровым цветом разрослась эта грешная жизнь, эта пустая жизнь, которую я изображал здесь... Я сильно опасаюсь... что ведь и наша жизнь содержит в себе еще слишком мало творческого труда и, стало быть, также, в свою очередь, неизбежно пуста и призрачна с точки зрения высшего сознания. Я не хочу сказать, что наш век равно так же плох, как тот век: нет, он неизмеримо лучше, ближе к правде, существеннее; но тот же яд сидит в нашей крови, и отравы так же сказывается у нас, как у тех людей, пустотою и легкомыслием, — только в других формах: там — балы и пикники, весь „добросовестный ребяческий разврат“ их быта, у нас — дурная сложность и бесплодная утонченность настроений и идей»¹⁵.

Старая, возделанная на «тучной почве крепостного права»¹⁶, корневая дворянская культура — целостная, оригинальная, во многих отношениях творческая, задавала самым живым и талантливым из своих сынов — таким, как, например, братья Киреевские, — некую внутреннюю «последовательность развития». Но «гибкости» этому развитию не хватало. «Гибкость», приспособленная к духовному движению «скачками», — все это пришло в мир русской интеллигенции уже после того, как изжила себя эпоха «тучной почвы» и надвинулась новая эпоха — «катастрофическая»¹⁷.

Выше шла речь о том, сколь важное значение придавал ученый той духовной и мыслительной «революции», которую пережила в самой себе русская дворянская интеллигенция, свершая вольный или невольный прыжок от «патриархального» (или, говоря языком современной социогуманитарной мысли, традиционалистского) мирозерцания к мирозерцанию качественно иному — пусть не всегда последовательному, но в основе своей современному: мирозерцанию, опирающемуся на процессы самоанализирующей мысли. Боль, почти что надрыв этой «революции» Гершензон наблюдает в самом потоке старомосковской дворянской жизни: в бальных залах и гостиных, где-то на грани 1810-х — 1820-х годов, со странным «завистливым презрением» смотрит на тех, кто умеет быть душою светского общества, Грибоедов; и это же чувство переживает в Москве только что геройски отвоевавший под Севастополем «неуклюжий и неловкий» Толстой¹⁸. Действительно, пройдут годы, и опыт этой почти что никем не замеченной «революции», революции самосознания, — вырвется на «стремнины» российской и мировой литературы: метафизичность и глубина жизненного содержания толстовских героев — Безухова и Левина — окажется частью внутреннего становления многих тысяч, если не миллионов людей. И не только в России.

В биографии М. Ф. Орлова Гершензон, опираясь на архивный материал, повествует об общении юного Пушкина с одним из ранних предтеч этой неслышной «революции» — с «демоном» холодного и логичного скептицизма — Александром Раевским.

...Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд...

Согласно Гершензону, Пушкин — уязвим перед «демоном». Но сама эта уязвимость оказывается некой творческой инъекцией для художнического и духовного роста поэта — того роста, который в плане будущих всечеловеческих судеб как бы рассчитан на десятилетия и века вперед: «Та стихия, кото-

¹⁵ «Грибоедовская Москва» (т. 1, стр. 372 — 373).

¹⁶ «П. В. Киреевский» (т. 3, стр. 78).

¹⁷ «Грибоедовская Москва» (т. 1, стр. 372).

¹⁸ Там же.

рой Раевский был олицетворением, жила в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как бы мог он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней — опасное искушение»¹⁹.

Коллизия двух видов знания — многовекового, традиционного «духовного» и остро-современного «логически-отвлеченного» — есть коллизия в существе своем творческая, но трагичная. Она трагична не только сама по себе, не только в мышлении и экзистенции, но и в социологическом своем преломлении. Ибо духовность нередко отождествляется с агонизирующими формами общественной организации, а современные формы сознания — с поверхностной суетой новейших форм жизни. Трагедию такого частичного отождествления духовного и социологического планов человеческого существования Гершензон приоткрывает на примерах из рукописного наследия одного из любимых своих мыслителей — Ивана Киреевского²⁰. Да и сам Гершензон, всегда остро ощущавший столкновение высоких культурно-исторических традиций и господствующих в повседневной жизни элементов плоского рационализма, глубоко переживал эту трагедию. То нелегкое, в глубине человеческого духа свершающееся примирение Современности и Традиции, Разумности и Святыни — примирение, которое, вопреки всем внушениям внешней жизни и внешней среды, свершилось в гениальном творческом опыте Пушкина или Вл. Соловьева или же в философских медитациях Чаадаева об освещенности человеческих судеб динамикой космоса и истории²¹, такое примирение оказалось для самого Гершензона почти что неосуществленной мечтой.

На его глазах умирала, погружаясь в кровавую агонию, старая традиционалистская Россия, на его глазах страна вместе со всем европейским континентом погружалась в состояние трагического обескоренения и разлома. На склоне жизни ученый изведal почти что беспредельное отчаяние, запечатленное в «Переписке из двух углов»...

Однако в круг последующих идей Гершензона вошло многое из того, что было наработано им за годы освоения и осмысления первоисточников по истории русской дворянской интеллигенции XIX века. Не случайно же, как это разгадал Гершензон, Пушкину, Чаадаеву, раннему Толстому мир открылся в некой грозной и динамической красоте, спасающей человеческий дух от полного отчаяния и помогающей обрести тот «Hoffnungsprinzip», принцип надежды, о котором ныне так много спорят философы и богословы...

Итак, в основе гершензоновской герменевтики культуры и общественной мысли Петербургской России лежала идея о коллизии традиционализма и рационализма как о важнейшем моменте интеллектуально-духовного опыта европейски образованных людей на периферии европейской цивилизации. Людей, внутренне причастных этой цивилизации и — одновременно — благодаря европейским же методам самоанализирующего мышления трагически осознавших несхожесть облика своей собственной страны и, стало быть, свою же собственную несхожесть с цивилизацией Запада. В ходе этой коллизии и создавалась великая национальная культура России XIX — начала XX века.

Что же касается мировой историографии, то мысль о творческом, культуросозидающем характере этой мучительной коллизии традиционализма и рационализма в становлении современной национальной культуры России обосновал чешский мыслитель Томаш Масарик, чьи труды приобрели всемирную известность. Судя по тексту фундаментального двухтомника Масарика²², он

¹⁹ «История Молодой России» (т. 2, стр. 40).

²⁰ См.: «Исторические записки (о русском обществе)» (т. 3, стр. 427 — 446).

²¹ См.: «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (т. 1, стр. 417 — 420).

²² К сожалению, в моем распоряжении не было немецкого оригинала этого труда, защищенного в качестве докторской диссертации в Йенском университете в 1913 году; я работал лишь с английским его изданием (Masaryk T. G. *The Spirit of Russia. Studies in History, Literature and Philosophy*. V. 1 — 2. L., Allen & Unwin; N. Y., Macmillan, 1955); этой же

неплохо знал труды Гершензона, в частности, его работы о Чаадаеве и И. Киреевском, не говоря уже о «Творческом самосознании» из «Вех». А уж вслед за классической монографией Масарика мысль о коллизии традиционализма и рационализма как о важнейшей предпосылке становления современных национальных культур среди народов, подвергшихся — если припомнить выражение Тойнби — «культурной радиации» Запада, стала достоянием историографии Восточной Европы, Азии, Латинской Америки²³...

Что очень важно понять в наследии Гершензона: вся эта своеобразная первая его герменевтика оказалась одновременно и источниковедческим, и философско-историческим фоном для одного из центральных исследовательских интересов Гершензона — интереса к наследию Пушкина. Ибо пушкинское наследие мыслилось им как сотканное из всех достижений и противоречий российской дворянской культуры. По мысли Гершензона, опыт переживания мгновений счастья и страдания, переживания периодов заблуждений, упадка духа, отчаяния, новых творческих порывов, вспышек веры — все это было во благо его поэзии. Позы, лукавства, самолюбования в этом неостывающем сплаве страстей и самонаблюдений поэта — не было. Потому-то, по словам Гершензона, «Пушкина легко полюбить»²⁴. Пушкинские исследования венчают первую, российскую историческую, герменевтику Гершензона и предваряют герменевтику вторую — универсально-историческую.

Вторая герменевтика

С пушкинских исследований на переломе 1910-х — 1920-х годов начинается тот последний период творчества Гершензона, который я позволил бы себе определить как период его второй герменевтики. Этот период связан с изучением не просто смысловой динамики относительно малого и ограниченного во времени (конец XVIII — начало XX века) культурно-исторического массива российской дворянской и разночинной интеллигенции²⁵, но истории всечеловеческой. Продолжая работать над прежними темами отечественной истории, поздний Гершензон, все более и более сосредоточиваясь на Пушкине, обращается в то же время к изучению философии досократиков, к изучению словесности Древней Индии, Ирана, Израиля, к Евангелию. И в это же самое время развиваются в творчестве Гершензона элементы собственной, оригинальной философии истории.

Вернемся, однако, к пушкиноведческим штудиям Гершензона. Особый постулат — постулат «медленного чтения»²⁶ — лег в основу гершензоновской методики выявления и анализа парадоксов и скрытых смыслов пушкинских текстов.

Вслед за Пушкиным Гершензон отдает себе отчет в том, что мир — если припомнить выражение Шиллера — в значительной мере «расколдован». Но тем важнее для него эта концентрированность архаических, мифологических тем и образов в поэтическом сознании Пушкина: приговоры судьбы, пришельцы из царства мертвых, колдуны и нежить, фантастические звери, вещице

проблематики касался и американский социолог Джулиус Ф. Хеккер, также работавший с трудами Гершензона (H e c k e r J. F. Russian Sociology. A Contribution to the History of Sociological Thought and Theory. N. Y., 1915).

²³ Этот вопрос подробно разбирается в моей книге «Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока: XIX — XX вв.» (М., «Наука-ВЛ», 1990).

²⁴ «Мудрость Пушкина» (т. 1, стр. 70).

²⁵ Еще в книге «Декабрист Кривцов и его братья» Гершензон замечает, что на его глазах потомки старых дворянских родов тонут в «великой разночинной массе» (т. 2, стр. 335), пустеют и разрушаются дворянские гнезда, но продолжает жить некогда пренебрегаемая и невидимая за этими гнездами мужицкая Россия (см. там же, стр. 336). Правда, и годы мужицкой России оказались сочтены: Гершензон принял ее активизацию в семнадцатом году, пережил годы ее ярости и агонии в период «военного коммунизма», знал о ее кратковременном непевском оживлении и умер в канун ее массового истребления и, по сути дела, гибели...

²⁶ «Северная любовь А. С. Пушкина» (т. 3, стр. 7).

сновидения, гадания. Но так или иначе, вольная или невольная мифологизация и Бытия как такового, и повседневности мыслится Гершензоном как неотъемлемый принцип самоорганизации поэтической стихии, как принцип нахождения внезапных, нетривиальных (или же — выражаясь нынешним языком — нелинейных) форм взаимодействия душ, пространств и вещей. Никакая преемственность времен и культур без этого свойства поэтической имажинации невозможна²⁷. Гершензон пытается инвентаризовать целые пласты заимствованных у предшествующих поэтов образов, выражений, рифм — и не для того, чтобы уличить Пушкина в плагиате, но как раз для того, чтобы показать, что сама содержательная новизна пушкинского поэтического гения вбирает в себя, переоформляет в себе огромный опыт предшествующей российской и мировой поэзии²⁸.

Если вдуматься в пушкиноведческие тексты Гершензона, то можно осмыслить пушкинское творчество как одно из осуществлений некоего интегрального и органического проекта, заданного (свыше заданного) не только русской, но и всей мировой культуре, — проекта, в котором сходятся, оспаривая, достраивая, но не уничтожая друг друга, космополитическое и национальное, подсознательное и рациональное, ретроспективное и перспективное, протестующее и приемлющее.

И в этой нелинейной, непрогрессистской творческой динамике — по определению — велика конструктивная роль алогизма и структурного парадокса.

Вспомним в этой связи ставшее столь привычным для нас гершензоновское прочтение «Станционного смотрителя». Непропорционально, казалось бы, расширенное в объеме столь крохотной повести описание назидательного немецкого лубка на тему Притчи о блудном сыне оказывается для Гершензона своеобразным *герменевтическим ключом* к проблематике повести: за непосредственно явленным в тексте повествованием о приниженности и страданиях «маленького человека» вырастает иной, неявный, но более объемный и насыщенный смысловой пласт. Пласт, связанный с трагедией духовных и нравственных понятий, низведенных до уровня бытовой прописи, с реальной непредсказуемостью, реальной болью человеческой жизни и любви²⁹...

Вообще вырастающая из пушкинских исследований вторая герменевтика Гершензона — герменевтика истории мировой культуры, связанная с поисками ее основополагающих смыслов, — знаменовала собой расцвет его оригинального философского творчества. И слагалась эта вторая герменевтика в условиях, по сути дела, нечеловеческих испытаний: во времена послеоктябрьского «немыслимого быта» (если снова вспомнить стихи Пастернака), во времена, когда история подвела черту и «гершензоновской Москве», и почти что всей культуре интеллигенции былой России — культуре, которую Гершензон знал, изучал, критиковал, возделывал и любил.

Как тут не вспомнить логику булгаковского персонажа: «Пример настоящей удачливости... Повезло, повезло!..» Бедствия собственной семьи, трагедия собственного класса (русской интеллигенции), собственной страны (России), собственного народа (еврейского народа), которыми было отмечено последнее десятилетие жизни ученого, оказались для Гершензона источниками новых форм мироосмысления и самоосмысления³⁰. От культурно-исторических основ первой герменевтики нужно было переходить к качественно новому, обобщенному философско-историческому дискурсу — дискурсу, опирающемуся на новейшие идеи тогдашней европейской культуры. В пореволюционных

²⁷ Придет время — и об этом свойстве поэзии выступать творческим посредником в процессах взаимодействия нашего сознания и подсознания как об одной из необходимых интеллектуально-духовных предпосылок человеческого онто- и филогенеза будут говорить и искусствоведы, и философы, и психологи, и нейрофизиологи...

²⁸ См.: «Плагиаты Пушкина» (т. 1, стр. 198 — 203).

²⁹ «Станционный смотритель» (т. 1, стр. 86 — 89).

³⁰ По словам ученого, относящимся к марту 1917 года, новейшие события проходятся по людским судьбам как некий «новый потоп, но уже не водный, а огненный...» («Кризис современной культуры», т. 4, стр. 11).

трудах Гершензона можно обнаружить отголоски бергсоновского учения о вечной новизне человеческого творчества, прорывающей привычные и склеротизирующиеся формы социальности, истории и культуры; отголоски естественнонаучных идей о взрывообразной динамике Вселенной; идей Мартина Бубера о диалоге как о важнейшей и предельной реальности человеческого существования. И наконец, в этих трудах нельзя не увидеть результатов собственных библейских и пушкиноведческих штудий Гершензона.

И этот новый гершензоновский подход к Бытию и мысли коренился не только в катастрофическом опыте тогдашней повседневности: он был бы попросту невозможен без десятилетий самых разнообразных предшествующих исследований. Воистину «повезло, повезло!».

Разумеется, как это свойственно всякому настоящему историку, глубокая, хотя и чаще всего скрытая культура самоанализа и самопознания, присущая Гершензону, сыграла не последнюю роль в создании и оформлении его поздних идей и трудов. Сами внутренние противоречия человеческого духа, сама частичная его «близорукость», иной раз граничащая с «неверием», подчас оказываются источниками неумной тоски, но через боль и тоску — источниками и творческой динамики самоопределения, и роста в Боге³¹. Ибо, согласно Гершензону, духовная связь индивидуального, личностного и универсального ни внешнему идейному императиву, ни рационально-научному дискурсу, ни повседневным нашим желаниям и амбициям, по сути дела, неподвластна. Но как раз именно таинственной связью идей, устремлений и вещей и определяется характер и индивидуальных, и коллективных, и вселенских судеб³².

Согласно позднему Гершензону, «Дух-Логос» — пламя Божеского и человеческого творчества, — как некий «Гольфстрем», прорывается сквозь толщи времен и культур, согревая и оформляя собой все уровни человеческого бытия — от глубин подсознания до самых высоких, сверхсознательных его проявлений — и одновременно сожигая собой все то, что суетно, неподлинно и нестойко. Тема благодатного *огня* как вечно подвижной основы и преемственности, и обновления нашего взрывообразно развивающегося мира прочитывается Гершензоном и в Ригведе, и в Авесте, и в ветхозаветных и новозаветных текстах Библии, и в отрывках Гераклита, и в пушкинской поэзии.

Рвущийся сквозь времена и пространства Огонь-Логос — некий залог неподвластных нашим досужим чаяниям, нашим претензиям или систематикам всечеловеческих путей к самосознанию и свободе. И когда рушатся традиционные формы культуры, традиционные формы социальной и государственной организации, когда мир вступает в полосу духовного сиротства и когда эмпирическая история почти что ничего доброго не сулит, — именно этот огненный духовный вектор становится едва ли не самым явным и насущным³³.

И вот именно в таком идейно-духовном раскладе все то, что современникам казалось в Гершензоне то ли религиозным народничеством, то ли — как Ленину — «либеральным ренегатством», то ли «анархическим утопизмом и культурным нигилизмом» или «бегунством»³⁴, — все это было на самом деле выражением присущей Гершензону вековой тоски (не побоюсь сказать — еврейской тоски) по трансцендентным векторам истории и культуры. Векторам, которые зачастую перечеркивают наши земные замыслы и построения, наши надежды на укорененность земных отношений, земной истории. А когда Бог, оспаривая наши претензии, посылает нам Своих вестников — мы, наподобие пушкинского Сальери, бунтуем и против этих вестников, и против Самого Неба³⁵. И стало быть, против сил не только переоформляющих

³¹ См.: «Тройственный образ совершенства» (т. 4, стр. 75).

³² См.: «Кризис современной культуры» (т. 4, стр. 15 — 20).

³³ Такова сквозная тема поздних религиозно-философских и культурфилософских трудов Гершензона, будь то «Мудрость Пушкина», «Гольфстрем», «Переписка из двух углов», «Ключ веры», «Судьбы еврейского народа», «Нагорная проповедь» и др.

³⁴ «Переписка из двух углов» (письмо В. И. Иванова Гершензону от 15 июля 1920 года — т. 4, стр. 44, 45).

³⁵ См.: «Мудрость Пушкина» (т. 1, стр. 80 — 86).

Миропорядок, но и смиряющих его внутреннюю энтропию. Стало быть — хранящих... Но эта новая картина человеческой истории, пытающаяся воссоединить в себе и историю земных преломлений Духа, и историю человека, и историю Вселенной, требует, согласно позднему Гершензону, не только особого внимания к высоким проявлениям человеческого творчества как к непреложному формообразующему фактору истории, но и особой тщательности в работе с историческим и историко-художественным материалом. Ибо в этих высоких проявлениях творчества опыт повседневности нетривиально сходится с вечно недосказанными моментами внутреннего духовного самоопределения человека. И уважение к этим тонким процессам творческого формообразования истории должно, по мысли Гершензона, налагать свой особый отпечаток на весь комплекс гуманитарного знания — включая лингвистику, текстологию, археографию, библиографию и т. д.³⁶

Историку Михаилу Гершензону можно многое поставить в упрек. Общеизвестны его ошибки в атрибуции или интерпретации тех или иных творческих документов, связанных, скажем, с наследием Жуковского или Чаадаева.

На мой взгляд, понятной, но слишком жесткой и категоричной была его религиозно-народническая критика русской интеллигенции на страницах «Вех» — та самая критика, из-за которой само имя Гершензона стало предметом постоянных глумлений со стороны «советской науки». Но проблема остается проблемой. Российская история XX века удостоверяла, что интеллигенция оказалась не только фактором разломной, «раскольной» ее динамики и даже не только структурно необходимым ее моментом, но и неотъемлемой частью ее преемственности и традиций.

Та же религиозно-народническая позиция не дала Гершензону в полной мере осознать хотя и связанный с глубоким кризисом раннекапиталистического и — одновременно — аграрного и сословного общества, но все же несомненно архаический, люмпенско-преторианский характер большевизма и «великого октября».

Гершензонская критика сионистского движения как формы национальной самообезлички еврейского народа выглядела особо несостоятельной, когда над народом подымалась угроза тотального уничтожения, и альтернативы этому движению, по сути дела, не было³⁷... Однако по части фактологии и прогнозов можно до бесконечности спорить с любым из историков. Но вот проблематика двух исторических герменевтик Гершензона — проблематика становления развитых форм национальной культуры и проблематика динамики культуры мировой — еще не вполне освоена нынешней мыслью.

Ибо мы еще во многих отношениях стоим на позициях ложной Марксовой альтернативы — альтернативы «объяснения» и «изменения» мира. Но мир в процессах осмысления или — более того — попыток объяснения есть уже тем самым мир в движении, мир вольно или невольно изменяемый, мир изменяющийся в нас и в самом себе. Мир в вечном «Гольфстреме». И в этом, пожалуй, едва ли не самый главный урок всего корпуса трудов российского историка Михаила Осиповича Гершензона. Урок ответственности перед тремя измерениями истории: прошлым, настоящим и будущим.

³⁶ См.: «Видение поэта» (т. 4, стр. 322).

³⁷ В тот период можно было, конечно, эмигрировать в Новый Свет, но идеологически разработанный и кровавый опыт аргентинского антисемитизма говорит сам за себя. Открытым остается вопрос и о будущем еврейского народа в Соединенных Штатах, интенсивно заселяемых выходцами из латиноамериканского и арабского ареалов, а также переживающих подъем ксенофобских настроений среди значительной части афроамериканской общины...

ПОЛЕМИКА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ

*

АБНЕГИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ВОЛЕВОЙ ВЫБОР ИЛИ ПЕРСТ СУДЬБЫ?

Удивительное событие случилось не так давно в городе Филлморе, что в штате Висконсин: обнаружился человек, чье физическое развитие, семейное положение, душа и все иное полностью совпадали со статистическим средним. Рост, аппетит, возраст брака, состояние зубов и детей — все характеристики Джорджа Абнего совпали с показателями Нормального Среднего Человека.

Абнего стал кандидатом в президенты страны, на выборах он без труда опередил всех. Даже подростка-эпилептика — губернатора Южной Дакоты. Даже бабу из Оклахомы, постоянно распеваящую в Сенате псалмы под банджо. «Назад, к Норме, с Нормальным Человеком!» — последний период истории человечества начался.

«Приятно, как ничья», — это стало лозунгом абнегистской эпохи. Главным ее достижением сделались стипендии для студентов, чьи оценки были ближе всего к средним для их возрастной группы. Да и вся система поощрений быстро была приспособлена для равного ущемления как высших, так и низших.

«Приятно, как ничья»... Абнегистская революция перекинулась и на Европу, ее обосновал теоретически знаменитый французский интеллектуал. Что выше: родовая аристократия или аристократия разума? Как выбирать достойнейших: прямым голосованием или по внутренностям жертвенных животных? Все эти споры, напомнил профессор Фуффник, не посягали на основной платоновский постулат: править должны лучшие. Спорили лишь о частностях: кого считать лучшим, как лучших определять. Но теперь молодая западная демократия, введшая когда-то в юриспруденцию понятие о правах человека, подарила человечеству доктрину наименьшего общего знаменателя в управлении. Править должны не лучшие и не худшие, а самые средние: «недостойнейшие», «неэлита».

Неэлита быстро пришла к власти и в Европе, но царство хомо абнегус оказалось недолгим: его покорили крепкие умные ньюфаундленды. После этого первое время собаки еще разводили людей ради их умения бросать палки. Но вскоре собачья цивилизация создала для этой цели машины, и человек окончательно исчез с лица земли.

Рассказ Уильяма Тенна «Нулевой потенциал» вспоминается ныне все чаще. Скажем, при очередном торжестве демократии: из двух абнегов в президенты великой страны избран более абнегистый, с решающим перевесом в ноль голосов — такой ход событий и присниться не мог писателю-фантасту. Как не снилось Джорджу Оруэллу решение парламента Океании, узаконившее прослушки. Писатель знал, конечно, что лейбористов с коммунистами трудно различить по их склонности к тотальному контролю над личностью. Но Оруэлл имел в виду политический контроль и вот в этом-то ошибся: прослушки узаконены коммерческие, а потому возражений и не слышать — кто же станет

спорить с главным достижением христианской цивилизации, рынком? Тоже новый поворот темы, уже по эту сторону океана: действительность фантастичнее литературы, в считанные годы — на рубеже тысячелетий — мы успели уже к этому привыкнуть.

Интересные размышления на близкие темы опубликовал проживающий ныне в США Михаил Эпштейн — в петербургской «Звезде» (2001, № 1) и в московском «Знамени» (2001, № 5). Роль личности, роль масс — и то и другое, по Эпштейну, в новом веке будет умиляться: равно ошиблись и Карлейль, и Толстой. Возрастать же будет лишь удельный вес «муравейчиков» — маленьких, смиренных и сознающих свою малость микроиндивидов.

«Человек окажется действительно паучком во всемирной паутине, поскольку к каждому его нейрону, клетке, гену, протезу и чипу будет что-то приторочено, каждая его частица будет участвовать в каких-то взаимодействиях... которые он должен будет контролировать, в свою очередь контролируясь ими. Может быть, ему и позволено будет иногда отключать свой мозг от сигнальной панели, которая непосредственно будет передавать малейшие возбуждения его нейронов в центральную диспетчерскую, но за временем отключки тоже будет следить специальная панель; долгий выход из системы будет считаться неэтичным, а грани между этикой и правом начнут стираться, как во всяком системно-эгалитарном обществе.

...Мозговые сигналы будут прямо передаваться по электронным сетям, мысли будут читаться, поэтому придется быть осторожным не только в словах. В мозгу будет вспыхивать табличка-напоминание: „Выбирай мысли!“»

Будущее близ есть, при дверях; и, созерцая лик его, все видят одно. Вот и Новый Свет обзавелся, похоже, наблюдениями пронзительнее и безнадежней «старосветских» (почему так — к этому вопросу мы еще вернемся). Может быть, и «Манифест» филолога — одно из быстро ставших традиционными пророчеств-констатаций?

Нет, не совсем так: светлое будущее, несмотря на указанные выше отдельные его недостатки, вызывает у автора умиление и восторг.

«„Всечеловек“ — слово, введенное Достоевским в речи о Пушкине, — означало человека, который полно объемлет и совмещает в себе свойства разных людей. Но в связи с развитием компьютерных и биогенетических технологий понятие „всечеловек“ приобретает новый смысл: целостное природно-искусственное существо, сочетающее в себе свойства универсальной машины со свойствами человеческого индивида... По сравнению с накалом противоречий нового всечеловека, биотехновидца, может показаться мелкой борьба в душе „всечеловека“ ставрогинского, карамазовского или даже пушкинского типа».

Так решен наконец-то старинный спор. Архаический сапог, может, и не выше Шекспира — но лишь пока ему не подобьют гвозди электронным микроскопом. И биотехновсечеловек прошествует дальше:

«Современный человек уже умеет многое из того, что когда-то приписывалось только ангелам... Следует заметить, однако, что виртуальность — это первая, начальная стадия *техноангеличности*. Мы входим в виртуальные миры сначала своим зрением... затем нюхом, вкусом, осязанием — а выйдём оттуда уже с преобразенной плотью, уже сверхъестественным существом, *антропоангелом*».

Может быть, перед нами просто розыгрыш? Постмодернистский стёб в духе недавних интеллектуально-эстетических увлечений автора?

Не совсем так. Когда стебают вдохновенно, до самозабвения, не щадя ничего вокруг — это называется уже по-другому. Это называется *утопией*.

Перед нами именно утопия: даже при беглом пролистывании «Манифеста нового века» трудно не разглядеть ее родовые черты. Некоторых из них мы коснемся ниже; а пока остановимся на единственном, что, как может показаться, отличает «Манифест...» от классических образцов жанра. В разделе «Опасения» (с обширной цитаты из него мы и начали рассмотрение статьи) можно углядеть искреннюю тревогу за судьбу личности в дивном новом мире: «гигиена мыследержания» — образ скорее из арсенала Оруэлла, а не трубаду-ров «протеического» прогресса и бардов Панели. Но:

«Техника, как раньше юстиция и этикет, может прийти на помощь нравственности... техника, обнажая и ставя под общественный надзор новые психические слои человека, не может полностью их исчерпать, напротив, может углубить внутреннюю жизнь, выходящую в иные, сверхтонкие измерения, не подвластные контролю на данной технической ступени».

Достойная отповедь. Достойный на наши старомодные «опасения» ответ. А вот — еще лучше:

«„Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным“... Техника приближает нас к тому, о чем предупреждают пророки, — к открытости последних времен... готовит нас к предстоянию перед Страшным Судом, который будет читать в наших мыслях и душах. Человек, оснащенный приборами мышления... будет прозрачен и подотчетен. Тогда работа над тайным содержанием своих помыслов станет повседневным императивом... Тогда-то и пригодятся нам... те способы... умного делания, которые разрабатывали аскеты и подвижники. Ведь грехи совершаются не только делом и словом, но и помыслами, и труднее всего — бороться с последними...»

Этот гимн тотальному рабству способен ошарашить: в когтях издыхавшей Утопии мы отыскали от осатанения 20-х. Но вот оно опять перед нами, оно выступает в новом обличье. Впрочем, в новом ли? Перед нами традиционная военная операция утопизма: *штурм небес*. Не зря манифестант изобильно цитирует Маяковского, поминает итальянских футуристов — сославшись на других бесчисленных провозвестников будущего, он тоже был бы прав. Потому что их обращение к Евангелию, «Добротолубию», «ангелизму» привычно, главное же — оно вполне естественно по существу: «строители» метафизически бесплодны. И мечтают они, в сущности, о малом: овладеть чужим, вытеснив из жизни — божественной и человеческой — ее законных хозяев. «Пригодятся нам способы умного делания», — в рассудительную интонацию стоит вслушаться. *Наш опыт!* Р-разработали аскеты с подвижниками — *для нас!* «Антропоангелизм» — чем, кстати, плохой синоним человекобожия?

Интересно во всем этом и другое: автор прекрасно понимает, о чем пишет. Он отдает себе отчет: не в совершенствовании и не в «техноморали» дело. А в «*ноократии*, т. е. власти не отдельных индивидов или социальных групп, а коллективного мозга, который сосредоточит в себе интеллектуальную потенцию всех мыслящих существ...».

Вот так в любой утопии — сквозь благословие возьмет да и проглянет голая правда. О какой личности вообще может идти речь? И стоит ли поминать всеу каких-то там архаических достоевских? Коллективный мозг блистательно усреднит пожелание по глупой своей воле чай пить с прогрессом и благом. И усреднит *правильно*, то есть отнюдь не в пользу чаепития. Потому что мозг — *умный*, он есть «Соразум и Сомыслие». А также «электронная соборность».

«Этой статье предстоит стать предметом серьезных обсуждений», — писали газеты по выходе майского номера «Знамени». Может, журналисты сочли, что обществу трудно будет пройти мимо глубоких интеллектуальных построений американского манифестанта и его стилистических изысков (не самые выразительные примеры того и другого мы привели выше)? Но, может, дело в другом: время утопии пришло, и все мы, некоторые притом довольно остро, чувствуем это. А работа Эпштейна — явление безусловно яркое. Утопия и не обязана иметь отношение к обычной публицистике, литературе — как воля к «церебрально открытому обществу» не связана с обычными человеческими стремлениями и чувствами.

Стоит ли нам вот так, с порога, объявлять *несбыточной* утопией нарисованную Эпштейном картину? Сам он, как и всегда в таких случаях, не только предсказывает и пророчески пророчески все-таки оставляют за внимающими возможность неверия в них. Нет, перед нами — глубоко научная, выверенная в точном соответствии с современным физматсловарем картина человеческого «завтра». Дух не переводя клянется автор всяческими *пространствами*, их в манифесте чуть побольше, чем союзов да предлогов:

«Цивилизация будущего протейчна, поскольку она состоит из потоков энергии и информации... В трехмерном мире такой энергоимпульс или инфосигнал становится трехмерным, в десятимерном — десятимерным. Порою, в целях скорейшего прохождения через материальную среду, он может принимать форму $n+1$ или $n+2$ измерений, становясь таким образом ощутимым для обитателей этой среды...» Увы, не всякому читателю доступна изысканная прелесть этого пассажа: нужно все-таки образование в объеме первого курса технического вуза, чтобы насладиться ею сполна.

Новаторство десятимерной мысли не укрыто, впрочем, и от гуманитария — если он сообразит открыть литпамятник предыдущей эпохи «Материализм и эмпириокритицизм». Ученый подход в обоих трудах приблизительно одинаков: разномерные пространства — как бы норки для обитания различных таинственных существ. Классик жанра умалчивает, правда, об ангелизме, его отношение к иному миру скорее бдительное: четвертое измерение есть «поповская выдумка», а также «убежище для чертей и ведьм». Сказано было, как видим, не прозорливо, нынче пророки этак не ругаются: они освоили теолого-математические высоты.

Но не только приземленная наука о многомерных пространствах покорно идет в услужение к биотехнопророку: Гегель в его труде «вступает в противоречие с Гёделем». Это уж и вовсе на уровне жестокого конфликта огорода, дядьки и бузины; к тому же Гёдель не занимался «обоснованием невозможности доказательства какого-либо постулата в рамках системы понятий и аксиом...». Обоснованием подобных вещей математики не занимаются. Ибо, в соответствии со словарем же, постулат есть «суждение, принимаемое в качестве исходного без доказательства».

Смысл всех «антидюрингов» и «эмпириокритицизмов» проще выеденного постулата, так бывает всегда: утопия всеильна, потому как верна. Верования в «научность» и «моральность» прогресса опять оказались тесно переплетены. И вот так создается безусловная (ее уж не оспоришь!) *духовно-психологическая* предпосылка будущего: оно и благо, оно же и *неизбежность*. А бороться с научно обусловленной неизбежностью не только глупо, но и (опять-таки!) — безнравственно, *нехорошо*. Вы что — против прогресса? вы что — черносотенец, ретроград, мракобес?

Неужели мало мы проходили все это... Почему же мы вновь впадаем в почтительный столбняк перед уже вброшенными в мир, уже дающими пахучие ростки зернами грядущего небытия? Ведь, кажется, в наши мозги и души не вживлены еще обезволивающие проводки?

Заметим, что в главном — в мечтах о прозрачности и подотчетности человеческих волокон и клеток — построения статьи не так уж и опережают реальность. На заре тысячелетия технобиоконтроль навис над постхристианским миром, и он грозит быстро стать всеобъемлющим: от отсева «неполноценных» после зачатия через создание желательных экземпляров путем клонирования. И опять к отсеву — эвтаназии. Вторая из этих угроз нова, но уже сегодня вряд ли кто назовет ее фантастичной; новы в некотором отношении и другие две: развитие науки и общественных отношений качественно меняет характер предродовых и предсмертных убийств.

Возражения против абортотворения носят в основном религиозный характер: не случайно лишь Православная и Католическая Церковь выступают их серьезными противниками, мощных же «светско-гуманистических» союзников у Церкви в этой борьбе нет. Это и естественно: речь идет вроде бы об акте свободного выбора. Личность опускает в урну какой пожелает бюллетень, почему же она не имеет права распорядиться своей семейной жизнью? Нерожденный же ребенок не бастует, в суд не подает, теледебатами не увлекается... Словом, светски понимаемых личностных прав абортотворение не нарушает.

Однако выбраковку по генетическим показателям к актам персональной воли отнести уже нельзя. «Это не то, что было у Гитлера», — оправдываются ученые и врачи (по этому поводу см., например, статью П. Элен «Освенцим и

теология» в «Вопросах философии», 2001, № 4). А почему, интересно, не то? «Генетический» аборт — это уничтожение нежелательных, неперспективных экземпляров. Разве не очевидно, кто желательнее и перспективнее: потенциальный физик в инвалидной коляске — или краснощекий абнег?

Ну а грядущее клонирование вызывает в обществе не то чтобы споры: для споров нужна ясная исходная позиция, а ее нет — не считать же основой для серьезного протеста туманные рассуждения о «биоэтике». Правильнее говорить о некотором смущении: идеология дублирования личности опередила общественное сознание на несколько лет; но годы летят быстро. Мудрая овечка Долли блестяще проиллюстрировала очевидный факт: арифметически понятия «права» ведут к аннигилированию личности, к окончательному бесправию. Ибо данная овечка ничуть не хуже созданий Божиих. Равно как не хуже их будут и другие овечки — трудящиеся, воюющие, голосующие. Штамповка эпсилонполукретин (терминология Олдоса Хаксли) откроет впечатляющие перспективы. Например, перспективу реализации священного права народа избирать себе абнегу волею большинства. Тиражирование правильно голосующих граждан обесмыслит и теледебаты, нынешние же их участники будут смотреться из новой эпохи наподобие Цицеронов.

Но главное все-таки не в выборах. Идея личного бессмертия стала наконец явью: наука отменила Второе Пришествие и Страшный Суд. Об этом поведал миру французский спортивный обозреватель Клод Ворильон. Ныне он пророчествует на земле Монреаля. Коллективный Мозг дал Клоду имя новое: пророк Раэль. Все живое под солнцем создал Мозг путем клонирования, эта благая весть низошла на обозревателя несколько лет назад. Теперь, когда человек научился обращаться с генами, время медума Иисуса безвозвратно ушло. И Мозг очень рад наконец-то общаться с людьми на равных: рациональным путем науки. За сходную цену он готов даровать потомство приверженцам однополой любви.

Слово истины услышано пока немногими: пятьюдесятью пятью тысячами верных в 84 странах мира...

И на этом фоне — предродового убийства генетически высвеченной личности, нависшего аннулирования уникальности дублированием всех и вся — прямо-таки гуманизмом смотрятся предсмертные убийства. Во всяком случае, они общественно бескорыстны: не все ли равно, раньше или позже уйдет из жизни глубокий старик? Консилиум из врачей и родственников ежегодно отправляет в лучший мир тысячи людей, их избавляют от болезней и болей. Никто ведь не совершит преступления, сделав укол бодрячку, у которого не смолкает телевизор в палате. Совсем не как у вон того, другого, часами неотрывно глядящего в потолок. Он и раньше-то непонятно зачем жил, а теперь еще и страдает от болей. А разве не страдают рядом с эдаким уродом и родственники, и врачи?

Дивный новый мир на пороге, он уже здесь — Михаил Эпштейн ярко и выразительно напомнил нам об этом. Он и сам понимает, конечно, как отнесется к его оптимистическим построениям часть читателей:

«Увы, появилось поколение 1970 — 1990-х, замороженное замятинско-оружловской антиутопией и глядящее на техническое будущее через дымчатые очки. Конечно, каждый шаг мысли к контролю над средой будет оборачиваться и новыми способами контроля над мыслью...»

Но не в Замятине и не в Оруэлле дело. Для читателя в России они были не пророками — скорее великими путешественниками в медленно отступающее прошлое. Уместнее здесь вспомнить о Хаксли.

«Новый тоталитаризм вовсе не обязан походить на старый. Управление с помощью дубинки и расстрелов, искусственно созданного голода, массового заключения в тюрьмы и массовых депортаций является не просто бесчеловечным (никто теперь особо не заботится о человечности), но и явно неэффективным, а в наш век передовой техники неэффективность — это грех перед Святым Духом. В тоталитарном государстве, по-настоящему эффективном,

всемогущая когорта политических боссов и подчиненная им армия администраторов будут править населением, состоящим из рабов, которых не надобно принуждать, ибо они любят свое рабство... Любовь к рабству может утвердиться только как результат глубинной, внутриличностной революции в душах и телах. Чтобы осуществить эту революцию, нам требуется надежная система евгеники, предназначенная для того, чтобы стандартизовать человека...

Если все это учесть, то похоже, что Утопия гораздо ближе к нам, чем кто-либо мог вообразить всего пятнадцать лет назад. Тогда она виделась мне в дальнем будущем...»

Эти строки английский писатель предпослал послевоенному переизданию основного своего предостережения-романа.

Так что же все-таки предстоящая нам биогенетическая регуляция: абсолютное добро или некоторое зло? Наш вопрос, разумеется, о другом, он — о мутации *уже происшедшей*: о типе сознания, принимающего, активно или пассивно, завтрашний абнегистский рай. (А вернее, даже не абнегистский: на фоне рокошущего общечеловеческого мозга царство северных лохматых собачек выглядит почти идиллией.) Именно это мутирующее сознание, а не — повторимся — какие-либо безличные «научные» закономерности делает почти неизбежным обещаемое нам.

Здесь уместно воспользоваться напрашивающейся аналогией с утопическим мышлением столетней давности. Не так уж и много было энтузиастов, швырявших бомбы в страну и мир. Не больше, чем «краснобригадников» в 60-е прошлого века, — а ведь не удалось же последним подорвать ни одну из западных стран. А вот в пассивных «бомбометателях» было — все российское общество, почти без исключений. Их самих уже рвало на куски. А они ликovali, и шумно радовались революционному прогрессу, и объявляли реакцией и преступлением слабый правительственный отпор. Велика ли, смертельна ли была *сама по себе* начальная бомбистская раскачка? — такого впечатления не возникает.

Упоение завтрашней гибелью сопровождалось тогда своеобразной абберацией основных понятий. У человека есть сердце, есть разум — еще недавно сама констатация этой очевидной истины вызвала бы удивление. Почему же теперь проявление чувств стало старомодной отсталостью, а бравоирование рационализмом — патентом на передовитость? Есть город и есть деревня, соответственно сельский и индустриальный пейзажи. Почему второй достоин бравоурных гимнов, а первый — ненависти, закамуфлированной под презрение? Почему надо боготворить тяжкий физический труд и клеймить тяжкий труд умственный и духовный?

За прошедший век мы претерпелись к таким странностям, но вовсе не потому, что мы знаем ответ на эти вопросы. Сегодня полезно ими задаться — на пороге Новой Утопии. Новой революции; новых переоценок.

Разумеется, конкретные ответы на все «почему» далеко за пределами нашей статьи. Ибо они потребовали бы детального анализа различных утопий прошедшего века: приоритеты в этих утопиях расставлялись по-разному. Скажем, культ рационализма в ленинской утопии был безусловным, в муссолиниевской — относительным: футуристическим истерикам Маринетти (Эпштейн прав, ссылаясь на него как на предтечу) в ней все же сопутствовал культ древности и предков. В гитлеровских же построениях разум подвергался шельмованию, а культовыми элементами сделались иррационализм и патриархальный уклад...

Но стоит ли и вспоминать сегодня о наивных декларациях вековой давности? Что общего между вульгарной базаровщиной и нынешней проповедью электронной магии? К последнему вопросу мы вернемся чуть позже, а пока отметим главное: суть нигилизма не в споре сентиментальных отцов с рассудочными детьми, она — в расценивательском отношении к Творению, в вызове его гармонии и единству. Два тысячелетия христианской культуре сопутствует борьба двух подходов к мироустройству. Что выше: физиологическое отправление или молитва? Святые первых веков не поняли бы этого вопроса: иерархии «выше — ниже» здесь просто не может быть, ибо и то и другое мы

совершаем перед взором Творца. И пустынноики христианского Египта с одинаковой серьезностью наставляли, как вести себя при молитвах и отправлениях, чтобы не оскорбить Его взор.

Гностическое же мышление — расчленительское, оно исходит из оппозиций: мир — создание двух, злого и доброго, творцов; дух — хорошо, плоть — дурно... Почему? Но в гностически-утопической традиции этот вопрос никогда и не задавался. Принципиальная схема всех утопий была единой: целостная гармония мира Божия беспощадно отвергалась, рационально-магический топор рассекал ее на куски. Ибо держателям топора было виднее: кто из тварей овцы, кто — козлища; и которое из творений равнять налево, а какое — отсылать далеко направо... Держатели сделались творцами — отменив Творца.

Принято считать, что кумиром их и главным орудием был разум. Но такое объяснение недостаточно: вопрос о начальных обоснованиях всегда бывает вне рационалистической компетенции. Приоритетность пролетариата или же высшей расы нуждалась в магической санкции и получала ее: заклинательный псевдоевангелизм — неотрывный спутник борьбы с верой в начале 20-х, и за расстрельным скрежетом революции улавливали потусторонний журавлиный клич уши Андрея Белого, Мережковского, Блока...

А в итоге всего — демиургами созидалась картина нового мира, *он* был теперь путь, и истина, и жизнь. Как в Евангелии, скажет кто-либо? — да, почти так. Но с одною разницей: слов «Пришел Я не отменить, но утвердить» не было и быть не могло в устах демиургов.

Удались ли их планы? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Конечное торжество Князю не попущено, но при нашем *злом безволии* он надолго получает мир во владение. И разрушает до основанья (это гениально получилось). И созидает свое (считать ли при этом контрдоводом, что жить в демиурговом мире, даже и поклонникам его, — невыносимо?). И распыляет, разрыхляет все, и готовит почву для нового наступления на Божий мир. Утопия американского филолога в действительности не нова, она — лишь новый виток утопии вечной.

«Нейрокосмос — это еще и спиритокосмос. Если удастся создать симбиоз мозга и машины, это может привести к еще одной метафизической проблеме: задержка смерти и нового рождения в иных мирах/измерениях. Будущее порой видится мне как абортарий, где выкидывши — не тела, а души, которые новейшими медицинскими, генетическими, электронными средствами прикрепляются к техноорганизмам и тем самым не выпускаются в ту „загробную” жизнь, куда свободно уходят души из умирающих тел...»

Возможно, что и человеческие существа — это многомерные потоки сигналов, проходящие через трехмерное пространство и воспринимающие свою принадлежность к иным измерениям как „духовность” или „душевность”. В контексте современной науки *материя выступает скорее как принцип пленения...*»

Перед нами чистейший гностицизм, переведенные на биотехнофению выдержки из трактатов III века. И не беда, что изысканные построения духовной поры манифестант доносит до нас в малость искаженном, утрированном виде:

«Мы — питекантропы технического века, мы на 90% еще такие, какими вышли из склизкого, замшелого чрева природы... Наши собственные тела, все эти руки, ноги, какие-то, прости Господи, животы и задницы, — все это предметы глубочайшей архаики... Только наш мозг как-то вписывается в информационный и трансформационный пейзаж будущего, где вместо кровавого мяса будут сверхпроводящие нити, сети, нейроны, транзисторы...

Мне уже мучительно трудно читать книги, переползая взглядом со строчки на строчку, и я ищу в своем теле щель, куда можно засунуть диск и сразу переместить в себя все нужные мегабайты. Мне не хватает глаз и ушей, мне не хватает рта и рук... Вот если бы во мне была щелка, куда можно засунуть сразу Британскую энциклопедию!

Знаки, буквы, сигналы мы вынуждены пропускать через глазные щелочки... Наш мозг принадлежит иному типу и уровню бытия, чем наши глаза и тем более ноги-руки. Вот почему я в самом себе ощущаю питекантропа...»

И опять возникает мысль: может, все это просто эпатаж? шутка? Оппозиция архаической задницы и «прости Господи, головы»... Да ведь быть не может, чтобы такое — всерьез. Тут любой бюкнер поперхнется от зависти, тут любой писарев перевернется в гробу...

Но тотчас вспоминаешь английского профессора, поведавшего миру несколько лет назад, что он — компьютер, и жена его и дети — компьютеры, и общаться он с ними начинает исключительно через Сеть... Нет, эпатажный характер этого серьезнейшего манифеста — чисто функционален. Функция его двоякая, первая (вполне в духе постмодернизма) — игровое разрушение старья. И вторая, более важная: проталкивание новых, пока еще не вполне привычных истин — путем ошеломления.

Вернемся, однако, к главному нашему вопросу: можно ли еще этим истинам противостоять? Перспективы могут казаться безрадостными; но начало избавления в том, чтобы понять суть овладевшей тобой силы. И признать ее мороком, признать — *не своей*. Не в смысле, конечно, заговоров, подлинных или мнимых: не стоит выискивать (а тем более выдумывать) проекции магического гностицизма на мир. Важно, что были они всегда — и всегда побеждались христианством. Борьба далеко не кончена. Слишком уж стараются манифестанты нас убедить. Убедить во всем: что за ними — законы науки и развития; что прогресс истории неотвратим; что поступь его благостна и железна. Подлинные победители себя так не ведут.

На стороне манифестантов не историческая правда, а лишь засилье стандартных предрассудков, исторических клише. Скажем, что это значит — выступать против прогресса: проситься в пещеру или, в лучшем случае, в избу? Наши западники так и скажут. Да и в массовом сознании сомнений не вызовет главное: отождествление благосостояния, торговых и материальных успехов с сегодняшним западным путем.

Но такое отождествление неверно. Греки-фанариоты были монополистами средиземноморской торговли, могущество нашей Империи прирастало трудом и торговой хваткой миллионов старообрядцев... Сегодня кажется, что поклонение удаче, ее культ — необходимые предпосылки торгово-промышленного успеха: может ли быть иначе? Да, может, вполне: в православном сознании богатство и удача были не даром Божиим, не знаком благословения. А — крестом Его, едва ли не наказанием; и нести этот крест нужно было достойно. Это выглядит сегодня экзотикой, кажется невозможной основой процветания и стабильности? Вот именно что *кажется*, на таких кажимостях как раз и держится предрассудок всеислия абнегизма. Не следует ли предпочесть им наконец трезвый анализ прошлого и настоящего?

Вот, мы оказались рядом еще с одной темой для размышлений: Россия и Запад — перед лицом утопий. Еще недавно отмечали большую восприимчивость к ним России, сегодня Запад нас, без сомнения, догнал и переогнал. И причиной этому не то, что он «гниет и разлагается», наоборот: причины заложены именно в том, что определило расцвет и могущество Европы и США.

На предыдущем своем этапе Утопия имела яркую эсхатологическую окраску, она была прямым продолжением средневекового хилиазма, то есть традиционного околицерковного сознания. Все становится ясным, если мысленно взглянуть на религиозно-историческую карту мира: в Средневековье хилиастские мятежи — бич католической Европы. В новейшее время опротестантившейся Европе они не грозят, зато построение «царствия на земле» сотрясает Россию, Испанию, Эфиопию... Дело тут именно в менталитете, а вовсе не в материальном развитии стран (вспомним о промышленном уровне России перед 1914 годом!).

Новый же этап Утопии неразрывно связан с сознанием *протестантским*. В православном и католическом мировосприятии труд — *один из видов* внутреннего делания, и церковное сознание не игнорирует сопутствующие работе удачу и успех. В протестантской же этике труд — основа, а материальный плод его — несомненный знак Божией благодати. В сегодняшнем, постпроте-

стантском, мире эти понятия вошли в кровь, они по-прежнему ощущаются всеми, хотя бы в форме негатива: благодать может уже и не чувствоваться, но любой тормоз на пути к фукуямовскому «концу истории» представляется (не справедливо ли?) чем-то невозможным, нереальным, чем-то посягающим на основы основ.

Впрочем, у Запада свои нераскрытые потенции, и не наше дело поверхностно и легковесно о них судить: может статься, он найдет и свои выходы. Отметим лишь очевидное: дышится там куда хуже, точное и неумолимое свидетельство этому дает литература.

Любопытно сравнить антиутопии, создаваемые в России — Европе — США. На первый взгляд, все они — повествование об аде, но ведь и в аду есть различные круги. Мир заокеанских утопий безнадежно идеален. Писатели свободной страны совершенно описывают самый одичалый, самый совершенный тоталитаризм; и во внешних моделях (как Оруэлл — в сталинской) они при этом нимало не нуждаются. В оруэлловской Океании Старший Брат обошел вниманием и любовью «пролов»; то есть — неподконтрольным оставлено большинство населения! А непроницаемых перегородок между классами нет, и пролы ходят по тем же лондонским улицам, что и протелескриенная Министрством Любви элита... Ощущение условности происходящего по многим причинам не покидает читателя великого романа. Что уж говорить о замаятинском «Мы»: власть Благодетеля — до городской Стены, а за ней — зеленый мир, Лес, в котором свободно собираются непокорившиеся люди!

Кажется, что между ними пропасть: между героями европейских утопий — и созданиями Брэдбери, Тенна, сегодняшних американских фантастов. Эти создания всегда безгласны: перед полицейским, перед пожарным, перед менеджером-кадровиком. «Вы обросли цифрами, цифры ползают по вас, как вши!» — у непокорившегося героя нет возлюбленной I-330, чтобы крикнуть ему это. И «Мистера Дикаря» здесь тоже нет. «Разве вы еще люди?» — он не бросит этого посетителям Ощущалки. И замаятинский Город, и Остров, описанный Олдосом Хаксли, — все это уже далеко позади. Здесь, в мире Рэя Брэдбери, непокорившиеся беспредельно одиноки: странная девочка, любящий гулять по утрам чудак... И за каждым их движением следит не отрываясь Механический Пес.

Не из стран-соседей пришли в американские книги такие картины; и не из прошлого. Так не из чреватых ли будущим глубин собственного бытия?

Многие стороны уже захлестывающей Запад «сладкой жизни» сегодня очевидны почти всем. И в защиту того, что еще вчера казалось раем, выдвигаются лишь сравнительные, условные аргументы. «Да, может, все это и так. Но пока (и, наверно, еще надолго) у них — цивилизация, удобства, свободы и права. Так не лучше ли все это, чем сидеть при лучине да молиться в грязи?» Как часто приходится читать о «мире, в котором человеку все же обеспечена возможность достойно жить»!

Вот так стереотипное мышление сваливает в кучу абсолютно различные понятия. «Прогресс по Эпштейну» — это очевидный путь *от* свободы, достоинства и права; путь же России — *к* этим ценностям. То есть европейский, западный путь — так это справедливо называлось еще вчера. Но если Запад вчера развил эти ценности, а сегодня отшатывается от них — где же основания идти за ним по пятам?

Впрочем, мы увлеклись: вопрос, куда же нам идти, — уже следующий. И не стоит отвечать на такие вопросы в кратких, директивных статьях, оставим это утопистам. Пути надо продумывать, обсуждать, пробовать. Но для начала надо просто — понять, что все это еще возможно. Ни к какому биоэлектронному капкану мы не присуждены — если только не присудим себя к нему сами.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН

*

ОБЛЮБОВАНИЕ МОСКВЫ

Каждый жилой дом есть причина или следствие любви. Нет дома без истории любви, и редки церкви без венчаний. Город полон любовью, как генеалогический лес.

Для мифа значимы только избранные адреса. В том числе адреса историй, вживленных фольклором, литературой, живописью, кинематографом. Мифу принадлежит и часть документальных адресов. Но только часть. В этом начало тайны. Продолжение которой в том, что на карте московского любовного мифа целые городские области бедны любовью или вовсе пусты, а в других, напротив, очень любится.

Набросок этой карты сам собой становится опытом типологизации городских пространств, опытом поистине *облюбования Москвы*.

Кремль. На карте мифа любовной краской зарделся Кремль.

В котором условно локализуется легенда о начале города. Долгорукий, убив Степана Кучку, отдал его дочь Кучковну своему сыну, Андрею Боголюбскому; Кучково же стало Москвой. Кучковна — здесь душа Москвы, земли, которой овладела пришлая власть. Убийством Боголюбского во Владимире не-легендарные братья Кучковичи расторгли этот союз земли и власти.

Московская любовь Средних веков сосредоточена в Кремле, поскольку это непременно царская любовь. Царская чета прообразует всякую чету города и страны.

Даже первое видимое прелюбодейство — роман Елены Глинской, вдовы Василия Третьего, с Овчиной-Телепневым-Оболенским — было великокняжеским и локализуется в Кремле.

Как и история первого Самозванца и Марины Мнишек.

Как и несчастные сватовства датских принцев: Ханса — ко Ксении Борисовне Годуновой и Вальдемара Кристиана — к Ирине Михайловне Романовой.

Кремль стал местом венчания и домом Ивана III и Софьи Палеолог. По замечанию Андрея Балдина, до Софьи в истории Москвы не видно жен. Добавим, что до Ивановой бабки, Софьи Витовтовны, не видно матерей, а до Евдокии (в монашестве Евфросиньи) Донской — вдов и святых женщин.

Монастыри. Правда, была еще в Москве княгиня Марья, мать серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, основательница Рождественского женского монастыря. Этот монастырь (Рождественка, 20) мы обозначим как хронологически второй после Кремля адрес московского любовного мифа: здесь постригали первую жену Василия III, бесплодную Соломонию Сабурову.

Рустам Рахматуллин (род. в 1966) — эссеист, москвовед. «Новый мир» публиковал (1998, № 12; 2000, № 1 и 2001, № 2) его опыты «метафизического градоведения» из будущей книги «Две Москвы».

Один из новых опытов автора разросся в новую книгу — «Облюбование Москвы». Первая часть, журнальный вариант которой предлагается вниманию читателей, посвящена главным образом мифам петровской Язуы и Арбата (в публикации опущены подглавки с перечислением адресов арбатской любви XIX — XX веков). Вторую часть, в центре которой — миф Кузнецкого моста, мы планируем опубликовать в 2002 году.

То есть первый исход любовной темы из Кремля тоже связан с великокняжеской семьей, теперь с ее распадом.

И Зачатьевский монастырь — воплощенная молитва царя Федора Ивановича и царицы Ирины о даровании наследника — основан вне Кремля, на Остоженке (2-й Зачатьевский переулок, 2).

Кремль и Занеглименье. Счастье Ивана IV с Анастасией Романовной вполне довольствуется в нашем представлении кремлевскими стенами. После смерти этой государыни шесть других браков Ивана стали поиском утраченного. Поиск совпал с введением опричнины — царь вышел из Кремля; возможно даже, это были грани одного искания. Квартал для построения Опричного двора был выбран просто: Иван «переведется за Неглинну реку... на Арбацкую улицу (нынешнюю Воздвиженку, место домов № 4 — 6. — *Р. Р.*) на двор тестя своего князь Михаила Васильевича Черкасского». Иначе говоря, царь переехал в дом второй жены, Марьи Темрюковны.

Сватовство Грозного к Елизавете Тюдор обсуждалось с английскими послами на Опричном же дворе.

Но и в Кремле Иван оставил памятник своего многоженства — Грозненское крыльцо придворного Благовещенского собора. После третьего брака царю был заказан вход в эту церковь, и тогда ее саму распространили дополнительной (буквально: опричной) архитектурой крыльца, откуда Грозный слушал службу.

В черте кремлевского дворца опричное двоеение также имело место, прежде чем решилось бегство за Неглинную. И уже тогда возникла женская тема: Иван велел расчищать для своего особого двора место царицыных палат, помнивших Анастасию Романовну (сейчас здесь Дворец съездов), а также квартал между этим местом и кремлевской стеной, ближе к Троицким воротам.

При Алексее Михайловиче у Троицких ворот встали палаты боярина Ильи Даниловича Милославского, позже известные как Потешный дворец. Это был жест, обратный жесту выноса Опричного двора: дом царского тестя переносился в Кремль. Впоследствии палаты отошли царю, соединившись переходом с Теремами, то есть стали дополнительным, опричным в точном смысле слова дворцом. Но между двумя дворцами не было места фронде. Негодность одних кремлевских кварталов для фронды против других почувствовал и Грозный, когда вектор его ухода из дворца, не изменив направления, продлился за кремлевскую стену и за Неглинную, за Троицкий мост.

На противокремлевской бровке Занеглименья царица родня селилась традиционно. Статус занеглименского взгорья был высок благодаря, так сказать, географической опричности — обособленности от Кремля и одновременно дополненности к нему, зрительной и композиционной связи с ним. В XVII столетии на месте Государственной библиотеки, через Воздвиженку от бывшего черкасского (Опричного) двора (№ 3), жили Стрешневы, родня жены Михаила Романова. При Алексее Михайловиче стрешневский и черкасский дворы перешли в руки Кирилла Полуэктовича Нарышкина, отца второй жены царя.

То есть дворы здесь были жалованные, а не исконные — в отличие, видимо, от ближних кварталов Занеглименья северного, лежащего против Китай-города. Например, в XVI столетии на Большой Дмитровке (№ 3, впоследствии двор Георгиевского монастыря) располагался двор Романовых, откуда Грозный взял свою Анастасию, а выше по этой улице и по склону Страстного холма в XVII столетии располагался родовой двор Стрешневых (№ 7).

Такая принадлежность ближних занеглименских дворов позволяет прочитывать начальное московское двоехолмие как отношение мужского и женского.

(Не таково ли отношение Палатинского и Квиринальского холмов в преданиях о начале Рима? Палатинская община не имела женщин, и Ромул предложил похитить жен у сабинян, живших на Квиринале. Похищенные сабинянки сами замирили своих прежних и новых господ, остановив неизбежную, казалось бы, войну; общины замирились и зачали Рим. Страстной холм, по склону кото-

рого поднимается Большая Дмитровка, действительно отвечает на карте Рима Квиринальскому холму. Ваганьковский же холм географически лишь край Страстного, а когда берется отдельно, соответствует Капитолийскому.)

Ваганьковский царский двор — древнейший из известных в Занеглименье дворов — впервые упомянут принадлежащим женщине, великой княгине Софье Витовтовне. Впоследствии на этом месте был провозглашен архитектурный манифест Нового времени — дом Пашкова, частного до ничтожности человека, демонстративно утверждавшего царственность своей частности.

Настояние, с которым отстаивал свою человеческую частность опричный царь, было предзнаменованием Нового времени. Тема человека вообще и ее любовный аспект еще не отделились от фигуры царя, но сам царь уже разделил в себе царское и человеческое. Хуже того: человеческое в нем, уйдя из Кремля, противостояло царскому. Начавшись раздвоением царской личности, Новое время кончилось раздвоением личности народной и победой в ней частного над царским.

Тушино. После Грозного первая история частной любви сопряглась с новым противостоянием Кремлю — из Тушина. Где, наоборот, человеческое хотело стать царским. Тушинский Вор по определению не был царем, но по тому же определению был царской тенью. История второго Самозванца и Марины Мнишек есть тень царской любви и только потому мифологична.

В Тушине завязался и роман Марины с атаманом Иваном Заруцким, который сделал ее впоследствии астраханской «царицей».

Замоскворечье. Частный любовный миф XVI века возможен только задним числом, как в «Князе Серебряном» Алексея Толстого или в лермонтовской «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Алена и Калашников живут в Замоскворечье, опричник Кирибеевич — в опричнине, на другой стороне реки, откуда приходит искушать Алену, а поединок между героями назначен на самой реке. Но где в Замоскворечье живут Калашниковы?

Везде и нигде, как герои Островского. «Колумб Замоскворечья» не оставил точных карт открытой им земли. Не только потому, что топографию трудно вписать в драматургию. Но и потому, что за Москвой-рекой нововременское «я» не спешило выделиться из средневекового «мы». Здесь во все времена любили невидно. Замоскворечье оставалось заповедником той земли, которая когда-то передоверяла царской фамилии олицетворять любовь и семью.

Главный, почти единственный в этой части города адрес любви — Марфо-Мариинская община на Большой Ордынке (№ 34а) — создан членом августейшей фамилии, великой княгиней Елизаветой Федоровной, ныне причисленной к лику святых, вдовой убитого великого князя Сергея Александровича. В этой общине с полумонастырским уставом находит свою бывшую возлюбленную герой бунинского «Чистого понедельника». Как будто замоскворецкая любовь приходится в одну собирательную или условную точку. Взятую, как и место для Марфо-Мариинской общины, по видимости случайно.

Не здесь ли жил еще купец Калашников? Богатырская щусевская архитектура обители отвечает этому предположению.

Впрочем, московское предание знало еще один любовный царский адрес в Замоскворечье: дом Кригскомиссариата на Космодамианской набережной (№ 24 — 26). Москва принимала его за дом Бирона, фаворита императрицы Анны. Но громкое имя Бирона явственно отчуждено от места, как, впрочем, и екатерининская архитектура Комиссариата. Характерно, что дом давно не называется бироновским.

XVII век. Царская любовь начала осторожно обживать рядовые городские адреса во второй половине XVII века.

Так, Москва считала, что Алексей Михайлович высмотрел вторую жену, Наталью Кирилловну Нарышкину, в доме ее воспитателя боярина Матвеева близ Покровки, в нынешнем Армянском переулке (на месте дома № 9; точнее сказать, Москва здесь видела двойную точку: где-то рядом жили Милославские — заклятые враги Нарышкиных, родня первой жены царя, держатели старины).

Дом Матвеева был совершенно новременским: еще при Алексее Михайловиче секретарь венского посольства нашел в нем разрисованный потолок, изображения святых кисти немецких живописцев и часы. «Артамон, — писал имперский секретарь, — больше всех жалует иностранцев... так что немцы, живущие в Москве, называют его своим отцом; превышает всех своих соотечей умом и опередил их просвещением». Облюбование Москвы шло в ногу с Новым временем.

Именно немцы, то есть иноземцы, подготовили новую, петровскую опричнину, в которой *иное* Москвы было осмыслено как европейское, а Немецкая слобода стала своеобразным уделом нового Иванца Московского — Петра, он же герр Питер, он же десятник Михайлов, он же протодьякон Питирим. Опричнина есть *иная земля*, а в иной земле живут иноземцы. Земщине противостоит иноземщина.

Оная еще до основания новой Немецкой слободы, до середины XVII века, облюбовала кварталы по сторонам Покровки в Белом городе. Иноверцы потянулись сюда с Язуы, из первой, грозненской Немецкой слободы, разоренной в Смуту.

Уже эта первая слобода причастна любовному мифу: в ее кирхе был в 1602 году погребен умерший от чумы датский принц Ханс, несчастный жених Ксении Годуновой.

А в городе пришлецы заводили моленные дома прямо во дворах. В 1652 году им было указано прежнее место — возобновленная Немецкая слобода. Но те, для кого сделали исключение — несколько фармацевтов и врачей, — удержали на Покровке атмосферу опричности, атмосферу Артамонова дома.

Другим новременцем в синклите царя Алексея Михайловича был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Адрес Нащокина хотелось бы знать: его дочку берет увозом Фрол Скобеев — герой известной плутовской повести XVII века. (На карте, отмечающей открытия и реставрационные работы Петра Дмитриевича Барановского в Москве, с домом Ордин-Нащокина отождествляются палаты Волконских в начале Волконки (№ 8, во дворе) — в ближнем Занеглименье.)

Беллетристика и любовная приватность являются одновременно. Сравните с летописной историей (по-видимому, во всем правдивой) о приключениях любви в царском доме — о несостоявшейся свадьбе принца Вальдемара Кристиана и царевны Ирины Михайловны.

Еще один из череды старинных западников — фаворит царевны Софьи князь Голицын — жил в знаменитых палатах на Охотном ряду (на месте дома № 4), за Неглинной. Женское и мужское в этом эпизоде меняются берегами, поскольку власть и Кремль принадлежат женщине.

Памятником совместного правления царевны Софьи и Голицына стал современный облик Новодевичьего монастыря. В нем же царевна будет заточена и пострижена. Характерно, что Василий III при основании этой обители перевел в нее монахинь из Суздальского Покровского монастыря, в который только что была отправлена Соломония Сабурова. Новодевичий монастырь (владение № 1 по одноименному проезду), как когда-то Рождественский, на нашей карте дополняет знак Кремля в случаях разобшения мужского и женского в царской семье. В Новодевичьем поселят и возвращенную из Шлиссельбургской крепости царицу Евдокию Лопухину, невольную монахиню.

Брак Петра с ней был традиционным во всех смыслах, включая топографический: палаты царского тестя сохранились в ближнем Занеглименье, хоть и не в виду Кремля, в нынешнем Малом Знаменском переулке (№ 3).

Яуза. Все изменилось с появлением у царя любовницы. Само по себе знак перемен, оно задало и вектор новых устремлений царя, равно личных и государственных: в Немецкую слободу, где проживала Анна Монс. Бегство Петра из Кремля было, как и опричное бегство Ивана, сопряжено с исканием любви, а в ней — свободы, в том числе свободы прелюбодеяния. Как Арбат в Иване, Яуза трогала в Петре приватное, но эту свою приватность герр Питер утверждал с царским размахом.

Москва долго считала домом Анны Монс стилизованный под терем особняк против Елоховского храма (Елоховская улица, № 16), но это место вне Немецкой слободы. Теперь, и тоже без документальных оснований, домом Анны Монс считаются палаты XVII века в самом центре слободы, между давно не существующими кирхой и костелом (Старокирочный переулок, № 6, во дворе).

Краткое возвращение Двора в Москву с Петром II, по существу, тоже пришлось на Яузу: столичность на попятном ходе ступала в собственный след. Но для этого Петра, как и для его преемниц на троне, Яуза была только ближней резиденцией, бытовым удобством вне постаревшего Кремля, его замещающим знаком, как в древности Коломенское.

Петр II жил в конфискованном у Меншикова доме — бывшем Лефортовском дворце (Коровий Брод, ныне 2-я Бауманская, № 3). Именно в нем юный император обручился с княжной Екатериной Долгорукой. Принцессу-невесту привезли на церемонию с другого берега Яузы, из царского Головинского дворца, предоставленного вошедшим в силу Долгоруким (Краснокурсантский проезд, место во дворе дома № 5). В день свадьбы Петр умер в Лефортовском дворце.

Выбор императором княжны из Рюриковичей должен был означать возвращение от петровского прецедента неравного брака и от становившегося принципа брака династического к заветам старины. Метафизически царь брачевался с самою Москвой — в знак возвращения царства на старое место.

На новом месте, в Петербурге, наступило долгое монаршее безбрачие — правление императриц. Фавориты. Морганатические мужья. Косвенное престолонаследие. Перевоороты. Смушенная подпись «Елизавет».

XVIII век. Любовный миф Москвы еще несколько раз определит себя как яузский, в том числе дважды — как царский. Еще не менее ста лет Яуза будет любвеобильна.

Одновременно на свет мифа выступают первые пары нецарственных любовников. Но как еще связаны с царской любовью!

Наталья Борисовна Шереметева успела бы разорвать помолвку с Долгоруким, братом опальной принцессы-невесты, однако предпочла разделить ссылку князя. Ссылка последовала через три дня после свадьбы.

Шереметева жила у брата, графа Петра Борисовича, на Никольской улице (№ 8). Несохранившийся дом соседствовал с сохранившейся во дворе церковью Успения. Из Сибири Долгорукая прибыла в братнее Кусково.

Александр Романович Брюс принадлежал тому же опальному клану из-за женитьбы на княжне Анастасии Долгорукой, но отделался понижением в чине. В царствование Елизаветы, овдовев, граф женился на возвратившейся из ссылки Екатерине Долгорукой. Бывшая принцесса-невеста умерла через год с небольшим после этой свадьбы. Александр Брюс жил на Никитской, в сохранившемся против нынешней Консерватории доме (№ 14) на углу Брюсова переулка.

Его знаменитый дядя Яков Вилимович Брюс умер в аннинские годы. А по легенде — еще в петровские. Предание о смерти графа вполне принадлежит любовному мифу. Рассказывали, что в надежде сделаться моложе Брюс приказал убить себя и воскресить живой водой. Исполнивший убийство ученик стал жить с разбившей склянки Брюсихой. Царь Петр дознал злодейство и казнил любовников, но чудодейственных сосудов не нашел. А сосудами самого про-

исшествия считались то Сухарева башня (стоявшая на одноименной площади), то мифический «дом Брюса» в яузской Москве, на Разгуляе (Елоховская улица, № 2).

Как будто первая любовная приватность даже не выделяется, а выламывается из народного тела. С увечьем, с закладом души или иной романтической драмой.

Влюбленная Салтычиха... — уже сильно сказано! — ...так вот, влюбленная в соседа по Теплому Стану, Николая Тютчева, Салтычиха посылала поджечь дом его невесты Панютиной и убить его самого на проселке; обошлось. В городе Салтычиха занимала квартал по Рождественке (№ 6), где теперь метро «Кузнецкий мост». Где жила в это время девица Панютина, нам неизвестно, но полвека спустя юный Федор Иванович Тютчев навещал бабушку на Арбате, в доме, сохранившемся перестроенным почти напротив пушкинского (№ 44).

Елизавета и Разумовский. XVIII век не даст частной любви количественного преимущества на поле мифа перед царской любовью. До конца столетия будет соблюдаться паритет той и другой даже в открытии новых аспектов мифа.

Так, именно царственные супруги и любовники той эпохи подавали пример неравного брака. Явного, как у Петра Великого с бывшей крестьянкой Скавронской, или тайного, как у их дочери Елизаветы, родившейся, кстати, вне церковного брака, с Разумовским — бывшим казаком, скотником и певчим Алексеем Розумом.

По одной из версий, этот брак был отпразднован в царском Рубцово-Покровском дворце на Яузе (улица Гастелло, № 44), а венчание имело место в церкви подмосковного Перова — дворцового села, подаренного Разумовскому. Церковь Знамения в Перове сохранилась (улица Лазо, № 4), а растрелиевский дворец утрачен. Перово можно считать периферией Яузы. Гидрографически раздельные, они сопряжены темами брака и самого присутствия Елизаветы, любившей и Перово, и Рубцово.

После венчания, как говорит легенда, императрица и Разумовский отстояли благодарственный молебен в церкви Воскресения в Барашах на Покровке (№ 26), где был придел Захария и Елизаветы. Прежде москвичи считали, что и само венчание случилось в Воскресенской церкви. Которая была увенчана короной, как раз и возбуждавшей воображение Москвы.

Соседний по Покровке дом князей Трубецких (№ 22), называемый домом-комодом, считался городским владением Разумовского и работой Растрелли. Видимо, именно популярное это предание удержало Трубецких-комод (ветвь рода стала прозываться по прозвищу дома) от переделки лучшего в Москве образца гражданского барокко. Свадебное торжество императрицы и Разумовского молва устраивала в том же доме. То есть дом-комод на Покровке и Рубцово-Покровский дворец заместительны в преданиях о тайном браке Елизаветы, как и Барашевская и Перовская церкви.

(Примечательно, что дальше по Покровке (№ 38) жил впоследствии другой фаворит Елизаветы — основатель Университета граф Иван Иванович Шувалов. Правда, он построился здесь позже своего «случая», уже в отставке, при Екатерине.)

Покровские ворота — пропилии Яузской Москвы, когда и если таковая Москва есть город любви.

Документальная история дома-комода по-своему вторит легендарной. Первым из Трубецких-комод был князь Дмитрий Юрьевич, купивший дом у его строителя графа Апраксина. Покупка компенсировала Трубецкому потерю родового кремлевского двора — последнего частного двора в Кремле, отошедшего при Екатерине под стройку Сената. За Трубецким из Кремля ушла последняя приватность.

Екатерина и Потемкин. Екатерина поначалу, в 1760-е годы — годы фавора Григория Орлова, бывая в Москве, делалась кремлевской и яузской жительницей одновременно. И в год коронации, и в год Уложенной комиссии Екатери-

на переезжала между Кремлем и Головинским дворцом. Предпочтения императрицы были подкреплены указами о построении там и там новых дворцов.

К 1775 году, когда Екатерина снова прибыла в Москву, дворцы готовы не были. Императрица поселилась в Пречистенском дворце (по тогдашнему названию Волхонки) — конгломерате из трех частных домов, соединенных по проекту Казакова временными залами и переходами. Сама императрица жила в доме Голицыных на углу Волхонки и Малого Знаменского переулка (№ 14/1), великий князь Павел Петрович — в доме Долгоруких (Волхонка, № 16), а древний дом Лопухиных, уже отмеченный на нашей карте (Малый Знаменский, № 3), был отведен дежурным кавалерам, читай — Потемкину, который и стал его владельцем на следующие двенадцать лет.

Екатерина и Потемкин провели в Москве весь 1775 год — второй год своего тайного брака, первый год кризиса этого брака. Видимо, именно в Пречистенском дворце Екатерина последний раз в жизни разрешилась от бремени (родившаяся девочка получила фамилию Темкина).

В то лето влюбленные присмотрели себе и дачу — имение Черная Грязь, тогда же приобретенное у князя Кантемира и ставшее Царицыно. Чета пожила и там: вечно дежурный генерал-адъютант Потемкин находился при императрице, во временных ее покоях, до наших дней не сохранившихся.

Капитальный Царицынский дворец был выстроен Баженовым в виде трех самостоятельных, равносторонних в себе и равных между собой корпусов, сгруппированных в треугольник. В этом решении нельзя не усмотреть принцип Пречистенского дворца с его тремя домами, тоже образующими треугольник на плане города. Соответственно обратным переносом три корпуса дворца в Царицыне прочитываются как предназначенные для Екатерины, Павла и Потемкина. Достаточное основание для сноса через десять лет, когда императрица прибыла принять Царицыно: подобная архитектура была теперь болезненным напоминанием давно прошедшего.

Царицыно есть знак, модель, проекция не Кремлевского, а занеглименского царского дворца. Когда-то, при Петре, палаты Лопухиных, родни царевича, стоящие в глубине Занеглименья, служили старомосковской оппозиции, но не фрондерской, а глухой — тайным противникам реформаторского Кремля и Петербурга. Теперь же эти и соседние палаты, сделавшись пристанищем самой короны, оказались, пожалуй, экстерриторией Петербурга против ветхого Кремля. Фронда и здесь была заглушена благодаря дистанции — и, главное, благодаря московскости Потемкина, словно бы принимавшего императрицу у себя дома. С Потемкиным Москва травестировала в мужской род, коль скоро Петербург с Екатериной оставался в женском. Несколько фрондировал, пожалуй, только отведенный для императрицы дом Голицына — как стоящий на возвышении рельефа и лицом к Кремлю, определенно видимому лишь из этой части компилятивного дворца.

Но как и в предыдущие приезды, Екатерина накануне церемониальных действий не избегала ночевать в Кремле. Такое позиционирование императрицы отвечало ее двойственному отношению к Москве. По-петербургски не любя Первопрестольную, Екатерина все-таки была народной, земской государыней, принявшей именно в Москве и от Москвы титулатуру «Мать Отечества». А в Занеглименье Екатерина, как когда-то Грозный, культивировала свою частность, перемноженную с частностью Потемкина.

Пречистенский дворец, за десять лет до постановки царственного жеста Пашкова дома, стал опытом возобновления средневековых импульсов и смыслов Занеглименья, опричного Арбата.

Царицыно же стало моделью этого Арбата — видимо, против Коломенского, означающего Кремль. Екатерина не любила Коломенское и разрушала его, как и Кремль, руками Баженова. Именно из Коломенского и с мыслью о бегстве из него было разведано село Черная Грязь — будущее Царицыно.

И все же эпизод 1775 года оказался слишком кратким, а Пречистенский дворец — заведомо недолговечным и слишком потаенным от Кремля, чтоб

стать в начале нововременского мифа Арбата. Знаменательно, что и Царицыно не было достроено и обжито. Оба места остались обещанием этого мифа, созревшего еще четверть столетия. Обещанием того, что московская любовь однажды предпочтет петровской Язуе грозненский Арбат. Будет ли это царская любовь — вот что оставалось неясным.

Миф не вызрел и через десять лет, при фаворе Мамонова, когда Екатерина не захотела знать Царицына, явно предпочитая Коломенское и Петровский дворец — старый и новый знаки Кремля.

Разумовские и Шереметевы. В конце столетия и в начале следующего на карте московской любви обособляется пространство, озаглавленное именами графов Алексея Кирилловича Разумовского — племянника елизаветинского фаворита, нового владельца Перова, и Николая Петровича Шереметева — владельца соседнего Кускова. Пространство, объединенное не очертанием на карте, а сюжетно. В этом сюжете московская любовь наконец отделилась от царской. И не просто отделилась, но изжила зависимость от нее, столь ощутимую в долгоруковском мифе аннинских лет. Для этого сама частность Разумовского и Шереметева стала царственной. Не было фамилий богаче этих, кроме императорской, а Разумовские своеобразно причастны и к ней.

Притом два героя были близкие родственники. Богатейший в России жених, Алексей Кириллович Разумовский взял за себя богатейшую в России невесту — урожденную графиню Шереметеву, Варвару Петровну, сестру Николая Петровича.

Но уже через несколько лет Разумовский от женил ее от себя и стал жить с девицей Денисьевой. Дети от этого союза получили при Александре I дворянство и фамилию Перовских — по названию все той же подмосковной. Из них Лев стал отцом Софьи Перовской, Анна — матерью графа Алексея Константиновича Толстого, а Алексей Перовский сам сделался писателем под псевдонимом Антоний Погорельский (по названию другой усадьбы Разумовского).

На Новой Басманной, бывшей частью парадного въезда в область Язуе, стоит собственный дом Перовских (№ 19). Он выстроен в 1819 году, то есть по возвращении Разумовского из петербургской службы и незадолго до смерти графа.

Сам граф и до, и после Петербурга тоже жил на Язуе, на Гороховом поле, как называлась нынешняя улица Казакова, в хрестоматийном для истории русской архитектуры доме (№ 18 — 20). Эта почти сельская усадьба в городе раньше принадлежала первому из Разумовских, Алексею Григорьевичу.

Алексею же Кирилловичу в разное время принадлежали еще другие городские дома.

Во-первых, Наугольный дом в начале Маросейки (№ 2), скоро оставленный оставленной жене.

Во-вторых, Наугольный дом на Воздвиженке (№ 8), задуманный, по-видимому, как архитектурное воспоминание о Маросейке. Новый дом, однако, вышел превосходней старого именно архитектурой (что и понятно, если согласиться с атрибуцией оной Николаю Львову). Алексей Кириллович строился рядом с отцом, графом Кириллом Григорьевичем (Воздвиженка, № 6). Их разделял переулок, но так как дом старого графа поставлен в глубине двора, то Наугольный дом казался его флигелем. До рубежа XIX века новый дом оставался недоделанным: владелец предпочел отцовской Воздвиженке дядину Язуу — Гороховое поле.

Давно замечено, что дом старого Разумовского на Воздвиженке и дом старого Шереметева в Кускове похожи, как вариации одного проекта: еще один знак взаимной заместительности двух семейств.

В городе старый Шереметев, как мы знаем, жил на Никольской. А именно, по обе стороны дальней от Кремля половины улицы, на нынешних участках № 8 — 10 и 17 — 19. На четной стороне (на месте дома № 10) Шереметев-

младший думал строить «Большой и красивый дом» — Пантеон искусств, в итоге воплотившийся Останкином.

Для основания семейной жизни граф тоже предпочел другое место: в исходе века Николай Петрович приобрел у Разумовских оба дома на Воздвиженке. Из которых Наугольный стал свадебным.

Москва как будто готовила Шереметева и Разумовского на одну роль в любовном мифе, чтобы однажды предпочесть тот или другой рисунок роли. Разумовский не разводился, а лишь обыкновенным образом жил и приживал детей на стороне, имея и законных наследников. Неженатый Шереметев жил с Парашей Ковалевой — крепостной актрисой Жемчуговой — до своих пятидесяти лет, когда задумался о законном наследнике.

Замечательно, что, умри Николай Петрович бессемейным, его наследство (только малая доля которого означена нам Кусковым и Останкином) перешло бы к сестре, а значит, законным чередом к тому же Разумовскому. Дублер остался бы один, с удвоенным капиталом и долгой жизнью впереди, чтобы так или иначе исполнить предначертание мифа.

Шереметев же после свадьбы прожил только восемь лет — может быть, потому, что Параша прожила только два года.

Наугольный дом на Маросейке, несмотря на старшинство, стал тенью Наугольного дома на Воздвиженке. В первом осталась графиня Разумовская, брошенная мужем ради счастья с некой девицей. Второй мог стать для графа Разумовского домом этого самого счастья, но не мог стать свадебным домом. А мифу необходима была свадьба — неравный брак. Оставив и второй Наугольный дом — теперь брату жены, — Разумовский уступил шурину эту роль.

Шереметев и Параша. Говорят, Кусково было вызовом Перову — негласной царской резиденции. То есть построено старым Шереметевым буквально *опричь* Перова. А городской дом старшего Разумовского, похожий на кусковский и приобретенный младшим Шереметевым, занимает часть квартала бывшего Опричного двора, возможно, жилую. Правда, обращенный к Воздвиженке, этот дом нейтрален по отношению к Кремлю. Зато новый, Наугольный дом, хоть и поставленный по внешней границе квартала, там, где был плац Опричного двора, развернут на Кремль ротондой с парадным крыльцом и балконом.

Николай Петрович Шереметев не только сделал московскую любовь частной, но и вернул ее, такую, в Занеглименье, перенес из петровской опричнины — Яузы — в грозненскую. Невидимые границы арбатского пространства вполне совпадают с межами опричного удела: от Кремля к западу до Москвы-реки и от Никитской к югу до реки же. Бунин назовет мир «переулков за Арбатом» «особым городом»: синоним опричнины! Наугольный дом, как когда-то Опричный двор, стоя навстречу Троицким воротам, открывает и представляет пространство Арбата перед Кремлем. И он же стал в начале арбатского любовного мифа Нового времени.

И не только любовного. Арбатский миф вообще есть миф выделенной земли. Выделенной для внегосударственного, часто антигосударственного, словом, интеллигентского (в веховском смысле слова) проживания. Опричина тоже была особой, выделенной землей. Опричный царь, скромно назвавшийся однажды Иванцом Московским, подчеркивал свою приватность, в том числе любовную. В Новое время любовная сюжетика стала виднейшим отправлением арбатской приватности. Каждый на Арбате — царь, живет один и только со своей любовью или в надежде на любовь, как давний Иванец Московский.

А домовладельческая фабула воздвиженских дворов есть указание метафизической связанности Шереметевых с опричниной. И не только с краткой исторической опричниной, но и с самим принципом опричности.

История Кускова и Останкина, к примеру, есть цепочка разобщений. Как само Кусково в пику Перову — так Останкино младшего Шереметева построено в пику Кускову, кроме, *опричь* него. Предпочитая отцовскому имению

имение из материнского приданого, граф Николай Петрович подвигался, как некогда опричный царь, от мужского к женскому, из Кремля в Занеглименье.

Прежние владельцы Останкина Черкасские — тоже, как мы видели, знаково опричная фамилия. Брат царицы Марьи Темрюковны князь Михаил Черкасский был главой опричной думы. Так что связь Шереметева с опричной буквально генетическая, и притом по женской линии. Приобретение воздвиженского дома стало для Шереметева, по сути, еще одним — видимо, неосознанным — возвратом к материнскому: попав в черту Опричного двора, граф попадал на древний двор Черкасских.

(Что до Останкина, то сам Иван IV завещал его своей четвертой жене Анне Колтовской, затем передал некоему немцу Орну, возможно, опричнику.)

Пара воздвиженских домов может считаться, в свою очередь, моделью пары подмосковных. В сущности, младший Разумовский начал строить Наугольный дом опричь соседнего отцовского. А младший Шереметев — если принять старый дом Разумовских за образ кусковского дома — закончил Наугольный дом как Останкино. В Останкине и в Наугольном доме равно царя Параша, всегда стесненная в Кускове. Как и Наугольный дом, Останкинский дворец был ориентирован на Кремль — просекой с кремлевской колокольней в перспективе.

Кусковский и старый воздвиженский дома суть памятники первых лет золотого века Империи, наставшего после Указа 1762 года о вольности дворянства. Отставленное дворянство возвращалось в отставленную Петром Москву, делая ее центром фронды. Престол же прочно пребывал в Петербурге, на фоне гражданского мира. Екатерина тонко чувствовала положение. Государыня всей земли столкнулась с фрондой в городе аристократии, в центре земли. Это не значит, что Москва стала опричниной. Это значит, что фронда не царское дело. Фронда как раз обычное дело земли, в том числе земской аристократии. Смысл опричнины был и в том, что, усвоив фрондерство себе, Грозный обезоружил аристократию.

Однако новое положение Москвы не было простым возвратом к земской старине. Внове было смешение княжеско-боярских и служило-дворянских фамилий в одно сословие, то есть невозможность противопоставить и столкнуть их. Внове было, наконец, существование Санкт-Петербурга.

Двойственность старого воздвиженского дома как знака происходит оттого, что имя Шереметев есть одновременно и нарицание земли, когда и если земля представлена боярством, — и собственное имя своеобразного удельного властителя. И если старый Шереметев соглашался быть скорее именем нарицательным, то у молодого было собственное имя.

Которое, с одной стороны, оставалось синонимом Москвы опричь Петербурга, а с другой — принадлежало личному другу наследника, позднее императора Павла Петровича. Недаром премьера Останкинского дома готовилась к его коронации. Можно сказать, Шереметев был замещением, маской Павла в Москве. Свадьба Шереметева (двухсотлетие которой приходится как раз на нынешний ноябрь) и гибель Павла в том же 1801 году стоят на одной черте, и это граница эпох. Если старый воздвиженский дом олицетворяет вольность дворянства, то новый, Наугольный дом принадлежит времени павловских ограничений этой вольности.

Но кто был Павел? При Екатерине — жертва узурпации престола. Закон стоял за ним, однако над Екатериной стояла благодать. Молодой двор был в точном смысле слова опричным по отношению ко Двору. Наследник сочувствовал конституционной фронде и масонам, а фронда и масоны — наследнику. Достигнув власти, Павел ментально остался в опричнине, не стал государем всей земли. В психологическом типе Павла узнается Иван IV второй половины царствования. Павел играл в первосвященника, как и Иван с его пародией на монастырь в Александровской слободе. Умалая вольность дворянства, Павел быстро вызвал фронду против себя и по-грозненски ответил на нее собственной фрондой, бежав из дворца. Михайловский замок был его опричный двор. Павел

выделил удельные земли, земли короны — в точном смысле опричнину. Она была уже не страшная, экономическая; но император мечтал и о рыцарском ордене вокруг своего трона, то есть о новой, опричной элите.

Кажется, что Павел бежал от материнского наследства к отцовскому, от женского к мужскому; но это только зеркальный эффект на выходе из зазеркалья женского царства. Павел действительно возвращался к мужскому, но к мужскому в себе, чтобы закрыть эпоху императриц, восстановить принцип династического брака и порядок престолонаследия, насадить древо Павловичей. Это естественным образом значит, что Павел шел к женскому, к полноте царской семьи. В которой царица была бы не более чем супруга царя. Но и не менее.

Шереметев своим венчанием с Парашей тоже бросил вызов земле. Земле, понятой вполне по-грозенски — как собрание аристократии, перед которым нужно держать себя удельным князем. Личное дело Шереметева простерто до границ его удела.

Знаменитейший неравный брак, брак Шереметева с Парашей, не был первым из неравных, но первым в мире частных лиц. И в этом качестве означил наступление эпохи частности на пороге XIX века. За этим перевалом открывается полная любовных огоньков картина города на век и два вперед. А те огни, которые остались позади, предстают вехами осмысленного чертежа.

Кремль (продолжение) и Китай-город. Любовь на Никольской улице, где жили до своих свадеб и Наталья Борисовна, и Николай Петрович Шереметевы, необъяснима, если не предположить как минимум экстерриториального присутствия опричности в земском Китай-городе, как максимум — его двоения.

По крайней мере иноземщина держалась в Китай-городе принципом экстерритории. Так держались, по определению, посольские дворы — Испанский, Панский и Английский. Последний, учрежденный в середине XVI века, занял палаты изначально иноземные — сурожских гостей Бобра, Вепря и Юшки, возможно, итальянцев (Варварка, № 4). Во время оно Английский двор управлялся из опричины. И любовная тема не заставила себя ждать: послы посредничали в сватовствах Ивана Грозного к Елизавете Тюдор и к Марии Гастингс.

Печатный двор (Никольская, № 15), не состоя в опричнине де-юре, де-факто был ее изнанкой в Городе. Первопечатник и его станок суть креатуры опричного царя. Новое время и печать везде являются об руку. Самость первопечатника как первого интеллигента рельефна на поверхности коллективного тела московского народа тех лет. Первопечатник был отторжен, изгнан земщиной, а не опричиной. Опричный царь нашел первопечатнику новое поприще в Литве, станок же переехал в Александровскую слободу.

Однако на Никольской улице Печатный двор не был так одинок в роли *иной земли*, как одинок был на Варварке двор Английский. Пожалуй, Никольская есть от начала до конца *иное* Китай-города — от Комедийной храмины на северной стороне Красной площади, от первого Университета там же (и Исторического музея на его месте), от типографии Новикова в Иверских воротах — до Славяно-греко-латинской академии, Печатного двора и книжных магазинов и развалов в конце улицы. Просвещение — еще один маркер опричности, лицедейство — еще один. То и другое — агентура Нового времени в Средневековье. Карты учебных заведений и театров будут сходны с картой любовью.

Для ясности еще раз возвратимся в Кремль. Первый опричный двор Ивана Грозного — царицын двор в Кремле — тяготел к Неглинной, к Троицким воротам. Сейчас это место Дворца съездов (не случайно связанного по идее и архитектуре с *Новым Арбатом*), а также часть квартала между Дворцом и кремлевской стеной. Постройки у стены по сторонам этих ворот словно надеются преодолеть ее, подменить крепостную стену своими внешними стенами или перелезть через нее; между стеной и этими постройками давно не стало ули-

цы, что совершенно против правил обороны. Словно господствующий ветер прибывает дома-корабли к берегу.

Так поставлен в середине XVII века Потешный дворец. При Грозном до места этого дворца достигал углом царицын двор. Аспекты ценности Потешного существенны в контексте нашей темы. Дворец, во-первых, выстроен для царского тестя — Милославского. Дворец — единственный, и это во-вторых, оставшийся в Кремле дом частного происхождения: знак, образ частности, ее былой возможности в Кремле. При том, что поведенческая частность есть демонстративная черта опричных государей. В-третьих, приобщенный позже к царскому двору, с которым сочетался переходом над кремлевской улицей, дворец и выглядел опрично. В-четвертых, он стал первым русским театром. Первая же потеха, поставленная в этом доме после приобщения к дворцу, была иносказанием любви царя ко второй жене, Нарышкиной. В-пятых, дворец был домом Сталина и в этом качестве причастен любовному мифу: именно в нем, насколько можно знать, погибла Аллилуева.

Как и Потешный, зримо дополнительна — опрична — по отношению к Большому Кремлевскому дворцу, и тоже соединена с ним теплым переходом, и тоже прымывает к крепостной стене Оружейная палата.

Наконец, у стены поставлена и главная кремлевская постройка времени Петра — Цейхгауз, или Арсенал, сей манифест Нового времени.

Трудно найти единое, единственное объяснение этим наглядностям. Археология гласит, что к первому из прамосковских поселений на маковце Кремлевского холма, еще до всякого упоминания Москвы, прибавилось второе, меньшее поселение на мысу. Это второе и есть земля под Оружейной палатой. Два поселения были обвалованы отдельно, оба вкруговую. Первая городская стена, долгоруковская, 1156 года, взяла их в общий очерк, оказавшийся каплеобразным. Именно меньший, мысовой двор следует определить как дополнительный, опричный к большему — поскольку младший. Однако он и стал с приходом князя княжеским, тем временем как старшее селение стало посадом. В этом смысле посад Москвы старше, чем государев двор, а государев двор изначально опричен по отношению к посаду. Действительно, княжеская администрация была для Москвы пришлой — и сразу противостала земле в лице полумифического Кучки. Ставшее посадом селение на маковце может отождествляться с одним из сел Кучковых. Только Калита перенес княжеский двор на маковец, и там же поместил митрополичий двор святитель Петр. Посад тогда впервые отступил к востоку, но еще не занял пространство будущего Китай-города. Скажем теперь: Большой дворец и Оружейная палата соотносятся как два начальных селения Кремлевского холма. Младшее из которых парадоксально стало старшим княжеским двором, а старшее — напротив, младшим.

Земля же под Потешным и под Арсеналом вошла в черту Кремля гораздо позже и совсем иначе: итальянские фортификаторы Ивана III «града прибавили» со стороны Неглинной, то есть нашли возможным выдвинуть стены на прихотливую береговую террасу.

И так же были выдвинуты к берегу Неглинной стены Китай-города. Как и в Кремле, в Китае между неглименной стеной и смежными домами — кварталом по Никольской улице — нет ни проезда, ни прохода. Линия стены со временем даже была перейдена зданием Городской думы (стоящим, в свою очередь, на фундаментах аннинского Монетного двора). Кремлевский ряд: Оружейная палата, Потешный, Арсенал... — продолжен в Китай-городе постройками Никольской улицы. Опричное двоение, усмотренное нами в черте Кремля, в его природе, усматривается — пока без объяснения — в природе и в черте Китая.

Шереметевы издавна распространялись по дальней от Кремля половине Никольской, то тесня Печатный двор, то наследуя князьям Черкасским, от которых получили и Останкино. Обе опричные фамилии маркируют Никольскую так же недаром, как и Воздвиженку. В XIX веке Шереметевы начали оставлять свои китайгородские места — то возвращать Печатному двору, то про-

давать в новые руки. Церковь Успения, когда-то смежная с одним из шереметевских домов, оказалась на подворье купца Чижова (Никольская, № 8). Кстати, эта церковь наследует приходской церкви Печатного двора, в которой освящались книги.

Любовь имела место на Никольской и после Шереметевых. В доме № 8 несколько времени жила возлюбленная Сухово-Кобылина Луиза Симон-Деманш.

А дальше по Никольской и по времени, тоже на бывшей шереметевской земле (№ 17), стоит гостиница Пороховщикова «Славянский базар» — место встреч Анны Сергеевны и Гурова из чеховской «Дамы с собачкой».

Но характерно и обратное: уход с Никольской Николая Шереметева, и успех его архитектурных планов здесь, и, в сущности, забвение Москвой этого локуса как шереметевского. Уход первопечатника той же природы: край Китай-города, как и опричный край Кремля, непригоден для устойчивой и наглядной фронды против самих же Китая и Кремля.

«Бедная Лиза». Брак Шереметева словно отвечал на карамзинскую «Бедную Лизу», написанную девятью годами раньше. Лиза, крестьянская дочь, бросается в пруд, обманутая дворянином Эрастом, который предпочитает жениться на ровне, притом с единственной целью — поправить дела. Постигшая «Бедную Лизу» немедленная популярность может значить, что Москва ждала истории с иным исходом; ждала неравного брака.

Карамзин с ударением замечает, что город, весь видимый от Симонова монастыря, развернут к месту действия повести *амфитеатром*. Тогда окрестность Лизина пруда — сцена Москвы, на которой, как Параша, выступает Лиза.

В сущности, Эраст взобрался на сцену из зала — из города. Остальные зрители сделали то же самое немедленно после окончания спектакля: Лизин пруд стал местом сентиментального паломничества. «Ныне пруд сей здесь в великой славе, — читаем в частном письме 1799 года, — часто гуляет около него народ станицами и читает надписи, вырезанные на деревьях, кои вокруг пруда».

Но что искали москвичи на сцене? «Везде [в надписях] Карамзина ругают, везде говорят, что он наврал, будто здесь Лиза утонула — никогда не существовавшая на свете. Есть, правда, из них и такие, кои писаны чувствительными, тронутыми сею жалкою историею». «Бедная Лиза» не первая беллетристика о московской любви — первой была повесть о Фроле Скобееве; но — первая в непрерывной с тех пор чередой дальнейших измышлений. Без которых невозможна карта любовного мифа следующих веков. «Мне казалось, — читаем в том же письме о посещении Лизина пруда, — что я отделяюсь от обыкновенного мира и переселяюсь в книжный приятный фантастический мир».

Сколь точна была рождавшаяся беллетристика в разметке московского любовного пространства, видно на том же примере. «Бедная Лиза» адресована на периферию тогдашней Москвы — в юго-восточный угол городской черты, к Симонову монастырю. Однако именно этот монастырь во время оно был взят в опричину. Как пишут, потому, что настоятель принадлежал кругу, точнее, кружку иерархов, поддержавших грозненское начинание. Но скорее потому, что монастырь был издревле великокняжеским, то есть входил в состав удела старших Даниловичей. Словом, Карамзин адресует свой любовный вымысел точно на опричный остров в море земщины, далеко за городской чертой XVI века.

«Марьяна роща». Повесть Карамзина, рисующая любовную жертву, безусловно соотносена со Сказаниями о начале Москвы. А «Марьяна роща» Жуковского прямо ставит себя в ряд этих Повестей. Причем в этом ряду она одна посвящена неглименскому устью — действительному началу Москвы. Боровицкий холм увенчан в повести уединенным теремом Рогдая, ищущего руки Марии, живущей за Неглинной и любящей Услава, живущего в Замоскворечье и отвечающего ей взаимностью. Кремль и Занеглименье показаны мужским и

женским соответственно. Возвратившийся из странствия Услад не находит любимую: она убита где-то на Яузе, в роще, Рогдаем, который затем и сам погиб, ввергнутый в реку конем. Роща получает имя Марьиной, Услад возводит в ней часовню. Любовная жертва предстает строительной.

Иная, народная история Марьиной рощи записана Евгением Барановым в книге «Московские легенды». Лакей Илья зарезал барина, который не дозволял ему жениться, так что избранница Ильи стала женой разбойника. Когда же Марья изменила ему с купцом, Илья зарезал и ее. Зарезал в подмосковной роще, в которой они перед тем промышляли и которая стала называться Марьиной.

Для нас важно еще, что исторически роща тянула к Останкину и в селе Марьине был летний дом Шереметева.

Погорельский. И фольклор, и сентименталистская и романтическая беллетристика о московской любви носят по преимуществу пасторальный характер. Дело происходит либо в прамосковские времена, когда и самый центр будущего города глядит деревней, либо у границы города. И Лизин пруд, и Марьиная роща находились на внешней стороне Камер-Коллежского вала. «Лафертовская Маковница» Погорельского приурочена к Проломной заставе.

В пограничном пространстве Проломной заставы, в деревянном домике умершей колдуньи по прозвищу Маковница (пять окон, светлица, рябина, колодец, куры), ее племянница Маша должна выбрать между женихами — котом-оборотнем Аристархом Фалалеичем Мурлыкиным, представителем наступающего романтизма, и юношей Уляном, наследником уходящего сентиментализма.

Для автора Москва есть город любви, во-первых, и на царской Яузе, во-вторых. Недаром Погорельский принадлежал семейству Перовских и, шире, Разумовских. Рассказ «Изидор и Анюта» адресован в Красное Село, когда-то дворцовое. Тихвинская церковь, в приходе которой происходит действие рассказа, сохранилась в неузнаваемом виде на нынешней Верхней Красносельской улице (№ 17а). Проходя через Москву с отступающей кутузовской армией, кирасирский офицер Изидор заезжает в Красное Село, следуя по Новой Басманной улице, то есть мимо будущего дома Перовских (а до войны на том же участке жил... Карамзин).

Погорельский пишет, что деревянный дом Изидора в Красном Селе можно было бы назвать хижинкой, если бы он не находился внутри города. Это, однако, дворянское жилище. Изидор находит дома мать и ее воспитанницу, свою невесту, Анюту. Обе остаются в городе на милость врага, и вернувшийся с армией герой умирает на необитаемом пепелище, подле человеческого черепа.

Любовная жертва остается темой литературы рубежа веков, а рубеж города и деревни остается ее пространством. Между городом и деревней заведомо легко поставить знак любовного неравенства, разлуки или невстречи.

«Муму». Поздним изводом этой старинной литературы стала «Муму», написанная в годы, когда карамзинская Москва готовилась уйти в прошлое. До селе город охотно принимал сельские картины в свою черту, а пасторальные названия, подобные тургеневской Остоженке, служили точной подписью к таким картинам. Перечитывая «Муму», обычно удивляются открытию, что дело происходит в Москве. Автор называет Остоженку одной из дальних улиц. Хотя сейчас это самый центр города, усадьба Тургеневых (№ 37) по-прежнему выглядит вполне сельской. Вскоре за ней выше по Москве-реке начинались луга, а за рекой — лесистые Воробьевы горы. Перечитывая повесть, делаем еще то открытие, что история собаки составляет лишь вторую часть повествования, первая часть которого есть история любви Герасима к дворовой девушке Татьяне. Жертвой Муму, в сущности, символизирован отказ героя от Татьяны. Москва-река — фольклорная река Смородина — принимает жертву. Тургенев,

как когда-то Шереметев, привел сентименталистскую любовь в район Арбата, дальним углом которого всегда была Остоженка.

Пока эта дорога не стала городской улицей, то есть до конца XVI века, на ней лежало великокняжеское село Семчинское. Церковь Семчинского стояла рядом с домом Тургеневых, и может статься, что этот дом наследует место великокняжеских хором. Грозный взял село в опричину, и это тем более естественно, что из Семчинского заправляли стадной частью государева хозяйства. Тургенев маркировал южные узлы московского опричного удела — Семчинское и Крымский брод, а также южную границу впольной, хозяйственной периферии этого удела — Москву-реку выше брода, как плыл Герасим.

Шереметев и Пушкин. Как свадьбы Грозного — пролог, а свадьба Шереметева — начало, так свадьба Пушкина есть центр арбатского любовного мифа.

Шереметев и Параша обвенчались в церкви Симеона Столпника, что за Арбатскими воротами, на Поварской (№ 5). Оттуда к Наугольному свадебному дому ведет Воздвиженка — Арбатская улица времен опричнины. Если бы не явление Пушкина через тридцать лет, путь Шереметевых из церкви домой сделал бы Воздвиженку стержнем арбатского мира, а сами дом и церковь могли бы стать центрами этого мира. И мифа.

Симеоновская церковь мала, зато стоит в центре арбатского пространства, у Арбатской площади, тогда как Большое Вознесение — на границе ареала.

Что до Наугольного дома, то на роли архитектурной заставки Арбата и манифеста противокремлевской фронды он, конечно, не соперник ни дому Пашкова, ни «новому» дому Университета, который делит с шереметевским двором квартал двора Опричного; но благодаря всем трем домам Арбат зачинался от Неглинной и в этом зачине прочитывался на древний лад — как Занеглименье, из Кремля видимое и на Кремль развернутое.

А Пушкин, провезя молодую жену из церкви у Никитских в свадебный дом у Смоленских ворот, в конце тогдашней и нынешней улицы Арбат (№ 53), сделал стержнем арбатского мира именно эту улицу, а сам этот мир развернул — прочитал от Смоленской. Занеглименье в таком развороте слилось с Кремлем в одно, как перед взглядом въезжающего в Москву с запада. Так видел Бонапарт: Арбат, Воздвиженка и забаррикадированная Кутафья в перспективе радиуса были равно враждебны пришлецу.

Способность разворачиваться то от лица Кремля, то против него есть древняя военная привычка, даже обязанность Арбата. Это знал Пожарский, стоявший здесь одновременно против тех поляков, что подступали с запада, и тех, что сидели в Кремле.

Шереметев и Пушкин — два лица Арбата, смотрящие в разные стороны.

Пушкин (продолжение). Что Пушкин нашел жену в приходе Большого Вознесения и венчался в этой церкви (Большая Никитская, № 36), город помнил всегда. Но только с возобновлением здесь службы оказалось, что церковь стала актуальным, функциональным центром московского любовного мифа: молодые хотят венчаться здесь. Церковь служит угловой заставкой арбатского пространства в его современном очерке — как мира ушедшего за бульвары и лежащего с севера на юг, а не с востока на запад.

Сколь настоятелен и провиденциален этот выбор для Москвы, видно из того, сколь провиденциально настоятельным он был для самого Пушкина. В 1826 году Александр Сергеевич безуспешно сватался к своей дальней родственнице Софье Федоровне Пушкиной, проживавшей, как и Гончаровы, в приходе Большого Вознесения — на Малой Никитской, в сохранившемся доме № 12.

Арбат, как холм кроме или против Кремля, всегда искал себе главный храм. Арбат военный, например, полагал таковым церковь Бориса и Глеба, стоявшую посередине ареала, на Арбатской площади. Храм Христа Спасителя есть итог этого поиска, и странно и парадоксально, что Арбат, особенно ин-

теллигентский, не признал его своим. Арбат любовный, в частности, предпочел церковь у Никитских ворот. До возведения храма Спасителя она была и попросту крупнейшей в арбатском ареале (за исключением, конечно, некоторых монастырских соборов).

На ту же роль в постановке арбатского и вообще московского любовного мифа пробовалась, как мы знаем, церковь Симеона Столпника. Кроме Шереметева и Параши, «у Симеона» венчались (в 1816 году) Сергей Тимофеевич Аксаков и генеральская дочь Ольга Семеновна Заплата.

Кремль (продолжение): Толстой. Лев Толстой обвенчался с Софьей Андреевной (в 1862 году) в кремлевской церкви Рождества Богородицы, что на Сенях царского дворца: отец невесты служил по дворцовому ведомству, и семья Берсов жила в Кремле. Сейчас это древнейшая церковь города, она основана святой Евфросиньей (великой княгиней Евдокией Донской), которую мы считали первой по времени заметной женщиной Москвы.

Венчание Толстых в Кремле так трудно представимо потому, что Кремль есть ареал царской любви. Венчальный свет толстовской свадьбы растворен в ослепительном свете древних царских бракосочетаний. Что особенно странно в рассмотрении интеллигентской природы жениха.

Меж тем Толстой еще по крайней мере дважды приводил любовную тему в Кремль, а именно в Сенат, в зал заседаний Окружного суда. Здесь слушались дела Катюши Масловой и о двоемужестве Лизы Протасовой; здесь наложил на себя руки «живой труп» Федя Протасов. Можно сказать, в отсутствие царей именно Лев Толстой поддерживал и длит кремлевскую любовь, пусть и на заниженном уровне юридических разбирательств.

Пушкин (продолжение) и Екатерина (продолжение). Так проясняется феномен церкви Большого Вознесения: Москва Нового времени, лишенная возможности устраивать и видеть бракосочетания царей, устраивает и наблюдает бракосочетание царя поэтов и царицы красоты.

С историей венчания Пушкина и Натали конкурировала еще старинная история Елизаветы и Разумовского. Этим воспоминанием старая Москва дорожила именно в силу царственности невесты. Пожалуй, романтическая аура перешла к церкви Большого Вознесения от коронованной церкви Воскресения в Барашах. Перешла поздно, в продолжение XX века, пока в обыденном сознании история тайного брака императрицы делалась петербургской. Такая переадресовка облегчалась тем, что церковь у Покровских ворот в советское время была обезглавлена и при этом буквально развенчана — лишена короны. Можно сказать, эта корона чудится теперь над церковью Большого Вознесения.

Нынешнее здание Вознесенской церкви возведено по замыслу и завещанию тайного мужа другой императрицы — Екатерины. Более того, Потемкин завещал для этой стройки один из своих дворов.

Притом сам Пушкин хотел венчаться почему-то в домово́й церкви князя Сергея Михайловича Голицына. Воспретил митрополит Филарет, указав на приходскую церковь невесты — Большое Вознесение. Голицыну принадлежал тот фамильный дом на углу Волхонки с Малым Знаменским переулком (№ 14/1), который уже был отмечен нами — как часть Пречистенского дворца Екатерины, чей роман с Потемкиным прошел здесь через точку зенита.

И еще: посаженной (заместительной, ряженой) матерью на свадьбе Пушкина была родственница светлейшего князя Таврического, которой посвящены шуточные строчки Александра Сергеевича: «Когда Потемкину в потемках / Я на Пречистенке найду...»

Другому фавориту Екатерины, Римскому-Корсакову, принадлежал — правда, много позже его «случая» — длинный ряд домов на Тверском бульваре (№ 24 — 26). Иван Николаевич был представлен Екатерине самим Потемкиным и, как писал Щербатов в трактате «О повреждении нравов в России», «преумножил бесстыдство любострастия в женах». Фаворит был отставлен,

когда открылся его роман с Екатериной Строгановой — той самой, к которой обращены слова Вольтера: «Я видел солнце и вас». Графиня последовала за опальным в Москву, бросив мужа и сына; любовники жили в строгановском Братцево. Корсаков умер только в 1831 году, и Пушкин успел несколько раз навестить его на Тверском бульваре с расспросами.

Любовные истории Екатерины Великой — преимущественно петербургские, и Москва все время ищет эту вырванную из своей истории страницу.

Ищет больше всего вокруг Никитских ворот, где не один Потемкин. Легенда называла дом № 4 в Гранатном переулке домом последнего екатерининского фаворита Платона Зубова. На самом деле домом владел его племянник, тоже Платон. По соседству, между этим переулком и Малой Никитской улицей, стояли дворы братьев Орловых, оставленные им отцом. Братья построили на улице церковь Георгия на Всполье. В XIX веке на Малой Никитской поселился внук Екатерины и Григория Орлова граф Бобринский. Ему принадлежал тот дом, где проживала прежде Софья Пушкина, отвергнувшая руку своего славного родственника.

Итак, только тончайший флер, пыльца екатерининских фаворов — и Пушкин рядом. Он словно восполняет городу нелюбовь Екатерины.

Пушкин (продолжение) — и Белый и Блок. Как и Большое Вознесение после возобновления, свадебный дом Пушкина после музеефикации открыл в себе новое качество — оказался центром свадебного ритуала: новобрачные от Большого Вознесения едут к нему. Муниципальная власть, со свойственными ей в равной степени безвкусицей и чуткостью к запросу публики, отметила начало и конец пути изваяниями пары Пушкин/Натали.

Когда в соседнем доме (№ 55) родился и бурно пожил Борис Бугаев (Андрей Белый), о свадебном адресе Пушкина было известно очень приблизительно: его искали и на Пречистенке, и на Арбате; Пушкин не значился в церковных книгах своего прихода, он переехал в Петербург, прожив на Арбате всего три месяца.

Так что мемориальная квартира Белого, прожившего в ней двадцать шесть лет, приписана к музею Пушкина недаром: с Белым энергия места, не развернутая в полной мере Пушкиным, вышла наружу. Вышла своим боком, оформилась в богемность и салон.

Белый и Маргарита Морозова — до появления в ее жизни Евгения Трубецкого... Белый и Петровская — с Брюсовым в третьей вершине треугольника... Белый и Менделеева — в треугольнике с Блоком... Белый и Ася Тургенева — его первая жена...

Взглянем иначе. Из предпоследнего квартала по Арбату Пушкин и Гончарова уезжают в Петербург, где их отношения будут достроены до треугольника с Дантесом. Когда же из Петербурга в Москву приезжают Блок и Менделеева, то в предпоследнем квартале по Арбату их отношения достраиваются до треугольника с Андреем Белым.

Блок и Любовь Дмитриевна остановились тогда у Сергея Соловьева-младшего на Спиридоновке (№ 6), в виду церкви Большого Вознесения. Их зимний путь в конец Арбата к Андрею Белому был вычерчен по пушкинскому февральскому следу.

А в последний свой приезд, уже в Москве советской, Блок и сам остановился на Арбате, в доме по другую руку от пушкинского (№ 51).

Дом с барельефами, или Парнас дыбом. В жизни любого москвича наступит минута, когда ему передают тайну о доме посреди арбатских переулков, где есть скульптурный фриз, трактуемый, как русские писатели фривольничают с дамами. А если посвящаемый уже достиг шестнадцати, ему скажут: это веселый дом. Что вряд ли верно. Иногда добавляют: дом не так легко найти, а те, кто видели его однажды и нечаянно, промахивались, когда шли искать.

Дом с барельефами (Малый Могильцевский переулок, угол Плотникова, № 5/4) — популярная достопримечательность Москвы, альтернативный дому Пушкина центр современного Арбата. То есть центр профанированного арбатского мифа.

Что нам известно точно? Только что домовладельцем был кандидат коммерческих наук Бройдо, архитектором — Николай Жерихов, строивший вокруг Арбата много и, как правило, получше, а годом стройки — 1907-й.

Еще припоминают, что Иван Цветаев отверг предложенный неким Синаевым-Бернштейном, скульптором, фриз под названием «Парнас» для фронтона Музея изящных искусств. Процессия из полусот фигур (по описанию известны трое русских: Тургенев, Гоголь и Толстой) шла к Аполлону и музам на Парнас по случаю раздачи венков славы.

Если перед нами отвергнутый шедевр, то, честно говоря, причины отвержения так же наглядны, как и причины общей безвестности Синаева-Бернштейна. Это Парнас дыбом. Отмечают, правда, что Толстой изображен скульптурно в первый раз, причем прижизненно, но тем и закрывается список достоинств фриза.

В простонародном чтении синаевские музы превратились в девок, и могло ли быть иначе? Насколько эта простота интерпретации традиционна, видно — точнее, слышно — не сходя с места. Дом с барельефами украшает квартал между Большим и Малым Могильцевскими переулками; известная нам церковь Успения на Могильцах составляет смежный квартал, ограниченный, в частности, Мертвым переулком (нынешним Пречистенским). И вот, как в нашем веке с веселыми синаевскими образами, в прошлом веке москвичи играли с этими печальнейшими звуками. Простонародная игра передалась и пишущей аристократии. У Сухова-Кобылина Тарелкин говорит: «Найму квартиру у Успения на Могильцах, в Мертвом переулке, в доме купца Грובהва, да так до второго пришествия и заночую». «Грובהв» — это слишком лобово, но ведь и Мертвый переулок происходит именем от господина Мертваго. Чехов в рассказе «Страшная ночь» не отметил среди здешних домовладельцев господина Грובהва, зато поставил по гробу в каждой квартире, посещаемой рассказчиком Панихидиным: у Упокоева, живущего в меблированных комнатах Черепова, у доктора Погостова в доме статского советника Кладбищенского и у самого Панихидина в доме чиновника Трупова.

Теме смерти положено рифмоваться с любовной. Последняя в случае с домом Бройдо тоже карнавалено перевернута (наблюдение краеведа Алексея Митрофанова). И перевернута тем убедительней, что дом считается таинственным и настоящим сердцем местности. В двусмысленном ваянии Синаева и в однозначной этого ваяния интерпретации Арбат — земля любви, личного счастья и общения великих с музами — объявлен местом, куда великие попросту ездят к девкам, а приватность обернулась свальностью.

Дом Мельникова. Знаменитый дом в Кривоарбатском переулке (№ 10) — метафизически последний частный дом старой России и Москвы, физически построенный уже в Москве советской. Принадлежит он и арбатскому мифу — мифу об отдельности (опричности) русской интеллигенции и земли ее проживания. Принадлежит и любовному: в чертеже сего двухцилиндрового снаряда принято усматривать сцепление обручальных колец.

Парадоксальным образом Константин Мельников придумал для окончания старых мира и мифа дом, зачинающий новые мир и миф. Дом, по-новому фрондирующий старой частностью, шокирующий ею. Даже не дом — снаряд, с которым частность ушла в миф, в небо. Но не в этом ли снаряде и вернулась?

Когда иностранцы объявляют мельниковский дом центральной достопримечательностью города Москвы, они не догадываются, что этим полаганием по-опричному предпочитают Арбат Кремлю. И что переменяют представительский фасад Арбата, его заставку, отнимая эту роль и у Пашкова дома, и у дома Пушкина.

Малый Арбат. У Пушкина в «Дубровском» Маша, обвенчанная с князем Верейским, уезжает из отцова Покровского в мужино Арбатово. (Посередине лежат Кистеневка Дубровского и Кистеневский лес, где любовник с оружием в руках надеется остановить эту неумолимую механику.) Покровское в романе — место юношеской благодатной любви, Арбатово же — для безблагодатной, но законной брачной жизни. В словах Маши: «Поздно — я обвенчана» — ключевое слово: «поздно». Так Опричный двор стоял в исходе счастья Грозного. Так и воздвиженский Наугольный дом стоит в исходе, а не в начале шереметевского счастья. Свадебный дом для Шереметева и Параши, давно бывших вместе, стал главным образом частью завещательного оформления дел. И мог стать местом смерти, если бы чета не вернулась в Петербург. Так и свадебный дом Пушкина ничего не знал о прежнем донжуанстве квартиранта, но был ледяной формой наступившего семейного долженствования, кажется, безблагодатного, и заповедной верности. Венчание Пушкина сопровождалось самыми дурными предзнаменованиями, и сегодняшние молодые специально усиливаются не уронить кольца или свечи в церкви Большого Вознесения.

А мир у Покровских ворот, где дом-комод Трубецких, мир под елизаветинской короной Воскресенской церкви, мир над Чистым прудом — облюбован иначе. На Арбате и Патриарших запад, закатный вечер — у Покровских ворот восходная рань (наблюдение моего студента Константина Сиротина).

Рано и в Яузской Москве. Покровские ворота в любви причастны петровской Яузе не только потому, что открывают путь в нее, но и потому, что Елизавета и Разумовский хронологически принадлежат яузскому утру московского любовного мифа.

Но Покровские ворота отмечены царями задолго до елизаветинского утра — кромешной, опричной ночью. Популярное краеведение обыкновенно забывает приписать эти места к грозненскому уделу. Меж тем в знаменитом указе 1565 года, за очерком границ, улиц, селец и слобод опричного клина на Посаде, в Занеглименье, следует: «А слободам в опричнине быть Ильинской под Сосенками, Воронцовской, Лышиковской». Это слободы вне Посада, в тогдашнем загороде. Вместе они образуют большую полосу земли от Чистого пруда вдоль нынешних Барашевского и Подсосенского переулков, поперек улицы Воронцово Поле, вдоль Земляного Вала и за Яузу, до Лышикова переулка.

Лышикова слобода окружала Покровский княжий (удельный) монастырь, память о котором хранит теперь одноименная церковь (Лышиков переулок, № 10).

Воронцово поле вошло в опричину потому, что было царским загородным летним домом. Там «летовал» еще Иван III. Предполагают, что следы дворца нужно искать на внешней стороне Земляного Вала, разрезавшего Поле, а именно на месте архитектурно знаменитой Найденовской усадьбы (№ 53 по улице Земляной Вал).

Наконец, Ильинская слобода «под Сосенками» обслуживала этот дворец и, может быть, государев двор вообще. Как именно обслуживала, можно догадаться, найдя на ее месте Садовую и Барашевскую слободы XVII века. Вторая была слободой царских шатерничих — барашей.

Церковь, давшая Ильинской слободе имя, упомянута первый раз еще в XV веке как Илья под Сосной, а с начала XVII века именуется как ныне — Введенской, что в Барашах. Она сохранилась и видна от Покровки в створе Барашевского переулка, на его углу с Подсосенским переулком (№ 8/2). В XVII веке впервые упомянута и вторая церковь слободы — та самая Воскресенская, впоследствии известная своей короной и стоящая прямо на Покровке, углом Барашевского переулка.

Воскресенская церковь окормляла живших у Чистого пруда в Земляном городе. Имя «Чистые пруды» и синонимичное ему «Покровские ворота» маркируют окружность с центром на самом пруду и у самих ворот, а потому едва ли годны для обозначения всего пространства малой опричины, для которой Чистый пруд был краем. Сквозной артерией малой опричины служит, пожа-

луй, Подсосенский переулок; но лучшее имя подсказывает близлежащий переулок Малый Арбатец (ныне Дурасовский). Предположение в копилку академического знания: Малый Арбатец и значит «малая опричина», «часть удела». Здесь не отдельная этимология, а перенос имени Арбат, случившийся, пока оно было синонимом Удела на западе Москвы. Кстати, в современном городе Чистые пруды слывят «вторым Арбатом».

(Арбатецкие улицы существуют также за Крутицким подворьем. Может быть, они маркируют землю соседнего с подворьем князьего Симонова монастыря, состоявшего, как мы знаем, и в опричнине, — землю «Бедной Лизы». Что до самого Крутицкого подворья, то церковь Богородицы на Крутице упоминается в духовных Ивана Красного и Дмитрия Донского как определенно княжая.)

Можно сказать, что историческая малая опричина к востоку от города, на склоне, географически принадлежавшем уже яузскому стоку, стоку ближней, нижней Яузы, была предчувствием и предварением, пространственным и временным, петровской, средней Яузы, Яузской Москвы.

Рядом с Барашевской Введенской церковью еще в XVII столетии стояли особые царские хоромы: государи приезжали сюда к службе на память св. Лонгина Сотника, одного из покровителей своего дома. Лонгиновский придел есть в церкви и теперь.

Видимо, представление о царственности, особой отмеченности старшей Барашевской церкви перешло в Новое время на младшую с ее короной, а память особых царских палат подле старшей сказалась в представлении о тайной царственности и дворцовом характере дома Трубецких, стоящего в ансамбле с младшей церковью.

Дом Трубецких — припоминание и образ царского дворца в удельной слободе. Тени Елизаветы, Разумовского и придворного архитектора Растрелли держались здесь древнейшей почвы.

Только ночь опричины эти двое претворили в утро XVIII века.

Потемкин тоже явился в Малом Арбатце, приобретя склон Воронцова поля от одноименной улицы до Яузы, но, увы, не застроив его.

Вообще любовь у Покровских ворот должна быть утренней вне связи с веком. Летописцами Покровских ворот даже во времена декадентские должны быть не декаденты.

Таков Куприн. Москва романа «Юнкера» — это мороз, и солнце, и кровь с молоком. На Чистых прудах юнкера назначают свидания благородным девицам. На льду Чистопрудного катка юнкер Александров, alter ego Куприна, предлагает Зиночке Большевой руку и сердце и получает согласие.

Другой раз, прежде того, «в субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать». Церковь под короной в романе открывает путь на Язу.

На Гороховой, в бывшем доме Алексея Кирилловича Разумовского, помещался пансион, где жил ребенком Александров — как и сам Куприн. Возле этого пансиона в романе живут и принимают кавалеров девицы Синельниковы. Дом Синельниковых у Куприна — еще один, поздний любовный адрес Москвы Яузской. Есть и другой — церковь Межевого института в Гороховском переулке (№ 4), где венчается, да не с Александровым, Юля Синельникова.

На Яузе, в Лефортове, располагался еще Кадетский корпус, из которого, и тоже подобно Куприну, был выпущен герой романа, чтобы подобно Куприну же поступить в Александровское юнкерское училище на Арбатской площади. Так что Покровские ворота служат в книге перевалом с Яузы на Арбат и наоборот. Перевалом пути, не раз отмеренного молодым военным шагом. Причем на стороне Арбата точкой старта назначается Большое Вознесение: «Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения... „Давайте, — сказал Венсан, — пойдем, благо времени у

нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды»».

Дыхание купринских «Юнкеров» позаимствовано для фильма «Сибирский цирюльник» вместе со сценой царского парада на Соборной площади и многими деталями. Удивительно, что исполнитель главной роли и прежде был замечен на Чистых прудах, на катке: здесь он нашел свою любовь в фильме «Покровские ворота».

В фильме тоже легкого дыхания. В фильме, размечающем пространство Малого Арбатца от Прудов до Найденовской усадьбы, в парке которой снята финальная больничная сцена.

А двор из фильма «Покровские ворота» снят у ворот Пречистенских, на одноименном бульваре, во дворе дома № 15. То есть в Арбате. Тринадцать лет назад автор этих строк, стоя с девушкой в подворотне соседнего дома № 13 (памятного плакатом «Отдыхайте на курортах Крыма»), видел и слышал неутомимого Савранского, который несколько раз и в самые неподходящие моменты проехал на мотоцикле сквозь арку в обоих направлениях. Впрочем, с извинениями.

Эпилог. В строительный сезон 2000 года в Замоскворечье возвели два наугольных дома — на углу Лаврушинского переулка с Кадашевской набережной и на углу Погорельского и Щетининского переулков. Обе постройки недвусмысленно восходят к шереметевскому дому на Воздвиженке. Позволительность такого тиражирования не наша тема. Наша тема — любовный миф Москвы. Тираж Наугольного свадебного дома Шереметева в безлюбой вечной земщине Замоскворечья что-нибудь да значит. Облюбование Москвы продолжается.

«ЗОВИ ЗНАКОМЫЙ ОБЛИК МОЙ...»

Публикуемое стихотворение было обнаружено в архиве Пушкинского дома. Этот донныне неизвестный текст — своего рода «видимая нить»¹, связующая два имени — Константина Случевского (1837 — 1904) и Владимира Соловьева.

Об отношениях одного из самобытнейших русских поэтов и замечательно-го русского философа мы знаем не так уж много. По свидетельствам дочери Случевского, в последние годы жизни Соловьев бывал в имении ее отца, в Уголке, посещал его поэтический кружок «Пятницы К. К. Случевского». Само же знакомство их относится, по-видимому, к середине 1895 года, когда по поручению Академии наук Соловьев написал отзыв о книгах Случевского. В 1896 году эта рецензия была напечатана. Осенью того же 1896 года Соловьев завершил другую статью о Случевском — «Импрессионизм мысли», задуманную уже по собственному почину и вскоре появившуюся в апрельском номере журнала «Cosmopolis» за 1897 год. Эта статья, по сути, — апология поэзии Случевского. «Случайные погрешности» не мешают Случевскому «обладать редким уже ныне достоинством настоящего поэта и быть одним из немногих еще остающихся достойных представителей „серебряного века” русской лирики», утверждал Вл. Соловьев и ругал «невнимательных друзей», не указавших поэту на некоторые «досадные недосмотры»². Не удивительно, что вскоре он предложил Случевскому «свои посильные услуги». Готовность взять на себя редакторский труд в ходе издания собрания сочинений Случевского Соловьев объяснял просто: «...я достаточно ценю Ваш талант и достаточно вхожу в интересы русской литературы»³.

Автограф стихотворения Случевского к Соловьеву был найден как раз на корректурном листке шмуцтитула первого тома «Сочинений» Случевского, вышедшего в свет в апреле 1898 года. До сих пор были известны лишь стихотворения Соловьева, посвященные Случевскому и датированные тем же годом: «Отзыв на „Песни из Уголка”», появившийся в мартовском номере журнала «Книжки недели» и написанный 18 июня в имени С. П. Хитрово, в Пустыньке, «Ответ на „Плач Ярославны”». Эти стихи словно обрамляют совершенное Соловьевым неожиданно для близких (он даже не успел захватить попрощаться с матерью⁴) второе путешествие в Египет.

Как свидетельствует стихотворение Случевского, созданное накануне этого отъезда, поэт был в курсе соловьевских планов посетить не только Египет, но и Палестину. Свой отъезд Соловьев планировал на конец марта 1898 года⁵, но и 1 апреля 1898 года он все еще находился в Москве⁶. Лишь в середине апреля он в сопровождении Э. Радлова добрался до Каира⁷. Однако суровая дей-

Публикация и предисловие *Елены ТАХО-ГОДИ*.

¹ Цитата из стихотворения «Другу гуманисту» Вяч. Иванова, одного из ценителей поэзии Случевского.

² Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 9. 2-е изд. СПб., стр. 83.

³ Тахо-Годи Е. А. Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне. СПб., 2000, стр. 162. Подробнее об отношениях Соловьева и Случевского см. стр. 154 — 168.

⁴ См. его письмо к матери: Соловьев Вл. Письма. Т. 2. СПб., 1909, стр. 67.

⁵ См. его письмо к Н. А. Макшеевой от 11 февраля 1898 года: там же, стр. 327.

⁶ См. его телеграмму к М. М. Стасюлевичу: Соловьев Вл. Письма. Т. 4. Пб., 1923, стр. 74.

⁷ См. его письмо к М. М. Стасюлевичу от 14 (26) апреля 1898 года: Соловьев Вл. Письма. Т. 1. СПб., 1908, стр. 144 — 145.

ствительность заставила философа-идеалиста отказаться от путешествия в Палестину: его невероятная расточительность — по свидетельству Радлова, Соловьев давал после обеда лакеям на чай золотые пятирублевки — привела к тому, что на задуманное путешествие денег у него не осталось. Тем не менее, как писал С. М. Соловьев, «Соловьев вернулся в Россию бодрый и освеженный. Он привез с собой несколько египетских жуков и маленьких мумий, которых раздал родным и знакомым»⁸. Может быть, среди этих знакомых был и Константин Случевский...

Влад. Серг. Соловьеву, перед отъездом его в Палестину:

Когда в степях, где жгутся скалы
Огнем полуденных лучей,
Где загорались идеалы
Его божественных речей —

Ты будешь странствовать — пред очи
Зови знакомый облик мой
В молчанье Палестинской ночи
С ее холодной росой.

Пусть отдохнет он хоть немного...
Я не поверю ни за что,
Чтобы в живом созданье Бога
Мой облик был совсем ничто,

Чтоб он не принял впечатленья
Степей, где Бог наш обитал,
И чтоб оттуда освеженья
Не ощутил оригинал?

28 марта 1898.

⁸ Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997, стр. 338 — 339.



О П Ы Л Т Ы Л

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

*

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Заметки на полях журнала «Искусство кино»

Макет. Принято говорить, что, поскольку рубеж тысячелетий пришелся не на круглую дату — 2000, а на неприметную — 2001, не состоялся запланированный вселенский праздник. Но он не состоялся, может быть, по той простой причине, что большинство населения Земли, в календаре которого наступило третье тысячелетие, довольно смутно представляло себе, что же именно оно собралось праздновать. Редакция журнала «Искусство кино» представила себе это совершенно отчетливо, что и позволило ей подготовить чрезвычайно интересный номер, разнообразный и глубокий — глубокий как раз в силу ненасильственного разнообразия. Этот номер (2000, № 12) посвящен 2000-летию христианства, 2000-летию от Рождества Спасителя мира: объемному изображению современного кино и современного человека, но взятых не самих по себе, а на срезе двухтысячелетней традиции и истории.

Сделана попытка на примере высказываний разных людей — более или менее близких искусству кино, более или менее близких церкви и вере — представить картину христианства сегодня. Эта картина состоит из лиц, но не из портретов. Очень и не слишком знаменитые люди говорят о том, какими они видят самих себя, отразившихся в зеркале веры и христианской культуры. Здесь есть слова мирян, воцерковленных и нет, слова священников разных христианских конфессий, здесь есть актеры, режиссеры, философы. Почти весь журнал — это прямая речь, но есть и три очерка — три имени, без которых нельзя представить современную нам культуру и кино: Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Ингмар Бергман. Макет журнала состоит из пяти разделов: «Образ веры» — беседы с актерами и режиссерами об их личном отношении к христианству и церкви. «Имена» — три уже мною упомянутых очерка. «Экранный опыт» — мнение священников о современном кинематографе. «Христианство в культуре» — философские и культурологические эссе. «Чтение» — отрывок из сценария Ольги Нагдасевой «Глупцы. Московский чудотворец, „студент хладных вод” юродивый Иван Яковлевич Корейша» с предисловием Юрия Арабова. Каждый из этих разделов интересен и сам по себе, но именно вместе они создают искомую полифонию.

Личина и лик. Церковь всегда относилась к актерству с недоверием. И странно то, что во всем номере эта тема как-то не подчеркнута, не обострена (за одним исключением, но о нем особо). То ли обе стороны, участвующие в разговоре, постарались вести себя максимально учтиво и не говорить о больном, то ли все поменялось и церкви и священству уже не кажется, что кино и театр — особо греховные занятия. То есть они, наверное, как были греховными, так и остались, но только остальные к ним существенно подтянулись, и то, что театр начинает прямо с того, что требует от человека отказаться от

Губайловский Владимир Алексеевич — поэт, эссеист. Родился в 1960 году. Окончил мехмат МГУ. Постоянный автор «Нового мира». (См. его статью о современной поэзии в № 2 с. г.)

своего лица и заменить его неопределенным множеством личин, перестало так сильно бросаться в глаза. Более того, протестантский пастор Александр Федичкин («Выйти за церковную ограду») говорит: «Мы показываем американский фильм 70-х годов „Иисус“ Пола Эшлмана по Евангелию от Луки. Этот фильм используется нами как экранизированное Евангелие», а католический священник: «„Евангелие от Матфея“ Пазолини — для меня подлинный шедевр религиозного кино. Образ Христа в моем сознании такой, каким его представил Пазолини» (из эссе о Стефана Каприо «Свои пределы»).

Сергей Хоружий («Практика себя») пишет:

«Аскеза — это „практика себя“, есть такой современный антропологический термин. Это предельно творческий подход, но прежде всего — к собственной внутренней реальности. Ты что-то с ней делаешь, очень продуманно, очень творчески, но с ней. И выражается это в трансформации ее же. Соответственно это не эстетическая деятельность, хотя и искусство: одно из самоназваний аскезы — умное искусство. И артистизм здесь не то что показан — необходим. Однако сфера, в которой он реализуется, — не внешняя, но внутренняя человеческая реальность.

В каком-то смысле ближе всего к этому актерское искусство. Оно тоже есть внутреннее вылепливание себя. Но целевые установки другие. И потому издревле существовала антитеза между церковью и актерством. Именно актерское, театральное искусство, лицедейство рассматривалось как прямо противоположное, даже враждебное аскетическому, церковному пути. Причина понятна: ты занимаешься той же работой, вылепливаешь какие-то, в терминах нашего разговора, энергичные образы, но совсем не те, что ведут по Лестнице духовного восхождения. Помимо того, сомнение вызывало и воплощение, разыгрывание иных, чужих личностей, надевание чужих, да еще сменяющихся масок — здесь, как опасались, расточается уникальность собственной личности и судьбы, утрачивается собственная духовная идентичность. В большой мере эти сомнения и опасения — тенденции архаичного религиозного сознания, тяготеющего к языческой парадигме сакрализации. Действительные отношения театра и с христианством, и с духовными практиками тоньше и сложнее.

Возьмем, к примеру, актерскую систему Михаила Чехова, который сумел соединить актерство с духовной практикой определенного — антропософского — типа. Но это Михаил Чехов, гениальный актер. И синтез достигнут им был далеко не сразу. Сперва он научился быть вполне актером, потом он научился быть вполне антропософом, а потом он научился соединять то и другое. Обычному человеку каждой из этих задач хватило бы на целую жизнь».

То есть можно потренироваться вылепливать себя снаружи, а потом перейти к внутренней практике, времени, правда, может не хватить.

Впрочем, я полагаю, Сергей Хоружий прав. Никакого особого противостояния у кино и христианства сегодня нет. Во всяком случае, оно не больше, чем, скажем, у христианства и литературы.

Настоящий артист всегда узнаваем, узнаваем в любом парике и костюме, в роли комической или трагической он всегда один и тот же. И в этом смысле можно видеть в творчестве актера не отказ от единственного лица, а доказательство этой единственности, может быть, доказательство от противного. Утверждение сущностного единства вопреки видимой множественности.

Если сравнить кино и литературу, то это, думаю, два противоположных вида творчества. Литература работает со словом, но добивается она прозрачности текста, за которым проступает видимый образ. Литература идет от искусства чтения, искусства складывать буквы в слова, а слова в повествование и описание. Литература начинает работать с левым полушарием мозга, ответственным за логико-символическое восприятие, но включает правое — образное. Если этого не происходит, то литература так и останется набором букв. Кино напрямую адресуется к правому полушарию, и его задача ровно обратная — разбудить невывезанную мысль. Если этого не произойдет, перед нами останется набор бессмысленных картинок. Только включив в работу оба полушария, добившись полноты мыслительной деятельности, можно получить в

результате объемный и осмысленный образ. То есть цель литературы — заставить видеть то, о чем она пишет, а цель кино — заставить думать и вербализовать то, что оно показывает. Им друг без друга не обойтись.

Кино — искусство реального времени, и, по-видимому, его задача развернуть временную горизонталь и время остановить. И в этом, как мне кажется, оправдание искусства кино — в попытке показать момент вневременности, момент остановки текущего бытия, в попытке заставить его застыть. Если взглянуть на кино с такой точки зрения, если оно действительно в пределе ставит перед собой подобные задачи (а мне кажется, так и есть), никаких вопросов к нему у христианства и церкви быть не должно. Не к конкретным решениям — здесь все может быть очень по-разному, а к кинематографу как к жанру.

Образ веры. Вера — дело личное. В отношении человека и Бога никто третий не допущен. Поэтому путь к Богу или без Бога может пройти только сам человек, и никто ему в этом не помощник и не помеха. Человека можно подвести к барьеру, можно увести в сторону, если он позволит, но взять барьер за него не может никто, это надо делать «на практике».

Слова каждой беседы и каждого очерка — об этом. О необходимости или невозможности, о притяжении к или отвращении от веры. Последовательность приводимых бесед самая демократичная — в алфавитном порядке от Юрия Арабова до Альберта Филозова. Нигде не указаны регалии и заслуги говорящих — здесь все равны, и у каждого есть право на высказывание, на мнение и сомнение. Переключки и антифоны возникают ненавязчиво и случайно. Но они очень интересны как раз своей ненарочитостью.

Юрий Арабов («Свой среди чужих») говорит:

«Художнику, писателю с христианским сознанием сегодня приходится быть подобно разведчику Штирлицу на вражеской территории — в фашистском мундире, застегнутом на все пуговицы, а с изнанки приколот орден Трудового Красного Знамени. Вроде бы он на вражеской территории свой, и тот термин знает, и этот, и про постмодернизм тоже. Но если снимет свой мундир, его сразу же арестуют, растопчут, убьют. И этот наряд все время приходится носить...

А идеальным местом, где можно встретиться с человеком и поговорить о чем-то важном, остается церковь. Я думаю, во многом из-за этого сейчас туда и приходят.

Т. Иенсен [интервьюер]: Только из-за возможности поговорить о важном? А как же общая молитва, причастие, участие в евхаристии?

Ю. Арабов: Ну это же понятно, как. Через таинства, через причастие Святой Дух нисходит. Я просто хочу наш разговор вести в светских терминах, потому что это будет опубликовано в журнале, где все будут читать».

То есть надо оставаться в застегнутом на все пуговицы вражеском мундире. В словах Арабова есть какая-то неуверенность, какая-то шаткость. Тем не менее это — путь. Петляющий, не прямой, извилистый, но путь. Если продолжить аналогию со Штирлицем, то приходится признать, что человек, который постоянно носит форму врага, вынужден научиться думать на чужом языке. Для героического разведчика — это победа, для художника — это почти самоубийство. Язык художника — это то единственное, что ему на самом деле принадлежит, то единственное, ради чего и чем он живет и выживает, а если язык чужой, наступает неизбежная коррозия и разложение собственного творческого мира.

А по поводу «идеального места для общения» говорит Светлана Проскурина («Предельно просто»): «...братство прихожан заканчивается в храме. Это довольно странные отношения. Не такие уж лучезарные, как может показаться, не плохие и не хорошие, просто отношения другого порядка. Общая молитва так много дает, что почти нет потребности с кем-то увидеться просто так, прийти домой попить чаю. Мы очень редко перезваниваемся. Максимум, что мы можем себе позволить, — это совместные трапезы в храме по большим праздникам. И то едим всегда молча, после молитвы православным людям за столом лучше не разговаривать».

Юрий Арабов говорит о тотальной прагматике мира, о невозможности абсолютной морали в этом мире. Для него это мучительное состояние.

А для Кшиштофа Занусси («Он знает — почему») это не только хорошо и нормально, но и единственно возможно: «Когда я слышу выражение „христианские ценности“, мне хочется ему противостоять... Но можно ли говорить о христианских ценностях, если христианство — это религия, то есть способ понимания ценностей, которые существуют независимо от этого понимания. Ценности сами по себе неизменны и в равной мере значимы для всех людей на Земле. Верность, любовь, добро абсолютны. Эти ценности не являются принадлежностью определенной религии, она дает им только свою особую трактовку, по-своему объясняет их происхождение и назначение. Добро христианина, мусульманина и атеиста — это, в сущности, одно и то же добро. Но для кого-то добро — это прежде всего семья, для кого-то — справедливость. И так с любым ценностным понятием — религия претендует не более чем на право интерпретации и построение собственной иерархии, системы ценностных приоритетов. Я всегда очень боюсь попыток абсолютизировать интерпретацию и превратить ее в ценность как таковую».

В высшей степени политкорректное высказывание. Но это и есть так не любимый Арабовым (и не только им, конечно) рациональный прагматизм и та самая релятивность морали.

То, что любовь и добро абсолютны и в то же время никак совершенно не связаны ни с верой, ни с церковью — то есть полностью имманентны, пытались доказать многие. Не самую, может быть, теоретически выверенную, но, безусловно, самую знаменитую попытку предпринял Лев Толстой.

Все три толстовских романа заканчиваются выводом морального императива. В «Войне и мире» Пьер Безухов говорит, что хорошие люди должны объединиться, чтобы противостоять злым. А то злые — организованные, а хорошие какие-то несобранные. Собрать! Построить! в правильные ряды! И всем вместе строгим строем — на защиту добра!

Так что добра не домаршируешь. А до чего домаршируешь, мы, к сожалению, очень хорошо знаем.

В «Анне Карениной» Левин додумался до другой «простой» мысли: «все знают», что надо жить не для «брюха», а для Бога, — в понимании героя — для другого, для добра². Зыбкость этого толстовского положения как раз в том и заключается, что это «все знают». А если бы не знали? Если бы иудеи и мусульмане думали иначе? Если бы нашелся хотя бы один человек, думающий

¹ «— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. Ведь так просто.

— Да.

— А ты что хотела сказать?

— Я так, глупости.

— Нет, все-таки.

— Да ничего, пустяки, — сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой, — я только сказать про Петю: нынче няня подходит взять его от меня, он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне — верно, думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прошай! — И она пошла из комнаты» («Война и мир», эпилог 1).

Не мог, конечно, величайший русский роман закончиться словами Пьера — так, как заканчивается фильм Сергея Бондарчука. Иначе Толстой был бы не Толстой, а «Война и мир» — не «Война и мир». Толстой называет слова Пьера «самодовольными» и сразу же дезавуирует. Последнее слово остается за Наташей. И следующая — последняя — сцена романа — сон Николеньки Болконского, сон, который мучительно напоминает сражение призрака прошлого с призраком будущего, как назвал революцию Владимир Набоков.

² «Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я с намека понимаю его! И я и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, воем неясным языком говорящие тоже, — мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что хорошо. Я со всеми людь-

не так? Что бы изменилось? Для Левина — все. Мысль потеряла бы убедительность всеобщности. Фактически в рассуждениях Левина причина и следствие переставлены местами. А если следовать христианству, всеобщность добра такова не потому, что все это знают, а все это знают, потому что это так, независимо от того, есть ли сомневающиеся или нет. А Кшиштоф Занусси фактически повторяет слова Левина.

В финале «Воскресения» Толстой делает еще одну попытку ответить на вопрос «что есть добро». Нехлюдов, читая Евангелие от Матфея, открывает «простую» истину³. Беда в том, что нет и не может быть двух людей, которые одинаково понимают один и тот же текст, и никогда два человека не сделают одного вывода из него. Однозначность прочтения Евангелия следует вовсе не из самоочевидности евангельских истин, а из конкретного мистического опыта, который приводит человека прямо в церковь и через ее посредство — к трансцендентным обоснованиям земного существования, а Толстого это не устраивало. Он искал нравственную аксиоматику здесь и сейчас.

Возвращаясь к словам Занусси: «Верность, любовь, добро абсолютны», — можно сказать: да, они абсолютны, но только в том случае, когда гарантированы Абсолютом. Отсутствие этой гарантии в конечном счете приводит не к тому, что реализуются разные взгляды на мир, что правомерны разные системы отсчета, а к тому, что равноправны любые. В том числе и прямо противоречащие друг другу. А значит, не существует ни одной сколько-нибудь приемлемой.

Но Занусси оказывается тем не менее человеком верующим.

«Л. Карахан: Можно ли сказать, что зло вписано в Божественный замысел?»

Кшиштоф Занусси: Это искусительный вопрос. Но, знаете, я его не боюсь, потому что с самого начала привык к мысли, что Бог для меня непонятен, и я не ожидаю от Него, что Он объяснит мне Себя. От этого, наверное, мне бывает неудобно жить, неудобно, что зло есть. Но если Бог так решил, Он знает — почему».

Это, конечно, отговорка. От Занусси не требовался ответ философа или теолога о сущности и причинах зла в мире. Лев Карахан спрашивает его, конкретного земного человека, как он (не кто-то другой, не человечество) может верить в Бога, если в мире столько зла.

На вопрос о зле каждый человек отвечает для себя, и ответы эти не отличаются особенным разнообразием. Например, очень часто говорят, что в мире все уравновешено, и если бы не было зла, то и добра бы не было. А так их

ми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом — оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий.

Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет следствие — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем.

А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его! Какое же может быть чудо больше этого?»

³ «Мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей.

Прочтя Нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидел в этой проповеди не отвлеченные, прекрасные мысли и большею частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые заповеди, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожались все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — Царство Божие на земле». Толстому очень хотелось, чтобы мысль, лежащая в основе правильного мироздания, была обязательно «необыкновенно проста», хотя, может быть, более реально предположить, что она просто невыразима.

примерно пополам, и этим достигается гармония мира. Это, можно сказать, бытовое манихейство.

Блаженный Августин показал довольно убедительно, что зло не субстанциально. То есть зло не существует само по себе. Зло — это умаление добра⁴. Творец дает человеку свободу воли, делает человека самостоятельным в своих решениях и потому ответственным за них. О. Стефан Каприо говорит: «Бог не вмешивается. И это самая существенная догма христианской веры: Бог не вмешивается в свободу человека».

При такой интерпретации зло — необходимое условие свободы, а значит, для Творца свобода человека важнее, чем сопутствующее ей зло. Но человек всегда волен выбрать добро, то есть предпочесть действительно сущий свет несуществующей тьме⁵.

В разделе «Образ веры» есть высказывания очень разные. И глубокие, и наивные, и вполне ортодоксальные, и прямо атеистические, но самое сильное впечатление на меня произвела уже упомянутая беседа «Предельно просто» с кинорежиссером Светланой Проскуриной. Здесь действительно все очень просто, внятно и однозначно, так, как хотел Толстой.

«Все было предельно просто и естественно. Бабушка была воцерковленным человеком и нас с самого детства брала с собой в церковь. Это было частью семейного уклада».

«А что касается выхода из кокона детской, домашней веры, тут тоже все произошло довольно естественно. Нам просто дали волю поступать как угодно».

«Я давно дала себе зарок никогда не говорить о Боге с невоцерковленными, неверующими людьми. Это не приводит ни к чему, кроме разочарований, горечи и чувства бессилия».

«Мне в церкви хорошо... Но жизнь в церкви — это тяжелый труд. И если человек готов потрудиться, ему не станут помехой непривлекательные стороны церковной жизни... Церковь — живой организм, со своими проблемами и недостатками. Но для меня в храме нет уже ничего, что бы меня отталкивало, раздражало».

«Приход в храм — это тяжелый и очень ответственный путь к тому, чтобы научиться разговаривать с Богом, ничем не оскорбляя Его, слышать Его, надеяться на контакт с Ним, надеяться, что получишь могучее внутреннее руководство».

«...сказать старушке, сделавшей замечание: „Простите меня“, — мне очень легко».

«А какой длинный день после службы! Я ненавижу рано вставать, у меня вся жизнь — ночью. Но когда преодолеваешь себя, встаешь и идешь в половине седьмого на раннюю литургию, город такой отмытый, такой утешительный».

⁴ Например, Блаженный Августин, «Исповедь», кн. 7, § 18.

⁵ «Если в самом деле человек есть некое благо и не может поступать правильно, если не захочет, он должен обладать свободной волей, без которой не может поступать правильно. Но оттого, что благодаря ей также совершаются и прегрешения, конечно, не следует полагать, что Бог дал ее для этого. Следовательно, поскольку без нее человек не может жить праведно, это является достаточной причиной, почему она должна быть дарована. А что она дана для этого, можно понять также и из того, что, если кто-либо воспользовался ею для совершения прегрешений, он наказывается свыше. Что было бы несправедливо, если бы свободная воля была дана не только для того, чтобы жить праведно, но и для того, чтобы грешить. Ибо каким же образом было бы справедливо наказание того, кто воспользовался волей с той целью, для какой она и была дана? Теперь же, когда Бог карает грешника, что же, по-твоему, иное Он тем самым говорит, как не: „Почему ты не воспользовался свободой воли для той цели, для какой она была дана, то есть для праведного поведения?“ — Далее, как то, что сама справедливость предназначается для осуждения прегрешений и почитания праведных поступков, было бы благом, если бы человек был лишен свободы волеизъявления. Ведь то, что не сделано добровольно, не было бы ни грехом, ни праведным поступком. А потому и наказание, и награда были бы несправедливы, если бы человек не обладал свободой воли. Однако и в каре, и в награде должна быть справедливость, поскольку это одно из благ, которые происходят от Бога. Таким образом, Бог должен был дать человеку свободную волю» (Бл. Августин, «О свободе воли», кн. 2, § 1,3).

«Н. Сириля: Вера питает ваше творчество?»

С. Проскурина: Творчество вообще невозможно без веры... Создавать новую реальность невозможно без стремления туда, вдаль... В искусстве нужно быть смелым, верить, что все получится, делать все, на что способен, и тогда Господь управит и хватит сил состояться. И так во всем. Не важно, печешь ты пирог, любишь мужчину, собаку или занимаешься кино, пишешь книжку — всегда ощущается эта мощная поддержка. Когда я почувствовала ее, это изменило мою жизнь».

Удивительно конкретно — и просто-просто. Но это, конечно, та простота, которая достигается не только тяжким трудом прихода в храм, но и ежедневным мужеством жить в гармоническом согласии с верой в себе и безверием мира, ведь Проскурина не носит вражеского мундира. Такое же отношение к вере и церкви встретилось мне в журнале еще только однажды — в очерке актрисы Валентины Теличкиной «Тихий путь». Это разные пути — но их объединяет религиозный опыт детства, а он невосполним.

Завидовать им бессмысленно. Завидовать можно жирному куску славы или власти, но внутреннему покою и глубинной стройности завидовать невозможно, потому что ты просто не можешь себе представить ни что это, ни сколько это стоит, ни даже способен ли ты это вынести.

Впрочем, путь самого Блаженного Августина другой. Он скорее похож на путь современного обращенного интеллигента.

Художник и вера. Противоречие между искусством и религией слишком явное, чтобы его можно было обойти молчанием. Оно многократно формулировалось. Главное, в чем обвинялось искусство религией, — в подмене подлинного мира мнимым, в неизбежном искушении и прелести. Главное, в чем обвинялась религия искусством, — ограничение свободы творческой личности. В этом вечном споре, который, как очень многое в нашей культуре, начат Платоном, были все градации близости — отчуждения: от попытки отождествить искусство с религией или показать, что искусство — его собственная часть, или показать, что религия — это форма искусства, до обнаружения полной пропасти между ними, абсолютного несовпадения ориентиров и императивов.

Сергей Аверинцев пишет в своем изящном эссе «Было дело в доме Симона»: «В свете его (человека верующего. — В. Г.) опыта „творческий“ субъект религиозного философствования, может быть, и помогший когда-то решиться на обращение, выглядит теперь как неисправимый, пожизненный дилетант в делах веры, не верующий, а так, любитель (dilletante) религии, как бы растянувший для себя промежуточный период прихода к вере на всю жизнь; неисправимый вечный катехумен, который в глубине души знает, что предпочитает движение цели и не очень торопится стать оседлым жителем Земли Обетованной».

Или не может. Я думаю, такой взгляд верующего человека на художника полностью оправдан. Художник — самый свободный из людей, это человек, которому досталось почему-то больше свободы, чем остальным. Это и есть его дар. Но свобода художника — это сильнейшая перемешанность света и тьмы. Его внутренний мир — это «взвесь светотени». Он постоянно находится перед труднейшим моральным выбором, то есть в том мучительном состоянии, в которое нормальные люди попадают не так часто. Его внутренний мир, если говорить математическим жаргоном, — сильно неравновесная система. Это позволяет художнику моделировать и переживать чужие страсти как свои — он подвижен, потому что неустойчив. Он способен проживать яркие вспышки прозрений и провалы в абсолютную черноту. Художник — человек в большей степени богоставленный, чем другие.

Если так смотреть на вещи, то вообще-то не очень удивляет совершенно потрясающий факт, который приводит Игорь Золотусский в очерке об Андрее Тарковском («Вина и жертва»):

«Шел, кажется, 1965 год. Я жил тогда во Владимире, Тарковский там же снимал „Андрея Рублева“. Об этом много говорили в городе. Ходили слухи о том, что киношники поджигают коров, предварительно облив их бензином. И что это нужно им для того, чтобы нагляднее показать татарские зверства. Горящих коров я не видел, зато видел горящий во время съемок Успенский собор».

«Владимир стоит на вершине холма, с которого открывается панорама делящей изгиб Клязьмы, приречных лугов и начинающейся за ним Мещеры. На холме красуются белокаменный кремль и два древних собора: Дмитровский — XI века и Успенский — XII. Стены и иконостас Успенского собора расписаны Андреем Рублевым и Даниилом Черным. И именно их фрески и иконы, воспетые в фильме Тарковского, могли сгореть в огне. Я уж не говорю о самом храме, порчу которого не смог бы оправдать никакой кинематографический шедевр...»

«Когда я оказался на соборной площади, пожарные уже заканчивали свое дело. Но дым все еще струился, и стоящий внизу народ клял кино и киношников».

Художник — человек, может быть, более ущербный и недостаточный, чем обычный житель Земли. Его свобода дается ему по очень дорогой цене. И единственное, что он на самом деле может, — преодолеть эту свободу. Иногда он делает это с такой страстью преодоления, с такой энергией заблуждения, что главным становится не то место на лестнице подъема к благодати, которое он на самом деле занимает, — оно всегда довольно низкое, а та скорость, с которой он по ней движется. Захватывающая скорость восхождения, когда движение цепляет и тащит вверх все, что попадает под руку, — а попадают-ся-то все больше низкие истины (те, что на его ступеньке). Вектор скорости может быть направлен и вниз — в сторону полного исчезновения в непроходимой темноте, и зрелище этого падения и самоуничтожения может быть завораживающе величественным и поучительным не менее проповеди. Но движение, действие — это только моменты его биографии, а в обычной повседневности, «быть может, всех ничтожней он». Я вообще убрал бы смягчающее пушкинское «быть может». Но нельзя забыть, что опыт, который способен дать творчество, — это чистый опыт свободы. А этот опыт, может быть, важнейший для человека, если ради его свободы все и затевалось.

Для любого человека этот опыт свободы, который в творчестве предельно обострен и отрефлектирован, очень важен. Каждый человек проецирует это движение на себя, и иногда его состояние совпадает с вектором скорости, который задает художник. Именно этим, по-видимому, и объясняется то, что поэтов и актеров до сих пор не перетопили в помойном ведре, как слепых котят. Хотя они, конечно, не котята — слишком много сил, слишком велика энергия падения.

Реплика в диалоге. Эти мои заметки — только еще одна реплика в вечно длящемся диалоге. Я скажу о себе, о собственном отношении к вере, вместо выводов присоединив свой голос к говорящим. В стихотворении Давида Самойлова «Пестель, поэт и Анна» есть такие строки:

Тут Пестель улыбнулся. — Я душой
Матерьялист, но протестует разум. —
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»
.....
Он эту фразу записал в дневник⁶.

⁶ «Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. Mon cœur est matérialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refusé. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (А. С. Пушкин, из кишиневского дневника, 9 апреля 1821 года). (Сердцем я материалист, говорит он, но мой разум этому противится. — франц.)

Разум — о котором Константин Аксаков сказал: «Ты нашел не беспредельность, но расширенный предел», — разум — извечный проводник материализма и рационализма, разум — источник методологического сомнения, к которому всегда апеллируют при выяснении того, что первично, и это он-то — «протестует»? Но так ведь и есть. А сегодня только так, на мой взгляд, и может быть. Мир без веры, без Бога — некорректен и вырожден. Он не то что релятивен, это-то ладно, но он принципиально не допускает никакой ни старой, ни новой рациональности — он не разумен. Пространство может быть бесконечномерным, аттракторы странными, количество степеней свободы неограниченным, связи нелинейными, но должны существовать системы координат, должно существовать само фазовое пространство, в котором работают правила логического вывода, иначе мир распадается в пыль, растекается радужной жижицей.

С тех же самых позиций, с которых Лаплас устраняет Бога как ненужную гипотезу, с позиций современного научного знания, я уже не могу без этой гипотезы обойтись. Я натываюсь на непроходимую стену бескачественной пустоты, и то пространство, в котором я чувствую себя более-менее уверенно, сжимается, как шагреновая кожа.

Я приведу только один пример.

«Как свидетельство перемен процитируем торжественное заявление, с которым выступил в 1986 году сэр Джеймс Лайтхилл, бывший в то время президентом Международного союза теоретической и прикладной механики. „Здесь я должен остановиться и снова выступить от имени широкого всемирного братства тех, кто занимается механикой. Мы все глубоко сознаем сегодня, что энтузиазм наших предшественников по поводу великолепных достижений Ньютоновой механики побудил их к обобщениям в этой области предсказуемости, в которые до 1960 года мы все охотно верили, но которые, как мы теперь понимаем, были ложными. Нас не покидает коллективное желание признать свою вину за то, что мы вводили в заблуждение широкие круги образованных людей, распространяя идеи о детерминизме систем, удовлетворяющих законам движения Ньютона, — идеи, которые, как выяснилось после 1960 года, оказались неправильными” (Lighthill J. The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamic. — Proceedings of Royal Society, 1986, p. 35 — 50).

В весьма редких случаях эксперты признают, что на протяжении трех веков заблуждались относительно сферы применимости и значения той самой области, в которой они работают! Детерминизм, долгое время казавшийся символом научного познания, в настоящее время сведен до положения свойства, справедливого только в ограниченном круге ситуаций»⁷.

Конечно, это беспрецедентное заявление. Лайтхилл говорит как раз о движении планет, о том самом движении, чья абсолютная стройность и строгость и привели Лапласа к его выводу.

Физика вышла из XX века куда менее самоуверенной и самодовольной, чем вошла в него. Но ее место — место панацеи, спасительницы мира — уже заняли биология и генетика. Теперь они полны амбиций. Но я думаю, что судьба генетики будет той же, что и физики, в конце концов. И она придет к тому неизбежному сомнению, к которому пришла сегодня физическая наука.

«...чем дальше от чистой техники, от исполнительства и чем ближе к кардинальным проблемам творчества и культуры, тем больше бесплодия и тревожной нужды в новой ориентации, новых родниках. Корни этого — в происходящем с человеком, в антропологической ситуации: идут новые, резко антропологические процессы, они разрушают классические европейские пред-

⁷ Стенгерс Изабелла, Пригожин Илья. Время. Хаос. Квант. К решению парадокса времени. Перевод Ю. А. Данилова. М., Издательская группа «Прогресс», 1999, стр. 96 — 97.

ставления о человеке, гуманистическую модель человека, и именно здесь, в представлениях о человеке, в понимании происходящего с ним, необходимо радикальное продвижение» (Сергей Хоружий, «Практика себя»).

Жить в мире, не имеющем никаких серьезных поводов существовать, наверное, можно и вполне комфортно. Но делать это сегодня несравнимо труднее, чем сто лет назад. Можно оставить науке решать локально-точные задачи. Можно оставить искусству его страстное желание перебить все горшки и складывать мозаики из черепков. Можно. Если удастся побороть тупую тоску солипсизма, тоску исчезающей личности перед несуществующим миром. Если удастся не думать. Впрочем, у многих это неплохо получается.


Если правильный выбор невозможен, то лучше совсем не выбирать, не додумывать до конца опасные мысли, не опускаться на темную глубину. И тогда страх становится главным героем сегодняшнего дня. Страх человека перед миром, перед людьми, перед самим собой. Этому посвящен самый поразительный фильм последних лет, который я видел, — фильм Джузеппе Торнаторе «Простая формальность». Это фильм о преодолении страха. Человек (писатель, в исполнении Депардьё) должен вспомнить, что произошло с ним вчера. И не может вспомнить. Ему кажется, что его подозревают в убийстве, а он не может оправдаться. Он пытается бежать, пытается вырваться — он сильный и смелый человек. Но все его попытки бессмысленны, потому что тот, кого он убил, он сам. И только тогда, когда он понимает это, он видит наконец, где находится, и только тогда он может покинуть это место — то ли полицейский участок, то ли чистилище. Тогда кончается ночь, кончается дождь и открывается удивительной красоты горный пейзаж. Но посмотреть в глаза себе оказывается так же страшно, как заглянуть в револьверное дуло, изрыгающее в лицо огонь и свинец. Это невозможно тяжело, это самоубийственно, но без этого нельзя. Это — единственный выход. Но сегодняшний человек, как придонная рыба, боится света.

«Какая дорога правильная, отче? — спросил он наконец. — Как распознать ее среди других дорог?»

— Если движешься в том направлении, в котором твой страх растет, ты на правильном пути. И помогай тебе Бог»⁸.

Но ведь страх-то растет! И похмелье от несостоявшегося праздника еще тяжелей, потому что нет у него оправдания. Так что лучше возьму я пива побольше, усядусь в кресло и буду, как овощ, смотреть бесконечные фильмы с Джулией Робертс и Брюсом Виллисом, которые мои дети с завидной регулярностью притаскивают из видеопроката. Так-то спокойней оно и прелестней.

⁸ Милорад Павич. Последняя любовь в Константинополе. Девятый ключ: Отшельник. Толкование. Перевернутая карта: одиночество, тоска. Бесполезный совет.



ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



ФОРМА И СТРУКТУРА В ИСКУССТВЕ ЗВУКА И СЛОВА

Есть форма, а есть структура. Первую слышно невооруженным ухом, поскольку ее временной масштаб — секунды и минуты. Вторую без аналитического микроскопа не ухватишь; она существует в мерках долей секунды и не обязательно в виде сплошного процесса, но иногда в точечном рассеянии.

Форма тяготеет к стандартности. Имеется не так уж много композиционных схем, отмеченных замкнутостью или разомкнутостью, служащих созданию впечатления развития или статики.

Напротив, внутренняя структура произведения или уникальна, или ее нет.

Ситуация прикладной музыки. Форма и структура у И. С. Баха. Прикладно-музыкальному опусу внутренняя структура в общем-то не нужна.

Сочинение оправдано задачами, которые выполняет, и ими же оформлено. Прикладную музыку можно сочинить топорно, грубо, кое-как пригнав друг к другу нормы. Но и в этом случае она будет хорошей (полезной) музыкой, хотя и плохо сочиненной. Можно сочинить ее гладко, изобретательно, ловко; получится хорошо сочиненная хорошая музыка. А можно сочинить ее гениально. Что и делал, например, И. С. Бах, перевыполняя план: создавая шедевры, ни в чем не отрицающие прикладных норм, но продлевающие их действие в глубину сочинения. При этом возникала внутренняя структура, выявляющая сердцевинную суть хорошего — лучшее.

Вот довольно простой пример.

Кантату № 140 (1731) на хорал «Вставайте, зовет вас голос» открывает, как положено, хоровой номер. В нем несколько разделов. Распетые хором фразы хоральной мелодии чередуются с оркестровыми ригурнелями. При этом мелодический материал в хоровых и оркестровых партиях различен. Сопрано поют долгими длительностями (по целому такту, по два такта) аскетичную мелодию хорала, восходящую к 1599 году. Альты, тенора и басы поют четвертями и восьмыми трехголосное фугато, тематизм которого выстроен из интервалов хоральной мелодии и скромно оттеняет ее, как мелко прорисованный фон — крупное изображение на первом плане. А оркестр восьмыми и шестнадцатыми играет пышную музыку, которая и активной, разнообразной ритмикой, и полнозвучной аккордикой, и изысканной мелодической пластикой, и оживленным темпом контрастирует простоте хорала и подчиненных ему хоровых голосов, как праздничное застолье постной трапезе.

На чем же держится целое? Почему не возникает впечатления механического объединения оркестровой и хоровой партий? Напротив: богатство орке-

Еще один фрагмент (см. «Новый мир», № 8 за этот год) из новой книги «Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи» музыковеда и культуролога, профессора Московской консерватории Татьяны Васильевны Чередниченко. Книга готовится к печати в издательстве «Новое литературное обозрение». Настоящий фрагмент публикуется в журнальной версии.

стровой ткани кажется достойной оправой для драгоценной простоты хора. Дело — во внутренней структуре, которую непосредственно услышать нельзя (поскольку она рассеяна по форме), но которая прочно связывает оркестровый материал с хоровым.

Высшие точки оркестровой партии, расположенные в сильных тактах (первом, пятом и т. д.), выстраиваются в цепь звуков, из которых состоит ключевая (начальная) фраза хора. Духовная мелодия, таким образом, звучит не только в верхней линии хора, но и в верхней линии оркестра; звучит неслышимо, зато наиболее крупно. Нисходя в земное и восходя к небесному (от хора к оркестру и обратно), хоральная мелодия обретает свой сокровенно подлинный масштаб. В кантате Баха представлена иерархия, ожившая в кеносисе.

Следовало достичь контраста между хором и оркестром (норма) — он достигнут. Следовало достичь единства оркестра и хора (тоже норма) — и оно достигнуто. Но достигнуто и воплощение глубинного смысла обеих норм. На контраст работает то, что в оркестровой партии духовный напев спрятан. На единство работает то, что духовный напев там есть. На смысл же обеих норм работает то, что оркестр хоральную мелодию скрывает, тогда как хор открывает, и при этом сокрытое (в оркестре) крупнее открывшегося (духовной мелодии в верхнем голосе хора). Внутренняя структура опуса Баха превращает типовое в кантате чередование разделов формы ни много ни мало в модель откровения.

Автономная музыка: структура начинает и выигрывает. В прикладных композициях внутренняя структура — богатство, производное от ограничения и выявляющее смысл этого ограничения. Но не любое прикладное ограничение имеет смысл, достойный выявления через богатство. Смысл может быть поверхностно очевидным. Смешно искать изобретательное обоснование целого в тетрадах контрдансов. Неуместной претензией станет изыск внутренней организации в опереточном номере, звучащем среди Strauss'овых перьев и блестящей мишуры. Получится хорошо сочиненная плохая музыка, что еще хуже, чем плохо сочиненная плохая (это когда претензии на эзотерическую изощренность структуры не только неуместны, но еще и неудачны).

Если в светской прикладной музыке внутренняя структура — роскошь (иногда нелепая), то в музыке автономной структурное богатство становится прожиточным минимумом. В отсутствие служебных задач, определяющих форму произведений, опус должен нести оправдание своей формы в самом себе — в своей структуре. Если же таковой нет, автономный опус становится декорацией самого себя, вместилищем пустоты. Или, в случае претенциозного нарушения норм, оригинальной белибердой. Понятность его оборачивается скукой или пошлостью; невнятность — глупостью.

Внутренние структуры в автономной музыке отталкиваются не столько от прикладных норм (их автономная музыка преодолевает), сколько от сложившихся в прикладных жанрах общих законов формы, гармонии, голосоведения (впрочем, и их она преодолевает, только медленнее и позже). Для времени Гайдна или Моцарта прикладные нормы и общие законы формы — еще почти омонимы; они различаются ситуативно (что в дивертисменте идет от прикладной задачи, в симфонии может быть формальным правилом). После Бетховена, когда музыкальная автономия, свободное творчество стало делом не просто допустимым, но и распространенным, прикладной смысл норм забывается. В XIX веке нормы письма сохраняются не столько в служебных музыкальных жанрах (утративших авторитет), сколько в учебниках композиции.

Кстати об учебниках. «Мы начинаем с простейшего, а именно со звукоряда» — типовой зачин фундаментальных руководств по композиции, созданных в XIX веке¹. Современные учебники ни с каких простейших аксиом не начи-

¹ Один из образцовых учебников прошлого века (вариациями на него были многие позднейшие, включая, например, руководство по композиции, написанное П. И. Чайковским) создан бетховенианцем Адольфом Бернгардом Марксом (1795 — 1866). См.: Marx A. B. Die Lehre von der musikalischen Komposition. Bd. 1 — 4, Lpz., 1837 — 1847.

нают и никакого обоснования рассматриваемым способам письма не дают. Они состоят из глав о видах техники, которые членятся на разделы, посвященные авторам и отдельным сочинениям. В них нет нейтрально-неавторских примеров (типичных для учебников XIX века) — естественных, если речь идет о правилах, рассматриваемых как всеобщие. В руководствах по композиции, ориентированных на музыку XX века, описание приемов иллюстрируется исключительно фрагментами известных произведений. Еще одно фундаментальное различие. Если прежние учебники обязательно имели разделы (притом самые подробные), посвященные музыкальным формам, то в большинстве современных таковых разделов нет. Они учат не форме как целому, а техникам, типам письма.

Это значит, что место формы, которой музыка повернута к слушателю, заняла внутренняя структура — аспект, которым произведение повернуто к композитору. Что означает победу в музыкальном языке «одноразовости» над всеобщностью.

Уже единственность — еще всеобщность: форма и структура у Бетховена. Как соотносились форма и структура в автономной музыке, в которой еще было живо наследие прикладных жанров — всеобщие правила? Возьмем пример из Бетховена, из Третьей фортепианной сонаты: головной мотив первой части.

Самое первое, что должно сделать сочинение, не имеющее возможности опереться на внемузыкальную функцию, — это узаконить самого себя на своем месте. Для эпохи Бетховена сказанное означает: показать тональность, в которой написано произведение.

Необходимый и достаточный способ показать тональность — так называемый кадансовый оборот: тоника — доминанта — тоника. Тоника и доминанта — центр и граница родного пространства. Чужие страны, в которые путешествуют (а точнее, завоевывают их) произведения крупных форм, находятся за линией доминанты. Возвратиться домой можно тоже только через доминанту. «Путешествовать/завоевывать» чужие места для тональной автономной музыки стало необходимостью, единственным способом существования, так как в отсутствие прикладных задач ей больше не в чем себя проявить. Тональная динамика, то есть энергичная борьба за звуковое пространство, стала смыслом и целью музыки. Но для того, чтобы подчинить себе мир, необходим крепкий тыл: «мой дом — моя крепость». Поэтому в кадансовом обороте, открывающем произведение, тоника (центр тональной системы) должна быть заявлена крупно, как самое главное, чтобы никаких сомнений в ранге начального аккорда не возникло.

У Бетховена начальный аккорд — тоника длиной в половинную, то есть ровно в полтакта. В этой увесистости нет ничего оригинального, один здравый смысл. Ведь родной дом должен быть не какой-то хибаркой, а прочным строением, рассчитанным на много поколений. И восьмой, и четверти тут мало. Лучше — половинная доля, а еще лучше — весь такт. Но держать на протяжении целого такта один аккорд скучно. Поэтому во второй половине такта аккорд тоники фигурируется трелью из четырех шестнадцатых. Тоже ничего необычного. Украшение долгой ноты трелью — стандартный способ придать звучанию интерес. Трель логически ничего не меняет, а все-таки вносит разнообразие.

Но если трель «принять всерьез» — отнестись к ней не как к декоративной мелочи, но как к конструктивно значимой детали (для этого надо мыслить не в минутах и даже не в секундах, а в более пристальной временной оптике — в категориях внутренней структуры), то четыре украшающих шестнадцатых образуют яркий контраст к начальной половинной длительности. А уж если имеется контраст, то требуется его компенсация. Поэтому трель заканчивается двумя восьмыми. Они заполняют логическое зияние между встык пригнанными друг к другу долгой и краткими длительностями, но в то же время не вы-

ходят за пределы фигуры трели — вслед за шестнадцатыми продолжают украшать и пролонгировать тонический аккорд. В итоге тоника, занимая весь первый такт (как и положено хорошему, долговечному дому), успела предстать в трех движениях: сначала она стояла невозмутимой половинной, потом засемила шестнадцатыми, затем перешла на скорый шаг восьмых... Из парадной залы тонического времени (половинка) она перенеслась в чуланчики и кладовки (шестнадцатые), а потом нашла между ними коридор (восьмые). В результате тональный «дом» обрел масштабный и подробный интерьер.

Но поскольку восьмые следовали за шестнадцатыми, то тем самым очерчена ритмическая прогрессия, которую если не продолжить, то она покажется пустой случайностью. Коридор длительностей должен расширяться, ведь он соединяет временную узость шестнадцатых и простор половинной.

Поэтому второй такт начинают две четверти. Прогрессия длительностей, таким образом, плавно переезжает из первого такта во второй. А на платформе длительностей во второй такт въезжает аккорд доминанты. Он нормативно тут должен быть. Тонику нельзя показать, не противопоставив ей доминанту. Но появляется аккорд доминанты не из прописей ремесла, а из самодвижения структуры первого такта. Точно так же, как четверти вытекают из ритмической прогрессии (шестнадцатые — восьмые...), так доминанта вытекает из тоники.

Доминанта должна простоять весь второй такт, чтобы уравновесить тонику. Ведь из большого «дома», в котором есть и залы, и маленькие комнатусики, и коридоры, должно быть далеко видно. Внушительность доминанты — это обширность родных «окрестностей». Вместе с тем доминантовый такт должен быть таким, чтобы никто не смог забыть, что доминанта — противоположность тонике, что из «дома» мы вышли и дошли до самой последней «околицы».

Вернемся к четвертям, открывшим второй такт. В них переходят восьмые из тонической трели. Четверти, таким образом, продолжают компенсировать контраст долгого/краткого, заявленный в самом начале. Но как! Четверти-то ведь не простые, а помеченные штрихом стаккато. То есть они длиннее восьмых, но вместе с тем и короче их, поскольку играют отрывисто. Выходит, они и продолжают компенсировать начальный контраст долгого-краткого, и воспроизводят его. И как раз к месту воспроизводят, ведь в права вступила доминанта, а она должна быть контрастной тонике, а тоника-то заявлена была долгой длительностью.

За четвертями стаккато во втором такте следует пауза длиной в половинную. Пауза — доведение до логического предела идеи звучания, исчезающего в отрывистом штрихе. Вместе с тем она — *сплошное, слитное* отсутствие звучания, и потому предшествующие ей отрывистые четверти воспринимаются как ее измельчение — такое же, каким была трель по отношению к начальной тонической половинной. Вот вам и пожалуйста: тоника и доминанта, как и должно быть, противоположны и равнозначны, и не только как нормативные тональные величины, но и как величины ритмические и фактурные, как неповторимо конкретные моменты данного произведения. Тоника — сплошное долгое, доминанта — гипертрофированно краткое, едва ли даже не просто отсутствие звучания, но при этом обе есть поделенное долгое (тоника — трелью; доминантовая пауза — стаккатными четвертями).

Самое главное в этой структуре — четверти стаккато, которые выполняют роль сразу и долгого (по отношению к предшествующим восьмым и шестнадцатым), и краткого (по отношению к следующей за ними паузе и по отношению к начальной тонической половинной). Двойственность четвертей стаккато проецируется на половинную паузу: она тоже и долгое (половинное), и запредельно краткое (пауза). Если половина из первого такта была однозначной: аккорд тоники, и больше ничего, то симметричная ей половинная пауза из второго такта двусмысленна: то ли она долгое и остановившееся, то ли краткое и испарившееся.

В итоге весь второй (доминантовый) такт делается структурным «вопросом», на который нужен «ответ». «Ответом» становятся третий и четвертый такты, ритмически точно такие же, как первые два, но гармонически обратные: сначала доминанта, а потом тоника. Кадансовый оборот завершается; из дома мы добрались до околицы и вернулись обратно; гармонический «ответ» на «вопрос» доминанты получен. Но с ритмической-то точки зрения воспроизведен «вопрос» первых двух тактов!

Значит, нужен новый «ответ». Он и дается следующими восемью тактами, находящимися сплошь в зоне тоника и отличающимися от предшествующих тем, что четверти представлены уже не стаккато, а залигованными — однозначно долгими, следовательно, окончательно опосредующими исходную ритмическую противоположность.

Правда, в этих восьми тактах обнаруживается новое логическое неравновесие, и сонатная форма (в своих внешних очертаниях — сплошные правила, сплошной учебник) развивается внутренней жизнью уникальной структурной идеи.

Неслучайность литературных аналогий. Жизнь внутренней структуры невозможна без нормативных конвенций формы. У Бетховена весь смысл оригинальной логики долгого-краткого, слитного-прерывистого состоит в том, что она является инобытием обыкновенного кадансового оборота. В этом качестве она внутренне оправдывает систему норм и словно заново и впервые наделяет последнюю смыслом. Давным-давно известное, сказанное всеми, кто умеет говорить, обретает первосказанность и непереказуемость.

Словесные, литературные ассоциации в данном случае не сводятся к вспомогательным метафорам. Как раз ко времени автономной музыки, в которой внутренняя структура стала ценностной необходимостью, музыка покинула соседей по квадравиуму (арифметику, геометрию и астрономию) и внедрилась в тривиум (в одну компанию с грамматикой, риторикой, диалектикой). Музыка стала *искусством речи*. И даже (как хочет верить музыковед) ключом к нему².

Во всяком случае, шедевры поэзии и прозы сделаны вполне по-баховски или по-бетховенски; их «первосказанность» ухватывается описанным взаимодействием структуры и формы.

Симфония в четыре строки. Обратимся к четверостишию О. Мандельштама:

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
 Не может быть, чтоб ты совсем ослепло
 И день сгорел, как белая страница:
 Немного дыма и немного пепла!

Элегический пятистопный ямб напоминает о пушкинской элегии («Безумных лет угасшее веселье...») или об элегии Боратынского («Болящий дух вращает песнопенье...»). От элегии, еще Третьяковским определенной как «стих плачевный и печальный», — мотив сожалений об ушедшем. Но для элегии стихотворение уж очень лаконично — всего четыре строки.

Строфическая форма — катрен с перекрестной рифмой — указывает на другой жанр: ямба-надписи, изречения. Его главные признаки — философская значительность темы, краткость, афористичность концовки (например, «Нам не дано предугадать...» Тютчева). От философской значительности в катрене Мандельштама есть разве что смутное ощущение весомости сказанного; идея

² В «Работах по поэтике выразительности» (М., 1996) А. К. Жолковский и Ю. К. Щеголов, по собственному их признанию (стр. 11 и др.), используют некоторые ключевые представления из анализа музыкальных произведений. Соавторам-филологам это было с руки: отчим А. К. Жолковского — крупный музыковед Л. А. Мазель (1907 — 2000). Другие исследователи словесности не в столь выгодном положении. Хотя музыка и сама часто верит в литературоцентризм, музыкоцентризм — плодотворная позиция для литературоведа. Слово и музыка способны объяснить друг друга.

краткости размывается сплошь слабыми (женскими) окончаниями стихов (два из четырех как бы удлинены против правила), а афористичность — не столько из сферы мысли-обобщения, сколько видения. «Немного дыма и немного пепла» имеет признаки афористически сильной концовки, поскольку «дым и пепел» аналогичны устойчивым словосочетаниям, обозначающим тщету и бренность (ср. «пыль и прах»). Но в то же время «немного дыма и немного пепла» — больше зримый образ, чем мысль. Слово «немного» превращает «дым» и «пепел» в конкретные дым и пепел, видимые нами здесь и сейчас. Если это и надпись, то на полях сгоревшего дня-страницы; надпись, которая улетучилась дымом и пеплом куда-то вверх.

Собственно, стихотворение как раз «вверх» и адресовано. Обращение к «небу», да еще с эмфатическим восклицанием («О, небо»), да к тому же с усиливающим повторением («О, небо, небо»), обнаруживает признаки молитвы. Модель молитвы объясняет сплошь слабые окончания стихов (за счет которых катрен как бы перетекает за собственные границы). Отсутствие акцентов на последних слогах создает просительно-жалобную интонацию. Эти слабые заключительные доли, удлиняющие строки катрена, — как руки, протянутые в мольбе и размыкающие абрис человека в ту сторону, откуда он ждет помощи и утешения. Да и монотония, создаваемая одинаковыми окончаниями строк, свидетельствует о молитвенном заклинании (признак заклинания — повтор конструкции).

Элегия, свернувшаяся в надпись, надпись, воспарившая молитвой: жанр стихотворения текуч, подвижен. Обусловлен жанр-процесс метафорическим током четверостишия. Троп заключается в последовательном переносе признаков «неба» (которому адресована молитва) через косвенно называемое зрение («небо ... ослепло») на «день» (об утрате которого — элегические сожаления), а с «дня» — на «страницу» (на которой надлежит быть надписи).

Синонимия неба, зрения, дня, страницы имеет центр в «белом» — образе света, сияния, чистоты. Все существительные (кроме «дыма» и «пепла» из последнего стиха) принадлежат светлому ряду. Служебные глаголы («не может быть» и «будешь») примыкают к светлым существительным. Они созвучны главному светлому существительному «небо» («не может быть» — это «небо», рассеявшееся в пространстве четырех слогов; «будешь», идущее после «мне», — тоже «небо», раскрывающееся на стыке двух слов). Темные глаголы выстроены в ряд все большего омрачения. «Сниться» дает первую его степень (во сне глаза закрыты, они временно не видят света). «Ослепло» (глаза закрыты навсегда) — это полный внутренний мрак. «Сгорел» («день») — полное объективное, внешнее омрачение; уже не только способность воспринимать свет отказала, но и сам свет померк.

Две группы синонимов, образовавшиеся благодаря метафорическому переносу признаков — светлых и темных, отождествляют объективное и большое пространство-время («небо=день») с малым и субъективным, умещающимся между глазами и белой (ее предстоит покрыть строками) страницей. День, оставшийся белой страницей — не давший стихотворения, «сгорает» вместе с целым космосом — «небом». Светлый универсум создается поэтическим видением. Мертвая космическая тьма есть отсутствие поэзии. Элегия — о дне, который не стал поэзией; надпись — о поэзии как источнике мира; молитва — вопреки их отсутствию и неосуществленности — к миру-поэзии.

Но это только верхний слой метафоры. Есть и глубинные. Как уже подчеркивалось, все существительные (кроме «дыма» и «пепла») светлые. Но существительные обозначают субъект действия, тогда как глаголы — действие. Темное оказывается активной ипостасью светлого. Недаром усиление помраченности от «сниться» через «ослепло» к «сгорел» разрешается не в абсолютную тьму, но в «дым», и такой, которого «немного»: в прозрачный призрак тьмы, в светлое явление мрака. И «пепел» — это тоже рассеянная тьма, горстка атомов сумеречности. Свет чреват тьмой, тьма — просветлением; на сгоревшей бумаге проступают строки, и ослепшие глаза зрячи. Ненаписанное сти-

хотворение написано. Катрен Мандельштама есть написанное ненаписанное стихотворение. Недаром элегия сворачивается в сгорающую надпись, а та оживает в слове молитвы.

Если метафорическая структура, интерпретация которой приведена, аргументирует жанровое своеобразие мандельштамовского катрена, то чем аргументирована сама метафора? Какова ее связь с общеупотребительными нормами версификации? Как она их продолжает и превышает?

Обращение «О, небо» типично и для элегии, и для надписи, и для молитвы. Оно обычно не только в поэзии, но и в обыденной речи, слегка (почти неощутимо) приправленной стиливым позерством. Повторение слова «небо» в первом полустиихии спровоцировано инерцией элегического пятистопного ямба (без повторения перед нами был бы неэлегический четырехстопник). Все это — сплошные нормы. Однако поэтическая интуиция улавливает в «О, небо, небо» дремлющую новую закономерность: некий правильный повтор, и притом двоякий.

Во-первых, «не — не», продолженное в начале второго стиха в виде отрицательной частицы («Не может быть...») и устремленное к последнему стиху, к «Немного дыма и немного пепла». Звук «Н» в мягкой огласовке соединяет «небо» с его светлыми синонимами: «день» и «страница». Другой, темный, синонимический ряд сцеплен повтором звука «С» (в фонетической классификации наиболее далекого от мягкого «Н»): «сниться», «ослепло», «сгорел». В то же время «страница», с одной стороны, и «сниться», с другой стороны, соединяют в себе звуковые стержни обеих синонимических групп.

Во-вторых, в зачине «О, небо, небо» правильно чередуются широкий и узкий гласные звуки: О — Е — О — Е — О. Этот ряд повторяется в конце второго стиха: «сОвсЕм ОслЕплО». «Совсем ослепло», нанизанное на фонетический стержень «О, небо, небо», мотивирует метафорический перенос признака зрения на мир, с одной стороны, а с другой стороны, детерминирует слабое окончание второго стиха, а тем самым и всю монотонию женских концовок, которая превращает элегию в молитву. И самое главное, «небо» (свет) и «ослепло» (тьма), приведенные к общей фонической форме, превращаются в синонимы.

Но «небо» в катрене — не только Е — О, а еще и И: «тЫ мне будешь сниться... тЫ совсем ослепло». Из «ты», разделяющего полустиихия в двух первых строках, звук И переходит в «снИться» и в «Не может бЫть», а затем и в «стрАниЦу», и в «дЫма», и в союз «И» («Немного дыма И немного пепла»). В «стрАниЦе» узкий гласный И дополняется широким А: возникает пара, аналогичная паре Е — О из «небо». Второе полустиихия третьей строки — «бЕЛАЯ стрАниЦА» — кульминация пары А — И, то есть фонетического инобытия ключевого слова «НЕБО». В последней же строке Е — О и А — И сливаются. Фонема А в «пеплА», благодаря рифме с «ослеплО», звучит как среднее между А и О. Фонема И из «дЫма», благодаря семантической близости этого слова к «пЕплу», теряет качество, которым противостояла Е. «Немного дыма и немного пепла» — фонетический синтез стихотворения, поистине *последняя* строка, идущая *по следам* всех прозвучавших слов.

Катрен является закольцованной пермутацией ряда гласных Е — О — И — А и пары связанных с ними согласных н, сн, с, с-н, нн: «НЕБО... снИтьсЯ», «сгОрел», «стрАниЦа», «НЕмНОгО дЫМА». Итог круга пермутаций: устранение функциональных противопоставлений. Фоническое движение к единству закрепляет каждое слово на его месте, придавая всем слогам, цезурам, рифмам абсолютную обязательность. Обязательными, следовательно, становятся и общенормативные признаки стихотворения: элегический пятистопный ямба, четверостишие с перекрестной рифмой. Обязательно наделяется и «текучий» жанр, и странный катрен со сплошь женскими рифмами. Но само-то фонетическое движение, которое обуславливает неповторимый метафорический ход, а вместе с ним и заново рожденную систему версификационных норм, само-то это движение вытекает из рядовых обстоятельств жанра и техники (на-

помню: спровоцированное пятистопником повторение обращения к небу задаст фоническую структуру стихотворения).

Четверостишие, наследующее Пушкину, Боратынскому, Тютчеву, оказывается абсолютно новым, рождающим заново и то, чему оно наследует. Готовые формы поэтической техники вновь изготовлены в структуре стихотворения Мандельштама. То, что было сказано поэтическими формами до него, оборачивается непредсказуемостью=первосказанностью. Слова наделяются первично весомым смыслом. В частности, и обращение-восклицание «о, небо» из тривиального шлама речи воскресает как ошеломляющее открытие. Взгляд, словно впервые обращенный вверх, впервые заставляет придумать и произнести это слово — «небо»; вымолвить его и еще повторить, удивляясь открытию неба и слова. Начало стихотворения обретает значимость начала мира, мысли и языка. Тем самым стихотворение о дыме и пепле, оставшихся после «ненаписанного» космоса, есть на самом деле онтологический оплот, крепость бытия. Элегическое томление по несостоявшемуся властно велит «да будет!».

Противоречие этих содержательных планов заставляет возвращаться к катрену вновь и вновь. Белая страница сгорает — но вот она, и она несет на себе стихотворение; а «дым» и «пепел» — это поэтическая твердь, осиянная «небом». Всего четыре стиха читаются как четырежды четыре и сорок сороков. Каждое прочтение склоняется к одному из смысловых полюсов, и с каждым прочтением нарастает чувство недостаточности нашего понимания, и это чувство парадоксальным образом сопряжено с ощущением того, что понимаем мы все глубже. Мы входим в тайну — без того, чтобы разгадать, но с тем, чтобы быть в ней.

Форма, структура и власть. Общепринятые формы существуют постольку, поскольку у искусства есть прикладные функции. Когда прикладных функций нет, может сохраняться память о них, превратившаяся в культурный знак.

Литературе легче, чем музыке. Помимо жанровых норм или памяти о них в ней действует язык, который понятен и сам по себе, за границами художественного слова. В музыке же память о жанровых нормах — последний оплот понятности. Если невозможна заведомая понятность, значит, нужно принуждение к пониманию или технология достижения признания поверх и в обход понимания.

На рубеже XVIII — XIX веков в композиторской музыке возникла особая ситуация, в других искусствах проявившаяся позже и в стертом виде. Всегда существовавшее при храме, при войске, при театре, при застолье, при церемонии и т. д., искусство звуков вдруг оказалась «ни при чем» — наедине с концертным залом, который словно специально и возник, чтобы сделать звучащее в нем «никчемным» и этим заставить агрессивно самоутверждаться.

Стихи или прозу — как открыл книжку, так и закрыл. В театре что ни ставь, все равно будет зрелище, хотя бы за счет перемены декораций. То же самое с кино. Но в кинотеатре можно еще есть попкорн, пить кока-колу и использовать темноту в жизнерадостных целях, связанных с флиртом. В галерее или музее посетитель волен ходить, на одно долго смотреть, на другое взглянуть мельком, на третье закрыть глаза. Человек же, попавший в академический концертный зал, вынужден слушать, и притом сидеть тихо и неподвижно, даже если ему нестерпимо скучно. Единственный выход для него — задремать, то есть временно умереть.

Победа внутренней структуры задала искусству звуков комплекс власти.

XX век взвешивал шансы и риски музыкальной власти. Шансы вдохновляли, но риски, похоже, перевесили. В последние годы форма без судьбоносных внутренних уплотнений кажется чуть ли не подарком к празднику свободы...



Р Е Щ Е Н З И И . О Ь З О Р Ы

ПОГРУЖЕНИЕ В ПУСТОТУ

Роман Сенчин. Афинские ночи. Повести. Рассказы. М., Независимое издательство «Пик», 2000, 414 стр.

Главного героя многих рассказов зовут Рома, фамилия — Сенчин. Даты, аккуратно проставленные под каждой вещью, только усиливают сходство книги с дневником. Образ главного героя всех вошедших в сборник историй, даже в тех случаях, когда номинально он не авторский тезка, всегда на себя очень похожего, обладает столь мощной объединяющей силой, что книга воспринимается как единое целое, своеобразный роман в рассказах — конечно, роман в современном полуразрушенном понимании термина, когда романом стало принято называть все сколько-нибудь «большое» — а сборник Сенчина довольно объемный. Сюжет этого обширного повествования формирует биография Романа Сенчина (и автора, и героя), вместе с сюжетом легко прослеживаются и основные повороты писательского пути.

Вот ранние, откровенно ученические рассказы, рассказы-зарисовки (они составляют весь второй раздел книги) — провинциальный город, провинциальные нравы, выпивка, девочки, с которыми так «звиздато» перепихнуться, тяга к самоубийству, иногда реализованная, иногда нет, сжатые кулаки и презрение к миру, все еще так наивно, незрело, и чувства, и проза — одно слово, юность. Затем наступает армия, тягостный быт пограничной заставы, постылая служба, иступленное ожидание дембеля (рассказ «Сутки»), однако и возвращение домой, все в то же захолустье, не приносит герою ни счастья, ни свободы («Глупый мальчик»).

Рома все-таки вырывается и едет, бежит из засасывающей скуки провинции, провожает его только друг и собутыльник Серега да Серегина подруга, «тридцатипятилетняя женщина-алкоголик» («Ничего»). Сцена проводов Ромыча на вокзале — одна из самых пронзительных и человечных в книге. Каждый герой честно пытается соблюсти ритуал прощания. Рома колеблется и хочет в последний миг остаться, но Серега отсылает его, хотя и плачет, а алкоголичка на миг превращается в мать и говорит вдруг ласковые слова. Но вот Рома попадает во враждебную Москву, и в рассказах появляется новая нота — озлобленность, он ходит по улицам, подсчитывая, «скольких можно успеть уложить, пока не уложат меня». Так непризнанным гением, волчком он проводит время в Литературном институте, и в рассказах этого периода юношеский голос повествователя начинает ломаться и подспудно крепнет, устанавливается, Сенчин окончательно избавляется от детских игр в литературность, в фантастику (как, например, в «Острове последнего лета» или «Глупом мальчике»), нащупывает единственно верную для себя интонацию: энергичность и скупость слога, иллюзия документальной точности в передаче событий, обилие кратких диалогов как бы ни о чем, неожиданно просверкивающая сквозь плоскость обыденности глубина.

Не успев окончить институт, герой Сенчина женится, но и женитьба, как когда-то ожидание дембеля или поездка в Москву, оказывается очередным тупиком. Беременная жена (рассказ «Говорят, что нас там примут») вызывает в герое в основном неприязнь и раздражение («Женщины, оказалось, очень проблематичные и назойливые существа»), а ребенок, в более поздних рассказах, воспринимается как тиран и «кандалы». История постепенного «погружения» главного героя на дно (не в социально-житейском, конечно, а в философском смысле) завершается «афинскими ночами» — очередной неудачной попыткой всплыть. Темы, идеи, рассредоточенные по всему пространству книги, в «Погружении» и «Афинских ночах» сливаются и звучат крещендо.

«Погружение» — рассказ об одном дне молодой московской семьи. Главный герой рассказа, Маркин, в прошлом году окончил Литературный институт и в свободное от работы время пишет прозу. Его жена Елена, красивая, сильная, когда-то подобравшая в институтской общаге «полуспившегося студента», вышла за Марки-

на замуж, родила ему дочку. Работа, любимое дело, Москва, жена, ребенок — «в общем-то неплохо устроился», — отмечает сам герой... Но в том-то и дело, что плохо, плохо, плохо, — об этом и весь рассказ. Об этом и весь сборник. Шаг за шагом Сенчин описывает бесконечный воскресный ноябрьский день, и с каждым новым штрихом картина становится все безотрадней.

Центральное событие дня — посещение женщины из фирмы «Идеал», вызванной для травли тараканов, — воспринимается как мрачный символ. Тараканья гибель недаром выписана с художественными подробностями. «Аккуратная струйка сыплется за батарею. Вскоре оттуда появляется целая тараканья стая, седая и ослепленная. Стая разбегается по стене, по цветочкам обоев, и постепенно редет. Один за другим тараканы падают на пол, корчатся, распускают крылышки, зарываются, увязывают (или увязают? заметим попутно, что доброжелательный редакторский карандаш не помешал бы многим сенчинским текстам. — М. К.) в смертоносном для них порошке». Это не тараканы задыхаются от яда — это люди задыхаются от своей невыносимой жизни.

Маркину по очереди звонят приятели, зовут развеяться, сходить в клуб, послушать музыку, но он точно бы наперед знает — это его не спасет — и отказывается снова и снова. Маркин слоняется по квартире, пробует писать, не получается, наконец жена отправляет его в магазин, и тут наметился крошечный просвет, герой покупает четвертинку водки. Вечер проходит в ожидании. Вот уснет дочка и можно будет расслабиться, выпить, а там и посмотреть фильм Поланского, его показывают по телевизору уже ночью. Безрадостный конец этих ожиданий заранее предсказуем — дочка уснула, водка и закуска на столе, но когда все выпито, герою становится хорошо совсем ненадолго, и хочется только спать. Измученные Маркин и его жена засыпают, так и не дождавшись фильма. Радость недостижима, «идеал» — лишь название фирмы, травящей тараканов.

Дождик, морозящий в «Погружении» на улице, словно бы моросит и в доме, серая поволока затягивает пространство квартиры, вползает в человеческие отношения, по-настоящему обрадовать главного героя не может никто, ничто. Жена, ребенок, друзья — все это потенциальные объекты любви, но Маркин словно бы сознательно отстраняется от них, даже крошечную дочку зовет Дарья, как бы боясь дать себе расслабиться, «рассыропиться», выражаясь базаровским языком. Суть его мировоззрения, и в самом деле вполне нигилистического, формулируется в записи, которую Маркин делает для себя в тетради: «Держаться на плаву легче поодиночке. „А любовь?“ — спросите вы... Любовь — сила, способная прорвать эту прозрачную прочную пленку, эту защиту людей от укулов окружающего мира. Взаимная любовь, обоюдная... Соединившись, решив шагать по жизни рука об руку, парочка на самом деле стремительно идет ко дну. Многие одумываются и поскорей разбегаются. Чтобы спастись... Но дети... Дети — знак полного тупика, крепкие кандалы, и надо рвать по живому, если необходимо освободиться и всплыть».

Так что вот зачем существует любовь и дети — чтобы утащить человека на дно. И Маркин чувствует, что неотвратимо движется вниз, в тину, а потому инстинктивно пытается сбросить с себя назойливые руки этих ненужных родных, близких, с ностальгией он вспоминает далекую юность, когда был лидером музыкальной группы, горел и жил музыкой, а главное, как ему кажется, был на плаву.

Недоуменные вопросы в конце концов разрывают мутную пелену будничности, вопиют в Маркине. «Что же с ним происходит? Почему так тяжело?.. Конечно, конечно, это сама Москва виновата. Хм, давление мегаполиса». Вот именно, что «хм». Вот именно, что никакая не Москва. И сам герой хорошо понимает это и тут же себе в этом признается. Но кто же тогда виноват? Что делать? В ответ: безнадежность. Пасмурный дождливый ноябрьский день.

Ни любовь, ни творчество не могут поднять героя «Погружения» со дна. Новая попытка прорваться, выбраться на поверхность делается в рассказе «Афинские ночи». Это как бы продолжение «Погружения»: действуют в «Афинских ночах» похожие герои, декорации поменялись только слегка — теперь главный герой не писатель, а несостоявшийся художник, и ребенок у него немного подрос, уже научился ходить, попутно превратившись в мальчика, у самого же героя вместо

фамилии появилась кличка — Хрон. Но подтверждать свою хроническую привязанность к алкоголю ему теперь сложнее.

Хрон и два его бывших однокурсника по Суриковке, Дэн и Борис (это они звали его в «Погружении» развлечься), время от времени собираются вместе и отправляются в «отвязку» — выпивают, куда-нибудь едут. На этот раз решено отправиться в какой-нибудь близлежащий небольшой город, и друзья выходят в Можайске. Однако сначала не находят здесь ни кабаков, ни девушек и решают вернуться в Москву... Увы, следующая электричка только через два часа. Продолжать ли дальше? Неудачи расстреливают героев в упор, они снова возвращаются на улицы Можайска, и, хотя все-таки находят уютный бар, Дэн угощает приятелей гашишем — «разукрасить действительность» никак не удается. Сокрушительное поражение герои терпят и при попытке познакомиться с девушками — можайские девушки от них шарахаются.

Взаимное недовольство друг другом, скрытая агрессия выплескивается наконец наружу. В гостинице Дэн и Борис в шутку, всерьез ли хотят вместо заупрямившихся девчонок «оприходовать» Хрона. Но шутка слишком напоминает правду, и Хрон разбивает бутылку, в пьяном бешенстве гоняется с изготовленной «розочкой» за перепуганными приятелями. Сцену прерывает горничная, которая, услышав шум, является в номер и выгоняет драчунов из гостиницы. На улице ночь. Друзья плетутся на вокзал, ждать первой утренней электрички. Вот они, жаркие афинские ночи — под открытым небом, на станционной лавочке, в холоде, бессонье, взаимной неприязни.

Главу им приклонить буквально некуда. И дело не только в ночевке под открытым небом, их неприкаянность онтологического свойства. Весь рассказ Сенчин незаметно подводил нас к этому. Кумиры, возможные опоры обламываются здесь одна за другой. Вот во время своих блужданий по городу приятели натываются на братскую могилу героев Отечественной войны: «Здесь лежат 63 бойца 5-го Гвардейского Краснознаменного мотострелкового полка». Но это не имеет ни малейшего отношения к их сегодняшнему бытию, к их интересам, и они молча проходят мимо. От скуки друзья заворачивают в местный краеведческий музейчик, смотрят на экспозицию, уместившуюся в одной комнате, где «все вперемежку, со столетия по нитке, по гвоздику», и Борис тут же начинает излагать смотрительнице музея теорию Фоменко, согласно которой, как известно, вся история — «фальсификация», «сказочка». Рядом с музеем большой собор, но вид у него заброшенный, дверь на громадном замке.

Подведем неутоленные итоги. Близкая отечественная история? Не нужна. Дальняя? Тем более. Как сказано в «Общем дне», история — это лишь «цепь занятно-кровавых баек, которые время от времени можно почитать по обкурке, перед тем, как срубиться». Вера? Храм закрыт на большой замок, но об этом никто особенно не жалеет. Как популярно объясняется в том же «Общем дне», в церкви место только «пришибленным старушкам», в молодости нагрешившим вволю, а на старости лет решившим замолить прошедшее. Творчество? Но живопись не прокормит, и она оставлена героями «Афинских ночей», однако и жизнь Маркина, продолжавшего писать прозу, ничуть от этого не светлей. Дружба? Что дружба? Легкий пыл похмелья... Сора на грани кровавой драки. Любовь (ну, хоть в самом примитивном смысле этого слова)? Опять отказ. Семья, дети? Только тянут вниз. Жена выставляет «уродливый живот», а потом заставляет зарабатывать и гулять с ребенком.

В финале «Афинских ночей» Хрон отлично мстит ей, а заодно и всей этой «беспонтовейшей» жизни. Сенчин делает сильнейший ход, открывающий в рассказе (повести?) совершенно новую смысловую перспективу. Его герой признается жене, что ездил не в командировку, а развлекался с Борисом и Дэном, с садистской точностью Хрон рассказывает, как они сняли в гостинице удобный номер, купили на Садовой проститутку и она работала, как «смазанная машина», как играли потом в казино, ужинали в ресторане, смотрели стриптиз. Все то, о чем приятели так мечтали — и что так и не сбылось. Но жена Хрона этого не знает и плачет. «В глазах мгновенно появились слезы. Сейчас покатаются по щекам капля за каплей. Сейчас начнется...» Это последние слова рассказа. Как видим, ни ма-

лейшего сочувствия в герое эти слезы не вызывают, только новое раздражение очередной супружеской сценой...

Старческим тенорком Станиславского заявляю — не верю! Перед нами только маска, поза, роль, сыгранная все же не слишком убедительно.

Сквозь все эти «бля», «звиздато», отчаянье, холод, цинизм, беспросветность, сквозь прорези черного чулка, натянутого самому себе на голову, на нас глядят растерянные, удивленные глаза автора — неужели все и в самом деле так, как я написал? Безлюбие, безвоздушность, пустота. Разве для этого люди рождаются на свет? Этого просто *не может быть*. Чем страшнее мир в «Афинских ночах», тем сильнее почти детское изумление автора. Не Станиславский, не какая-нибудь там Майя Кучерская — Роман Сенчин сам себе не верит. И замечательно. Погружение на дно уже состоялось. Теперь по законам здравого смысла и явно присутствующего у Сенчина чутья близится время всплытия и, хочется надеяться, встречи с новым героем. Звать его будут по-другому, но интересен писателю он будет ничуть не меньше прежнего, ничуть не меньше себя.

Майя КУЧЕРСКАЯ.

*

СВОИМ ПУТЕМ...

Мария Чурсина. Путем письма. СПб., «Петербург — XXI век», 2001, 240 стр.

Вышла книга Марии Чурсиной «Путем письма». Из краткого предисловия мы узнаём, что вошедшие в книгу дневник, стихи и эссе были написаны в основном в возрасте шестнадцати — восемнадцати лет, причем написаны на английском языке, поскольку с двенадцати лет автор жила в США. Соответственно и книга выпущена на двух языках: во второй половине дан оригинальный текст, в первой — перевод, выполненный Изабеллой Мизрахи. Вызывает, правда, недоумение отсутствие перевода последнего эссе «Buzzing and Blooming Confusion», очень характерного для автора. В дальнейшем Чурсина практически не писала, а в 2000 году, в тридцать лет, ушла из жизни.

Такие книги обычно вызывают настороженность читателя. Во-первых, из-за молодости автора, а во-вторых, из-за «реквиемного» характера издания, куда обычно стараются подверстать все, что осталось от близкого человека. Но в этом случае опасения, что мы имеем дело с «вундеркиндной» литературой, слава Богу, не оправдываются. И вот почему.

Самый характерный признак «литературы вундеркиндов» — бьющая в глаза поверхностная талантливость, не затрагивающая глубинной основы. А здесь и в дневнике, и в стихах мы сталкиваемся со страстными поисками основы своего существования в текущей смене состояний. Вот стихотворение «Голод по истерике»:

Везде — то же самое,
каждый шаг.
Это безумие. И тогда
они говорят: «Маша не в духе».
Точно так же
говорят о моем цинизме.
Как нелеп их протокол
моего преступления:
низменная, нелегальная
тошнота
 быть и быть,
быть той же самой
на этой прекрасной Сфере.

Это первозданное творческое изумление: не может быть, чтобы *это*, надоевшее и вызывающее тошноту, и было мной. Чтобы то, что так совпадает с миром в начале стихотворения:

Зелень этой травы — рама
 для коричневой скамейки.
 Трава и скамейка. Ветер.
 Беззаботный перезвон колокольчиков, —

было тем же, что наливается тяжестью и отчуждением в его концовке:

Я смотрю искося,
 и, пробегаая глазами по стволу,
 делаю свинцовые выводы.

Что касается чисто поэтических достоинств, хочу процитировать стихотворение, замечательное экономной концентрацией лирического чувства:

Дом — это где
 Я хочу сидеть.
 Ты — это тот,
 Кого обнимать
 Под нашей
 Важной лампой.
 Ты — это тот.

Редко кому в поэзии удавалось совместить столько иронии и умиления в композиционно центральном — и единственном! — эпитете «важной» и уравновесить его далеко не центральное положение в стихотворении смысловой весомостью последней строки, напоминающей даосскую формулу.

Я не хочу цитировать дневник, поскольку основную его прелесть составляют переливы состояний, оценок, уверенности-неуверенности в себе и любая часть, вырванная из контекста, искажает представление о текущем целом. Скажу только, что читатель встретится с необычайно обнаженным, проникнутым болью текстом, запечатлевшим все оттенки любви — любви к человеку и письму как освобождению от наболевшего и наиболее точному его уловлению. Самое поразительное, что такая эмоциональная насыщенность каким-то чудом уживается с пронизательной рефлексией и тонким самоанализом. Как это удается, становится понятно, когда мы читаем ее эссе.

Здесь, на аналитическом уровне, продолжают поиски единственного, что ее интересовало: основ существования, адекватного его отображения в слове при ясном осознании возможности различных подходов. Ближе всего ей была глубоко понятая и прочувствованная буддистская концепция, которая, оставляя за скобками метафизические проблемы, с особым вниманием относится к наполненности протекающего момента, его подлинному осознанию и свободе его выражения. Европейские искусство и философия в ее эссе проверяются на истинность и оттеняются буддистским мировоззрением, обретая новую глубину и неожиданные грани. Ницше и Гертруда Стайн, дадаисты и Мартин Бубер в своих поисках и вопрошании то совпадают, то противоречат извечным буддистским истинам, но и то и другое порождает творческий отклик, здесь нет самого страшного — равнодушия. Жизнь и любовь во всех своих проявлениях — вот что интересует автора. «Любовь не имеет отношения к данному человеку. И все же имеет отношение именно к нему. „Почему он?“ — спрашиваешь себя на каждом шагу. Но до тех пор, пока есть любовь, ответа нет», — написано в эссе «Два — но не два и не два — но два», и это звучит как замечательный комментарий к дневнику. Комментарий не в смысле объяснения, а в качестве переключки, равноустремленности эмоциональной и интеллектуальной сфер. Одно из лучших эссе — «Разговор с самим собой», где в диалоге представителей разных религий (буддизм, суфизм, даосизм, еврейский мистицизм) высекаются искры откровений, свойственных каждой вере. Автор не объясняет, почему эссе названо «Разговор с самим собой», думаю, потому, что спор разных религий о Боге похож на диалог внутри одного расколотого сознания, выдвигающего одинаково весомые доводы. И в то же время это как бы разговор Бога с самим Собой о разных представлениях Его.

Можно было бы предложить много стройных культурологических концепций этой книги, ну, например: дневник — эмоциональный ад, стихи — просветленное эстетическим чувством чистилище, эссе — рациональный рай, где обретают порядок и успокоение мятущиеся эмоции, но все это слишком красиво и тесно. Зачем

была прожита эта жизнь, зачем написано то, что написано, а сейчас опубликовано то, что она, возможно, не стала бы публиковать? Душе человека необходима встреча с родственным духом, а дух веет, где хочет. Так Рильке поразила встреча с письмами безвестной португальской монахини, а потом со столь же мало известной ему русской поэтессой. Читая, мы узнаем только то, что уже знаем, к чему готовы, но, узнавая это в другом, по-новому узнаем себя. «...и я внезапно вошла. И снова стоящие вдоль стены уставились на меня, они не хотят слышать про мое исчезновение. Ни за что не хотят» (из «Дневника»). «Стоящие вдоль стены» могут утешиться. Она не исчезла бесследно.

Валерий ЧЕРЕШНЯ.

С.-Петербург.



ЛЕТОПИСЦУ АВАНГАРДА

Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева. Составление и общая редакция М. Мейлаха и Д. Сарабьянова. М., «Языки русской культуры», 2000, 848 стр.

Огромный фолиант, в котором собраны статьи по «теории и практике» русского авангарда, посвящен памяти Николая Ивановича Харджиева, крупнейшего знатока в этой области. Именно так — «Поэзия и живопись» — называется одна из самых важных его работ: не что иное, как изобразительное искусство, создававшееся тогда же и там же, по мысли Харджиева, послужило импульсом для возникновения русского поэтического авангарда.

Харджиев был выдающимся искусствоведом, филологом, историографом, тончайше разбирался в различных областях живописи и поэзии этого, вероятно, самого беспокойного и мятежного времени в русском искусстве. В абсолютно «невегетарианском» 1940 году ему чудом удалось выпустить сборник «неизданного» Хлебникова. Он был составителем ранних томов собрания сочинений Маяковского, избранных стихотворений Мандельштама в «Библиотеке поэта». Выпустил (совместно с В. Трениным) книгу «Поэтическая культура Маяковского». Принимал участие в создании знаменитой выставки «Москва — Париж».

Харджиеву принадлежит множество статей, заметок по истории поэзии и живописи русского авангарда, но его роль в сохранении художественного опыта не ограничивается написанным. Николая Ивановича вспоминают как блистательного собеседника, чье присутствие создавало особый культурный контекст «уходящей природы». Ведь он оказался, пожалуй, последним из могижан, связавшим младшие поколения с легендарными персонажами «авангарда, остановленного на бегу», поскольку был хорошо знаком, даже дружен со многими из «объектов» своих исследований. Список друзей и знакомых Харджиева, приводимый М. Мейлахом, одним из составителей сборника, читается вдохновенно, как гомеровский «список кораблей»: «Николая Ивановича знали и ценили Бурлюк, который, приехав из Америки в Москву, написал два его портрета (голова, растущая из песка на морском берегу), и Роман Якобсон, при мне объявивший Николаю Ивановичу о разрыве со злоупотребившим доверием последнего шведским славистом; легкомысленная Алиса Порет и серьезнейшая Юдина, а еще раньше, уже не на моей памяти, — Малевич, написавший по его просьбе воспоминания о своей юности, и Матюшин; Хармс, подаривший ему сценический экземпляр пьесы „Елизавета Бам“ с собственноручными режиссерскими пометками и писавший ему прелестные письма, и Введенский, которому, наоборот, незадолго до войны Николай Иванович отдал его ранние стихи — они сохранились в так называемой „корзине ЛЕФа“, а потом у Харджиева, лишь затем, чтобы сгинуть вместе с уничтоженным поэтом; Пастернак, Цветаева, Мандельштам, как известно, считавший, что у Харджиева „абсолютный слух на стихи“».

Вероятно, пассаж о «шведском слависте» у Мейлаха не случаен. В подобной ситуации Харджиев оказался гораздо менее осмотрителен, чем его друг Якобсон.

Вскоре после своего девяностолетия, в 1994 году, Харджиев эмигрировал, поселился в Амстердаме и попал в руки авантюристов, охотившихся за его коллекциями. Эти люди, имен которых Мейлах не называет, но подразумевает, создав так называемый «фонд Харджиева», распродали бесценную коллекцию.

Эта книга задумывалась как подарок Харджиёву к девяностолетию. Он не увидел ее — книга вышла спустя четыре года после его смерти, став, может быть, лучшим памятником этому «неотступно верному летописцу русского культурного авангарда, неутомимому собирателю и бережному хранителю опытов и памятков мятежного прошлого, заживо похеренного» (Роман Якобсон).

Книга по своему составу очень разнообразна. С воспоминаниями и эссе о самом «адресате» соседствует поэтическое приношение — стихи сегодняшних поэтов, близких Харджиёву, со статьями о различных аспектах художественного авангарда — персоналии: труды о футуристах, обэриутах, последователях различных авангардных поэтических течений, с работами на тему, наиболее близкую Харджиёву, — «поэзия и живопись» — статьи о русской прозе 20 — 30-х годов.

Выход этого внушительного сборника — настоящее событие, что ясно уже из одного списка его авторов — лучших русских и зарубежных специалистов в этой области.

Новым здесь может оказаться выяснение мотивов, лежащих на пересечении изобразительного и поэтического творчества: исследование «биографии ранних портретов» Ахматовой и Мандельштама, предпринятое Ю. Молоком, анализ стихотворения Хлебникова «Татлин, тайновидец лопастей...» (автор Р. Милнер-Гулланд), короткое сообщение Романа Тименчика об экспромтном упражнении в жанре зауми, принадлежавшем Гумилеву и оставленном на листке с портретом М. Ларионова, или фундаментальный труд Е. Бобринской «Слово и изображение у Е. Гуро и А. Крученых».

Любопытна и выявленная Анной Юнгрен аналогия «Песен города» Елены Гуро, в свою очередь оказавших влияние на раннего Маяковского («Послушайте!», «А вы могли бы?»), с «Городком в табакерке» Владимира Одоевского.

О Маяковском в этом сборнике вообще собрано немало замечательного. Например, «МОЯковский» Льва Лосева, рассматривающего поэтику Маяковского с точки зрения весьма, как выясняется, органичной для поэта дихотомии «чистое — грязное». Здесь же блестящее исследование В. Н. Топорова «Флейта водосточных труб и флейта-позвоночник», интересное, кроме всего прочего, анализом темы флейты в русской поэзии. Вот фрагмент о «смысловой отмеченности „флейтовой“ темы у Мандельштама»: «Особого внимания (в частности, в связи с темой флейты у Маяковского) заслуживает пророческое стихотворение 1922 г. „Век“, „разыгрывающее“ ключевую для поэта в последние два десятилетия его жизни тему. Позвонки, позвоночник, хребет в сочетании с флейтой заставляет вспомнить образ флейты-позвоночника: „Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И свою кровью склеит / Двух столетий позвонки?.. Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать... И еще набухнут почки, / Брызнет зелени побег, / Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век...»

Расхожее суждение об общефутуристической мании «сбросить Пушкина с пархода современности» опровергает изысканно точная статья Г. Амелина и В. Мордерер о хлебниковском «пушкинианстве» — «„Одинокий лицедей“ Велимира Хлебникова». Однако из всех многочисленных трудов о футуризме самым любопытным мне показался опубликованный Режисом Гейро доклад Ильи Зданевича «Илиада». Заумный поэт и драматург, Зданевич, как и многие деятели его круга, был озабочен непрерывным манифестированием своего опыта и культурной позиции. «Илиазду» он прочитал в мае 1922 года в маленьком парижском ресторане «Юбер», придавая этому событию большое значение — непосредственно к чтению был выпущен специальный весьма выразительный плакат. Часть доклада представляет собой полувымышленную автобиографию автора, но наибольший интерес вызывают непосредственные рассуждения Зданевича об искусстве и своей роли в нем. Даже если представить себе, что в его рассуждениях есть определенная доля эпатажа, традиционного для деятелей авангарда, этот текст все равно не утрачивает своей немалой документальной ценности.

«Имеет ли значение дарование в искусстве?.. Оставьте, господа, я бездарен, я не талантлив, я это отлично сознаю, и это сознают все, находящиеся вокруг меня... Я начитан, умен, образован, но совершенно бездарен в поэзии, вымучиваю мало, с трудом, плохо, прячусь за ширмами зауми, покончим с этим вопросом. Но потому-то я и претендую на ваше внимание. Если бы я был поэтом и обладал дарованием, все было бы так естественно и просто. Отмечен судьбою, родился таким — и карты в руки. Но я играю партию с вами, не умея играть. И в этом-то все дело. Будучи бездарным, я занимаю в поэзии свое место... И это место разрастается и увеличивается... моя позиция поневоле признается угрожающей, и совершенно никто не знает, чем кончится вся эта каша. Дело случая, какие выйдут узоры... Были времена — хотя бы Веронеза, когда дарование было необходимо. Теперь пошлость не так уж не права, говоря, что ничего не надо иметь, чтобы быть современным мастером, — центр переместился. Теперь действительно можно ничего не иметь... Это заставляет меня добавить еще следующее: не только дарование не нужно современному искусству, но даже сильнее того — оно им исключается».

Зданевич, может быть, и сгущает краски, но, уж конечно, не шутит. Он говорит абсолютно всерьез. Эта «похвала бездарности» на самом деле написана человеком, который прекрасно ощущал не только собственную природу и природу искусства того времени, но и как будто догадывался о том, «чем кончится вся эта каша». А «кончилась» она самыми радикальными проявлениями актуального искусства: лаем Кулика и испражнениями Бренера... Тех же из читателей, кто по-прежнему отдает предпочтение таланту, заинтересует попытка рассмотреть литературный процесс как преодоление внутренней зависимости автора от своего непосредственного предшественника (М. Бетей, «Изгнание, элегия и Оден в „Стихах на смерть Т. С. Элиота” Бродского»).

Весьма ярким происшествием в булгаковедении должен, как мне представляется, стать интертекстуальный этюд М. Вайскопфа «Булгаков и Загоскин». Автор этой статьи сопоставляет «Мастера и Маргариту» с забытым ныне романом М. Н. Загоскина «Искуситель» (1838), посвященным аналогичному событию — посещению Москвы Сатаной и его свитой. Исследователь находит кроме фабульного сходства множество текстуальных аналогий и убедительно доказывает, что это именно «загоскинский искуситель вернулся в Москву» с помощью Булгакова.

Разумеется, не все в этом сборнике бесспорно. Вот, например, суждение Игоря П. Смирнова («...Загробный гул корней и лон»): «Ни одна из европейских литератур не знает такого количества писателей, совершивших преступление или объявленных преступниками, как русская». Ну это же неправда. Уважаемый славист приводит примеры: Баратынский, Катенин, Достоевский, Чернышевский, Толстой, Сухово-Кобылин, Савинков и Фадеев... Да любой гуманитарно образованный человек без труда составит аналогичный список применительно к английской, французской или, скажем, древнеримской литературе. Литература создается не в богадельне, и национальная специфика тут ни при чем.

Что же касается общих недостатков этой книги, пожалуй, единственно, чего в ней весьма ощутимо не хватает, — это именного указателя. Без него ориентация в бесчисленном множестве цитат, ссылок, имен очень затруднена.

Светлана ИВАНОВА.

С.-Петербург.

*

ПОЭТИКА ТЕРРОРА И ТЕКСТ СТАЛИНА

Михаил Вайскопф. Писатель Сталин. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 384 стр.

Книга Михаила Вайскопфа реализует проект «веселой науки» (используя выражение Ницше). Она ориентирована на читателя, который смеется, что и понятно: цитаты из писаний Сталина (как и других тоталитарных вождей) при адекватном монтаже и комментарии производят комический эффект.

«Понравилось ему, скажем, красивое, звучное слово „огульный” — и мы читаем: „плавный, огульный подъем вверх”; „огульный наплыв в партию”, — а партию эту он называет „сколоченной из стали”». Вайскопф не проводит стилистической классификации своих наблюдений: и так ясно, что «огульный» — прилагательное с отрицательными ассоциациями («сплошной», «без разбору») — не годится для характеристики «подъема вверх» или «наплыва в партию», а «из стали» ничего, даже партию большевиков, не сколотить. Пока читатель это осознать, Вайскопф продолжает, используя дерзкие риторические образы, которые позволяют вспомнить о знаменитых политических деяниях вождя-литератора: «Но еще больше в сталинских сочинениях ошарашивают раскулачивание метафор, необоснованные репрессии против строя и духа русской речи. Об этом давно следовало сказать во всеуслышанье — или, как по иному поводу заявил в молодости сам Сталин на своем горско-марксистском жаргоне, „сказать громко и резко (фактически сказать, а не на словах только!..)» Опиет же читатель должен самостоятельно смекнуть, что Сталин неожиданно различает «фактическое» слово и слово «не на словах только», и это, возможно, не просто стилистическая неловкость, торопливость «горца», но и типично «марксистское» презрение к слову (в сравнении с делом). А Вайскопф не унимается: «Излишней экзотикой отдает, например, постоянный у него мотив „борьбы”, доставляющей Сталину немало радости, особенно когда он ведет ее бок о бок с верными соратниками; он так и говорит: „Дружная борьба с врагами”. У последней имеются свои интригующие особенности, для описания которых русский язык, очевидно, не слишком пригоден: „Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств”. Эта палка о двух протянутых концах вызывает у Сталина довольно колоритные ассоциации воинственно-эротического свойства: „Революция... всегда одним концом удовлетворяет трудящиеся массы, другим концом бьет тайных и явных врагов этих масс”».

Вайскопф не маскирует своего отношения к герою исследования. Такая манера в тексте, претендующем на научный статус, может вызывать обвинение автора в «необъективности». Однако «необъективность» не тождественна необязательности, эссеистичности, «ненаучности», а научные результаты в книге получены.

При изучении «писателя Сталина» Вайскопф остается верен своему методу: в его прежних монографиях¹ сходным образом анализировалась семантика разных уровней текста (от «словечек» до магистрального сюжета) — с целью не фиксировать аномалии, но выявить глобальную «порождающую модель». И в данном случае «двуединный» предмет исследования включает, во-первых, «террористический» дискурс, «поэтику террора» (повторяющаяся у теоретиков террора система идей, формул, образов)² и, во-вторых, специфический феномен текстов Сталина.

Соответственно энтомологическое коллекционирование речевых и логических экстраваганц Сталина не есть задача книги — как показал Вайскопф, причудливый слог не был монополией «кремлевского горца»: «Почти все большевистские лидеры вышли из захолустно-мещанской среды, наложившей корявый отпечаток на их литературную продукцию. Сюда необходимо прибавить дикость тогдашней революционной публицистики в целом. Хваленый слог Троцкого, например, часто поражает сочетаньем провинциального кокетства и генеральского рывканья. А вот как изъяснялся прародитель русской социал-демократии Плеханов в своих „Письмах без адреса”: „Когда собака опрокидывается перед хозяином брюхом вверх, то ее поза, составляющая все, что только можно выдумать противоположного всякой тени сопротивления, служит выражением полнейшей покорности. Тут сразу бросается в глаза действие начала антитеза”. Да мало ли ахинеи хотя бы у Ленина?.. Есть у Ильича и высокохудожественная реплика, навеянная тем, что капиталисты обзывают большевиков „крокодилами”: „Если ты — всемирная, могущественная сила, всемирный капитал, если ты говоришь: „крокодил”, а у тебя вся техника в

¹ Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993; Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. М., Иерусалим, 1997.

² Одесский М., Фельдман Д. Поэтика террора и новая административная ментальность. Очерки истории формирования. М., 1997.

руках, — то попробуй, застрели. А когда он попробовал, то вышло, что ему же от этого больнее”. Таков же и Бухарин — „любимец партии”, специфическая покладистая стилистика которого могла бы воодушевить начинающего фрейдиста: „Мне самому товарищи неоднократно вставляли соответствующие места, и я с этим соглашался”. Так ли уж сильно наш автор уступает всем этим мастерам слова?»

Речевой вандализм — как следствие агрессивной риторики и установки на контакт с массами — оказывается знаком не Сталина, а всей социал-демократической элиты, можно даже сказать — леворадикальной интеллигенции (страшно сказать, вплоть до Белинского или Герцена). Кстати, Вайскопф совершенно не занимается «техническими» причинами, порождающими «террористический дискурс» (необходимость быстро и много сочинять, диктовка секретарям или вообще создание сочинений вождей в их секретариате и т. п.). Похоже, что и «фрейдизм» для описания писателей-террористов требуется особый. То, что Вайскопф ехидно вылавливает у Сталина или Бухарина, скорее относится к области стилистической бессознательности. На самом деле трудно избавиться от впечатления, что бессознательное вождей часто устроено не так, как у обычных граждан. Вместо «обыденных» патологий вроде эротических устремлений там доминирует всепобеждающая воля к власти (Вайскопф цитирует «библейскую» проговоруку Сталина, обмолвившегося в одной из статей о «древо познания власти»): выражаясь «религиозно», лидеры одержимы бесом иного рода, чем их народы.

Троцкий, откликаясь на смерть своего верного соратника Э. М. Склянского, который утонул во время американской командировки, изрек: «Переплыв океан, он утонул в озере. Выйдя невредимым из Октябрьской революции, он погиб на мирной прогулке. Погиб огромный опыт строительства, который сочетался с молодой, едва початой творческой силой»³. В том же 1925 году лучший оратор партии нашел еще более титанические образы для умершего на операционном столе М. В. Фрунзе: «Кто прошел через испытания каторги, кто прошел невредимым через огонь гражданской войны, кто не раз, не два, где этого требовала революция, ставил свою жизнь на поле брани ребром, — тот пал под ударом судорожного сокращения небольшой мышцы, которая называется человеческим сердцем. Эта мышца — мотор нашего организма. И тот, кто сам был могучим двигателем революции и армии, пал, неожиданно сраженный, когда его внутренний двигатель, сердце, оказался парализованным навсегда»⁴. Троцкий (как и Сталин) был умен и (в отличие от Сталина) обладал даром публициста, что не помешало и ему нести монструозно гипертрофированную «ахинею» (используя определение Вайскопфа). Пожалуй, дело не в принудительной формульности скорби. Смерть обоих деятелей случилась при неясных обстоятельствах, и Троцкий так много говорил, чтобы не проговориться. Это новый тип «проговорок по Фрейд».

Книга Вайскопфа как раз и имеет дело — в границах «поэтики террора» — с террористическим бессознательным Сталина, которое не укладывается в привычные психоаналитические рамки. Подводя итоги первой главы, автор пишет: «Дальнейший переход от лексико-стилистического уровня к развернутым — так сказать, сюжетно-композиционным — публицистическим конструкциям Сталина, а равно и сопутствующий разбор его „авторской личности” возможны только с привлечением более обширного и многослойного контекста, охватывающего как мифопоэтические модели большевизма и русской революции в целом, так и кавказский фольклорно-эпический субстрат...» Этому и посвящена следующая глава «Три источника и три составные части», где рассматриваются православие, гностицизм (во внерелигиозном, то есть «квазигностическом», леворадикальном варианте) и кавказский фольклор в качестве продуктивных моделей сталинской риторики и логики. Причем Вайскопф не ограничивается типологическими сближениями, в достаточной мере лежащими на поверхности, но подчеркивает неслучайность, прагматическую мотивированность адаптации подобных моделей большевизмом: ведь «любой тоталитаризм апеллирует к архаическим слоям массовой личности».

³ Троцкий Л. Политические силуэты. М., 1990, стр. 235.

⁴ Там же, стр. 243.

Воздействие христианских формул на Сталина — в силу его семинарской выучки — факт достаточно известный. Но Вайскопф видит здесь общую особенность большевистского публицистического тезауруса: «...Совсем не чужд был Ленину, как и остальным социал-демократам, вполне положительный религиозный настрой, родственный христиански-жертвенному пафосу народовольчества».

Имеется в виду свойственная левым радикалам идентификация себя с Христом, апостолами, «первыми христианами», что никак не отменяло антихристианский пафос постольку, поскольку историческое христианство (на деле — собственно христианство) объявлялось фальсификацией лживых церковников, которые обслуживают интересы правящих классов. Опираясь на эти — хорошо известные культурологам — послышки, Вайскопф приходит к неожиданному выводу: если истинные революционеры — реинкарнация первых христиан, то власть — подобие Рима, а фракционеры и прочие оппоненты внутри революционного лагеря — новые фарисеи, в конечном счете — «евреи, что распяли Христа». А значит, по мнению исследователя, антисемитизм не есть просто биографическое свойство отдельных социалистов вроде Фурье, Прудона, Дюринга, как, впрочем, и Маркса, у которого он соединялся с «германской спесью, русофобией». Антисемитизм — постоянно актуализируемый логико-риторический ход, не обязательно подкрепленный личными чувствами очередного леворадикального литератора: «В принципиальный антисемитизм Ленина верить, конечно, не приходится, но, с учетом его предельной неразборчивости в полемике, употребление им соответствующих приемов чрезмерного удивления не вызывает. Использовал же он весьма одиозное словечко „гешефт“, „гешефтмахерство“, прикрепляя его то к „либеральным буржуа“ — этим „прирожденным торгашам“ („Две тактики социал-демократии“), то к Гоцу и Мартову („Очередные задачи Советской власти“)... Другим смертным грехом „оппортунистов“ считалась их чрезмерная интеллигентность (упрек, на мой взгляд, совершенно незаслуженный) или, вернее, „интеллигентщина“, бесконечно чуждая пролетарскому духу и ненавистная всем тогдашним социал-демократам, особенно большевикам. Этот презренный порок служил как бы марксистским классовым псевдонимом фарисейской „книжности“, того законничества и талмудического буквализма, за которые Ленин неустанно укорял меньшевистских теоретиков...» В такой перспективе Сталин, не будучи новатором, выступает «одним из тех, кто в силу и своих биографических факторов, и ментальных предпочтений еще на инициальной стадии большевизма способствовал выявлению консервативно-патриотического потенциала, накапливавшегося в этом движении наряду с интернационализмом».

Экспроприация большевиками христианской образности вполне мирно сосуществовала с их принципиальной приверженностью к «безбожию», сатанизму, «квазигностическому» культу мирового Зла. И здесь тоже Сталин не составлял какого-то чудовищного исключения: «Конечно, было бы весьма благонаравно прямоком зачислить Сталина в дьяволы, но дело в том, что вся эта бесовщина вызывает к старой революционной хтонике и богоборческому язычеству, которые изначально были такой же константой большевизма, как и его подспудно христианская символика».

Иллюстрируя большевистский «квазигностицизм», Вайскопф приводит многочисленные примеры восстающих мстительных мертвецов, кузнецов, вампиров-кровососов. С одной стороны, образность такого рода может справедливо интерпретироваться как трафаретная, лишённая прямого смысла. С другой — игнорировать наличие прямого смысла было бы неосторожно. Доказательство тому, которое соблазнительно добавить к аргументам Вайскопфа, — причудливые теории влиятельного большевистского теоретика А. А. Богданова (часто цитируемого в книге «Писатель Сталин»).

В дореволюционном научно-фантастическом романе Богданова «Инженер Мэнни», действие которого разворачивается на планете Марс в условиях «развитого капитализма», главному герою — руководителю строительства пресловутых каналов, жестокому и рациональному организатору — противостоит его сын Нэтти, осознающий важность строгой организованности, но защищающий интересы рабочих при помощи доктрины «великого ученого» Ксарма (прозрачная анаграмма

Маркса). В финале Мэнни добровольно уходит из жизни, уступив место Нэтти, а окончательно убедила его в необходимости такого поступка встреча с Вампиром. Сюжетный ход, казалось бы, неожиданный для автора-атеиста.

Роковой для Мэнни встрече предшествуют беседы с Нэтти, который толкует отцу «нелепую сказку о мертвецах, которые выходят из могил, чтобы пить кровь живых людей»⁵. Согласно Богданову-Нэтти, если человек «слишком долго живет, рано или поздно переживает сам себя», то он либо (в коллективистском обществе) «обновится» кровью товарищей (о чем Богданов мечтал еще в первом романе о Марсе «Красная звезда» как об «одновременном переливании крови от одного человека другому и обратно путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов»⁶), либо (в обществе индивидуалистическом) превратится в мучимого неутолимой жаждой «социального» вампира, причем «вампир, живой мертвец, много вреднее и опаснее, если при его жизни он был сильным человеком». Оказывается, «идеи умирают, как люди, но еще упорнее они впииваются в жизнь после своей смерти», и вампиризм идеи будет страшнее элементарного вампиризма: в число его жертв попадают не физические или духовные старики, а «благородные и мужественные борцы».

Подготовленный речами сына, Мэнни в конце концов победил Вампира, прервав процесс своего превращения в раба мертвой «идеи» самоубийством, но роман Богданова — это не только фантастика. Прежде всего рассуждения о «благородных и мужественных борцах» — ныне вампирах — метили непосредственно в Ленина, что Богданов открыто формулирует в статье «Вера и наука»: «Имя этому призраку — „абсолютный марксизм“. Вампир исполняет свою работу. Он проникает в ряды борцов, присасывается к тем, кто не разгадал его под оболочкой, и иногда достигает своей цели: превращает вчерашних полезных работников в озлобленных врагов необходимого развития пролетарской мысли. Наше отечество — страна молодого рабочего движения, не укрепившейся культуры, страна мучительно-изнуряющей борьбы — дала этому призраку едва ли не лучшие его жертвы: Г. Плеханова еще недавно, В. Ильина (псевдоним Ленина. — М. О.) теперь, не считая иных, менее крупных сил, но в свое время также очень полезных для общего дела. Товарищей, попавших во власть злого призрака, мы пожалеем и постараемся вылечить, хотя бы суровыми средствами, если нельзя иначе. А с вампиром поступим так, как со всякими вампирами поступать полагается: голову долой, и осиновый кол в сердце!»⁷

Кроме того, Богданов материализовал свои образы, попытавшись осуществить — уже при советской власти — проект взаимного переливания крови. Он, правда, полагал, что в стране Ленина — Сталина коммунистическое общество не построено и его идея временно не может быть полностью реализована: «Трудовой коллективизм еще только пробивается к жизни. Когда он победит, тогда будут устранены трудности и препятствия, стоящие теперь на пути коллективизма физиологического, тогда наступит его расцвет»⁸. Но Богданов не сдавался: возглавив с благословения Сталина Институт переливания крови, он проводил соответствующие исследования, решал прикладные медицинские задачи и лечил «ветеранов партии» (в том числе сестру Ленина). И получалось, что поскольку при взаимном переливании крови необходимы старик и юноша, постольку «партнерами» ветеранов должны быть молодые люди: молодежь псевдокоммунистического государства невольно связывается узами «физиологического коллективизма» с проверенными коммунистами.

Таким образом, сталинская «революционная хтоника» не уникальна, но она, как следует из книги Вайскопфа, существенно отличается от богдановской «интеллигентщины» своего рода «органичностью», укорененностью в живых народных

⁵ Богданов А. Инженер Мэнни. М., 1913, стр. 113.

⁶ Богданов А. Красная звезда. М., 1908, стр. 84.

⁷ Богданов А. Падение великого фетишизма. Вера и наука. М., 1910, стр. 223.

⁸ Богданов А. Борьба за жизнеспособность. М., 1927, стр. 154. См. подробнее: Одесский М. Миф о вампире и русская социал-демократия. Очерки истории одной идеи. — «Литературное обозрение», 1995, № 3, стр. 85 — 90.

верованиях. С этой точки зрения автор монографии возвращается к старым спорам о происхождении Сталина, стремясь доказать его принадлежность к осетинам. Это представляет собой не сомнительную с точки зрения «политической корректности» самоцель, но ступень в доказательстве важного тезиса: «Этнографические (помимо православных и марксистских) корни сталинской диалектики следует, мне кажется, искать как раз здесь — прежде всего в так называемом нартском (северокавказском) эпосе, восходящем именно к осетинской модели».

Нартский источник логики и стилистики Сталина обсуждается Вайскопфом бегло, хотя, как можно было убедиться на презентации его книги в Библиотеке иностранной литературы, именно это положение вызывает ожесточенные споры. Не будучи специалистом ни в генеалогии Сталина, ни в нартском эпосе, я здесь ограничусь тем, что напомним наблюдения автора, которые выглядят если не убедительно, то во всяком случае эффектно.

Псевдоним «Сталин» (в отличие от Ленина) интерпретируется просто и никогда особых дискуссий не породил, но выбор имени — поступок символический, потому весьма вероятно, что побудительных причин у вождя могло быть несколько. Популярнейшим же героем «осетинского и вообще нартского эпоса» был Сослан «Стальной», мать которого носила имя «Сатана» и титул «Хозяйка». Отстаивая значимость для Сталина нартской модели, автор указывает, что «самые первые, еще чисто поэтические псевдонимы Сталина, образованные от имени „Сосо“ — „Сосело“ и „Созели“, и самые последние — „Салин“, „Солин“, наконец, „Сталин“ включают в себя тот же акустический комплекс, что содержится в имени „Сослан“. Имя „Сталин“ было идеальным совмещением „Сослана“ со „сталью“ как его психологической и „большевицко-индустриальной“ (по выражению В. М. Молотова. — *М. О.*) сущностью (и в придачу обладало тем известным преимуществом, что переключалось с именем основателя большевизма)». Коль скоро Сталин — Сослан, то рядом должна быть Сатана Хозяйка, и Вайскопф обнаруживает ее в единственной дочери диктатора — Светлане (похожей, по свидетельству самого Сталина, на его мать): «В течение многих лет он, с совершенно избыточным постоянством, обыгрывает ее зловещее детское прозвище: в письмах к жене (которая сама была уроженкой Кавказа и, конечно, имела представление о его фольклоре) Сталин, упоминая о дочери, почти всегда называл ее „Сатанка“. Но когда она подросла и когда, после гибели Надежды Аллилуевой, семейный код был утрачен, он предпочитает изменить это имя на „Сетанка“ — очевидно, чтобы избежать обидных и непонятных для девочки коннотаций. Сама Светлана пишет только об этом втором, более позднем варианте: „Называл он меня (лет до шестнадцати, наверно) „Сетанка“ — это я так себя называла, когда я была маленькая. И еще он называл меня „Хозяйка“. Так он величал ее в своих письмах, и так же она сама подписывала послания к отцу: „Сетанка-хозяйка“». Отсюда и основной вывод Вайскопфа, касающийся специфического мышления «писателя» Сталина: «...Зачастую трудно бывает различить, к какому конкретно наследию восходит та или иная брутальная метафора Сталина, — зародилась ли она на склонах родных гор или была зачата в утробе подпольной типографии. Скорее всего, перед нами спонтанный синтез обеих культур...»

Третья и четвертая главы монографии развивают предложенный автором подход: в главе «Капля крови Ильича, или Теология победы» прослеживается ясная преемственность сталинской образности с «поэтикой» ленинского культа, каким он сложился еще при жизни основателя большевизма и каким он стал после его кончины, а в заключительной главе «Голод в области людей» предпринята попытка сформулировать магистральный «сюжет» писателя Сталина, его основное «послание». Вайскопф начинает свое рассуждение с очередного сталинского ораторского шедевра: «Но, изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в период, я сказал бы, голода в области людей, в области кадров». В дальнейшем, однако, оказывается, что Сталин снова не оговорился, а проговорился. Согласно автору книги, идея «кремлевского горца», аккумулируя самые разные источники, подразумевала связь жизненного процесса с перманентным насильственным устранением участников процесса жизни. Жизнь — молода, потому старое (точный возраст здесь относителен) подлежит удалению: «По существу, вся совет-

ская жизнь представляет собой как бы непрерывный круговорот кадровых масс, которые поднимаются из земли, огибая свое сакральное средоточие, и снова уходят в ее глубины, чтобы уступить место усовершенствованным преемникам». Разумеется, закон круговорота знает одно исключение — сам Сталин: «Только составившийся обладатель этой надмирной мудрости не подлежал замене и ликвидации...»

Завершая описание сталинской логики и риторики «по Вайскопфу», остается только грустно отметить, что есть одно обстоятельство, подтверждающее правомерность именованного тоталитарного диктатора «писателем». Персонифицированная ложь, он вместе с тем по-своему почитал слово. Это контрастирует (пожалуй, в пользу Сталина, хотя не как аргумент в его защиту) с современным положением дел, когда политики, будучи людьми постмодернистской эпохи, освобождают свой «дискурс» от жесткой связи с реальностью, демонстрируя (может быть, справедливо) отношение к слову как малоэффективному, самодовлеющему, «замкнутому» только на себя «коду». Сталин же, как констатирует автор в историко-ведческом вступлении к книге, составляя по образцу Троцкого и Зиновьева собственное прижизненное собрание сочинений, при всей автоцензуре включил «огромное количество высказываний, за любое из которых их автор, не будь он Сталиным, поплатился бы головой». Думается, наряду с прочими причинами — это именно какое-то боязливое уважение слова.

Ну что ж, трогательно.

Михаил ОДЕССКИЙ.



ПЕСНЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ НЕВИННОСТИ

Н. Переяслов. *Нерасшифрованные послания*. М., «Крафт+», 2001, 319 стр.

Книга Николая Переяслова состоит из статей, написанных в разные годы и объединенных теперь под одной обложкой. На переплете сборника, прямо под фамилией автора, красуется скромная надпись: «Филологический бестселлер». Должен сразу предупредить потенциального читателя: определение «филологический» имеет к тому, что внутри, отношения еще меньше, чем слово «бестселлер» к изданию, выходящему тиражом в две тысячи экземпляров.

Как и положено всякому уважающему себя представителю паранауки, Николай Переяслов выдал книгу, характеризующуюся двумя основными признаками: глобальностью построений (на трехстах страницах дешифруется вся русская литература «от „Слова о полку Игореве” до наших дней») и тотальным изничтожением доперьясловского литературоведения как в школьно-вузовском, так и в академическом его изводах. От чистого сердца рекомендую «Нерасшифрованные послания» поклонникам постмодернистских романов: уверен, что знакомство с виртуальным миром Н. Переяслова доставит им немало приятных минут. Из обитателей этого мира мне больше всего приглянулся Гоголь, страдающий загадочным «синдромом Нострадамуса» и вследствие этого сражающийся с тоталитарной системой. Но этот выбор, конечно, — дело вкуса.

Впрочем, глава о Гоголе, безусловно, одна из самых ярких в книге. Здесь полет авторской мысли обретает особую легкость. «Заговорив о Гоголе... практически уже не могу себя заставить замолчать», — признается Переяслов. «Астрологическая суть» «Мертвых душ», по его смелой догадке, состоит в том, что гоголевская поэма рисует «схему исторического движения нашего государства от Октябрьской революции 1917 года и до самой смерти Л. И. Брежнева». Попутно выясняется, что Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, дабы тем самым подчеркнуть и структурную близость к сонету. Дальнейшее уже совсем просто. Остается лишь предположить, что сонет этот написан «пятистопной строкой», затем помножить эту пятерку на четырнадцать строк традиционного сонета — и мы получим в результате искомые семьдесят лет советской власти. Что и требовалось доказать.

Остается лишь смиренно покаяться, что раньше мы не замечали столь очевидные вещи. Это тем более постыдно, что Гоголь как честный человек практически на каждом шагу оставлял подсказки для проницательного читателя. Вот, например, в предпоследней строке гипотетического сонета хоронят прокурора с густыми бровями. Узнаете дорогого Леонида Ильича? А яркое описание перестройки во втором томе? А предсказание войны в Чечне?.. К сожалению, именно на этом месте цепочка гоголевских пророчеств обрывается. Второй том «Мертвых душ» остался неоконченным, и что случится с нами в XXI веке, Переяслову пока неизвестно.

От Гоголя наш автор переходит к Блоку. Справедливости ради заметим, что на фоне удивительных прозрений предыдущей главы «Вьюжная тайна „Двенадцати“» выглядит несколько бледно. Кроме того, мне сдается, что краткое содержание этого раздела лет этак пятнадцать назад я уже слышал от своей школьной учительницы русского языка и литературы. «Если бы я была Блоком, — помнится, говорила она, застенчиво улыбаясь, — я написала бы финал этой поэмы совсем по-другому. Ну, например, так: „В белом венчике из роз / Удирал Иисус Христос“». Впрочем, здесь Переяслова выручает умение говорить банальности с апломбом первооткрывателя. Согласитесь, одно дело просто рассуждать о том, что «Двенадцать» — это «попытка Самого Христа разбудить тех, кто, пребывая в духовной спячке, отдавал на растоптание и свою Святую Веру, и свою Святую Русь», и совсем другое — сопровождать подобный текст инвективами в адрес так ничего в блоковской поэме и не понявших современников — от Н. Бердяева и П. Флоренского до В. Зоргенфрея и К. Чуковского. Последний вариант, понятно, не в пример солиднее.

Но подлинной простоты и общедоступности авторская методология достигает в следующей главе. Полемизируя с безымянными представителями «читающей среды», видящими в Клюеве «*малограмотного „поэта из народа“*», Переяслов находит-таки способ продемонстрировать злопыхателям обратное. В качестве доказательства он, обнаруживая не только литературоведческие навыки, но и недюжинное терпение, перечисляет 123 упоминаемые в стихах Клюева географические и исторические реалии, включая Александра Дюма (отца или сына — не уточняется), Пржевальского, Гималаи, а также старика Ведуна и святого Сесентия. Судя по всему, столь убедительный прием позаимствован Переясловым из «Двенадцати стульев», где авторы применяют сходный метод для доказательства эрудиции двух очаровательных девушек. Если наша догадка верна, то Клюев, значительно опережая Эллочку Щукину, все же не дотягивает до уровня Фимы Собак, лексикон которой, как мы помним, состоял из 180 слов. Впрочем, сообщает Переяслов, наряду с именами писателей и названиями европейских столиц Клюев употреблял и такие умные слова, как «наркоз» и «индустрия». Это уточнение, видимо, призвано уравнивать поэта в глазах читателя с мадемуазель Собак, знавшей, если верить авторам, богатое слово «гомосексуализм».

Решив таким образом проблему литературоведческой аргументации, автор переходит к реформированию переживающего серьезный кризис интертекстуального метода. Открытие Переяслова просто, как все гениальное: теперь для доказательства родства двух текстов достаточно установить, что они состоят из одинаковых букв. Полигоном для испытания этой смелой идеи Переяслов по не вполне понятным мотивам избирает поэзию Мандельштама и прозу Булгакова.

Итак, Мандельштам испытывает «своеобразную „слабость“» к редкой букве «ф» (следует перечень 101 соответствующего слова, при этом некоторые повторяются по несколько раз), а Булгаков дает Коровьеву прозвище «Фагот» и характеризует его как «фиолетового рыцаря». При этом буква «ф» «мощным фоном... сопровождает почти каждое появление нечистой силы, и в особенности — самого Фагота».

Если кто-то думает, что наш автор на этом останавливается, то он глубоко ошибается — Переяслов находится еще в самом начале своего «независимого расследования». Следующим шагом становится логический вывод: Мандельштам является прототипом Коровьева. Не верите? Самому закоренелому скептику придется отступить под градом авторских доказательств. Скажем, все тот же фиолетовый цвет: «Его символика весьма прозрачно намекает нам на принадлежность Фагота к *литературной* деятельности, ибо цвет этот ассоциируется в первую очередь с *чернилами* и — через них — с ремеслом *писателя*. Правда, в стихах Мандельштама

чернила называются, как правило, не фиолетовыми, а лиловыми, но этот цвет в его поэзии окружен такой густой „опекой” буквы „ф”, что образ поэта поневоле должен был ассоциироваться у Булгакова с определением *фиолетового*.

Sapienti sat, но для тех, кто еще не вполне убежден, существуют и другие доказательства. Так, неудачный каламбур Коровьева-Фагота о свете и тьме оказывается не чем иным, как знаменитым мандельштамовским «черным солнцем». Но решающее доказательство автор все же приберет напоследок: по воспоминаниям Георгия Иванова, Мандельштам все время смеялся, Коровьев же в сцене с Поплавским беспрестанно рыдает. Тут уже всем все становится ясно, и самый недоверчивый читатель, посрамленный, будет вынужден признать свое поражение.

Боюсь, из вышеописанного кто-нибудь может сделать неверный вывод, что мы имеем дело с собранием пестрых глав, грудой разномастного материала, объединенного в единое целое лишь именем автора и его неизменным мастерством. На самом деле среди этого буйства красок явственно проглядывает генеральная линия.

Критическую родословную свою Переяслов, по его самоаттестации, ведет от И. Есаулова и суть своего подхода формулирует с прямоотой, которая, боюсь, не обрадует первооткрывателя категории соборности в русской литературе: «У нас нет иного критического метода, кроме сопоставления написанного автором с Божьими заповедями». Надо признать, что приложение этого метода к классическим произведениям русской литературы приносит иной раз поразительные плоды. Так, Переяслову удалось наконец решить проблему положительного героя в «Мастере и Маргарите». Выяснилось, что подлинным выразителем «православного отношения» к действительности в романе является «гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком» (белый — «цвет чистоты и святости», комментирует автор), не желавшая пропускать Коровьева и Бегемота в ресторан дома Грибоедова. Именно эта достойная особа, как мы помним, наотрез отказалась называться «преlestью» и, таким образом, оказалась «практически *единственным* персонажем романа, *не подпавшим под власть нечистой силы*».

Не менее эффектны результаты сличения библейских заповедей с песнями В. Высоцкого. На пяти страницах главы с выразительным названием «Слушать ли на ночь Высоцкого?» Переяслов доказывает, что Высоцкий никогда не был «страдальцем за Православную веру». Причем делает он это с такой страстью, что кажется, будто канонизация барда — вопрос практически решенный и автор изо всех сил уговаривает православных иерархов не совершать роковой ошибки.

Вина Высоцкого тяжела, и доказательства ее неопровержимы. Вольно же, например, было ему петь «Хорошую религию придумали индусы», когда ясно сказано: «Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене». А «Ты его не брани — гони», «так удивительно напоминающее знаменитое со времени Пилата требование: „*Распиши*”? Но особенно огорчает критика песня Высоцкого «Купола». «Непонимание здесь просто потрясающее», — удрученно комментирует он знаменитые строки «Купола в России кроют чистым золотом — чтобы чаще Господь замечал». Огорчение автора вполне понятно — не знал Высоцкий того, что ведомо Переяслову: покрытие куполов для Господа значения не имеет, ибо «для Него заметнее всех куполов может оказаться крыша рядового сарая, если под ней молитва *совершается*, а под золотыми куполами — *нет*».

А эмоциональный фон?! «Атмосфера ненависти буквально пропитывает собой половину стихов и песен Высоцкого, — констатирует наш строгий, но справедливый судья. — Причем в большинстве случаев она не имеет под собой ровным счетом никакой реальной причины: Сэма Брука, например, автор (понятно, что из „шкуры” своего героя) ненавидит за то, что тот — гвинеец и бежит быстрее его самого». Напоминать человеку, взрывающему «устоявшиеся представления о знакомых со школьной скамьи... произведениях» и открывающему в них «абсолютно новые, ускользавшие ранее от постижения смыслы» (из издательской аннотации) о таких мелочах, как различение автора и его персонажа, просто неприлично. («Господа, что же это такое?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете?!» — помнится, укорял своих противников один из довлатовских героев.)

Неверно, однако, полагать, что вузовские пособия по введению в литературоведение вовсе не оставили следа в сознании нашего автора. Как явствует из текста

книги, особенно сильное впечатление произвели на него теория мимезиса и учение о типизации. Они, в частности, помогают автору ответить на вопрос, чем плохи строки А. Вознесенского «Как салат из омара, розовеет Самара». Ну конечно, рядовому самарцу «по несколько месяцев не выплачивают зарплату», и он никогда не видел омаров, а следовательно, не способен оценить всей прелести этого двестишья. Вот если бы жители Поволжья имели лобстеров на завтрак, обед и ужин, афористические строки Вознесенского следовало бы заучивать наизусть. А так — ни тебе типизации, ни народности.

Зато Н. Рубцов писал о вещах народу близких и понятных. Обычно критики «уходят от поисков „будничного смысла”» стихотворения «В горнице» или даже «переводят все описанное в нем в область *сновидения*». Увы, подобные трактовки не позволяют ответить на неизбежно возникающие у любого читателя Рубцова вопросы: «Почему... матушка идет в такое *неподходящее время* с ведром по воду? Почему она при этом *не зажигает света*? Почему, в конце концов, если так уж вдруг понадобилось принести *среди ночи* воды, этого не сделает за нее сам *лирический герой*, недвижно наблюдающий за матушкиными действиями?» Переяслову «видится здесь гораздо более простая и по-житейски понятная картина». Матушка собирает-ся гнать самогон (надо сказать, что в описании этого процесса автор демонстрирует нерядовые познания), потому и ходит по воду ночью и не зажигая света. А самогон ей понадобился, чтобы дать опохмелиться лирическому герою, который пил «с самой прошлой получки» (источник информации не указан). За время его беспробудного пьянства завяли красные цветы, а на речной мели сгнила лодка. Но это не беда — герой, выйдя из запоя, цветы польет, а лодку починит. «Не знаю, разрушилось ли при таком прочтении так оберегаемое критиками „волшебство стихотворения”, но соответствие выявленного в нем смысла образу и характеру самого Рубцова стало, как мне кажется, намного более точным», — удовлетворенно замечает исследователь.

Вслед за автором мы подошли почти к самому концу русской классической литературы. Последним ее представителем, если верить Переяслову, был В. Солоухин, чье место — «в уходящем чуть ли не за горизонт строю тех, кто числит себя в почетном карауле современной русской литературы». Упоминание «почетного караула» могло бы навести на мысль, что современница... того-с, но мы уже решили не заниматься мелкими придирками и потому продолжаем следовать за полетом авторской мысли. Итак, прощальным шедевром, оставленным могучими представителями уходящей на дно Атлантиды в назидание потомкам, оказалась «главная книга» Солоухина «Последняя ступень». Книга эта, как и следовало ожидать, посвящена *тому самому* вопросу, но, «прикасясь к... непростой и болевой для представителей еврейской нации теме, Владимир Солоухин, в отличие от многих других, затрагивавших этот вопрос до него, не вносит в книгу никакой личной озлобленности, никакой неприязни к евреям, никакого антисемитизма». Приводимые Переясловым выдержки из книги не позволяют усомниться в правоте этих слов: «Израиль — это болезнь всего человечества, это рак крови... Кто-то (это „кто-то” особенно хорошо; как насчет любимого метода — сверки анализируемых произведений с текстом Библии? — М. Э.) внушил им с самого начала, что они народ особенный, единственный на земле, а все остальные народы — лишь среда для их жизни и развития... Все религии мира твердят с небольшими вариациями — „люби ближнего, не убей, не укради, все люди братья”. И только одна религия из всех человеческих религий твердит евреям: отними, презирай, покори, заставь служить себе, уничтожь». Комментарии знатока декалога, естественно, отсутствуют. В самом деле, Солоухин же не Высоцкий какой-нибудь, его на ночь перечитывать можно и должно: «Когда по Парижу гремели телеги, нагруженные, как арбузами, головами лучших французов (боже мой, неужели Робеспьер тоже из *этих*? — М. Э.)... когда кровь немцев заливала немецкую землю, кровь англичан — английскую (как, и Кромвель?! — М. Э.), а кровь русских — русскую, одни евреи во время всех этих революций знали, что происходит и зачем происходит. Они одни твердо и точно знали, что надо делать». На этой оптимистической ноте великая русская литература «от Пушкина до Солоухина» (второму в книге посвящено в два

раза больше страниц, нежели первому) и прекратила свое существование. («Не взрыв, но всхлип», — как писал другой классик.)

После этого «на руинах великой словесности» воцарился постмодернизм. Впрочем, уточняет Переяслов, постмодернист постмодернисту рознь (из кино известно, что бывает «дрянь хорошая и дрянь плохая»). Среди постмодернистов с человеческим лицом выделяются В. Артемов, А. Афанасьев, М. Волостнов, Ю. Козлов, Ю. Поляков и примкнувший к ним В. Дегтев, «сочиняющий небольшие динамичные рассказы практически на любые темы окружающей действительности» (не поздоровится от этаких похвал), а также М. Попов, «продолжающий в своих романах стилистические традиции Владимира Набокова» (при этом творчество самого Набокова «так и не преодолело до сих пор процесса отторжения русской литературой»). Для них всех характерно сочетание литературоцентричности и цитатности (у Юрия Козлова: «Сейчас Лена скажет „да“, и Аристархов, как форель из стихотворения поэта-гомосексуалиста Михаила Кузмина, разобьет лед») с «традиционной для России философско-нравственной глубиной исследуемого писателем проблемы» («„Слышь, парень, что творится! — сообщил он, едва машина тронулась. — Они, суки, дерьмократы эти, жидомасоны, что творят... Мир захватили, шелупонь такая, теперь на Россию весь удар...” Родионов улыбнулся: „Если шелупонь захватила мир, то, может быть, мир того стоит? — сказал он. — Недорого стоит такой мир...”») — Владислав Артемов).

К сожалению, наряду с правильными постмодернистами попадают и постмодернисты неправильные. Их появление — прямое следствие «подпитки нашей литературы Набоковым, Борхесом, Маркесом и творчеством иных „экспортированных” писателей Запада» (пониманию, что путать экспорт с импортом в среде антирыночников считается высшим шиком). Неправильные постмодернисты — это В. Пелевин, В. Сорокин, Э. Лимонов и проч. Есть еще роман Саши Соколова «Школа дураков» (на самом деле роман называется «Школа для дураков» — сообщаю Переяслову на случай переиздания его бестселлера), но здесь вся интрига и вовсе «сводится к проблеме выживания персонажа в условиях... больничного беспредела», что «обязывает автора делать ставку на... духовно сильного героя», а это уже было в «Записках сумасшедшего» Гоголя и у Кена Кизи в «Пролетая над гнездом кукушки». Главным же неправильным постмодернистом является, конечно, Бродский. Правда, Переяслову удалось обнаружить у него одно-единственное «теплое» стихотворение — «Стансы», — «опирающееся не на холодное уноенное синтаксическое вязью, а на философский опыт поэзии Ивана Бунина». Но в итоге Бродский бессовестно обманул надежды критика, завещав похоронить себя не на Васильевском острове, а в Венеции...

Но даже сегодня, когда «российские литераторы» собираются, «„здрав штаны”, бежать... за Прустом, Кафкой и Чейзом», когда никто уже не пишет произведений, равных по силе «Любови Яровой» или «Оптимистической трагедии», еще, как мы узнаём, не все потеряно: духовное возрождение близится, чему порукой — «Старые песни о главном»...

Несмотря на убеждение критика, что в произведении важно «что», а не «как», знакомство с его трудом было бы не полным, не задержись мы хотя бы ненадолго на особенностях авторского стиля. Едва ли не сильнейшую сторону дарования Переяслова, безусловно, составляет уникальная способность к мышлению афоризмами: «Пушкин — это всегда загадка, всегда неразгаданная тайна»; «Гениально — это значит всегда *современно*»; «Природа литературного гения изначально непознаваема»; «Русская литература всегда представляла собой нечто большее, чем просто сочинительство»... Козьма Прутков не сказал бы лучше. Очевидно, что нещадно атакуемый Переясловым школьный учебник литературы навсегда остался мощным источником вдохновения для нашего автора.

Литератор не может оставаться равнодушным к судьбе родного языка, тем паче в эпоху, когда он подвергается «катастрофическому разрушению». Естественно поэтому, что книга Переяслова являет нам пример бережного обращения с русским языком. Подлинный ценитель не пройдет равнодушно мимо таких фраз, как «ключ отыскания ответа» или «его создатель, как нам об этом извещается устами Черного человека...». Иногда автор вспоминает о годах, проведенных в Литинсти-

туте, и тогда на свет появляются «интертекст, опосредованный неомифологизмом», или «принцип миров с развороченной космогонией»...

Итак, свершилось: российское литературоведение дождалось наконец своего Фоменко. Впрочем, следует признать, что наш филолог не в пример честнее шумного предшественника. Тот называет свои изыскания «новой Хронологией»; Переслов свои — «игрой в „балду”».

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.

*

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Дина Шварц. Дневники и заметки. СПб., «ИНАПРЕСС», 2001, 477 стр.

За пределами театральных кругов имя Дины Морисовны Шварц мало кому известно. Однако театралы произносили и произносят его с глубочайшим почтением. Дина Шварц была бессменным завлитом ленинградского Большого драматического театра. В 1956 году она пришла туда вместе с Георгием Александровичем Товстоноговым (до того они вместе проработали около семи лет в ленинградском же Театре им. Ленинского комсомола). Они вместе писали инсценировку «Идиота» и вместе восхищались игрой Иннокентия Смоктуновского. Сам режиссер говорил о Дине Шварц так: «Для меня она — первый советчик, то зеркало, на которое каждому из нас бывает необходимо оглядываться. Ее амальгама отражает чисто, верно и глубоко». Разумеется, эти слова приведены в книге — на последней странице.

В день смерти Товстоногова (он скончался в мае 1989 за рулем своего «мерседеса») Шварц записала в дневнике: «Вот и кончилось все. Нет театра, нет жизни. Ради него я пошла в театр, без него работать не могу», — однако она осталась в БДТ — помогать своим авторитетом Кириллу Лаврову и Темуру Чхеидзе. Получалось это, скажем мягко, с переменным успехом. Ее вкусы, строй ее мыслей, ее судьбу до самого конца определял человек, с которым она проработала почти сорок лет и на которого чуть ли не молилась. Самая поздняя из записей, опубликованных в книге, датирована 1998 годом — и это в основном воспоминания о спектакле «На дне», последней режиссерской работе Товстоногова.

«Дневники и заметки» Дины Шварц были сданы в набор около полутора лет назад. Книгу ждали с нетерпением, и это понятно. Кто мог лучше, чем Дина Морисовна, знать внутреннюю жизнь БДТ? Кто мог лучше, чем она, знать самого Товстоногова и его принципы театрального руководства?

«...Товстоногов остается одним из самых загадочных персонажей советской сцены», — пишет Анатолий Смелянский в своих «Предлагаемых обстоятельствах» — замечательных очерках по истории отечественного театра второй половины XX века. «Свой собственный голос он растворял в авторе и актерах, оставаясь верным себе только в одном — в профессионализме. Он был профессионалом, когда инсценировал Достоевского и Толстого. Но он оставался им и тогда, когда ставил спектакль о Ленине или воспевал коллективизацию... Каким образом Товстоногов вкладывал свой божий дар в „Поднятую целину”? Из каких источников питалась его вера и была ли она вообще?»

Разумеется, Смелянский не оставлял эти вопросы безответными, и разумеется, его ответы умны и изящны. Однако как было бы важно сопоставить суждения историка и завлита. Взгляду извне и взгляду изнутри — даже если они в равной степени пронизательны — одно и то же зачастую видится по-разному. Из дневников Дины Шварц мы могли бы узнать о БДТ необычайно много существенного — и именно такого, что было известно ей одной. С огорчением должен сказать всем, кто на это надеялся: книга надежд не оправдывает.

Томик карманного формата, изданный не только добротной, но и изящно. Твердый переплет, фотообложка в теплых тонах — портрет Дины Морисовны на фоне театра. Текст делится на четыре части. Первая (170 стр.) — самая большая:

это дневники старшеклассницы и студентки, поступившей в 1939 году на театроведческий факультет ЛГТИ. Вторая (60 стр.) — самая маленькая: это выдержки из дневников завлита БДТ, причем годам работы с Товстоноговым (самому ценному, самому интересному для читателя-театрала!) отдано чуть больше десяти страниц. В третью часть вошли разрозненные заметки — о знакомстве с Товстоноговым, о встрече с Вампиловым, о спектаклях БДТ (судя по всему, задумывалась книга мемуаров) и два интервью. Все вместе — около 110 страниц.

Остальное — примечания и указатели: на редкость тщательная работа С. В. Дружининой. Если в «Указателе названий» вы не найдете, скажем, «Короля Генриха IV» или «Ханумы» — даже и не пробуйте искать их в основном тексте. Впрочем, найдя, к примеру, «Историю лошади», не торопитесь радоваться. В выдержках «Из поздних дневников» вы обнаружите только упоминания о прославленном спектакле. Без комментариев. «Смерть Тарелкина» — то же самое. О «Мещанах» — чуть больше: строк семь наберется.

Это что же такое получается? Человек всю свою жизнь отдал театру. Жил в нем, думал о нем, вел дневник — для себя, не для печати. Почему этот дневник изрезан в лапшу и почему эту лапшу — без вкуса, без запаха, как ей и положено, — подают мне взамен основного блюда? Почему предпочтение отдано сглаженным «заметкам» (они-то как раз для печати предназначались), написанным по памяти, в весьма пожилом возрасте?

Первое ощущение: караул, обездолили! Утаили что-то чрезвычайно существенное. Что-то — может быть! — способное изменить все наши привычные представления о Товстоногове и его театре. О его отношениях с артистами, драматургами и властями. О том, почему из театра ушли Сергей Юрский, Татьяна Доронина, Олег Борисов. И т. д.

Чтобы сохранить легенду, приходится прятать правду — дело известное. По дурости, что ли, музей Театра им. Вахтангова мертвой хваткой вцепился в вахтанговский архив и театроведов к нему не подпускает ни под каким видом. Есть, есть в этом архиве что-то такое, что нужно охранять тщательней, чем архивы Лубянки. Может быть, и с дневниками Дины Шварц — то же самое?

Может быть. Но как-то не похоже. «Дневник завлита», судя по выдержкам, очень деликатен — даже тогда, когда Дине Морисовне приходится писать неприятные (для нее самой — неприятные) вещи. «Состоялась премьера пьесы Дворецкого „Трасса“. Думаю, что это я втравила Г. А. в невыгодное мероприятие. Пьеса рыхлая, большая, недоделанная. Но Г. А. взял ее и не сумел сделать. Он торопился к дате, к XXI съезду, а работал сравнительно мало, душу в этот спектакль не вложил, отлынивал».

Это — опять же, судя по выдержкам, — предел резкости.

Может быть, Дина Морисовна, которая относилась к «датским» спектаклям типа той же «Трассы» с пониманием, которая всерьез думала, что иначе просто нельзя работать, которая про «Поднятую целину» писала: «Спектакль должен звучать трагедийно и поэтически» (самое занятное, что он именно так и прозвучал), — может быть, она в своих дневниках писала вещи, политически некорректные — не с тогдашней, с нынешней точки зрения? Такая вероятность имеется.

Скажем, почему в урезанных дневниках после 1966 года сразу наступает 1970-й? Где переломный 1968-й? Может быть, питерская интеллигентка, да к тому же дочь «врагов народа» (родителей арестовали в 1933-м, девочка Дина переехала жить к своей тетке), остерегалась доверить даже дневнику свои неизбежные мысли о танковом наезде в Прагу?

Да нет. Скорее всего, она вообще старалась ни о чем таком не думать и с готовностью принимала правила жизни, продиктованные властью — родным, неизбежным, непреодолимым злом. Именно потому, что зло — родное. Кем уж точно не были ни Дина Шварц, ни Георгий Товстоногов, так это диссидентами. Инакомыслящими. Однако — вот в чем тайна! — свободомыслящими людьми они были.

Как это у них получалось, я и представить себе не могу. Ни двухтомник Товстоногова, изданный в 1980 году, ни дневники Дины Шварц — в том виде, в каком они опубликованы, — не дают ответа. В более полном — вероятно, могли бы дать.

Однако ни театральные, ни экзистенциальные проблемы не волновали составителя «Дневников и заметок». Пора назвать имя: тексты для публикации отбирала и компоновала Е. А. Шварц. Дочь Дины Морисовны. Питерский поэт, автор шестнадцати книг, лауреат литературных премий (подробная справка о составителе дана в примечаниях под № 421).

И все встает на свои места. Вспомнив название одного русского водевиля, можно сказать: «Беда от нежного сердца».

Смысл и пафос книги, составленной Еленой Шварц, легко выразить одной фразой, точнее, возгласом: «Мама, я тебя люблю!» Нетрудно вообразить, с каким умилением читала Елена Андреевна девичьи дневники своей матери.

«К Гульке я совсем-совсем равнодушна, он мне больше не нравится. Я никого не люблю и еще не любила. С. Н. мне только очень нравится, а сейчас уже меньше. Разве это любовь?.. Играли в воротики, во флирт, в мигалки. Тамара сегодня кокетничала, особенно с Андреем, и говорит, что я тоже кокетничала со всеми и особенно с Андреем. Он мне нравится, я этого не отрицаю... Соня мне сообщила новость. Она сказала, что ей два-три дня нравился Изька. Вот уж никогда не ожидала. Я бы в Изьку не влюбилась. Он мне не нравится: врун, хвастун, скупой» (все цитаты — из весенних записей 1938 года). И так — до самого конца: «Фу! Гитлер — сволочь, как я его ненавижу. Наконец-то я узнала, что такое ненависть» (31 июля 1941 года).

Разумеется, все это любящей дочери захотелось опубликовать как можно полней — в ущерб театральной судьбе Дины Шварц, истории БДТ, здравому смыслу и читательскому интересу. Дина Морисовна Шварц была таким завлитом, каких театр не видел со времен великого мхатовца Павла Маркова, — тем она и интересна. Но, прошу прощения, мне мало дела до вполне заурядной девушки Дины, играющей в воротики и обожающей артистов.

Быть может, Елене Шварц померещилось некое сходство между сумбурными выплесками чувств в материнских дневниках 1938 — 1941 годов и всемирно известным «Дневником Анны Франк». Смею заверить: сходства никакого. Однако иной причины, по которой все эти гульки и изьки можно было счесть достойными публикации, я попросту не вижу...

Александр СОКОЛЯНСКИЙ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

Некоторые коллеги удивлялись, что в предыдущей «Книжной полке Андрея Василевского» («Новый мир», 2001, № 2) я поместил десять не вполне благожелательных откликов, традиционно разбив их на семь условно «положительных» и три условно «отрицательных». Объясняю: в «плюс» я ставил книги, о невыходе которых по тем или иным причинам я бы сожалел, а в «минус» — те книги, которые хоть бы и не выходили в свет. Пусть уж будут в этот раз плюс-минус десять книг, большинство из которых свидетельствует о том, что наша Россия является одной из самых свободных стран современного мира.

±10

Станислав Куняев. Пoesия. Судьба. Россия. М., «Наш современник», 2001. Книга 1. Русский человек. 432 стр. Книга 2. «...Есть еще океан». 512 стр.

Знаменитая книга Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», сокрушается Куняев, определила в 60 — 70-е годы читательское понимание 20 — 30-х годов, поскольку ни Михаил Шолохов, ни Леонид Леонов, ни Алексей Толстой, ни Лев Гумилев не оставили после себя мемуаров.

Станислав Куняев их ошибки не повторил, и правильно сделал.

«Вольно или невольно авторы [либеральных] воспоминаний находились в плену мощного и устойчивого мифа о том, что либеральная партия в советском истэблшменте была единственной оппозицией существующему режиму, — пишет Николай Митрохин в своем исследовании „Русская партия” („Новое литературное обозрение”, 2001, № 48 <<http://www.nlo.magazine.ru>>), посвященном „наиболее консервативной альтернативе „усредненному” партийному курсу — движению русских националистов в СССР, или так называемой „русской партии”, которая имела своих сторонников как в партийно-государственном аппарате, так и в творческих союзах». Особенно, отмечает Митрохин, в Союзе писателей СССР в 1960 — 1970 годы. Так вот Куняев был, по уверению Митрохина, настоящий *анфан террибль* среди руководства «русской партии» и всего националистического истэблшмента.

Уж какой он *террибль*, пусть каждый судит самостоятельно, но книга получилась с любой точки зрения интересная и заслуживающая внимания не только читателей «Нашего современника».

По сверхзадаче — дать *правильное* понимание эпохи и людей эпохи — она соотносится/отталкивается от уже упомянутых мемуаров Эренбурга. По образу/самопониманию рассказчика эта книга *бойца* тяготеет к не менее знаменитым воспоминаниям Солженицына «Бодался телёнок с дубом».

Митрохин так находит даже стилистические совпадения. «Я, — пишет Куняев, — понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все это выглядит как моя забота о судьбе культуры, идеологии и государства, чтобы не „сгореть дотла”, пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня прорабатывают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают — пусть письмо расходится по руслам и ручейкам патриотического Самиздата...»

Кроме однообразных антиеврейских инвектив в книге есть ряд выразительных портретов — скажем, Свиридова или Межирова, а главное, много любопытных подробностей, ради которых, собственно, стоит читать эту книгу (не ради же *идеологии...*). Подробностей зачастую детективных, которых даже вообразить себе невозможно: «Через два месяца после передачи [„наверх” антиеврейского] письма я был приглашен „на ковер” в апартаменты ЦК КПСС. За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

— Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? — Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...»

Представьте картинку: вдруг бы устройство того — на цеховский ковер...

В название второго тома вынесено известное высказывание Блока.

Куняев объясняет так: «Когда Александр Блок узнал о гибели „Титаника”, он записал в дневнике простые и страшные слова: „Есть еще океан”. И частица этого „океанского” ощущения жизни стихийно или осознанно теплится в каждой живой русской душе».

Вообще-то Блок записал в дневник в апреле 1912 года: «Гибель *Titanic*'а вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)». Почувствуйте разницу контекстов (тем более, что в размышлениях Куняева «Титаник» оказывается метафорой нынешнего Запада, «золотого миллиарда»...).

Степень точности/приблизительности куняевских воспоминаний, видимо, везде такая. Но мемуары — жанр вообще двусмысленный, лукавый. Положа руку на сердце, за это мы их и любим.

Дмитрий Шепилов. Непримкнувший. М., «Вагриус», 2001, 400 стр.

Несмотря на то что эти мемуары писались в 50 — 70-е годы, несмотря на партийную ограниченность и простодушие автора (в последнее мне трудно поверить), это вполне своевременная книга.

Своеобразие/своевременность ее в том, что автор предлагает совершенно иную систему координат, чем многочисленные прогрессивные мемуаристы. Вопреки устоявшейся шестидесятнической мифологии, примкнувший/непримкнувший к «антипартийной группе» Шепилов отказывается рассматривать Хрущева как позитивную альтернативу Берии. Для него — это два хищника, схватившиеся за власть после смерти Вождя (который описан амбивалентно, но неизменно уважительно). Складывается даже впечатление, что только эти двое и были готовы *взять* власть, а не ждать, пока она сама свалится в руки. Истинным — не формальным — наследником Сталина мемуарист считает Молотова, признавая, впрочем, что Молотов не делал ни малейшего движения к тому, чтобы стать первым лицом в стране. Другим положительным персонажем книги является Андрей Жданов, что по крайней мере не тривиально.

Рабочее название у мемуаров было сильное — «Хрущевщина». Но сын Шепилова, редактор книги — Дмитрий Косырев назвал свои недавние размышления о мемуарах отца — «Роман с Хрущевым, кончившийся ненавистью» («Субботник НГ», 2001, 20, 26 мая <<http://saturday.ng.ru>>). За рамками книги остался период, когда Шепилов и Хрущев были друзьями. А ведь были, но... «Мы все считаем, что исторические деятели все делали рационально и логично, — пишет Д. Косырев. — А то, что у Хрущева вот этот комплекс неполноценности оказался сильнее разума, как-то не укладывается в голове. Хотя понять-то его можно. Действительно, этот — генерал, в очень душевных отношениях с Жуковым и прочими маршалами, и победоносный генерал. А у Хрущева пятно в биографии в виде Харьковской катастрофы. Кто видел Хрущева в военном мундире после войны? А ведь был генерал-лейтенант, Шепилов — только генерал-майор. Кстати, в мундире ходил с удовольствием. Далее: этот — профессор, автор учебника политэкономии, хозяин громадной коллекции книг, друг всех артистов и музыкантов. А Хрущев — сколько классов образования? Да одни мемуары обоих стоит сравнить — эти на магнитофон наговорены, затем отредактированы, а тут собственноручно написанная книга без всякой обработки... Наконец, самое обидное, это внешность — высокий рост, великолепные волосы, бархатный голос — и множество обожающих женщин. Уж не будем делать из этого семейную тайну — притягательность Шепилова для женщин как-то очевидна, стоит посмотреть на фотографии. А Хрущев... Вообще какая шекспировская драма — добраться до верховной власти, чтобы понять, что и она не дает ни красоты, ни грамотности, ни...»

У сына Хрущева — Сергея нашлось бы что сказать по этому поводу.

А я все чаще думаю о том, что, если бы тем летом не Хрущев завалил Берию, а Берия Хрущева.

Заклоченных бы все равно отпустили. Советский космонавт первым ступил бы на Луну. В качестве кровавого сталинского палача в историю вошел бы... правильно, Хрущев.

Кеннет Макси. Упущенные возможности Гитлера. Перевод с английского под редакцией С. Переслегина. М., АСТ; СПб., «Terra Fantastica», 2001, 544 стр.

Альтернативная история сегодня востребована — и специалистами, и читающей публикой.

В основе этого тома из «Военно-исторической библиотеки» лежит книга — *Kenneth Macksey, The Hitler Options, 1995*, это сборник работ разных авторов, предлагающих нам реконструкции значимых событий Второй мировой войны, которые могли бы случиться, но по исторической либо иной случайности/закономерности не произошли, не имели места в Текущей Реальности. Например, захват немцами Англии или взятие Москвы.

В этом смысле русское название сборника крайне неудачно, ибо несет в себе интонацию сожаления: вот мог бы, да упустил возможность...

Отечественные составители/редакторы проделали тем не менее большую работу: текст сопровождается полемическими сносками, после каждой главы идет критический комментарий. Книга снабжена биографиями авторов, библиографией, биографическим указателем исторических персонажей.

В Приложениях даны *альтернативы Сталина* (Владислав Гончаров, «Черные бушлаты»), методологическая статья Сергея Переслегина «Стратегическая ролевая игра как метод исторического моделирования» и апокалиптическое видение питерского прозаика Андрея Столярова о мирной — без объявления войны — оккупации России блоком НАТО, о тихой российской капитуляции и последующем расчленении страны.

«Не пройдет и нескольких месяцев [после оккупации], — визионерствует Столяров, — как в стране воцарится давно ожидаемое спокойствие. Цены постепенно стабилизируются. Курс доллара перестанет карабкаться к заоблачным высям. Придут первые инвестиции. Срочно выделенные кредиты ускорят денежное обращение. Это в свою очередь приведет к некоторому оживлению в экономике. Возрастет уровень жизни; россияне приобретут наконец уверенность в завтрашнем дне. Эпоха реформ забудется как кошмарный сон. Появятся перспективы, жизнь перестанет пугать ужасами и гримасами. Распахнется будущее. Россия погрузится во мглу. Третье тысячелетие начнется под громкий клекот пернатого заокеанского хищника». Вопрос на засыпку: Столяров — бьет тревогу или соблазняет?

Но и полемизирующие с ним Владислав Гончаров и Наталия Мазова всего лишь сомневаются: а смогли бы оккупанты поднять уровень жизни россиян?

Нет, чтобы спросить: а стали бы?

Нет людей, нет проблемы.

Максим Калашников. Сломанный меч Империи. Издание второе, исправленное и дополненное. М., «Крымский мост-9Д», «Форум», 2001, 560 стр. Серия «Великое противостояние».

Максим Калашников. Битва за небеса. М., «Крымский мост-9Д», «Форум», 2001, 800 стр. Серия «Великое противостояние».

Те, кто следит за публикуемыми в «Книжном обозрении» <<http://www.knigoboz.ru>> рейтингами продаж в крупных московских магазинах, видимо, обратили внимание на мелькавшего одно время в списках Максима Калашникова, вдохновенного поэта советского ВПК, чьи сочинения рифмуются с имперской фантастикой Павла Крусанова, отчасти — со счастливой Ордусью питерского голландца Хольма ван Зайчика. Отчасти — потому, что Калашников счастья не хочет, ибо путь самурая — путь к смерти. Но Зайчик и крусачий ангел — *fiction*, а у Калашникова — *non-fiction*.

«Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, мне исполнилось восемнадцать. На моих глазах была расчленена Великая Империя — СССР. Разум до сих пор отказывается принять этот факт».

«Как археологи, мы вынуждены теперь раскапывать следы неизвестной цивилизации. Воинской, имперской, русской, ныне почти стертой с лица планеты».

«То был настоящий небесный меч. Но он оказался в руках фигляров».

«Портрет Генералиссимуса Сталина сурово смотрит на меня со стены. Отрываясь от книг и вырезок, я с горечью думаю: почему такого лидера не оказалось в Кремле тогда, в начале 80-х?»

«Ибо у СССР в 1985 году были все материальные и технические условия, чтобы выстоять и победить».

«Но в Кремле оказались черви, а не вожди».

«Проиграв без войны битву с врагом».

«Когда мерзость этого мира становится невыносимой, мы даем волю фантазии и грезим небесными воинами той, не раскрывшейся до конца Империи. Сильные, белокурые, с твердо изваянными лицами, они облечены в пулестойкие латы, и головы их увенчаны массивными кибер-шлемами. Взор их — словно ледяные горные озера, и они привычны к тому, что могут лишь одним взглядом направлять удары рукотворных молний. И мы любим вас, крылатые полубоги, витязи высоких скоростей, кшатрии пикирующих атак!»

«Мы могли стать властелинами невиданной силы, потрясателями небес, окончательно выиграв для России XX век».

«Я просто уверен в том, что этот жестокий, но талантливый человек, неплохой поэт и архитектор, унес с собой в могилу немало того, что могло бы сделать нашу страну могущественной. Берия похож на людей эпохи европейского Возрождения. Например, на Васко да Гаму, открывателя пути в Индию, — человека, который мог быть и дипломатом, и воином, и ученым, но который одновременно сам пытал пленных...»

«Некую боевую Церковь, русский СС, суперкорпорацию, вобравшую в себя все самые-самые наши чудеса...»

«Мы родились как военное государство, мы жили так и так должны жить. Потому что вокруг нас — только враги, и это отнюдь не выдумка советской пропаганды. <...> Я говорю вам, читатель, — в мире готовится большая война на окончательное уничтожение русских».

«Если Бог даст мне стать правителем России, клянусь...»

Впрочем, во второй, более многословной и еще хуже структурированной книге *fiction* нарастает; автор, в частности, мечтает о том, как сложилась бы наша история без Горбачева — при гипотетическом Верховном (похожем на Максима Калашникова). Третья книга будет называться «Гнев орка», обещана и четвертая.

Лучшее и основное у Калашникова — захлебывающийся и вполне оправданный восторг перед русским научным/инженерным гением, захватывающий рассказ о разработках отечественного ВПК. (Впрочем, издательство ответственности за портретирующие воображение военно-технические факты на себя не берет¹.)

А худшее... Вот вам небольшой бином Ньютона. «Если мы и проигрывали тогда [в 80-е] схватку за небеса, так только в американских боевиках, где в роли МиГов выступали „Фантомы“, а в роли русских — почему-то черно-курчавые израильтяне с крючковатыми шнобелями...» Догадайтесь с трех раз, что мешало нашему автору поставить точку сразу после слова «израильтяне».

Как-то не по-самурайски.

В. А. Лисичкин, Л. А. Шелепин. Глобальная империя Зла. М., «Крымский мост-9Д», «Форум», 2001, 448 стр. Серия «Великое противостояние».

Олег Платонов. Почему погибнет Америка; Тайное мировое правительство. Краснодар, «Советская Кубань», 2001, 368 стр.

Уверен, что 99,9 % граждан РФ не знают (и я не знал), что с 90-х годов XX века началось *уменьшение производства материальных благ и прежде всего продовольствия в расчете на одного человека на планете*, человечество перешло невидимую грань, отделяющую рост от упадка.

Ради одного этого стоило раскрыть книгу Лисичкина и Шелепина, ибо если данное утверждение верно, оно меняет всю картину современного мира. До сих пор, какими бы темпами ни росло население бедных стран, мировой ВВП рос еще быстрее — и это давало отстающим надежду, мол, пусть медленно, пусть не сразу, но... словом, понятно. Этой надежды больше нет. Боливар точно не выдержит, кого-то пристрелят.

Как бывает трудно объяснить, почему одни стихи хорошие, а другие, вроде бы похожие, плохие, так трудно доказать, почему книгу Лисичкина и Шелепина о глобальной империи Зла, угрожающей не только России, а и всей мировой цивилизации, можно читать и обсуждать, а в опусах Олега Платонова о том, почему эта же империя Зла погибнет, обсуждать нечего и вовсе не из-за полемических способностей (точнее — полемического темперамента) автора.

¹ «Как человек, без малого 30 лет прослуживший в армии и профессионально занимающийся вопросами военной науки, могу сказать, что в открытой печати отсутствуют многие данные, которые приведены М. Калашниковым, вплоть до наименований ныне действующих научных, производственных и хозяйственных организаций, занятых обеспечением обороноспособности страны, фамилии конкретных руководителей и ведущих специалистов. <...> Действительно, чрезвычайно подробное описание советских и российских вооружений в названных выше книгах способно не только проинформировать патриотического читателя, что далеко не все потеряно, но и послужить хорошим „путеводителем“ для специальных структур Запада и Востока», — предупреждает Павел Папулов («Завтра», 2001, № 29, 17 июля <<http://www.zavtra.ru>>).

Спору нет, темперамент важен, но важен и стиль. И это тот случай, когда как оказывается существеннее, чем *что*. Сравните сами.

У Лисичкина и Шелепина: *Кризис среды обитания. Информационное поле и феномен виртуальной реальности. Концепции будущего: ноосфера или «Ноев ковчег». Кризис белой (европейской) расы. Самоорганизация атомизированного общества. Древний Рим как прообраз настоящего и будущего. Финансовые махинации как источник экономической власти США. Россия как испытательный полигон. Патология мировой власти.*

У Олега Платонова: *США — кристаллизация иудейско-масонского духа. США — олицетворение зла иудейско-масонской цивилизации. Вампир на теле человечества. «Великая масонская сверхдержава». Официальная поддержка сатанизма. Разрушение христианской этики любви. Содомитство — преступление перед Богом и природой человека.*

(Метафорический *Titanic* погибнет, по Олегу Платонову, не от айсберга, не от Океана, а от того, что на борту *Titanic*'а оказались масоны, содомиты, сатанисты — и слишком много, палуба не выдержит.)

Не могу удержаться, выписываю дальше.

«Пионерами полового разврата в России были также преимущественно евреи».

«Ни в одной другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных лиц, как в США».

И даже — уже за пределами моего понимания: «Русский народ героической борьбой против фашизма сумел пресечь продвижение иудейско-масонской цивилизации на территорию России...»

Наконец, в заключительной главе, посвященной ужасам содомитства, Платонов — ревнующий к лаврам де Сада? — подробно, на двух страницах, описывает гей-парад в Сан-Франциско.

Зачем? Я так и не понял.

Олег Платонов. Россия под властью масонов. М., «Русский вестник», 2000, 112 стр.

На выходе из метро «Чеховская» по дороге на работу я обычно притормаживаю у книжного лотка с конспирологической/антиглобалистской/антимасонской и прочей литературой.

Иногда — с пользой для дела. Вот купил брошюру (хорошо, что все еще брошЮру, а не брошУру) Олега Платонова, украшенную «Кратким словарем выявленных лиц, принадлежащих к масонским ложам и другим организациям, созданным для достижения масонских целей (с 1945-го по 2000 год)».

Среди выявленных я с умилением прочитал имена новомирских сотрудников — прозаика Руслана Киреева и поэта Олега Чухонцева. Оба выявлены через их членство в Русском ПЕН-центре. А какие хорошие лица...

Организации вроде ПЕН-клубов, просвещает Платонов, должны быть приравнены к фашистским организациям и запрещены, а носители масонской идеологии — подвергаться суровому уголовному преследованию.

Счастье, что автор не догадался переписать в словарь еще и тридцать девять членов Академии Русской Современной Словесности (АРС'С)...

А сам-то я хорош — с нынешнего года выбран ее президентом.

А уж если мою наследственность копнуть, тут — своя история на тему.

В начале 20-х годов уже прошлого века в башкирском Белебее жил русский подросток — сын священника, работающего в то время в гуверновской АРА. Мальчик вел дневник и мечтал быть *настоящим скаутом* и стать хоть немного похожим на положительного *масона* Егора Марфина, героя романа Писемского «Масоны». «Наверно, я буду таким в будущем... Протчие лица уже не те. Интересны обряды масонов, их мировоззрение, символы», — записывает он, четырнадцатилетний, в 1922 году.

Скаутское — буржуазное — движение в Советской России уже дышало на ладан, и неизвестно, как сложилась бы судьба мальчика, засветившегося в белебеевском скаутском отряде и более того — упорно пытающегося в одиночку создать

новый скаутский отряд (может, и я бы не появился на свет, а речь идет о моем отце — Виталии Сергеевиче Василевском...). Но появились *красные* скауты, сиречь пионеры, и он стал работать в пионерском, а потом и в комсомольском движении.

Вместо «масона» он стал коммунистом. Но это уже на фронте (а раньше ему, сыну священника, дорога в партию была закрыта).

Эх, масоны, пыль да туман...

Лики Востока. Составитель К. Розовский. СПб., Издательский дом «Нева»; М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2000, 192 стр. Серия «Мудрость вождей».

Мао Цзедун. Составитель К. Розовский. СПб., Издательский дом «Нева»; М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2000, 192 стр. Серия «Мудрость вождей».

Иосиф Сталин. Составитель К. Розовский. СПб., Издательский дом «Нева»; М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001, 192 стр. Серия «Мудрость вождей».

Коротко говоря, мысли мудрых людей. Но Восток в данном случае — это не Шамбала и Омар Хайям, а аятолла Хомейни, полковник Муамар Каддафи, президент Саддам Хусейн, Ясир Арафат, Беназир Бхутто и другие.

В число *мудрых вождей* попал также таинственный А. Нидаль, интуитивно в нем опознается небезызвестный террорист Абу Нидаль <<http://www.terrorism.agava.ru/nidal.htm>>, но справка на него составителем — благоразумно? — опущена.

Ни одной ссылки на источники, ни одного имени переводчика. Вряд ли сам составитель К. Розовский это все перевел (если бы сам перевел, непременно бы указал).

То же — в сборнике Мао Цзедун: «Мы изживем нездоровый стиль и сохраним здоровый стиль». Ни источников, ни дат, ни переводчиков. Это нездоровый стиль.

То же — у Иосифа Виссарионовича. Ни источников, ни дат. Зато приведены шесть его стихотворений. Угадали — без имени переводчика.

А вот для стихов Мао место не нашлось. Почему?

Марина Дана Родна. Современное искусство. Притворись его знатоком. Перевод с английского Л. Н. Высоцкого. СПб., «Амфора», 2000, 101 стр.

Блеф-серия — это в данном случае не оценка, а издательское название проекта. Как притвориться знатоком современного искусства, джаза, вина, женщин и еще чего-то. Секса, кажется. Очередное облегченное издание для профанов. (Ай, сорвалось *словечко*, какой подарок Олегу Платонову...) Кто такой Миро, что такое «сырое искусство», полезные цитатки. Футуризм, кубизм, прости Господи, вортизм. Всего за 13 р.

Ну, пусть за 13, но что же это за *притворись*, в которой нет Марата Гельмана? И Брускина нет.

Гриша Брускин. Прошедшее время несовершенного вида. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 446 стр.

В 1988 году на московском аукционе Сотбис работа Брускина «Фундаментальный лексикон» была продана за 242 тысячи фунтов стерлингов (416 тысяч долларов), многократно превысив стартовую цену. Этим, как говорится, и интересен. Интересен, но *не очень*.

Он и не настолько *плохой* художник (как человек-собака Олег Кулик), чтобы придать автобиографическим миниатюрам привкус здоровой/нездоровой скандальности.

Но и писатель он... ну, не настолько, чтобы...

«Вернисаж [в Нью-Йорке] должен был состояться через три дня.

Погрузив пожитки обратно в машину, я в панике помчался получать новый [российский] документ.

Сфотографировавшись и получив снимок, сравнил его с фотографией на моем американском паспорте.

С цветного американского дагеротипа на меня смотрел ухоженный, уверенный в себе, вполне симпатичный господин.

С русского, черно-белого — всклокоченный, с бегающими (на фотографии? — А. В.) глазами Шурик из популярного советского фильма „Операция Ы”.

Я понял, что русское бытие определяет русское лицо».

Кстати, о фотографиях: в книге много фотографий из семейного альбома, производящих приятное впечатление.

Еще более приятное впечатление производят совсем краткие записи Брускина — *не о себе самом*, напечатанные в «Московских новостях» (2001, № 23, 5 — 11 июня <<http://www.mn.ru>>). Например, «Красивая Марина Влади».

«Позвякивая пустыми бутылками в плетеной корзине, спешила в приемный пункт стеклотары красивая Марина Влади».

Всего-то. А как хорошо.

Томас Харрис. Ганнибал. Роман. Перевод с английского Г. Б. Косова. М., АСТ, 2000, 416 стр.

То, что такие книги пишутся, издаются, расходятся огромными тиражами, экранизируются, собирают огромную аудиторию, свидетельствует о каком-то невымышленном глобальном кризисе куда убедительнее опусов Олега Платонова.

Кто читал/смотрел «Молчание ягнят», поймет с полуслова. АГЕНТ ФБР КЛАРИССА СТАРЛИНГ СТАЛА ПОДРУГОЙ ГАННИБАЛА ЛЕКТЕРА, И ОНИ ВМЕСТЕ СЪЕЛИ МОЗГ КЛАРИССИНОГО НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯ.

С научной точки зрения обед с поеданием мозгов еще живого недоброжелателя можно соотнести с булгаковским балом у Сатаны. Лектер играет в данном случае роль Воланда (демоническую природу Лектера — вплоть до красных огней в его глазах — Харрис специально подчеркивает), а Клариссе даны сразу две роли: и Мастера (в нелегком фэбээровском деле), и измученной жизнью Маргариты. Причем Лектер оказывается не только ее спасителем и мстителем за ее обиды (то есть Воландом), но и ее Мастером (в нелегком людоедском ремесле, которого не понимают убогие федеральные власти). Мастер/Лектер и Кларисса/Маргарита воссоединяются в инобытии Латинской Америки и обретают наконец покой, поскольку света они не заслужили.

Не знаю, читал ли Харрис Булгакова, но стихи Станислава Куняева точно не читал, и тем не менее... «Добро должно быть с кулаками...» — это, конечно, о Клариссе с револьвером. А вот прямо о Лектере: «Ежели сил не хватает добру, / Зло начинает вершить правоту... / В темную дохристианскую дымку / Воланд и Сталин уходят в обнимку. / Зло совершило над временем суд. / Валится под ноги мелкая нечисть. / В светлые дали, / в холодную вечность / слезы и кровь вперемешку текут».

Как говорит выявленный Олегом Платоновым «еврейский телепропагандист» Михаил Леонтьев, *однако*.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

О поэзии на конкурсе «Улов», о питерских литературных сайтах «Литературная промзона» и «Заповедник», об «испанской прозе» Михаила Шараева, о сайтах Венедикта Ерофеева и Дины Рубиной

В продолжение начатого в прошлом выпуске разговора об итогах весеннего, 2001 года, сетевого литературного конкурса «Улов» — несколько слов о результатах поэтического конкурса (<http://rating.rinet.ru/ulov/2001v/>). Повторим перечень лауреатов, приведенный в прошлом выпуске обозрения:

Вадим Месяц, «Несколько мифов о Хельвиге» (<http://www.vavilon.ru/texts/mesyats1-4.html>) (1 место),

Наталья Горбаневская, «Из книги 2000 года» (<http://www.vavilon.ru/texts/gorbanevsk/gorbi4.html>) (2 место),

Дмитрий Воденников, «Как надо жить — чтоб быть любимым» (<http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/VODENNIKOV/DimaV4.html>) (3 место),

Сергей Завьялов, «Диалоги в царстве теней» (<http://litpromzona.narod.ru/zavjalov/dialogi.html>) (3 место),

Дарья Суховой, «Элегии эпохи Путина» (<http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOVEI/S2000/Suhovej2ulov.html>) (3 место).

В этом перечне стихи, несомненно, одаренных, культурно и технически оснащенных — изошренных даже — поэтов. И здесь уместен был бы разговор о той поэтической культуре, что представлена в стихах каждого, и о том, что каждый из перечисленных пытается привнести в эту культуру. О скрещении образов норвежской мифологии с современным ощущением жизни у Месяца; о попытках Воденникова ввести в собственно поэзию элементы антипоэтических жанров — интервью, игру в эпиграфы, иронический римейк «Каменного гостя»; или, скажем, о стихах Дарьи Суховой, экспериментирующей с синтаксисом и морфологией при достаточно традиционном наборе тем и мотивов. И так далее. Всегда можно найти угол зрения, под которым анализ этих стихов будет и интересен, и полезен. И названные поэты предстанут перед читателем как явление достаточно значительное. В определенном смысле это будет справедливо, как справедливо их положение в пятерке лидеров среди, несомненно, сильного состава конкурсантов (Мария Галина, Григорий Данской, Светлана Иванова, Василий Чепелев, Катя Капович, Ольга Сульчинская, Александр Глаголев, Дмитрий Полищук и другие).

Но не хочется почему-то заниматься этой работой. Есть в ней что-то от литературно-критического лукавства, когда значимость поэта зависит от выбранного критиком угла зрения. Для меня важнее сформулировать то ощущение, которое я испытывал, читая эти стихи, и которое заставляет вспомнить строчку из старого ахмадулинского стихотворения: «Во мне уже стара / Привычка ставить слово после слова». Ощущение некоего усилия, с которым современные стихотворцы разминают стих, чтобы дотянуться в нем до поэзии. А слово, образ часто кажутся неподатливой глиной; она крошится, сопротивляется, требует излишних, уже чисто мускульных усилий — нужно очень сильно напрягать голос, выворачивать, выдавливать из привычного уже образа что-то, что должно освежить и насытить этот образ новым содержанием. «Олени уйдут сквозь кусты, швыряясь хвостами», «И серпами над головами лязгнул восход» (Месяц), «Олово, олово падает, плавлено. / Будет ли это хвалимо и славлено? / Слово каплет горячим дождем. / Что это значит, пока подождем» (Горбаневская)). Но, увы, при этом так и не возникает ощущения силы поэтического проживания мира, которая как бы сама выхлестывала из стихов. И потому, наверно, как глоток чистого воздуха воспринимаешь отступление той же Дарьи Суховой от эксперимента в традиционную, обжитую, «немудрящую» стилистику старинного мотивчика:

лето в петербурге лето
я держу жару в руке
и корабль везут на реку
на большом грузовике

Попытка же описать впечатление от всего собрания выставленных на весенний конкурс стихов вынудила бы меня во многом повторить уже сказанное при анализе стихов предыдущего (осеннего, 2000 года) конкурса «Улов» (в № 4 за этот год). Поэтому я ограничиваюсь здесь только вот этой репликой (более подробный и, надеюсь, углубленный разговор о поэзии в Интернете предполагается в ближайших выпусках WWW-обзоров) и обращаюсь к представлению новых литературных сайтов.

Речь пойдет о двух петербургских литературных проектах в Интернете.

Сравнительно недавно появился сайт **Литературная промзона** (http://litpromzona.narod.ru/pix/home_r3_c1.jpg), пожалуй, самый репрезентативный для современной петербургской литературной жизни. Концепция его и, надо полагать, кураторство принадлежит Дмитрию Голынку.

На сайте два основных раздела. Раздел «**Портфолио**» содержит персональные страницы современных петербургских писателей из того поколения, которое вошло в литературу в 80 — 90-е годы; здесь представлены: Лариса Барахтина, Аркадий Бартов, Михаил Берг, Дмитрий Голышко, Александр Горнон, Дмитрий Григорьев, Надежда Григорьева, Сергей Завьялов, Борис Иванов, Анджей Иконников, Виктор Кривулин, Владимир Кучерявкин, Павел Крусанов, Евгений Майзель, Борис Останин, Наль Подольский, Александр Секацкий, Александр Скидан, Лев Усыскин, Валерий Шубинский и другие.

Раздел «**Рефлексии**» предлагает читателю внушительное собрание статей и литературно-критических эссе Виктора Кривулина, Михаила Берга, Сергея Завьялова, Валерия Шубинского, Александра Скидана и Дмитрия Голышко, посвященных проблемам современной литературы. Отдельная тема этих «рефлексий» — осознание собственного творчества и творчества своих друзей как явления некой современной петербургской школы в общем контексте русской литературы. «Крылатая фраза Михаила Айзенберга, сказавшего, что стихи бывают плохие, хорошие и петербургские, фиксирует несовпадение критериев оценки русской (и прежде всего московской) литературы и литературы петербургской. По Айзенбергу, петербургскую литературу корректнее оценивать не по принципу хорошая/плохая (если вообще этот принцип может быть признан корректным), а петербургская или непетербургская, а также более петербургская или менее. Иначе говоря, петербургский стиль выступает в виде самодостаточного критерия, противостоящего попыткам оценивать петербургскую культуру иначе, нежели в рамках петербургского стиля. А это в свою очередь делает закономерным вопрос: что представляет собой петербургский стиль и на чем основываются его претензии на самодостаточность». — Михаил Берг, «Несколько тезисов о своеобразии петербургского стиля» (<http://litpromzona.narod.ru/reflections/berg1.html>).

Другой питерский литературный сайт, «**Заповедник**» (<http://zapovednik.nm.ru/>), проложил в Интернете бумажное издание.

«Когда-то давно литературно-художественный журнал „Заповедник“, придуманный и созданный выпускниками литературной студии А. Щедрецова, выходил в Петербурге и был бумажным... Со временем журнал разрастался, а начиная с 10-го номера в июле 2000 года „Заповедник“ стал выходить в Интернете. Несмотря на то что журнал больше не существует в бумажном виде, мы, то есть редколлегия, сохранили в сетевом журнале принципы бумажного издания... „Заповедник“ — периодический журнал, ориентирующийся на традиции „толстых“ журналов» (от редколлегии). Журнал составляют и редактируют Владимир Раппопорт (главный редактор) и Евгения Голосова.

Структура сайта воспроизводит структуру журнала: титульная страница, она же обложка журнала, содержит перечень вышедших номеров, щелкнув мышкой по соответствующему номеру, вы открываете его содержание, и соответственно щелкнув далее по какой-то позиции в содержании, вы открываете или прозу, или стихи, или живописное полотно, или художественную фотографию. Журнал ежемесячный, выходит регулярно, сегодня, когда я составляю этот обзор, выставлен уже № 21 (июнь 2001-го).

Авторы: Ю. Андреева, А. Анистратенко, Я. Амшей, С. Бломберг, С. Бойченко, Ф. Гареев, Е. Голосова, А. Гордасевич, А. Горский, Д. Григорьев, В. Дегтярев, Е. Звягин, А. Кабаков, Ю. Колкер, А. Машевский, В. Нугатов, В. Русаков, Д. Суховой, А. Урицкий, М. Шараев, В. Шубинский и другие.

«Заповедник» может произвести странное впечатление на читателя, привыкшего к установившимся манерам поведения в нашем литературном Интернете, — здесь нет широковещательных деклараций, редколлегия не обещает никаких бомб, ни эстетических, ни, на худой конец, идеологических. Похоже, что авторы и редколлегия журнала озабочены прежде всего собственно литературой. А это по нынешним временам дорогого стоит.

При знакомстве с публикациями журнала создается впечатление, что стихи здесь, как правило, интереснее прозы, однако любой журнал держится все-таки на прозе, поэтому я внимательно перелистывал именно прозаические страницы. Представленное на них неравноценно, попадаетея крутой, но явно недобродивший

авангард, и тут же по соседству можно наткнуться на беллетристические изыски, шибаящие дешевым телесериальным парфюмом («Она встала и гибкой кошкой двинулась к пене прибора, доверчиво лизавшей песок. Он любовался ее прямой спиной... На спине ее от опущенных грациозных рук пробежали из-под плеч бархатистые складочки, плавно шевелившиеся, как уголки зовущих губ, то раскрывавшиеся, то вновь смыкающие свои мягкие объятия с воздухом...»). Ну а общая ориентация здесь все же — на «просто прозу», которую стоит читать, того же Евгения Звягина, или Александра Житинского, или новых авторов, скажем, Фариды Гареева (он упоминался в предыдущем обзоре).

Я, например, не удержался и перекачал в свой компьютер путевую «испанскую прозу» Михаила Шараева («Бенефисио, Андалусия» /№ 16, январь 2001/, «Гренада, Сакрамонте» /№ 17, февраль 2001/). Как-то в личном разговоре мой коллега Михаил Бутов сокрушался, что нашей литературой никак не зафиксирован жизненный опыт, часто очень содержательный, яркий, порой экзотичный, целых пластов нашей жизни — профессиональных, социальных, этнических и так далее. В частности, опыт достаточно многочисленного слоя отечественных хиппи (или «людей системы», как их называли в конце 80-х). Действительно, отдельные обращения к этим темам в прозе, скажем, Андрея Матвеева («В поисках ближнего», «Лоремур») и еще некоторых, очень немногих, кстати, авторов, так и не стали литературным событием. Возможно, причина этому — во внутренних социально-психологических ориентациях самой этой среды. И в данном случае путевые очерки Шараева, рассказывающие о жизни русских туристов в сегодняшней Испании (и вообще в Европе) интересны не только своей информационной насыщенностью. В этой прозе — голос все еще малознакомого современной литературе молодого человека, тип которого возобновляется в каждом поколении уже несколько десятилетий (с некоторой натяжкой я бы сказал, что генеалогию этого типа можно вести от аксеновских «звездных мальчиков»).

Повествователь Шараева, молодой человек конца 90-х, для которого уже и те времена, когда актуальным был, скажем, «Аквариум», являются седой стариной, путешествует с подружкой по Испании, подолгу останавливаясь в своеобразных международных коммунах, основанных когда-то, по-видимому, первыми хиппи, а сейчас являющихся обиталищем всякого рода международных бродяг, продолжателей хиппи, беженцев, бомжей, просто любителей острых ощущений — голландцев, англичан, немцев, шотландцев, русских, марокканцев и так далее. Это своеобразная общность людей со своим особым бытом, стилем взаимоотношений, своими легендами, своим информационным пространством, а главное — со своим ощущением братства. И Шараев пишет об этих бродягах не как журналист, экскурсant, то есть не извне, а изнутри, как человек этого братства. Еще не зная никого из обитателей очередного лагеря хиппи, он чувствует среди них себя своим. С помощью оказавшегося здесь соотечественника он вселяется в свободную пещеру на горе Сакрамонте в Гренаде, бытовая сторона его жизни сводится к минимуму — прибраться в пещере, привести в порядок мебель и хозяйственную утварь, доставшуюся от предшественников, прогуляться вечером в город за бесплатным питанием для себя и всей коммуны (помощь благотворительных фондов плюс нераспроданная за день провизия на рынке, которую продавцы, не рискуя оставлять на следующий день, отдадут хиппи). Основное же содержание его жизни — созерцание, а также общение с такими же бродягами, как и он. Есть в этом поселении свои музыканты, свои философы, свои «бывалые люди» (скажем, русский парень Саша из Керчи, побродяживший по Индии, Чехии, Испании, посидевший в узбекской и австрийской тюрьмах, и «вот теперь Гренада, Сакрамонте, небольшая пещера, обмазанная белой известкой, топчан, несколько ковров, стульев, саксофон в углу, на котором он играет у входа в пещеру, несколько книг, закатная панорама гор каждый вечер» и мечты об оазисе в Марокко, где он мог бы полностью сосредоточиться на чтении Библии и Корана). Возможно, единственным отличием повествователя от соседей остается его повышенная рефлексия и, соответственно, потребность вести дневник, на материале которого он описывает свое путешествие по Испании. По ходу повествования всплывают упоминания о таких же местах в Германии, Венгрии, Боснии, Англии, Франции, где, судя по всему, удалось побывать автору.

Повторяю, достоинство этой прозы в том, что пишется она не человеком со стороны и потому в ней нет смакования экзотики подобного образа жизни. Перед нами отнюдь не разновидность этнографического очерка. Похоже, что потребность Шараева заново, уже на бумаге пережить увиденное — это потребность сформулировать для самого себя то, что выбродило в самом авторе под влиянием испанских впечатлений, и, возможно, отсюда своеобразная философско-лирическая тональность повествования: «...можно карабкаться по крутым гренадским переулкам... ловить кусочки жизни, мелькающие в приоткрытых окнах, за занавесками, [можно] потеряться взглядом в каменных переплетениях мавританского орнамента стены какого-нибудь дома или поймать отблеск солнца на небесно-бирюзовой мозаике стены. Иногда незатронутость заботами — великое благо, взгляд не скользит на безразличной поверхности предметов... Он становится медленным и позволяет городу подцепить тебя на крючок причудливой тени, отражения, узора осыпавшейся штукатурки, узора обрывка непонятной речи... Конечно, это проще в далеком и древнем городе, но те же самые звуки и тайны живут во дворе любой унылой городской многоэтажки, стоит только перестать идти и присесть. Иногда, когда я вижу спившихся бродяг и бомжей, я думаю, что когда-то им тоже просто хотелось присесть и посмотреть, но, наверное, увиденное оказалось настолько... интересным, что все остальное стало просто неважным. Может быть, это падшие святые бродят вокруг нас, осознавшие когда-то собственную бесплотность и ничтожность и решившие поэтому, ну так пусть теперь будь что будет, может быть, если бы только это не было моей жестокой и дурацкой выдумкой, ведь ясное же дело, они несчастливы. Но иногда все же им бывает очень хорошо, в этом я тоже уверен. Не знаю, есть ли у кого еще в нынешнем мире эти спокойствие и неторопливость, необходимые, чтобы увидеть этот мир (если только они не очень юны, не пьют и не торчат), разве что у художников, фотографов и ремесленников.

И еще — держать полученное в себе очень опасно. Обязательно надо это куда-то выплеснуть тем или иным способом. Некоторые начинают о нем писать. Некоторые направляют это в звуки музыки, что предпочтительней, но я не умею» (<http://zapovednik.nm.ru/N17/page05.html>).

Несмотря на отнюдь не безупречный художественный уровень прозы Шараева (очевидный недостаток большинства интернетовских публикаций — отсутствие грамотной редактуры, психологическое наследие советских времен, когда редактора воспринимали как стилистического и идеологического цензора, в свободных же странах редактора художественных текстов, или литературное продюсирование, зарекомендовала себя как очень даже полезный институт), — несмотря на некоторую стилистическую небрежность и композиционную рыхловатость, автору удается захватить читателя и даже убедить, что пережитое им адекватнее всего можно передать только музыкой.

Ну а в завершение обзора — представление еще двух персональных сайтов.

Сайт «Венедикт Ерофеев» (<http://venedikt.newmail.ru/>). Это основной сайт Ерофеева в Интернете. Немного тяжело выглядит дизайн — его стилистика напоминает книжное оформление конца 50-х годов, зато содержание сайта более чем внушительно. Основа сайта — тексты Ерофеева: повесть «Записки психопата», повесть «Благовествование» (отрывки), поэма «Москва — Петушки», «Дмитрий Шостакович» (начало романа), эссе «Василий Розанов (глазами эксцентрика)», эссе «Саша Черный и другие», пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан», эссе «Моя маленькая Лениниана», пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (в разделе «Повести и пьесы»).

Производит сильное впечатление полнотой — и соответственно объемами проделанной работы — раздел «Записные книжки», здесь собраны записи Ерофеева с 1969 года по 1991-й.

Два интервью в соответствующем разделе: с Леонидом Прудовским — «Сумасшедшим можно быть в любое время» и с Ириной Тосунян — «От Москвы до самых Петушков».

В разделе «Биография» автобиография и биографическая статья из английской прессы.

В разделе «Воспоминания» о Ерофееве вспоминают В. Ломазов, Анатолий Иванов, Наталья Четверикова, Л. Чернышева, Наталья Шмелькова, Ирина Тосунян, Армен Григорян.

Небольшая подборка рецензий в разделе «Рецензии», явно не претендующая на полноту, видимо, составители пользовались тем, что выставлено в Интернете; здесь рецензии Бориса Войцеховского, Евгения Козловского, Александра Малокова, Андрея Травина, Евгения Попова, Татьяны Касаткиной, Натальи Деминой и Надежды Логиновой. Более насыщенным выглядит раздел «Размышления» со статьями, очерками и эссе о Ерофееве, авторы текстов: Ефим Курганов, Александр Генис, Ольга Седакова, Олег Дарк, Сергей Рейнгольд, Mr.Parker, Евгений Лесин, Александр Грицанов, Николай Богомолов, Михаил Эпштейн, Белла Ахмадулина.

И наконец, раздел «Библиография», содержащий более пятисот позиций.

Устроители сайта поместили ссылки на родственные сайты, таковых оказалось два: ижевский сайт Дмитрия Стаханова «Венедикт Ерофеев» (<http://users.mark-itt.ru/stah/erofeev/index.htm>) и англоязычный сайт Ерофеева (<http://cweb.middlebury.edu/ru152a-s98/STUDENTS/Erofeev/intropage.html>). Я, естественно, прогулялся по этим адресам. Ижевский сайт выгодно отличается дизайном (современная графика с элементами анимации), но текстов мало — поэма «Москва — Петушки» и «Моя маленькая Лениниана», воспоминания Евгения Лесина о Ерофееве, а также несколько ссылок на публикации о Ерофееве в Интернете. Вот, собственно, и все. Так что лучшим местом для всех интересующихся творчеством и личностью Венедикта Ерофеева оказался описанный выше сайт.

Сайт Дины Рубиной (<http://dinarubina.wallst.ru/start.html>). Разделы сайта:

«Тексты» — повести и романы: «Высокая вода венецианцев», «Последний кабан из лесов Понтеведра (Испанская сюита)», «Воскресная месса в Толедо», «Камера наезжает!»; рассказы: «Терновник», «Наш китайский бизнес»; эссе: «Я не любовник макарон, или Кое-что из иврита», «Под знаком карнавала», «Позвони мне, позвони!», «Дети», «А не здесь вы не можете не ходить?!», «Чем бы заняться?», «Майн пиджак ин вайсе клетка...».

«Биография» — написана специально для сайта, оригинальный, только здесь представленный текст.

«Библиография» — двадцать три позиции, указаны только книги.

«Критика» — подборка статей и рецензий.

«Книжная полка» — выставлены обложки девяти книг, которые можно купить через Интернет.

«Интервью» — шесть интервью. Вопросы — ответы, частично ожидаемые, частично неожиданные:

«— Как вы относитесь к феминистским идеям, в обоих вариантах — радикальном и смягченном?..»

— К феминизму отношусь плохо в любой его ипостаси, потому что женщина — до мозга костей. Потому что нежно люблю мужчин, всю жизнь преданно дружу с ними... Мужчина — мой отец, мой брат, мой муж и мой сын, — с какой стати я стану с ним бороться?

— Как складываются ваши отношения с компьютером?

— Отношения... с компьютером холодно-официальные. Он удобен, он — машинка с памятью. Но никакой любви и никакой фамильярности. Особенно это касается новой чумы — Интернета. Если провалиться в эту яму, можно вообще пропасть для литературы. Недавно меня по электронной почте отыскивали две чудные девочки — дизайнеры сайтов — и буквально уговорили сделать мой сайт. Я по безалаберности согласилась. Дней через пять одна из них, Карина, пишет: так и так, мол, вот по этому адресу можете взглянуть на мои разработки. Я принялась искать, и после мучительной погони в дебрях безумия перед моим воспаленным взором всплыло объявление: „Вас изнуряет рост волос на груди вокруг сосков? Не отчаивайтесь! Кликните тут — и перед вами откроется безмятежное будущее"... После чего я прекратила поиски. Однако упрямая девица сайт мой все-таки доделала...»

Ну и спасибо этой упрямой девице.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Джон Апдайк. Гертруда и Клавдий. Роман. Перевод с английского И. Гурова. М., АСТ, 2001, 252 стр.

Новый роман Апдайка — еще один вариант истории Гамлета, в качестве первоисточника автор использовал не столько шекспировскую трагедию, сколько сочинения Саксона Грамматика и Франсуа Бельфора.

Гийом Аполлинер. Проза поэта. Предисловие, составление и перевод с французского Льва Токарева. М., «Вагриус», 2001, 206 стр., 3500 экз.

Избранные новеллы Аполлинера: «Пражский прохожий», «Ересиарх», «Исчезновение Оноре Сюбрака», «Травля», «Фаворитка», рассказы из цикла «Лжепророк Амфион, или История приключений барона д'Ормезана» и другие произведения. Прозе поэта, по мнению составителя, свойственны «авантюрно-фантастический фон, атмосфера поэтической игры», помогающие автору стирать «грань между миром действительным и причудливыми вымыслами фантазии», «поэт открывает и запечатлевает в заурядной повседневно-фантастическое и „сюрреальное”» (кстати, сам термин «сюрреализм» ввел именно Гийом Аполлинер).

Андрей Битов. Вычитание зайца. 1825. Комментарии И. Сурат. М., Издательство «Независимая газета», 2001, 368 стр., 3000 экз.

Великолепно оформленная и изданная (дизайн А. Бондаренко, Д. Черногаева, рисунки Резо Габриадзе) книга, включающая пушкиноведческие штудии Андрея Битова в прозе и «ученой эссеистике» («Фауст и заяц», «Заяц и мировая дорога. Ученый вариант», «Фотография Пушкина. 1799 — 2099», «Пушкинский лексикон», «Занавес. Документальная пьеса» и другие сочинения), композицию из «выбранных текстов» «Пушкин в 1825 году» (стихотворения, поэмы, «Борис Годунов», «Отрывки из путешествия Онегина», заметки о литературе, письма, предложенные читателю в хронологическом порядке); а также развернутый научный комментарий Ирины Сурат.

Виктор Голявкин. Знакомое лицо. Рассказы. СПб., «Азбука», 2000, 384 стр., 8000 экз.

Собрание «взрослых» — автор (1929 — 2001) известен широкому читателю прежде всего как детский писатель — рассказов одного из создателей русской прозы 60-х годов. «Своей манерой речи, а лучше сказать, литературной своей живой речи он сорентировал ленинградскую прозу того десятилетия, действующие лица которого по сегодняшний день приводятся как ориентиры в разнообразных статьях, эссе, очерках», — заметивший это Анатолий Найман имел в виду Валерия Попова, Битова, Довлатова...

Николай Климонтович. Запретная зона. М., ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп»; ООО «Издательство АСТ», 2001, 400 стр., 5000 экз.

Собрание рассказов Климонтовича, писавшихся им в 70-е и 80-е годы на закрытую тогда в литературе тему частной жизни — любовный быт эпохи. «Курить он начал в двенадцать. В четырнадцать впервые напился. В шестнадцать его соблазнила проститутка... В семнадцать он впервые влюбился», — начало из «Рассказа без названия», которым открывается книга.

Юлия Кокошко. Приближение к ненаписанному. Челябинск — Екатеринбург, «Галерея», 2000, 306 стр.

Книга прозы современного уральского прозаика, имеющего репутацию «трудночитаемого, но прекрасного», — несколько рассказов и «недописанный роман» «В царстве Флоры».

Виктор Конецкий. Последний рейс. Повести и эссе. М., «Текст», 2001, 253 стр., 5000 экз.

Проза Конецкого 90-х годов: повести «Столкновение в проливе Актив Пасс», «Последний рейс» и эссе «Лети, корабль!».

А. И. Куприн. Мы, русские беженцы из Финляндии... Публицистика (1919 — 1921). Составление, вступительная статья, комментарий Б. Хеллмана при участии Р. Дэвича. СПб., Журнал «Нева», 431 стр., 1000 экз.

Основу сборника составили публицистические статьи, публиковавшиеся Куприным с ноября 1919 года по июль 1920-го в хельсинкской газете «Новая русская жизнь» и до сих пор в России не печатавшиеся. В книгу вошли также несколько рассказов и стихотворений Куприна тех лет.

Анатолий Курчаткин. Стражница. Роман. М., ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп»; ЗАО «Издательский дом Гелиос», 2001, 384 стр., 2500 экз.

Для переиздания в новой книжной серии «Издательского дома Гелиос» «Лучшие писатели России» Курчаткин выбрал роман «Стражница» с таким обращением к читателю: «Родины, прощанию с которой посвящен этот роман, больше нет. Мне бы хотелось, чтобы жизнь, наставшая для нас с вами, не повторила жизни ушедшей».

Булат Окуджава. Стихотворения. Вступительные статьи Л. С. Дубшана и В. Н. Сажина. Составление В. Н. Сажина и Д. В. Сажина. Примечания В. Н. Сажина. СПб., «Академический проект», 2001, 712 стр., 5000 экз.

Самое полное собрание стихотворений Булата Окуджавы. Книга вышла в серии «Новая библиотека поэта» и вызвала немало нареканий из-за замеченных небрежностей.

Евгений Попов. Накануне накануне. Роман. Повести. М., ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп»; ЗАО «Издательский дом Гелиос», 2001, 448 стр., 2500 экз.

Избранная проза Попова последних лет: «Удаки», «Магазин „Свет“», или Сумерки богов», «Билли Бонс», «Душа патриота...», «Накануне накануне». Новым, написанным специально для этого издания текстом стало обращение автора к читателю: «Граждане, послушайте меня! Нечего зря Бога гневить, были на Руси времена и покрепче: иго, Сталин, коммунисты, водка, плетка, пулемет... Умоляю, возлюбите друг друга, иначе всем придет хана, и крышка в небо захлопнется окончательно».

Борис Садовской. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания С. В. Шумихина. СПб., «Академический проект», 2001, 398 стр., 2000 экз.

Все семь прижизненных поэтических сборников Бориса Александровича Садовского (1881 — 1952), а также — стихи и переводы 1922 — 1945 годов, «рассказы в стихах», пьесы, значительная часть которых публикуется впервые. Книга вышла в малой серии «Новой библиотеки поэта».

Альфред Теннисон. Королевские идиллии. Перевод с английского В. Лукина. Предисловие и комментарии Л. Володарской. М., «Грантъ», 2001, 480 стр.

Первое издание на русском языке полного текста поэмы «Королевские идиллии».

Татьяна Толстая. Ночь. М., «Подкова», 2001, 432 стр., 27 000 экз.

Самое полное собрание рассказов Татьяны Толстой.



Люсьен Гольдман. Сокровенный Бог. Перевод с французского В. Г. Большакова. М., «Логос», 2001, 480 стр., 1500 экз.

Это книга, о которой в 60-е годы наша критика писала как о чуть ли не основном акте ревизионизма в развитии философской мысли западных левых интеллектуалов. По мнению наших критиков, протест против духовного оскудения капиталистической Европы у Гольдмана, считавшего себя когда-то марксистом, зашел слишком далеко: определяя содержание и характер Нового времени, он констатирует утрату целостного, космологического восприятия мира, на смену которому пришло дробное, рационалистическое, материалистическое сознание. Это сознание Гольдман определяет как трагическое — полное всего оно воплотилось для автора в творчестве Паскаля и Расина — сознание человека Нового времени, которое исключает «возможность трансформировать мир, реализовать в нем подлинные ценности» и одновременно исключает «возможность бежать от него и укрыться в Божьем граде. Именно поэтому оно не может ни принять мир со всеми его тяготами и богатством, ни отказаться от него или проигно-

ривать эти тяготы и это богатство». «Трагическому человеку присуща лишь одна форма мышления и одна позиция: да и нет, то есть жить в мире, не принимая в нем участия».

Литературоведение как проблема. Труды Научного совета «Наука о литературе в контексте наук о культуре». Памяти Александра Викторовича Михайлова посвящается. М., «Наследие», 2001, 600 стр., 1000 экз.

В трех разделах сборника — «Слово и музыка» (о Михайлове как исследователе истории музыки), «Несколько тезисов о теории литературы», «О литературоведении, научности и религиозном мышлении» — представлены две работы А. В. Михайлова, а также статьи С. Г. Бочарова, Н. К. Гея, Т. А. Касаткиной, Р. Насонова, В. С. Непомнящего, И. Б. Роднянской и других. Открывается сборник воспоминаниями родителей Михайлова — В. И. Зыковой и В. А. Михайлова — о сыне.

Льюис Мамфорд. Миф машины. Техника и развитие человечества. Перевод с английского Т. Азаркович, Б. Скуратова. М., «Логос», 2001, 408 стр., 2000 экз.

Знаменитая работа американского философа и историка, вышедшая в 60-е годы и посвященная проблемам радикального преобразования в XX веке среды обитания человека, породившего необоснованные, по мнению автора, предположения о неизбежности такого же радикального изменения самой человеческой личности: «...не только Карл Маркс заблуждался, отводя материальным орудиям производства центральное место и направляющую функцию в развитии человека, — но и внешне благодушная концепция Тейяра де Шардена все-таки наделяет человеческую историю на всем ее протяжении узким технологическим рационализмом нашей эпохи... мы не сможем понять роль, которую играла техника в развитии человека, если не взглянем в глубины исторически сложившейся природы человека».

Е. Д. Мурашкинцева. Верлен и Рембо. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001, 351 стр., 3000 экз.

История жизни, творчества и взаимоотношений двух поэтов.

Ася Пекуровская. Когда случалось петь С. Д. и мне. СПб., «Симпозиум», 2001, 432 стр., 7000 экз.

Книга первой жены Сергея Довлатова, отчасти мемуарная, но в большей степени литературоведческая, посвящена некоторым литературно-психологическим и биографическим проблемам творчества и судьбы Довлатова. В частности, Пекуровская анализирует приемы, с помощью которых Довлатов, творческий дар которого, по ее мнению, преувеличен, сознательно выстраивал свой образ в литературе и в жизни. По мнению автора, Довлатов, умело используя приемы «художественной псевдодокументалистики», создал миф о сильном, душевно щедром, терпимом, добром и «победительном» мужчине и писателе и за этим мифом спрятал себя — обидчивого, злопамятного, малоодаренного, закомплексованного неудачника. В литературоведческом анализе, часто очень цепком, пронизательном и почти убедительном, используются личные воспоминания о Довлатове, отношения с которым у автора — сначала близкие, а потом просто дружеские — не прерывались до момента выхода повести «Филиал» в 90-е годы. И очень трудно, сталкиваясь с категоричностью и некоторой «душевной одномерностью» в анализе творчества и судьбы писателя, избавиться от впечатления, что в сложном сюжете многолетних взаимоотношений Довлатова и Пекуровской, ставших литературным фактом, присутствует и глубокая личная задетость автора образом взбалмошной и обаятельной Таси из «Филиала» — похоже, что воспринимаемое читателем как позднее объяснение писателя в любви к своей первой жене Пекуровская расценивает только как поношение и сведение счетов.

Е. Г. Эткинд. Проза о стихах. СПб., «Знание», 2001, 448 стр., 3000 экз.

Последняя и по всему — главная книга литературоведа Эткинды, развившая темы его первых книг и вышедшая уже после смерти автора. Первая часть, «Разговор о стихах», посвящена теории стихосложения (главы: «Поэтическое содержание», «Слово в стихе», «Мегафора», «Слово как образ», «Ритм», «Рифма», «Стиль и сюжет»), вторая часть, «Стихи и люди», содержит микроисследования истории отдельных стихотворений Рыльева, Грибоедова, Пушкина, Полежаева, Некрасова и других русских поэтов.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Время МН», «Время новостей», «Гуманитарный экологический журнал», «Даугава», «День и ночь», «Демократический выбор», «Диалог. Карнавал. Хронотоп», «Дипкурьер НГ», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Континент», «Крушение барьера», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Московский журнал», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новое литературное обозрение», «Новый Журнал», «Общая газета», «Октябрь», «Посев», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Старое литературное обозрение», «Театр», «Урал», «Фигуры и лица», «Хранить вечно», «Юность»

Александр Агеев. Голод 39. Практическая гастроэнтерология чтения. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«И наступает, между прочим, некий „момент истины“: оказывается, далеко не всё, чем забавлялись эти десять лет литературные и околотитературные круги столицы, хочется рекомендовать людям, живущим сейчас [в провинции] крайне трудно, на грани достойной бедности и настоящей нищеты...»

Кирилл Александров. Тайное оружие вермахта. — «Посев», 2001, № 6, июнь <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

«В подавляющем большинстве летом — осенью 1941 г. в гибельный плен к противнику *добровольно* попадали здоровые, молодые люди, независимо от своей принадлежности к категории запасников, приписников или кадровиков, бросавшие вверенное оружие и будучи совершенно равнодушными к судьбам собственных воинских частей, присяге и т. п. Вероятно, лишь очень небольшой процент из них были готовы принять участие в боевых действиях на стороне вермахта, однако и эта категория могла составить несколько сот тысяч. В основной массе доминировали *безразличие и нежелание* воевать ни на чьей стороне — ни за Сталина, ни против него». См. также статью **Юрия Цурганова** «Власовское движение. Известные оценки и малоизвестные альтернативы» («Посев», 2001, № 6). См. также публикацию **Татьяны Царевской** «По статье 58-10 УК» («Знание — сила», 2001, № 6 <<http://www.znanie-sila.ru>>) — анализ документов советской прокуратуры 1941 — 1942 годов о пораженческих настроениях среди населения.

Владимир Ефимович Аллой. 7. 06. 1945, Ленинград — 7. 01. 2001, Санкт-Петербург. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48 <<http://www.nlo.magazine.ru>>

In memoriam. Среди прочих материалов — биографическая справка и краткая библиография, составленные Д. И. Зубовым.

Юрий Амосов. На советских мифах не построить здорового общества. — «Посев», 2001, № 6, июнь.

«Когда статья была уже готова к печати, из Петербурга пришло известие о том, что подготовленная к установке в Морском корпусе им. Петра Великого памятная доска (и заметим, политически нейтральная), посвященная славному выпускнику сего учебного заведения, патриоту России, путешественнику, флотоводцу и последнему главе исторического государства Российского адмиралу Александру Васильевичу Колчаку так и не была установлена...»

Марк Амусин. Между законом и благодатью. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 6 <<http://novosti.online.ru/magazine/zvezda>>

Валерий Попов. Александр Мелихов.

Василий Аржанов. Кто над языком начальник. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>

Кто имеет моральное право издавать юридические документы, нормирующие русский язык? Никто, *впредь до созыва Учредительного собрания.*

Александр Архангельский. Афанасий Афанасьевич Фет (1820 — 1892). — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 24, 23 — 30 июня <<http://www.1september.ru>>

Глава из нового учебника литературы.

Андрей Баженов. Схождение во ад как творческая задача Пушкина. К вопросу о «Гавриилиаде». — «Москва», 2001, № 6 <<http://www.moskva.muslib.com>>

«И стоит ли, например, волноваться о том, принимали или не принимали Пушкина в мasons? Если он туда шел, значит, Промыслу и ему это было нужно: иначе о чем-то важном он не смог бы нам рассказать...»

«Пушкина не нужно христианизировать, — пишет Александр Соколянский („Крест на Пушкине”. — „Русский Журнал” <http://www.russ.ru/ist_sovt>), — его можно только поэтизировать. Разумеется, религия выше поэзии и спасение души для всех важнее, чем великие стихи, — для всех, кроме человека, который эти стихи пишет (когда перестанет писать, наверное, одумается). Взвзвись решать, в чем Пушкин прав, а в чем он заблуждается, христолубивая пушкинистика занялась опасными вещами: она добровольно становится эмбрионом духовной цензуры. Цензура, в принципе, необходима. Но там, где есть талант — вдохновение, страх, благодарность и так далее, — там ее рылу копать нечего. Цензура — даже самому благочестивому — не полагается знать, кто такой Пушкин. И наоборот».

Павел Басинский. <Рецензия на книгу Владислава Дрожачих «Твердь»>. — «Октябрь», 2001, № 6 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

«Вообще подозреваю, что стихи Дрожачих (как и более известного в Москве Виталия Кальпиди) вне уральского поэтического контекста утратят половину смысла, а может быть, и всякий смысл. <...> Стихи сами по себе, вне конкретно зримого и осязаемого культурного контекста, давно уже никому не нужны. Грубо говоря, современному Евтушенко-2 не имеет смысла рваться в столицу, чтобы дурачить людям головы на площади Маяковского. Гораздо правильнее ему было бы культивировать свой контекст на станции Зима».

Василий Белов. Забвение слова. — «Завтра», 2001, № 25, 19 июня <<http://www.zavtra.ru>>

«А наши враги навалились сейчас именно на [русский] язык. Они губят его сразу по нескольким направлениям. <...> Вот хотя б засорение, отравление русского языка через медицину. Представляю, какой поднимется гвалт против этого утверждения! Но что делать, если и впрямь ненавистники России всех мастей намеренно, я бы сказал грамотно, засоряют наши сердца и души иностранщиной. Я совсем не против латыни в медицинских рецептах, но ведь надо и совесть (т. е. предел) знать, господу эскулапы!»

Дмитрий Беловецкий. Нельзя было поступить иначе. — «Литературная газета», 2001, № 23, 6 — 12 июня <<http://www.lgz.ru>>

«— То есть Горбачев знал о создании ГКЧП? — переспрашиваю я, заранее зная ответ. — Да, — отвечает мне [бывший руководитель КГБ СССР, участник ГКЧП Владимир] Крючков. — Сказал, валайте, и пожал всем руку... <...> Были письма от врачей, которые касались отдельных его странностей...»

— Например?

— Ну, в общем, некоторые утверждали, что Горбачев в силу своих личных психических и психологических данных для поста первого человека такой страны просто не подходит.

— Это наблюдения психологов?

— Психологов. Я хочу сказать другое. Горбачев всегда был предателем партии и страны. И он это сам не так давно подтвердил...»

Ср. со статьей **Игоря Виноградова** «Парадокс Михаила Горбачева, или Попытка исторической аполгии последнего Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза» — «Континент», № 107 (2001, № 1).

Блеск и нищета новой Римской империи. Беседу вела Тамара Шишова. — «Завтра», 2001, № 27, 3 июля.

Говорит американский политик и ученый **Линдон Ларуш**: «Главными идеологами [новой утопии] были Герберт Уэллс и Бертран Рассел. Проект зародился еще в начале XX века. <...> Они пришли к теоретическому выводу о возможности изобретения ядерного оружия. И в 1913 году Уэллс предложил проводить ядерную политику, заявив, что это будет страшное оружие, которое заставит нации отказаться от своей независимости, отдать власть мировому правительству...»

Александр Бобров. Исповедь сердца. — «Наш современник», 2001, № 6 <<http://read.at/nashsovt>>

Спор с Львом Аннинским о *бардах*: авторской песне в России — не сорок, а двести лет.

«**Большой роман**» **Василия Аксенова**. Беседу вела Ольга Дунаевская. — «Московские новости», 2001, № 26, 26 июня — 2 июля <<http://www.mn.ru>>

«Для меня Трифонов — это Чехов 70-х», — говорит **Василий Аксенов**. А *большой роман* — это подзаголовок его новой книги «Кесарево сечение», которую я по инерции обозвал в августовском номере журнала «Кесаревым сечением».

«Если говорить про „остров Крым“, то Москва и есть остров Крым, — говорит **Аксенов** в беседе с Игорем Шевелевым („Время МН“, 2001, № 115, 6 июля <<http://www.vremyamn.ru>>). — Никогда Москва не была такой шикарной, как сейчас, такой европейской. Ни до революции, никогда...»

Ричард Бротиган. Ловля Форели в Америке. Перевод И. Кормильцева. Предисловие Ф. Гуревич. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 6 <<http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural>>

Американский номер уральского журнала. Молодцы.

Елена Брыкова (Новосибирск). Еще раз о зеркалах Владимира Набокова. Один ответ и много вопросов к роману «Приглашение на казнь». — «Литература», 2001, № 21, 1 — 7 июня.

Статья с чертёжом.

Юрий Григорьевич Буртин. 3. 09. 1932, Ленинград — 20. 10. 2000, Москва. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48.

In memoriam. Среди прочих материалов — библиографический указатель публикаций Ю. Г. Буртина, составленный Е. Ю. Буртиной при участии А. И. Рейтблата. См. также беседу с Юрием Буртиным — «Новый мир», 2000, № 1.

Петр Вайль. Европейская часть. Трамвай до Мотовилихи. — «Знамя», 2001, № 6 <<http://novosti.online.ru/magazine/znamia>>

Пермь. Калининград/Кенигсберг. Ярославль. Оптина пустынь. Нижний Новгород. Сочи. Череповец. Кострома. Новороссийск.

Марио Варгас Льюса. Зачем поклоняться грому и молнии? Перевел с сокращениями Виталий Моев. — «Литературная газета», 2001, № 23, 6 — 12 июня.

Глобализация (будто бы) освобождает «местные культуры» от гнета национальных государств.

Ведьмочка и Винни-Пух в одном лице. «Мастерица лирического эпатажа — о себе и о новой украинской литературе». Беседовал Илья Кукулин. — «Ex libris НГ», 2001, № 21, 14 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

Оксана Забужко говорит, что после «Полевых исследований украинского секса» и «Украинского мифа о Тарасе Шевченко» любая ее публикация вызывает на Украине *ярость, вполне иррациональную*; что *книги жизни* для нее — «Винни-Пух» и «Гамлет», а также что Кундера — *страшный мачо*.

Век телевидения: свобода, собственность, мораль. Проблемы российской действительности сквозь призму конфликта вокруг НТВ. — «НГ-Сценарии», 2001, № 6, 10 июня <<http://scenario.ng.ru>>

Говорит участник дискуссии в клубе «Свободное слово» (Институт философии РАН, май 2001 года) **Людмила Сараскина**: «Нам показали, что хуже власти, хуже начальства, хуже правительства — допустим, лживого, подлого, наглого, — может быть только такая лживая, наглая, подлая оппозиция».

Андрей Волос. «Писательство — занятие абсолютно одиноких людей...» Беседу вели Ольга и Александр Николаевы. — «Время МН», 2001, № 98, 9 июня <<http://www.vremyamn.ru>>

«Недавно на аспирантском обсуждении в Педагогическом университете невероятно умные ребята толковали, что [повествователь в романе „Недвижимость“] — это единственный пример положительного героя в современной литературе, с чем я с благодарностью согласился». См. еще одно интервью лауреата Государственной премии РФ Андрея Германовича Волоса — «Ex libris НГ», 2001, № 20, 7 июня.

Вацлав Гавел как европейский оракул. Речь президента Чешской Республики на Международной конференции с участием глав правительств десяти государств Центральной и Восточной Европы в Братиславе. — «Дипкурьер НГ», 2001, № 10, 21 июня <<http://world.ng.ru>>

«Это пространство, которое мы называем Западом, расстилается от Аляски на западной стороне до Таллина на стороне восточной».

«Европейский Союз — прямой наследник СССР, — считает Владимир Буковский („Демократический выбор”, 2001, № 26, 28 июня — 4 июля <<http://www.dvr.ru>>). — Я ничего не имею против общего европейского рынка. Но с середины 80-х годов „европейский проект” захватили левые. Тогда и появился так называемый план конвергенции: на Западе приходят к власти социалисты, а в СССР создается „социализм с человеческим лицом”, и разделение Европы исчезает, появляется федеральное государство Европа. Для этого руководство Советского Союза и начало горбачевскую перестройку, организовало „бархатные революции” 1989 года. Как мы знаем, на востоке все провадилось, но западный проект продолжает развиваться под руководством бывших советских союзников — европейских социалистов и социал-демократов. Но этот проект мертворожденный, и его ожидает судьба Советского Союза».

Г. Д. Гачев. Вадим — необходим. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Ежеквартальный журнал исследователей, последователей и оппонентов М. М. Бахтина. Главный редактор Николай Паньков. 2000, № 2 (31). *E-mail: dkh-np@mail.ru*

«Да, когда мы, уже став друзьями в ИМЛИ в конце 50-х годов (нам тогда под и за тридцать), „три мушкетера” теории литературы: Бочаров, Кожин и я — приравнивали себя к братьям Карамазовым, то Кожин выходил Митя, Бочаров — Алеша, я же — Иван».

Зинаида Гиппиус. Письма Е. Н. Рошиной-Инсаровой. Публикация Жоржа Шерона (Калифорния). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

Два письма Гиппиус к актрисе Екатерине Николаевне Рошиной-Инсаровой (1883 — 1970) печатаются по оригиналам из собрания Рошиной-Инсаровой в Бахметевском архиве при Колумбийском университете в Нью-Йорке. «Очень Вам советую отдохнуть здесь, тогда можно будет снова приняться за дела, если и к осени наше общее несчастное положение не изменится к лучшему, если Россия не освободится!» (письмо от 17 июля 1921 года в Париж из Висбадена).

Александр Гогун. Упреждающий удар или агрессия? — «Посев», 2001, № 6, июнь.

«На данном этапе развития исторической науки нельзя еще сделать окончательного вывода о том, была ли война [Германии] против СССР 1941 — 1945 гг. абсолютной агрессией или превентивные меры (даже в самом широком смысле этого словосочетания) составляли существенную составляющую целей кампании...»

Составитель «Периодики» считает необходимым заметить, что никакие выводы науки (тем более — никакая политическая конъюнктура) не смогут изменить того исторического факта, что 22 июня 1941 года не СССР напал на Германию, а Германия на Советский Союз, для которого и в самом деле началась оборонительная война.

Лев Гурский. Он, она и Прекрасная Дама. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 6. Ленин, Крупская и Инесса Арманд. Мистификация, как и всё у Гурского.

Владимир Гусев. «Литературный стиль: ориентация на местности». Беседу вела Руслана Ляшева. — «Литературная Россия», 2001, № 23, 8 июня <<http://www.litrossia.ru>>

«В русской культурной традиции между тем остается неистребимой потребность знать о жизни именно истину. Да, возможности „компьютерной” фантазии безграничны, но толку-то что? Энтропия безгранична, сказали бы кибернетики, а информация нулевая. <...> Взрослые люди нуждаются в общении с окружающим миром и в познании глубинных ритмов жизни. На этом держится большой стиль русской классики: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Блок. Линия большой лирики — поскольку названы поэты — выходит прямо на тайные ритмы и на тайную суть мира, минуя бытовые и суетные придумки, так поразившие воображение юных вундеркиндов и недорослей».

Да, бессмертие! «Круглый стол», посвященный учению «всеобщего дела» Николая Федорова. — «Завтра», 2001, № 26, 26 июня.

Мечтатели.

Олег Дарк. Взрыв в шахте. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/netcult>>

«Было время — обсуждали, не вытеснит ли компьютер литературу, не отучит ли от нее новых потенциальных читателей (и значит, уже не-читателей). <...> Право, не знаю, не вызову ли улыбку современного интеллектуала, для которого тема уже в прошлом. Но я бы ответил: вытеснит, отучит, не выдержит. Я говорю об „играх”. И это несмотря на их сюжетную примитивность и стилистическую незрелость (в сравнении с чрезвычайной стилистической переработанностью литературы). Я также далек от того, чтобы считать, что эта их примитивность будет преодолена. Никаких прогнозов просто потому, что и ТАК хорошо...»

Державинская нота. «Дмитрий Бобышев — об Америке, Ахматовой и „большом стиле”». Беседу вел Илья Кукулин. — «Ex libris НГ», 2001, № 23, 28 июня.

И. К.: «<...> Кто еще для вас представляет идею большого стиля, кроме Данте и Менделеева?»

Д. Б.: «<...> В таблице Менделеева есть стиль — это стиль Господа Бога, создавшего мир из элементов. Гений Менделеева увидел ритм в этой пестроте и выстроил ее в ритмически повторяющихся периодах. По сути, периодическая система — своего рода стихи».

Гейдар Джемаль. Судьба понятий. Евразийская геополитика в роли «национальной идеи» России. — «Завтра», 2001, № 24, 12 июня.

Против «геополитики» (без упоминания Дугина).

Николай Дорожкин. О троглодитах — тех и «йетих». — «НГ-Наука», 2001, № 6, 20 июня <<http://science.ng.ru>>

«[Б. Ф.] Поршневу установил совершенно определено: неандертальцы как вид никогда полностью с лица Земли не исчезали».

Борис Евсеев. «Последние люди последних времен». Беседу вел Аршак Тер-Маркарян. — «Литературная Россия», 2001, № 23, 8 июня.

«Мне кажется <...> это высшая степень свободы: ты остаешься один на один с Богом, потому что ведь для него (это долго просчитывается, но в конечном счете это так) мы и пишем!»

Евгений Ермолин. Сиюминутница. Поэт в постклассическом мире. — «Континент», № 107 (2001, № 1).

Кибилов. Кононов. Амелин. Соснора. Липкин. Кривулин.

Сергей Есин. Смерть Титана. [Фрагмент романа]. — «Юность», 2001, № 3.

Троцкий в 1924 году. Но *Титан* — не он, а Ильич.

Сергей Земляной. Двойные агенты Бога и дьявола — 2. Владимир Ленин на острие международной провокации. — «Фигуры и лица», 2001, № 12, 28 июня <<http://faces.ng.ru>>

«Провокатор изнутри был неотличим от революционера — вот в чем вся соль».

Андрей Зорин. Размышления о 14 декабря. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 2 (16) <<http://novosti.online.ru/magazine/nz>>

«Так вооруженный мятеж [декабристов] превращается в прообраз этического протеста и гражданского неповиновения, а акция горстки готовых к безвестной гибели одиночек[-диссидентов] становится источником самоидентификации для организаторов массового митинга [в защиту НТВ], поддержанного информационными ресурсами национального телеканала».

Владислав Иноземцев. Открытое общество за закрытыми границами. — «НГ-Сценарии», 2001, № 6, 10 июня.

То, что называют «глобализацией», есть явление региональное, это консолидация развитых стран в их противостоянии остальному миру.

Борис Кагарлицкий. Коррупция — яд или лекарство? — «Новая газета», 2001, № 41, 18 — 20 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Уничтожьте коррупцию, и общество будет опрокинуто в хаос».

Елена Калашникова. «Нет хороших и плохих переводчиков, есть удачные и неудачные переводы». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорил недавно умерший переводчик **Владимир Сергеевич Муравьев:** «[Александр] Грин читал плохие переводы с английского и стал писать на этом языке, творчество Грина к русской литературе никакого отношения не имеет. <...> Лозинский, замечательный переводчик и хороший поэт, но он чудовищно перевел „Божественную комедию”. Он перевел ее на язык русской поэзии конца XIX века, на язык Алексея Жемчужникова. <...> Я считаю, что Соломон Апт наверняка хорошо перевел произведения Томаса Манна. Просто Томаса Манна я читать не могу — мне противна его философская жеманность, немецкое тугодумие, дурацкая эротика. <...> Шекспир ужасно переведен. Некоторая конгениальность есть в переводе „Гамлета” Михаила Лозинского, а вот пастернаковский перевод „Гамлета” — преступление, он перевел его полунинтеллигентской, полублатной скороговоркой 30 — 40-х годов; Гамлет несмешно острит, бормочет в сторону, как сам Пастернак... Замечательные поэты часто плохие переводчики, как, например, Мандельштам. <...> [Ахматова] вообще не переводила. Ей составляли подстрочники из Леопарди, а она говорила: „Собственно, их надо только зарифмовать...” <...> „Улисс” Джойса — гениальная англоязычная проза, но этого совсем не

видно в переводе С. С. Хоружего. Еще один пример необязательного перевода — „Гаргантюа и Пантагрюэль” [Николая] Любимова. Это никакой не Рабле, при чтении не возникает ощущения русской прозы, зато возникает впечатление филологических кунштюков. <...> Перевод Николаем Чуковским замечательной книги „Остров сокровищ” — загубленное произведение!.. <...> Андрей Сергеев замечательный переводчик, но Голсуорси ему не надо было переводить. Голсуорси вообще не надо переводить — не очень понятно, что это за литература, что это, Леонид Леонов (пример полностью никемного писателя, которого вообще не должно быть)?..»

Елена Калашникова. «Под топором срока работать не могу...». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит переводчик **Евгений Михайлович Солонович**: «Я люблю Бродского, внимательно читаю его переводы на итальянский. Более того, считаю итальянский перевод его книги „Набережная неисцелимых” шедевром. [Е. К.: „Этот перевод сделан с русского или английского?"] С английского. Этот блистательный перевод намного лучше русского».

Елена Калашникова. «Паршивую книгу хорошо перевести нельзя...». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит переводчик англоязычной прозы **Виктор Петрович Гольшев**: «Ну, строчек десять [стихотворных] перевел. Я просто не понимаю, как это делать. <...> Я не понимаю, что в поэзии можно сохранить, а что нет».

См. также заметки **М. Рудницкого** о переводчице Константине Богатыреве («Иностранная литература», 2001, № 6 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>)

Ирина Каспэ. Феномен книжного бестселлера в российской критике: рецензии на издания 2000 года. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 2 (16).

«Укус ангела». «Сами по себе». «Кысь».

Анна Кирьянова. Оргия. Рассказ. — «Крушение барьера». Литературно-художественный альманах. Составитель и редактор Юрий Демин. Тираж 1000 экз. Екатеринбург, 2000, № 7.

«Накия Абдрахмановна поехала с нами по доброте душевной и из любопытства — она никогда не участвовала в оргиях...» См. также рассказы того же автора «Деревька», «Поэт и биограф», «На заре демократии» в шестом выпуске альманаха «Крушение барьера» за 1999 год. Рассказ «Оргия» был напечатан также в журнале «Урал» (2001, № 5). Екатеринбургские телезрители хорошо знают Анну Кирьянову как «практикующего астролога и оккультиста» (из редакционной врезки), *однако* рассказы у нее — хорошие, особенно «На заре демократии».

Сергей Князев. Имперское начало литературы. — «Книжное обозрение», 2001, № 23-24, 4 июня <<http://www.knigoboz.ru>>

«Укус ангела». «Кысь». «Оправдание». В основе статьи — доклад, прочитанный на семинаре «Диктатуры чтения» (клуб «Борей», СПб.).

Алексей Комаров. Алкоголь, друг мой... Задумчивое повествование. — «Знамя», 2001, № 6.

Пьют.

Консерватизм vs либерализм. Беседа Михаила Ремизова с Борисом Капустиним. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/vlast>>

Говорит доктор философских наук **Борис Гурьевич Капустин**: «О власти либералы обычно говорят с точки зрения необходимости ее распределения или ограничения. Между тем вспомнить хотя бы, как сами либералы критикуют уравнивательность коммунистов: прежде чем что-то распределять, нужно что-то произвести. <...> *Власть должна быть произведена.* Это первостепенно — и с точки зрения перспектив либерального проекта, и с точки зрения укрепления государства».

Владимир Корнилов. Белый стих. — «Литература», 2001, № 23, 16 — 22 июня.

Беседа двадцатая из цикла «Занимательное литературоведение».

Хулио Кортасар, или Самый великий хроноп. — «Иностранная литература», 2001, № 6 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>

Рубрика «Литературный гид»: беседы, эссе, рассказы, краткая летопись жизни и творчества.

Леонид Костюков. Антология как вопль. — «Арион». Журнал поэзии. 2001, № 2 <<http://novosti.online.ru/magazine/arion>>

«Очевидно, что по „степени избранности” текстов антология занимает крайнее место в ряду, где другое крайнее место занимает, например, восьмая книжечка стихотво-

рений некоего поэта Верлиброва, изданная малым тиражом. <...> Если обратиться к стилистике любимого россиянами сериала „Скорая помощь“, литераторы как бы стоят над телом читателя. Он, мягко говоря, в пограничном состоянии. Восьмая книжка Верлиброва в этой метафоре соответствует просроченному горчицинику. Антология же — мощному разряду. Ну как, пополз синус на осциллографе? Пока нет. Кажется, мы теряем его. А то, что мы его теряем, общеизвестно.

Михаил Краснов. История неизданного указа. — «Посев», 2001, № 6, июнь.

«В том, что о Великой революции в России, происшедшей в начале 90-х годов, заговорили в полный голос лишь недавно, уже в послереволюционную эпоху, заключается драма нашей государственности. Официальный отказ от понятия „революция“, замена его эвфемизмом „реформы“ негативно сказались на всем процессе модернизации страны...» Автор статьи, доктор юридических наук, помощник Ельцина в 1995 — 1998 годах по правовым вопросам, приводит текст проекта несостоявшегося президентского указа «О мерах по обеспечению идеологического и политического многообразия в Российской Федерации» (лето 1996 года).

См. также интервью с руководителем рабочего Центра экономических реформ при правительстве РФ, профессором **Владимиром Мау** («Демократический выбор», 2001, № 24, 14 — 20 июня; «Литературная газета», 2001, № 26, 27 июня — 3 июля); который тоже считает, что Россия начиная с 1987 года пережила настоящую социальную революцию, а сейчас страна из этой революции выходит.

Ср. с утверждением **Сергея Земляного** («Куда идешь? О Смуте как парадигме консервативного мышления». — «Независимая газета», 2001, № 111, 22 июня <<http://www.ng.ru>>), что «сейчас в России подлинным консерватором является тот, кто мыслит ее настоящее по модели Смуты; и наоборот, поделен тот консерватор, который выдаст эту Смуту, например, за революцию — олигархическую, криминальную и любую другую. Он не консерватор, а бонапартист».

Елена Краснощекова (Джорджия). Два парадоксалиста. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

Подпольный герой у Достоевского и Маканина.

Крестьянская память о войне. Военному искусству крестьянство противопоставляло «этику выживания». Публикация Ирины Козновой. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 2001, № 2, 22 июня <<http://ng.ru/ever>>

Вспоминают крестьянки Пензенской области (запись осуществлена в 1991 году Сергеем Мякинковым). Публикуемые документы хранятся в Междисциплинарном академическом центре социальных наук (Интерцентр, Москва).

Григорий Кружков. Сложная речь (еще о метафизике). — «Арион». Журнал поэзии. 2001, № 2.

«Если же говорить не о метафизическом переливании из пустого в порожнее, которого в текущей поэзии хоть пруд пруди, а о тяжелой воде метафизики, которой не так уж много в этом пруду, то наивысшую концентрацию оной я нахожу в стихах Светланы Кековой».

Юрий Кублановский. Как бы в воинственной любви признаться хочет. Этюд о Москве экспансивного провинциала. — «Общая газета», 2001, № 23, 7 июня <<http://www.og.ru>>

«Вот иду по центральной рыбинской улице — проспекту, разумеется, Ленина — мимо улиц Урицкого, Нахимсона, Либкнехта и Дзержинского, а из всех черных уличных радиотарелок, в обилии промывавших тогда мозги угрюмым, одинаково одетым прохожим, доносится речь Хрущева на встрече с интеллигенцией. Иду: на глазах слезы, руки холодные сжимаются в кулаки. Как на грех, теми же днями в „Комсомолке“ покаяние В. Аксенова: признал критику партии правильной. Мать честная, раздобыл десятку (два дня прогулов: вместо учебы потаскал мешки в магазине) — и в Москву, втайне от мамы (ей вручили мою записку, когда тронулся поезд). И вот я в Москве один, впервые! Савеловский вокзал, возле которого беру в Мосгорсправке адрес Андрея Вознесенского. <...> Открывает сам. На нем — хемингуэевский свитер грубой вязки с высоким воротом, я до того такие только на картинках видал; в комнате почему-то велосипед, на стене карандашный портрет работы И. Глазунова.

— Андрей Андреевич... в „Комсомолке“... Аксенов... Неужели и вы?..

— Я по пути Аксенова не пойду!

Ну, снял камень с сердца».

Дмитрий Кузьмин. Как построили башню. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48.

История и практика «Вавилона». См. в Сети — <http://www.vavilon.ru>

Маша Кузьмина. Месяц мертвого солнца. — «Дружба народов», 2001, № 6
<<http://novosti.online.ru/magazine/druzhiba>>
Ямал.

Станислав Куняев. Поэзия. Судьба. Россия. [Главы из мемуарной книги]. — «Наш современник», 2001, № 6.
Вот Куняев прочел «Майн кампф», а я не осилил.

Лазарь Лазарев. Вопреки, а не благодаря... — «Общая газета», 2001, № 23, 7 — 13 июня.

В связи с юбилейнейшей заметкой в «Литературной газете» (2001, 16 — 22 мая) к 90-летию Георгия Маркова: «...но, надеюсь, людям постарше, которым память еще не отшибло и они помнят, как было на самом деле, не удастся втереть очки, не пройдет этот номер». См. также воспоминания Л. Лазарева «Записки пожилого человека» («Знамя», 1997, № 2; 2001, № 6).

Валерий Лебедев (Бостон). <Рецензия на мемуарную книгу Виталия Коротича «От первого лица», Москва — Харьков, 2000>. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

«Конец книги Коротича умиляет: она полностью посвящена обретению Коротичем Бога и его глубокой религиозности...»

Андрей Левандовский. Роман с «феноменами». — «Знание — сила», 2001, № 6
<<http://www.znanie-sila.ru>>

Эссе о том, что раздор между «удивительной во всех отношениях» Еленой Блаватской и историческим романистом Всеволодом Соловьевым «оставил заметный след в духовной жизни человечества», выглядит в контексте журнала «Знание — сила» каким-то досадным недоразумением.

Алексей Левинсон. На раздвоенном копыте. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 2 (16).

«На политические обстоятельства общество реагирует не как политическое тело, а как совокупность гендерных типов. <...> Выпускники столичных военных академий на словах предлагают делить вверенное их контролю [чеченское] общество на „население” и „боевиков”, а фактически — на женщин и мужчин».

Станислав Лем. Сфероматия. Перевел с польского Виктор Язневич. — «Известия», 2001, № 104, 15 июня <<http://www.izvestia.ru>>

«Как морские острова являются непотопляемыми авианосцами в эру обычных войн, так и ближайшее небесное тело, то есть Луна, может стать неуничтожимой базой для той стороны, которая первой освоит ее в военных целях».

Марина Любарская. Прежде всего это был великий человек. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

А. Л. Чижевский.

Юрий Манн. Святость поэзии и горечь иронии. — «Литература», 2001, № 22, 8 — 15 июня.

«Не верь себе» — самое загадочное лермонтовское стихотворение.

Павел Мейлахс. Избранник. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 6.
«Сильный может вытерпеть, слабый — нет».

Иван Миронов. Будет ли Америка прирастать Сибирью? Перспективы новой геополитической сделки. — «Завтра», 2001, № 27, 3 июля.

Для американских аналитиков вопрос: останется ли Сибирь русской вообще? — уже не стоит: она будет либо американской, либо китайской.

Николай Митрохин. «Русская партия». Фрагменты исследования. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48.

«Благодаря этим качествам часть членов СП СССР, объединенных в широкую коалицию, именуемую нами „консерваторы”, сумела сначала стать равноправным партнером консервативных политических группировок [в КПСС] 1950 — 1960-х гг. в деле распространения русского национализма в СССР, а затем, с конца 1960-х гг., стала основной так называемой „русской партии”...» О мемуарной книге Станислава Куняева, который, по уверению исследователя, «был „*infant terrible*” (так в тексте. — А. В.) среди руководства „русской партии” и всего националистического истеблишмента» см. в «Книжной полке **Андрея Василевского**» в настоящем номере «Нового мира».

Олег Мраморнов. Возвращение к поэту. О Некрасове, народе и интеллигенции. Последние суждения Татьяны Глушковой. — «Независимая газета», 2001, № 100, 6 июня <<http://www.ng.ru>>

Говорит **Татьяна Глушкова** (незадолго до ее смерти 22 апреля с. г.): «За „недооценку“ этого учения [о двух культурах в национальной культуре] я довольно страдала от ортодоксов советского времени (ныне — демократов). Но я говорила и говорю об определенном срезе — культуры: о великой русской культуре — о единстве на вершинах культурного процесса. Если же брать культуру, литературу в целом, во всех ее уровнях, то разделение Ленина совершенно справедливо. И это куда наглядней сегодня, чем в советскую эпоху. Теперь ведь прямо (и гордо) говорят об „элитарной культуре“. Порусски (и по-некрасовски) — антинародной. И о ее, так сказать, сводной сестре — культуре массовой: культуре толпы, а не народа... Обе эти разновидности буржуазной культуры, впрочем, утрачивают право называться „национальными“: в них отчетливо проступает как раз космополитический элемент».

«Мы большие западники, чем Запад». Беседу вела Татьяна Вольтская. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4370, 28 июня.

Говорит правозащитник **Сергей Ковалев**: «<...> меня довольно часто называют агентом Запада. Это правильно, только те, кто меня так называют, имеют в виду спецслужбы, а я имею в виду идеологию».

На рубеже веков. [Специальный номер-дайджест]. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Главный редактор Роман Солнцев. Тираж 1500 экз. Красноярск, 2001, № 1-2 (30) <<http://www.krsk.ru/din>>

Обстоятельный отчет (752 стр.) о проделанной работе с 1994 по 2000 год.

Владимир Набоков. Нью-Йоркский вечер. Публикация, предисловие и примечания Максима Д. Шраера. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

В архиве Набокова в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне сохранилась рукопись и исправленная машинопись рабочих записей писателя к выступлению перед русскими эмигрантами в Нью-Йорке, предположительно имеется в виду вечер 8 декабря 1951 года в *Master Institute Theater* в Манхэттене.

См. также новую расширенную редакцию тематического блока материалов «Владимир Набоков в конце столетия» в новом/старом журнале «*Старое литературное обозрение*» (2001, № 1). Данный «пилотный» номер «СЛО» фактически является 277 номером известного журнала «*Литературное обозрение*», который — после вынужденного перерыва — будет теперь выходить под несколько измененным названием и под редакторством все того же Виктора Куллэ. Этот последний обещает в своем вступительном слове *продолжать хорошо зарекомендовавшую себя политику прежнего «ЛО».*

Агате Несауле. Женщина в янтаре. Исцеление травм, нанесенных войной и изгнанием. Главы из книги. Перевела Жанна Эзит. — «Даугава». Литературно-художественный и публицистический журнал. Рига, 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

«Я не совсем убеждена, что все в моем рассказе было именно так. Некоторые события происходили, когда мне было всего семь лет, многое я определенно забыла, многого просто никогда не знала, да и не понимала...» Два издания в США, две американские премии, переводы на немецкий, шведский, датский и латышский. Автор — доктор философии, профессор Висконсинского университета.

А. Н. Николокин. Роман Михайлович Самарин: миф и реальность. Письмо в редакцию. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 2000, № 2 (31).

«Я знаю, что о Самарине в последнее время сложился какой-то нелепый миф, отразивший облик этого человека крайне однобоко и искаженно...»

Юрий Никулин. Записки солдата. Публикация и вступительная заметка Т. И. Никулиной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 6.

Записки молодого солдата, сделанные накануне прорыва блокады Ленинграда. Никулин — тот самый Никулин.

Евдокия Ольшанская. Письма об Анне Ахматовой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

Письма-ответы Виктора Шкловского, Дмитрия Шостаковича, Корнея Чуковского, Лидии Чуковской на составленную Е. М. Ольшанской «Ахматовскую анкету» (1976). «[Анна Ахматова] утверждала, что 80% всех мемуаров — лживы» (из письма Л. Чуковской от 23 декабря 1985 года).

Юрий Осипов. В нас, над нами, впереди нас... Мерцающие контуры российской государственности. — «Независимая газета», 2001, № 101, 7 июня.

«Стало быть, [антигосударственники] что-то имеют в виду, по-видимому, не снятие вообще принудительной организации общества и человека, а замену ее... нет, не на свободную организацию, как мечтают разные интеллектуалы разных времен и народов <...> а на другую принудительную организацию, почему-то и не государственную, может, не совсем государственную или почти государственную», — считает **Юрий Михайлович Осипов**, профессор, директор Центра общественных наук при МГУ, заведующий лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ.

Памяти Булата Окуджавы (1924 — 1997). — «Старое литературное обозрение», 2001, № 1.

Тематическая подборка материалов из старого «Литературного обозрения» перепечатывается «Старым литературным обозрением» в новой, расширенной редакции. См. также первый выпуск сборника «Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века. Материалы Первой международной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы (19 — 21 ноября 1999 года, Переделкино)», М., «Соль», 2001.

Александр Панченко. «Противостояние безобразному». Беседу вела Наталья Ларина. — «Литературная газета», 2001, № 26, 27 июня — 3 июля.

«Недавно к нам в Питер, в Пушкинский дом, приехал Константин Натанович Боровой. „Как живете?“ — спрашивает. „Как вся страна, — отвечаем, — трудно“. — „А что ж вы тогда не продадите, ну, скажем, кинжал Лермонтова, — предлагает он. — Вон он в вашем музее зря хранится-пылится!“ Пинка надо было ему дать да выгнать».

Елена и Евгений Пастернаки. Переписка Пастернака с Фельтринелли. — «Континент», № 107 (2001, № 1), 108 (2000, № 2).

Об издании «Доктора Живаго» на Западе.

Марк Перах. Разумный замысел или слепая случайность? Схватка двух мировоззрений. — «Континент», № 107 (2001, № 1).

Биохимик Майкл Дж. Бэхе — против (нео)дарвинизма. Марк Перах — против М. Дж. Бэхе.

Аркадий Первенцев. Москва опаленная. Дневник войны. Публикация и примечания В. А. Первенцева. — «Москва», 2001, № 6.

«16 октября [1941 года] брошенный город грабился. Я видел, как грабили фабрику „Большевик“ и дорога была усеяна печеньем, я слышал, как грабили мясокомбинат им. Микояна. Сотни тысяч распушенных рабочих, нередко оставленных без копеечки денег сбежавшими директорами своими, сотни тысяч жен рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. <...> Рабочий класс вдруг понял, что труд рук его и кровь его детей никому не нужны, брошены, и он вознегодовал и, подожженный умелым факелом врага, готов был вспыхнуть и зажечь Москву пламенем народного восстания... Да, Москва находилась на пути восстания! И 16 октября ни один голос не призвал народ к порядку. Народ начал разнудываться. <...> Мимо меня прошел мрачный гражданин в кепке и сказал, не поднимая глаз:

— Товарищ Первенцев, мы ищем и бьем жидов.

Он сказал это тоном заговорщика-вербовщика...»

Ник Перумов. «Надо разбить чеченский синдром России». Мастер фэнтези пишет о войне. Беседовал Александр Вознесенский. — «Ex libris НГ», 2001, № 22, 21 июня.

Говорит **Ник (Николай Данилович) Перумов** (в настоящее время живет и работает по своей специальности биофизика в Далласе): «Я считаю, что афганская война с легкой руки Олега Ермакова получила совершенно одностороннее освещение. То есть эта тема совершенно не паханная. <...> Так вот, конечно, и афганская война, и чеченская война нуждаются в описании, которое разбивало бы наш „вьетнамский синдром“, то есть чеченский и афганский синдром России. Синдром, что мы якобы были побеждены. В общественном сознании, усиленном некими манипуляторами, уложилось, что, мол, „чечены нам так, блин, вломили, что мы драпали чуть ли не до Ставрополя, Астрахани и Казани“. <...> Я удивляюсь, как они еще Москву-то не взяли! <...> То же самое и с Афганистаном: якобы русская армия была разгромлена и с позором бежала. А армия не проиграла там ни одного сражения, насколько я знаю, была только одна „неуспешная“ операция — когда просто решили: на фиг нам этот Шах Масуд, зачем штурмовать неприступные скальные твердыни и класть там людей без счета?..»

Эм Петров. Биозтика. — «Литературная газета», 2001, № 23, 6 — 12 июня.

Краткие комментарии академика к *Всеобщей Декларации о геноме человека и о правах человека*, утвержденной (принятой) на 29-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 11 ноября 1997 года.

Письма Георгия Иванова А. Д. Скалдину. Предисловие Вадима Крейда. Публикация Вадима Крейда и Зины Гимпелевич. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

42 письма 1911 — 1915 годов.

А. Плуцер-Сарно. Русская порнографическая литература XVIII — XIX веков. Размышления над книгами серии «Русская потаенная литература» [издательства «Ладомир»]. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48.

Миф о Баркове.

Поиски замерзшего сироты. Литературное время в зеркале газетной критики. [«Круглый стол»]. — «Дружба народов», 2001, № 6.

Илья Кукулин. Мария Ремизова. Дмитрий Быков. Елена Иваницкая. Игорь Зотов. Лиза Новикова. Дмитрий Ольшанский. Андрей Урицкий. Наталья Игрунова. Леонид Бахнов.

Александр Проханов. Либерализм как дырка истории. — «Завтра», 2001, № 23, 5 июня.

«Путин на погребении Собчака прощался с либерализмом, и вдовьи слезы Нарусовой оросили могильник, куда забетонировали капсулу страшной разрушительной силы. И через тысячу лет извлеченный из кургана скелетик, мучнистый череп и мальтийская ладанка будут светиться в ночи. <...> Протрубит ангел с лицом Юрия Гагарина, и восстанут из могил все, кто жил до нас на земле. И князя Борис и Глеб, и Владимир Красное Солнышко, и Филипп Колычев, и протопоп Аввакум, и нищенка с паперти, и сталинградский пехотинец, и Стенька Разин, и Иосиф Сталин, и все наши прадеды, дети, отцы. Только либералу будет отказано в воскрешении. Рассеянный на безличные атомы, он будет носиться под воздействием магнитных полей в безжизненном вакууме, сдуваемый солнечным ветром, потихоньку утекая в „черную дыру“ мироздания». Любопытно, что у либералов сегодня нет такого *энергоемкого* публициста, как Проханов. Новодворская тут отдыхает. Великолепный Максим Соколов — не либерал, а либеральный консерватор.

А. С. Пушкирев. «Вы грозны на словах — попробуйте на деле!» А. С. Пушкин как выразитель русского общественного мнения о польском восстании 1830 — 1831 годов. — «Наш современник», 2001, № 6.

«На том стоим».

Пушкиниана-2000. Составил Олег Трунов. — «Книжное обозрение», 2001, № 23-24, 4 июня.

175 названий.

Александр Пятигорский. *This is London.* Прогулка на троих. — «Даугава», Рига, 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

«У Гитлера была какая-то адская ненависть к Лондону. <...> Хотя Берлин он тоже терпеть не мог. Ненависть к Лондону — это что-то спонтанное, историческое. Гитлер не любил историю. <...> История и есть — мы приходим, мы проходим. Мы уходим. Гитлер хотел быть вне истории. Отсюда его ненависть к масонству. Масонство — жутко историческое» (из беседы 1999 года).

Евгений Пятунин. Дело «литературной группы». Как была истреблена вятская писательская организация. — «Ex libris НГ», 2001, № 23, 28 июня.

1934, 1937 — 1939.

Раскаленный вопрос. Беседу [в доме Солженицыных в Троице-Лыкове] вел Виктор Лошак. — «Московские новости», 2001, № 25, 19 — 25 июня.

«А эта книга [„Двести лет вместе. 1795 — 1995“] ведь родилась не просто по соседству, а прямо органически из „Красного Колеса“. <...> Вводить его плотно, подробно в „Красное Колесо“ было бы совершенной ошибкой, потому что это бы придало „Красному Колесу“ неверный наклон, акцент: объяснение всего происшедшего еврейским вмешательством. Я сознательно этого не сделал», — рассказывает Александр Солженицын.

См. также рецензии Александра Архангельского («Известия», 2001, № 110, 25 июня), Андрея Немзера («Время новостей», 2001, № 113, 29 июня) и полемический — по отношению к рецензии Архангельского — отклик Павла Басинского («Литературная газета», 2001, № 27, 4 — 10 июня).

Реабилитирован в 2000 году. Из следственного дела Варлама Шаламова. Публикация Ирины Сиротинской и Сергея Поцелуева. Предисловие Ирины Сиротинской. — «Знамя», 2001, № 6.

Заявления, донесения. С комментариями. См. также статью **Игоря Сухих** «Жить после Колымы (1954 — 1973. „Колымские рассказы” В. Шаламова)» («Звезда», 2001, № 6).

Михаил Ремизов. Ксенофобия. Приступ 3. Филантропы. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

«Издательские программы [Фонда Сороса], развитие Интернета — к чему все это? В этом так много наивности Просвещения. <...> Это же наивно — думать, что русских можно просто закидать самыми разнообразными книжками и что пыльное бремя гуманитарной учености навсегда загрозит нам выход на свежий, опасный воздух нашей истории. В этом смысле инвестиции Сороса в наши души могут оказаться так же шатки, как в Связьинвест. Мы просто станем — белокурой бестией, читавшей Поппера».

Михаил Ремизов. Ксенофобия. Приступ 5. Червя нельзя раздавить. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

«Неужели они (просвещенные европейцы. — *А. В.*) не понимают, что, выступая с гневливыми воззваниями о *всеобщей* отмене смертной казни, они выглядят ни на йоту не убедительнее, чем китайцы, которые вдруг потребовали бы ввести повсеместно смертную казнь за убийство панды?! Но заметьте, китайцы этого никогда не сделают: и не потому, что панды не водятся за пределами Китая, а потому, что китайцы всегда были свободны от миссионерских комплексов в отношении своей „варварской” периферии».

Мария Ремизова. «Независимая» победила. Роман Андрея Волоса [«Хуррам-абад», опубликованный издательством «Независимая газета»] удостоен Государственной премии. — «Кулиса НГ», 2001, № 10, 15 июня <<http://curtain.ng.ru>>

«Деятельность Государственного жюри является лишь малой частью общей гармонии вселенной».

Дмитрий Сапрыкин. Вернуть Византию! — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Сравнение нынешней ситуации в России и в мире с тем, что происходило в Римской империи эпохи распада, стало уже общим местом. <...> Но на развалинах ветхой империи Рима возникла новая империя, которая просуществовала тысячу лет и в конце породила преемника в виде России. <...> И как это ни странно звучит, наиболее близким аналогом возникающей новой Российской государственности является Византийская империя, просуществовавшая тысячу лет в крайне неблагоприятном историческом окружении. <...> Возможно, Византия — не только прошлое России, но и ее будущее. Ведь Византийская империя была очень зрелым политическим образованием с исключительно сложным внутренним устройством, к уровню которого Запад приблизился, может быть, только с созданием Соединенных Штатов, а Россия приближается только сейчас».

Бенедикт Сарнов. Наш советский новояз. Главы из книги. — «Литература», 2001, № 22, 8 — 15 июня.

Хрущоба. Вечно живой. Явка обязательна.

Сергей Сергеев. «Не хочу быть даже французом...» Виссарион Белинский как основатель либерального национализма в России. К 190-летию со дня рождения. — «Независимая газета», 2001, 14 июня.

Национализм в России сформировался именно в западнической среде.

Алексей Слаповский. «Провинцию я защитил своими книгами». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2001, № 102, 9 июня.

«Я знаю литературных негров, которые, сидя в провинции, пашут на Москву: там по-прежнему дефицит рабочих мест, а здесь кормят, правда, не с руки — с ногтя, чтобы человек не помер с голоду».

Максим Соколов. Мир народам. — «Известия», 2001, № 118, 5 июля.

«Глубинная суть мирозерцательного раскола [в связи с „продажей” Милошевича в Гаагу] — в отношении к процессу становления всемирной власти. <...> Тезис „всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно” стал очень доходчив до россиян, а какая же власть абсолютнее, чем всемирная».

Карен Степанян. Сегодня 16 июня. К 60-летию со дня начала Великой Отечественной войны. — «Знамя», 2001, № 6.

«И потому хорошо бы поскорей осознать, что духовная Родина наша — Россия — без сильного государства будет подобна одинокому монастырю — потенциальной и лег-

кой добычей любого кочующего бандитского отряда (вспомним сравнительно недавнюю по историческим меркам судьбу Константинополя, павшего под ударами с Запада и Востока)...

«Если бы я не знал, что Карен Степанян — человек глубоко православный, я бы терпеливо рассказал ему известную историю о динарии кесаря, но мы, похоже, имеем тут дело с очень „творческим“ пониманием христианства», — ехидничает **Александр Агеев** («Время MN», 2001, № 106, 23 июня).

«Между тем когда фарисеи и иродиане, желая „уловить“ Христа, спросили, позволено ли давать подать кесарю, Он ведь не ответил им: мы духовно свободные люди, всемирное братство, какое нам дело до кесаря и государства, — нет, Он заповедал подавать кесарю кесарево, а Божие — Богу, — парирует **Карен Степанян** («Время MN», 2001, № 111, 30 июня). — Никакое самое совершенное и сильное государство не обеспечит спасение вашей души, но чтобы можно было молиться, трудиться и растить детей, нужна жизнь и нужен мир, а отнять то и другое сегодня, увы, очень много желающих».

Кристофер Стоун. Должны ли деревья иметь права? Сокращенный перевод А. Елагина, адаптация Е. Поминовой. — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (*WCPA/IUCN*). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Киев, 2001, том 3, выпуск 1. Электронная версия: <http://www.ln.com.ua/~kekz/human.htm>

«„Хранитель“, „попечитель“ или „опекун“ (терминология варьируется) представляет некомпетентного в его юридических делах. Суды делают подобное назначение, когда корпорация становится „некомпетентной“ — они назначают попечителя над банкротством или реорганизацией, чтобы надзирать за ее делами и говорить от ее имени в суде, когда это необходимо. По аналогии нам следует иметь систему, в которой человек, озабоченный судьбой природного объекта, может обратиться в суд об учреждении попечительства. Конечно, для того чтобы убедить суд в том, что река, находящаяся в опасности, является „лицом“, потребуются такие же смелые и обладающие воображением юристы, как те, которые убедили Верховный суд, что железнодорожная корпорация является „лицом“, согласно поправке к конституционному положению. <...> Поступая так, мы, по сути, делаем природный объект при помощи его попечителя юридической сущностью, компетентной собрать иски об ущербе и представить их перед судом даже там, где по юридическим или практическим причинам их не собираются представлять традиционно действующие истцы...» Тут же напечатаны полемическая по отношению к «правам деревьев» статья **Джея Кантора** «„Интересы“ природных объектов» (перевод С. Мосякина) и статья главного редактора журнала **В. Е. Борейко**, который заявляет себя сторонником взглядов американского юриста и экофилософа Кристофера Стоуна.

Александр Тарасов. Хватит врать о Пиночете! — «Неприкосновенный запас», 2001, № 2 (16).

«В России живет 147 млн. Экстраполируем чилийский опыт на Россию. Получаем: в первый же месяц власти российского Пиночета должно быть уничтожено 512 тыс. человек. Да еще 192 тыс. должны быть затем убиты в тюрьмах и погибнуть под пытками. Да еще около 68 тыс. должны „пропасть без вести“. Итого: 772 тыс. <...> В первые два года при Пиночете по политическим мотивам было арестовано и отправлено в тюрьмы и лагеря 110 тыс. человек. Экстраполируем на Россию. Получаем 13 млн. 840 тыс. человек...»

Михаил Тарковский. Замороженное время. Рассказ. — «Наш современник», 2001, № 6.

Откликаясь на короткую повесть «Гостиница „Океан“» («Новый мир», 2001, № 5), **Татьяна Кравченко** («Независимая газета», 2001, № 105, 14 июня) пишет, что проза Михаила Тарковского, публикуемая и «Москвой», и «Новым миром», и «Нашим современником», *вменяема*, в ней точно соблюдены пропорции между действием и рефлексией, но она не выходит пока за пределы уже освоенного в 70-е годы литературного пространства (Распутин, Астафьев, Казаков).

Трансатлантическая любовь Симоны де Бовуар. Предисловие и перевод Ирины Мягковой. — «Театр», 2001, № 1, февраль — март.

Письма Симоны де Бовуар 1947 — 1962 годов к американскому писателю шведского происхождения Нельсону Олгрэну (1909 — 1981). «Было два католика, ненавидевшие [гомосексуалиста] Жида, — романист Мориак и поэт Клодель. Малышка Кассуле замечательно их разыграла: на следующий день после смерти Жида она отправила Мориаку телеграмму: АДА НЕТ. МОЖЕТЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ. ПРЕДУПРЕДИТЕ КЛОДЕЛЯ. Подпись: АНДРЕ ЖИД. Мориак был вне себя (но кто послал, не знает) (и? письма от 5 марта 1951 года).

См. также: «Трансатлантическая любовь. Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрэну. 1947 — 1964 гг. Фрагменты книги. Вступление, перевод с английского и французского Ирины Кузнецовой» («Иностранная литература», 1998, № 7).

Майя Туровская. Юбилей МХАТ 2008 года. Воспоминание о будущем. — «Театр», 2001, № 1, февраль — март.

«А так как следующий юбилей в 2008-м я могу и не застать, то откликаюсь на него загодя».

Евгений Федоров. О Кузьме, о Лепине и завещании Сталина. Повесть. — «Континент», № 107 (2001, № 1).

Кузьма (Анатолий Иванович Бахтырев, 1928 — 1968) является также одним из персонажей повести Евгения Федорова «Кухня» («Континент», № 95), в том же девяносто пятом номере «Континента» были напечатаны пять коротких рассказов **А. Бахтырева** из сборника «Эпоха позднего реабилитанса», выпущенного крошечным тиражом в Израиле в 1973 году. О рассказах Анатолия Бахтырева см. рецензию **Марии Ремизовой** «Невыносимая хрупкость бытия» («Новый мир», 1998, № 11).

С. Р. Федякин. Два озарения «суходольного музыканта». — «Московский журнал», 2001, № 4, апрель <http://www.rusk.ru/Press/Mosk_jour

«Симфонические танцы» (1940) Сергея Рахманинова как провидение будущего. «Одно из самых страшных [музыкальных] произведений XX века подводит к черной вопрошающей немоте. Но в этом обрыве — смутная и неясная надежда, как во всяком многоточии».

Френсис Фукуяма. Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия. Перевод Анны Эткинд. Предисловие Александра Эткинды. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 2 (16).

Фукуяма — о китайском опыте доверия/недоверия, Эткинд — о российском.

Петр Хомяков. Россия — цивилизация Севера. Реалии цивилизационного кризиса и цивилизационного прорыва. — «Независимая газета», 2001, № 102, 8 июня.

«В тупик именно зашла вся цивилизация, базирующаяся на железе как основном конструкционном материале и на углеводородном (в основном высокосортном) топливе как основном энергоносителе». Проблему глобального потепления решить невозможно. «Современное *постиндустриальное общество* является таковым лишь по названию. На самом деле это *привилегированная часть обычного индустриального общества*, выделившаяся в результате виртуальных манипуляций».

Георгий Циплаков. Игра в мордобой. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 6.

«Бойцовский клуб» и философия Фромма. См. статьи того же автора о «Титанике» как полемике с Платоном («Урал», 2001, № 4) и о «Матрице» в контексте философии Гуссерля («Урал», 2001, № 5), а также об Акунине и *Дао* («Новый мир», 2001, № 11).

«**Читайте Пушкина промытыми глазами!**» Беседовал Константин Мильчин. — «Книжное обозрение», 2001, № 23-24, 4 июня.

Говорит пушкинист **Ирина Сурат**: «...даже Лотман начинает свою биографию с неверного указания на место рождения Пушкина (на Молчановке)», а на самом деле дом стоял на углу нынешней Малой Почтовой и Госпитального переулка.

Что делать с Америкой? — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Если Россия хочет „в Европы“, то ей прежде всего хорошо бы понять: в компании хищников и вести себя следует соответственно, иначе на роль большую, чем роль *закуски*, рассчитывать очень трудно. Определенная внешнеполитическая кровожадность, банальное стремление самоутвердиться, „поставить себя“ — именно это могло бы доказать нашим „западным партнерам“, что русский цивилизационный код близок западному. То есть, в определенном смысле, от *настоящей* конфронтации с Америкой до настоящей дружбы с ней — один шаг. И тогда Россию наверняка пригласили бы в НАТО как полноправного члена, возможно, взамен какого-нибудь другого, ею уже „съеденного“...» (Игорь Джадан).

Олег Чухонцев. После лирики, после эпоса... — «Арион». Журнал поэзии. 2001, № 2.

Стихи разных лет. См. также: «Новый мир», 2001, № 11.

Сергей Шаповал. «Я ищу возможности для выживания красоты...» Виктор Кривулин о литературе, жизни и судьбе. — «Фигуры и лица», 2001, № 11, 14 июня.

«Культура — это не Толстой, а какой-нибудь сельский толстовец» (из большого интервью **Виктора Кривулина** 1993 года).

Игорь Шевелев. Любовь: от 60-х до наших дней и обратно. — «Время MN», 2001, № 110, 29 июня.

Вспоминает художник **Анатолий Брусиловский**: «Возьмем, кстати, романы Аксенова. Это, в общем, инфантильные послевоенные мечты на тему, как все должно быть. Его „Остров Крым” — это идеал плейбойства, свободного обращения с прекрасными, легкими, доступными и в то же время остроумными и симпатичными женщинами. Надо сказать, что девушки дотягивали до этого идеала. Только Аксенов спроецировал это на некий Запад, где все это якобы происходит. А на самом деле происходило это в России, а на Западе как раз не происходит. Там — сухие и деловые отношения. Если это проститутки, то вокруг навечно множество ограничений: во времени, в действиях, в цене. Проститутки, как правило, очень некрасивые, неэстетичные, вызывают отвращение».

Максим Шевченко. Молчание пастырей. Богохульный фильм, показанный [26 мая с. г.] по [государственному российскому] телевидению, не вызвал никакой реакции Патриархии и «православной общественности». — «НГ-Религии», 2001, № 11, 14 июня.

Даже у самого либерального православного человека волосы встают дыбом от концентрации богохульств в американской комедии «Догма», по сравнению с которой нашумевшее творение Мартина Скорцезе просто глубоко религиозный (хотя и еретический) фильм, считает ответственный редактор «НГ-Религий».

Мария Шнеерсон. Три портрета пролетарского графа. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 222 (март 2001 года).

Бунин, Булгаков, Солженицын — об Алексее Толстом.

Глеб Шульпяков. Бегство в Стамбул. Конец Истории на фоне Босфора. — «Ex libris НГ», 2001, № 20, 7 июня.

Вот Шульпяков был в Стамбуле, а я нет.

Владимир Юровицкий. Готовился ли второй «Брестский мир» в 41-м году? — «Литературная газета», 2001, № 24-25, 20 — 26 июня.

Катастрофа 1941 года (будто бы) была запланирована... Сталиным.



АДРЕСА: сайт Литературного института имени А. М. Горького: <http://www.litinstitut.ru>

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

10 лет назад — в № 10 за 1991 год напечатаны воспоминания Ивана Твардовского «У нас пленных нет».

45 лет назад — в № 10 за 1956 год напечатано стихотворение Н. Заболоцкого «Противостояние Марса».

55 лет назад — в № 10 за 1946 год напечатан рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова».

70 лет назад — в № 10 за 1931 год напечатаны произведения И. Бабеля «Гапа Гужва» (из книги «Великая Криница») и «В подвале» (из книги «История моей голубятни»).

75 лет назад — в № 10 за 1926 год напечатано стихотворение Вл. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии».

SUMMARY



This Issue publishes the story «One Day War» by Vladimir Makanin, the end of the novel «Love to Fatherly Graves» by Aleksander Melikhov and also stories by Aleksey Smirnov and Oleg Borushko. The poetry is represented in this Issue by new poems by Zoya Velikhova, Vladimir Korobov, Elmira Kotlyar and Vladimir Retseptser.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» the article «Panta Rhei. Notes about the Connection of Times» by Yury Kagramanov is published, dedicated to the historical continuity of the present state of minds and mentality and culture of the Soviet period. Readers can find here also an article by Evgeny Rashkovsky about the historian Mikhail Gershenzon.

Under the heading «Polemics» the article «Abnegation Revolution: The Will Choice or The Finger of Fate» by Valery Senderov is published.

Under the heading «The Close Remote Past» readers can find the article «Moscow Adresses of Love» by Rustam Rakhmatullin. The poetical message of the Russian XIX century poet Konstantin Sluchevsky to the famous Russian philosopher Vladimir Solovyev found in archives is also included in this section with the foreword of Elena Takho-Godee.

Under the heading «Essays» the article «After the Holiday» by Vladimir Gubaylovsky is published.

Under the heading «The World of Art» the music and culture expert Tatyana Cherednichenko publishes the article «Form and Structure in Art of Sound and Art of Word».

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,

П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
 Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
 отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
 отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
 зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
 для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: pmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;
 по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru
 Сетевой журнал «Новый мир»: <http://magazines.russ.ru>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
 Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.06.2001 г. Подписано к печати 28.08.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
 Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 350 экз. Зак. 2389. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена Благотворительным Резервным фондом и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2001 года.

Состав жюри:

**МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
АНДРЕЙ ВОЛОС, прозаик,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда,
ОЛЬГА НОВИКОВА, прозаик,
зам. зав. отделом прозы «Нового мира»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА, прозаик, эссеист.**

**Координаторы премии:
главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

Сумма премии – 3000\$.

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
произойдет в январе – феврале 2002 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru